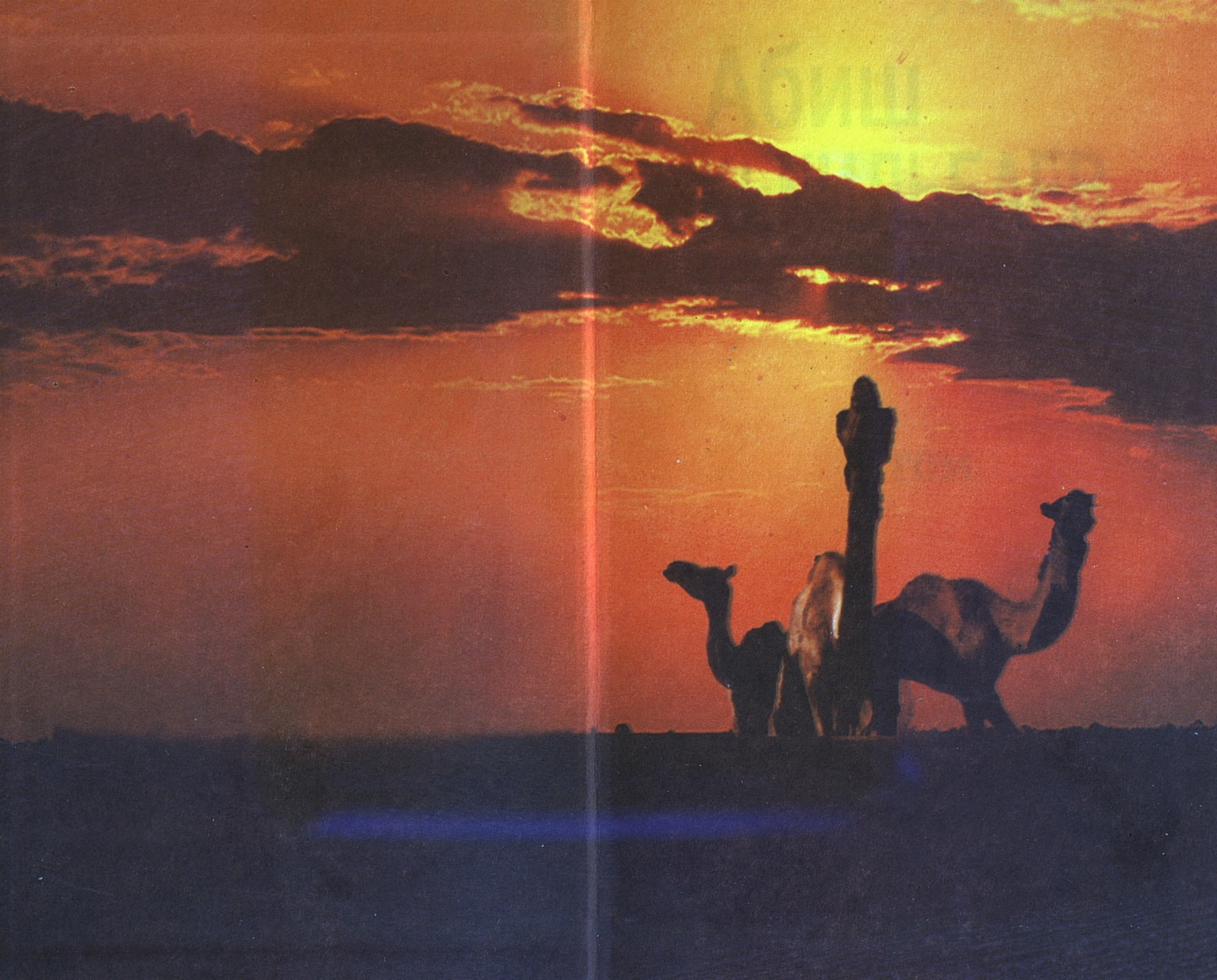


Абиш
КЕКИЛЬБАЕВ



АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ

4 ТОМ



Алматы
Жазушы, 2001

ББК 84 Каз 7-44
К 28

Кекильбаев А.

К28 Романы, повести, рассказы, драма, статьи в VI томах. – Алматы: Жазушы, 2001. – 464 с.

Т. 4: роман, драма, путевой очерк, статья

Роман «Всполохи» является продолжением книги «Плеяды – созвездие надежды». Историческое повествование, объемное по охвату историко-философских проблем того сложного и трудного времени в отношениях Степи с могущественным русским государством, пронизано объективной, фундаментально аргументированной научно-художественной концепцией.

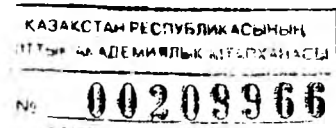
Драма «Аблай хан» – о нелегкой борьбе казахов за объединение и попытках восстановления мира в Степи.

«Журавли, журавли...» – путевой очерк о впечатлениях от поездки в Японию.

К $\frac{4702230200-31}{402(05)-2001}$ без объявл. – 2001 ББК 84 Каз 7-44

ISBN 5-605-01744-6 (общ.)
ISBN 5-605-01757-8 (том 4)

© «Жазушы» баспасы, 2001
© А. Кекильбаев, 2001



POMAH

ВСПОЛОХИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РИСК

Соломон:
Род минует, род приходит, а земля
во веки стоит.
Кн. Екклезиаста, гл. 1, ст. 4.

Третьего дня были такожде недавно сюда
прибывшие киргиз-кайсаки и башкирцы
в императорской кунсткамере и всеоб-
ретающиеся там редкие вещи с великим
интересом смотрели.
«Санкт-Петербургские ведомости».
1934 г.

— Астафиралла!..

Возглас изумления вырвался резко и неожиданно, точно взмыла, хлопнув крыльями, в гулкой тишине сумрачного, со множеством закутков и запутанных ходов, помещения напуганная чем-то летучая мышь. Пестроликая толпа, и без того ошеломленная невиданными доселе чудесами, замерла в оцепенении.

Глаза султана Нияза, шествовавшего, вытянув шею, впереди всех, округлились от страха. Как замороженный, уставился он на два стеклянных сосуда под стрельчатым витражным окном. В сосудах в прозрачной, будто пере-ливающейся, жидкости плавали срубленные под самый

подбородок две головы – мужчины и женщины. Сопровождавший толпу остроносый, краснолицый человечек с длинной указкой в руке что-то бойко протараторил, и Мамбет-мурза начал тотчас услужливо переводить на казахский язык каждое его слово.

– Вот этого красавчика звали Вилим Монс. Он был приближенным царицы Екатерины. Его обвинили во взяточничестве, и по приказу царя Петра был обезглавлен. И вот видите, где он очутился. А вот эту барышню звали Гамильтон. Ее красой пленился сам великий царь. Обезглавлена она была по распоряжению царицы Екатерины. Оба наделены были необыкновенной красотой, не правда ли?

Стоявший позади рослый, багроволицый батыр Оразкельды из рода уйсун буркнул:

– Дьявольщина! Выходит, и излишняя смазливость к добру не приводит...

Казахи и башкирцы в высоких меховых шапках-бориках при этих словах простодушного батыра, как бы придя в себя, дружно крякнули. И тут же всей гурьбой двинулись дальше. Однако уже через несколько шагов султан Нияз опять изумленно воскликнул:

– Астафиралла!

Оказалось, что-то холодное, неприятное коснулось его лица и будто лоб облизнуло. По-детски непосредственный султан ахнул, отпрянул в сторону, глянул вверх. О, аллах!.. Серая, пятнистая, толщиной с руку змея, угрожающе высунув жало, зависла над ним.

Толпа тоже замерла, уставилась в потолок. Оттуда, с вышины, завиваясь кольцами, свисало бессчетное количество змей. А еще выше в зыбком свете, казалось, плыла стая диковинных рыб с выпученными глазами.

Остроносый человечек с указкой в руке усмехнулся. Потом объяснил, что и змеи, и рыбы хоть и настоящие, но давным-давно уже не живые, их заспиртовали, высушили и выставили для обозрения, и, узнав об этом, вконец пораженные степняки ошарашенно переглянулись. Султан Нияз цокнул языком. В застывших было его зрачках вновь блеснули искорки.

Чего только не довелось лицезреть в многочисленных залах и каморках просторного трехэтажного здания императорской кунсткамеры! Степняки диву давались. Вот уж поистине сколько чудес на белом свете! Кто бы мог

подумать, что бывают ягнята с тремя головами, с восемью ногами, с двумя хвостами, или дети – малютки двухголовые, трехногие, и аллах знает что еще?! А эти женщина и мужчина так и появились на божий свет сросшимися. А вон тот бесформенный волосатый комок – двухнедельный плод, извлеченный из материнского лона.

– Вот уж действительно: поездишь по белому свету – не то еще увидишь...

Степняки уже не удивлялись, а обескураженно вздыхали.

Вообще с того времени, как они прибыли сюда, колеса повозок, в которых их возили, крутились без усталости. Все это время, можно сказать, не закрывался и рот Мамбетамурзы. Куда бы их ни привозили, он становился посередине, и попеременно оглядывая всех, все говорил и говорил без умолку. Все было им, степнякам, незнакомо и непривычно в этом шумном, странном, все еще строящемся городе, раскинувшемся не только вдоль берега неоглядного, неприветливого моря с накатывавшимися свинцовыми волнами, но и на крохотных, словно потники, островках, где повсюду под ногами белели щепы, а в воздухе неистребимо пахло сыростью, смолой и прелью. Здесь они впервые увидели, как божью землю вымачивали булыжниками, по которым цокали копыта лошадей и грохотали колеса карет. Здесь они любовались зыбким светом фонарей, которые в сумерках зажигали не в домах – это еще куда ни шло! – а на улице, на столбах. Здесь их привели однажды в огромный – хоть конные скачки устраивай! – сарай, из каждого закутка которого клубился дым, вырывались языки пламени, доносились треск и грохот, лязг и скрежет и из края в край гулким эхом раскатывались людские голоса. Пожалуй, даже хивинский базар не бывает столь оживленным и многошумным! Раскаленный огненный ручей, шипя и плюясь, лился по каменному желобу. Попробуй подступишь к этому багровому потоку – обожжет, испепелит, знойным дыханием обдаст, точно нещадное июльское солнце в открытой степи. Здесь, рассказывали, отливали грозные пушки, те самые чугунные чудища, которые в ясный день громом грохочут, сотрясая землю и небо...

Степняки не успевали обдумать, даже запомнить то, что видели и слышали, как их снова везли куда-то спешно в легких, пружинящих каретах. Как-то привезли их на

громадную строительную площадку рядом с заливом. Она напомнила им муравейник: вокруг во все стороны, казалось, в каком-то диком беспорядке ошалело сновало, суенилось, бегало и кричало несметное количество народу. Бывало, в ауле болела голова и от вечернего шума, когда скотина возвращалась с выпаса, начиналась дойка, и блянье овец и рев коров сливались с крикливыми голосами женщин, детей и пастухов, а здесь стоял такой невыносимый, немыслимый грохот, что было непонятно, как только люди не сходили с ума, находясь день-деньской в таком аду. Степняки испуганно озирались, жались друг к другу. Всюду громоздились ошкуренные бревна, шпалы, доски. Беспрестанно визжали пилы. По углам строительной площадки возвышались просторные дома. И в них — на какой этаж ни поднимайся, в какую комнату ни загляни — всюду одно и то же: гвозди, скобы, пакля, пленка, рулоны холста, парусины, канаты, чурбаки. И неистребимый запах масел, красок, смолы. В одном просторном помещении несколько сот отборных молодцов, ловко орудуя аршинными иглами, сшивали громадные куски холста.

— А это еще что?

— Паруса для морских кораблей.

Казахи и башкирцы, пораженные бесконечными чудесами, устали качать головами и цокать языками от удивления. И все же их любопытству не было предела. Достаточно было ранним утром появиться Мамбету-мурзе и сказать «Поехали!», как они, спотыкаясь о полы длинных чапанов, беспрекословно следовали за ним.

Каждый день несколько экипажей под звон бубенцов выезжало из ограды на Васильевском острове, а вечером в том же порядке под тот же веселый перезвон возвращалось назад, подкатывая к одноэтажному дому. И юноше, зорко и внимательно поглядывавшему вокруг из окошка головной кареты, вновь и вновь мерещился тот знаменательный, до мелочей запомнившийся день.

Это было в середине прошлой зимы.

Оставляя за собой глубокие черные борозды на только что выпавшем рыхлом снегу, кареты с киргиз-кайсацкими посланниками лихо подкатывали к нарядному трехэтажному дворцу. Сам дворец, правда, на гостей особого впечатления не произвел: за последнее время они видели и более внушительные и красивые здания. Зато отливавший зеркальной гладью каток неподалеку и при-

чудливые ледяные фигурки сразу привлекли их внимание. «Странно... какая в том надобность?» – недоумевали степняки.

– Вот мы и прибыли к царскому дворцу, – торжественно объявил Мамбет-мурза.

Все уставились на него, как бы спрашивая: «Неужели?!» Немного смущенных, обескураженных степняков встретил и куда-то спешно повел добрый косяк вертких, подтянутых, одетых с иголки молодых людей.

– Апыр-ай, глядите, глядите... Неужели все эти смазливые джигиты – родные сыновья царицы?

– Вряд ли... Будь царица хоть какой любвеобильной и плодovitой, а столько родить, однако, и ей не под силу...

– Как знать... Ханского наследника, прибывшего сюда из-за тридцать земель, думаю, встречать обязаны одни царевичи.

– А то как же? Откуда у черни такие наряды? Видно, царевичи и есть.

Пышно одетые поджарые молодцы не сопровождали дорогих гостей, а вытянулись в струнку по обе стороны, пропуская их вперед. Степняки, негромко переговариваясь, шествовали тесной гурьбой, а поднимаясь по мраморным ступенькам, особенно внимательно смотрели себе под ноги и по привычке шептали: «Бисмилля!». Шествие продолжалось долго. Одна за другой распахивались перед ними высоченные резные двери. И тотчас у косяков застывали разнаряженные в пух и прах привратники. Возглавляли шествие трое – тоже в сплошь позолоченных одеждах. У всех троих на широких поясах висело по одному массивному золотому ключу. Когда приблизились к еще одной двери – особенно огромной, массивной, в изразцах и лепнине, – двое из шедших впереди круто свернули в разные стороны, а третий весь напряжился, выпятил грудь, вытянул шею, точно гусак, и, не сбиваясь с шага, вступил в огромный, залитый светом, ослепительно нарядный зал.

Степняки притихли. Им почудилось, что шаги их доносились откуда-то с вышины, гулким эхом раскатывались под многоцветным сводом. В правой стороне зала сбились в косяк разнаряженные женщины, смущая степняков оголенными плечами, шеями, руками и необъятными, полуоткрытыми грудями.

– Помилуй, аллах... – прошептал кто-то из казахов. И

слева толпились люди в туго обтянутых штанах, отчего ноги казались нелепо тонкими, а туловище огромным, в каких-то украшениях, блестящих железках, и длинные локоны лохматились до плеч, и потому нельзя было разобрать, то ли это мужчины, то ли женщины.

Пышные, в пух и прах разодетые толпы помимо воли притягивали взор, вызывали любопытство, завораживали, и юноша-ханзада изо всех сил крепился, стараясь не поддаваться соблазну, и держался напряженно, неестественно прямо, будто проглотил аршин. Тот, что возглавлял шествие, вдруг остановился, стукнул посохом об пол и громко, будто кому-то угрожая, выкрикнул:

– Посланник хана киргиз-кайсацкия орды Абулхаира Махамбета казы Бахадура султан Ералы!

Ералы поспешно опустился на колени, трижды коснулся лбом пола. Вслед за юным султаном грохнулась на пол и вся свита, неуклюже задрав зады. Наконец наследник кайсацкого хана встал, сложил руки на груди и проговорил вразтяжку, без запинки, словно суру из Корана, слова обращения к царице, которые ему всю долгую дорогу из самой Уфы усердно вдалбливал в голову предупредительный Мамбет-мурза.

– Всепресветлейшая, державнейшая императрица, всемилостивейшая государыня! Отец мой Абулхаир-хан, со всею своею киргиз-кайсацкою ордою, по прошению своему и по вашему монаршескому милосердию, удостоился высочайшей вашего императорского величества протекции и принятия в вечное подданство. И ради должного своего верного рабства прислал меня к высочайшему двору вашего императорского величества милость, именем отца моего, припадая к стопам вашего величества, благодарение приношу и всенижайше прошу – содержать нас в неотменной своей императорской милости и защищении...

Все вокруг, затаив дыхание, внимали дрожащему от волнения голосу юноши. Нарядная толпа по обе стороны его с удивлением и сочувствием уставилась на юного султана, протараторившего что-то на непонятном наречии. Пухлые щеки его покраснелись, черные глаза лучились. Впереди, недалеко от него, бугрилось на возвышении что-то ослепительно яркое, пестрое, похожее на неряшливо сложенный тюк, и от неожиданности и в смятении юноша никак не мог понять, что же это такое. Однако он старался глядеть именно в эту сторону, куда перед тем

как начать речь жестом указал ему Мамбет-мурза. Юноше чудилось, что нарядный тюк укрыт, окутан прозрачной кисеей. Все там золотисто переливалось, струилось. Точно перемигивались многоцветные алмазные блики, смущая и ослепляя любопытный взор.

Господин в розоватом, с пышными оборками на груди, камзоле, повернувшись к юноше, важно заговорил. Мамбет-мурза старался каждое его слово тотчас перевести на казахский язык. Однако султан, как ни напрягал внимание, ничего не мог понять из тягучей и туманной речи могущественного вельможи. Об одном только – и то смутно, приблизительно – догадался: пресветлейшая царица милостиво принимает их под свое покровительство.

Потом юношу подхватили с двух сторон и повели туда, к возвышению, где все мерещился ему ослепительно нарядный и богатый, но небрежно сложенный тюк. В сплошном блеске и сверкании он по-прежнему ничего не мог толком разглядеть. Ему лишь на мгновение показался смутно-белый лик, похожий на обведенную кругом луну. Он вспомнил наставление взрослых: «Никогда не смотри прямо на луну с темным ободком. Это тень ведьмы с медными когтями. Глянешь на нее – она выдернет твои ресницы и ослепит тебя». И юноша не осмелился поднять свой взор на белевший в двух-трех шагах от него загадочный лик. И все же краешком по-степному зорких глаз успел заметить и выпуклый невысокий лоб, и надменный, несоответственно большой нос, и устремленный вдаль, поверх голов, немигающий жгучий взгляд. Ему почудилось, будто сюда, в этот пышный дворец, внесли одну из многочисленных статуй, которые он впервые увидел здесь, в русской столице, и, обрядив ее в дорогие шелка, обвесив драгоценностями, водрузили на почетном возвышении.

Вдруг его дернули за рукав. И юноша, догадавшись, чего от него хотят, опустился на колени. Что-то воздушно-пышное, белое, как пороша, мелькнуло перед его лицом. Он коснулся губами холодного, струящегося шелка и тотчас ощутил на плече тяжелую, словно увесистую дубинку конокрада, длань.

Потом, после высочайшей аудиенции, Мамбет-мурза ему объяснил: таков ритуал. Выражая свою благосклонность, царица Анна Иоанновна милостиво похлопывает по плечу своих верноподданных – особенно посланцев с Востока.

То мгновение не выходило из памяти юного султана. С тех пор утекло немало воды. За это время пластами слезавшийся снег стал добычей затяжных туманов. Затяжные туманы обернулись потом занудливым дождем. Занудливые дожди сменились обвальными грозовыми ливнями. Вспучилась, вскрылась река. Оглушительно трещал лед. В водоионах гремели ручьи. Талые воды, пенясь, потоками устремились в море. И все это время они, посланники степи, не знали покоя. Каждый божий день они куда-то спешили. Каждый день они от удивления качали головами, цокали языками и вечером, вконец усталые, переполненные впечатлениями, возвращались на ночлег. Поражало многолюдье. В степи, бывало, за весь день едва ли промелькнет у горизонта одинокий путник, или отбившаяся от стада скотина, а здесь кишмя кишело людьми, будто каждый день играли свадьбы или справляли поминки. Многолюдно было не только на суше, но и на воде. Их, степняков, грузили в утлые плоскодонки и доставляли к парусникам, темневшим далеко в море. Степняки диву давались: на крутых волнах покачивались корабли, похожие на дворцы. На них можно было плыть за моря, за океаны, в далекие, неведомые страны и возвращаться вновь к родным причалам, не опасаясь провалиться в морскую пучину, и все это, как им объяснили, благодаря вольному ветру, надувающему трепетные, как ноздри строптивного неук, холщовые паруса на высоченных мачтах. Чудеса! Какие-то горластые молодцы с лихо закрученными усами, покрикивая, заставляли растелешенных по пояс ловких и шустрых служивых с тряпками и щетками на ногах дочиста, до блеска драить вновь и вновь палубу. И хотя она уже отливала зеркальной гладью, они продолжали ее драить старательно, неистово, обливаясь черным потом. Время от времени осипшие усачи доставали из карманов белоснежные носовые платки, проводили ими по палубе, и, если на платке оставалось малейшее пятно, заставляли ее мыть, драить, окатывать водой снова. Самое удивительное, никто при этом и не думал роптать или возмущаться. С покорностью коняшки на току, понуро волочащего молотильный брус по кругу, шоркали и шоркали они жесткими щетками гладкий настил под ногами. Кто в степи согласился бы на столь муторную работу? Да, пожалуй, каждый голодранец тотчас взъерепенится, предложи ему только такое, будто кто непот-

ребным словцом прошелся по бороде усопшего предка. Не всякого степняка соблазнишь «мужской» работой, вроде как навьючить верблюда или связать строптивного неука, не говоря уж о разной там нудной «бабьей» возне; тут еще надобно подольстить ему, попросить хорошенько, ласково да с почтением, не то оскорбится, вытащит плетку из-за голенища, плюнет тебе под ноги и отвернется с возмущением. У этих же пот градом катится по бокам, поджилки трясутся, а усталости не знают, работают как заведенные. При этом еще и щерятся во весь рот, будто не дело тяжкое делают, а на свадьбе старших братьев пируют-гуляют. Но попробуй подойди к ним да спроси о чем-нибудь. О, тут каждый из них горделиво выпрямится, вскинется весь, уставится сверху вниз, будто говоря: «Неужто ты, дурень такой, и этого не знаешь?!» Вообще в этом спесивом городе степнякам не встретишься ни одна живая душа, которая не смотрела бы на них свысока. Даже дома, когда ходишь по улицам, казалось, взирали на них с нескрываемым высокомерием, словно вопрошая им вслед: «Господи, а эти ряженные откуда еще взялись?!» Даже бородатый кучер на козлах или страж у подъездов, и те глядели на них так, точно козел на собаку. Можно подумать, что они не такие же двуногие существа, которыми всевышний заселил грешную землю. Казалось, невидимый недобрый колдун встрял между ними и не позволял им сблизиться, переступить некую грань, радуясь взаимному недоверию, отчуждению и настороженности.

В самом деле, до чего все было непохожим,— все-все, даже травы и камни!

Во всем огромном, непонятном городе единственным близким и понятным человеком чудился Мамбет-мурза. Но и он здесь, в столице, неузнаваемо преобразился, затянувшись в тесный мундир и приняв неприступно-надменный вид. Это смущало простодушных степняков, и они в своих просторных чапанах, широких стеганых штанах, шапках-ушанках, громоздких сапогах поневоле робели перед затянутыми в заморский атлас, сукно и шелка важными господами, будто опасаясь замарать их невзначай. Тягостное состояние... Юный султан чувствовал себя неуютно. Все вокруг было чужим, непривычным. В многолюдном, неуютном городе посреди надсадно гудящих волн такая вдруг охватывала неуверенность и беспомощность,

что трудно было поверить в то, что ты вообще встал на ноги.

— Астафиралла!

Юноша, погруженный в тягостные думы, вздрогнул и с недоумением посмотрел, обернувшись, на султана Нияза.

— Ералыжан, ты посмотри-ка на это диво! — радостно воскликнул султан Нияз, шире раздвигая шторку на окошке кареты.

Юноша вначале ничего не понял. Он только увидел, что сгустились вечерние сумерки и что в смутно темнеющих домах — то здесь, то там — робко вспыхивали огни.

— Нет, нет... ты туда... вон на небо посмотри! Находясь здесь, юный султан, кажется, впервые обратил внимание на небосклон. Скупое мерцали далекие северные звезды.

— Смотри... Это ведь созвездие Плеяд!.. Да, да!.. В самом деле... Плеяды! Бледные, редкие, они напоминали горсть золы, вынесенную из-под очага в бедном доме.

Казалось, крохотный жаворонок, таившийся долгое время в груди юного султана, вдруг встрепенулся и расправил крылья. Здесь, в чужом городе посреди болот, где все еще до костей пробирала студеной сыростью слякотная, чахлая северная весна, султану вдруг явственно слышалась приятная, безмятежная трель веселой птицы, выпорхнувшей из-под застрехи кошомной кибитки в жаркое полуденное небо над раздольной степью. То был смутный голос тоски, проснувшейся в неурочное время. Впервые он ее почувал еще тогда, когда путники выехали из урочища Найзакескен. Перед глазами юноши живо встал хмуро-сдержанный отец посреди группы всадников, молча глядевших им вслед. В последние годы у хана спина заметно ссутулилась и плечи поникли, и только длинная, жилистая шея казалась по-прежнему неподвластной времени. Суровый и неподвижный, громоздился он в седле, и, как бы скрывая от свиты душевное смятение и даже взор свой, устремил взгляд к горизонту, окутанному зыбкими тенями. Глядя со стороны, можно было подумать, что он даже не видел сына, который, без конца озираясь, удалялся в русском посольстве в неведомые края. Последнюю ночь юный султан, почти еще мальчик, провел без сна, крепко прижимаясь к безутешной матери, и сердцу его, охваченному тревогой и страхом перед разлукой, ста-

новилось тесно в груди, а в тот миг, когда он оглянулся в последний раз на отца, в нем впервые больно кольнуло. От неосознанного еще горя, от жалости к отцу. И чем напряженнее отец вытягивал длинную шею, суровая серым, бескровным лицом, тем заметнее давил на его плечи невидимый, но неимоверно тяжелый груз, и султан это впервые почувствовал с такой пронзительной явственностью. Внушительная группа верховых с отцом посередине застыла на краю березового колка и не шелохнулась, пока путники не растворились, перевалив за холм, в вечерней сутемени. И удрученный разлукой султан без конца все оборачивался назад, бросая тоскующий взгляд туда, где за холмом, сгрудившись в круг, безмолвно стояли хан и его свита. И когда в густеющих сумерках уже ничего невозможно было разглядеть, султану вдруг послышалось слабое пение степной птахи. Он вздрогнул и растерянно заозирался вокруг... Но что можно было увидеть в глухой темени?.. И невидимый этот жаворонок, и неумолчное его пение неотступно преследовали опечаленного султана до самой Уфы. Здесь в ожидании отправившегося к царице Мамбета-мурзы степняки томились шесть долгих зимних месяцев, и все это время таинственное пение жаворонка, навевая грусть и тоску, назойливо звучало в ушах ханского наследника. Лишь в начале года, когда после долгого пути послы прибыли, наконец, в столицу русской императрицы и начались суматошливые дни с бесконечными приемами, обедами и экскурсиями, пение загадочной птахи, поселившейся, казалось, в его душе, оборвалось, смолкло. И вот спустя длительное время вновь сегодня возобновилось.

Надо же... полтора года уже минуло с тех пор, как они выехали из степи. Вторую весну встречают вдали от родного края. Степь сейчас, должно быть, вся в зелени. Кончился весенний расплод овец. Скотина на вольных выпасах входит в тело. Молодняк резвится на лугах. Надои обильные. Молоко густое, жирное. В такую, как сейчас, вечернюю пору в аулах особенно оживленно. Женщины доят коз и овец, разбирают по загонам ягнят и козлят. Шум, гвалт, суета. Хорошо!..

А здесь... здесь все еще сыро, промозгло. Лед тронулся только недавно. Вышла из берегов река, гремят ручьи, ревет неподалеку море. Казалось, потоп обрушился на землю. Люди отчаянно сражаются с водой, защищают,

отстаивают каждый клочок суши. Роят канавы, строят дамбы. Степняков поселили в доме редкородного сероглазого старика-татарина, выходца из Казани. Бедняга целыми днями листал-перелистывал толстый засаленный Коран и потихоньку сетовал на безалаберных, бесцеремонных своих постояльцев, захлабивших за зимние месяцы его аккуратный, ухоженный дворик. Но что, однако, возьмешь с кайсаков, привыкших к степной воле?.. Старик терпел и только услужливо распахивал перед гостями ворота, и те, случалось, отмечали про себя его усердие и даже похваливали: «Хороший, видно, человек!», на что Мамбет-мурза, ухмыляясь, отвечал каждый раз: «А кто он такой, чтобы не отворять ворота, когда едет сам наследник хана?!» Хм-м... Кто знает, может, этим объясняются услужливость и усердие татарина? Как-то, по пути в царский дворец, завернули кайсаки в Хивинское посольство и поразились. Оказалось, жизнь этих бедолаг ихней не чета. Их изо дня в день кормили той же травяной похлебкой, что и солдат. Узнав о том, что кайсаков определили в дом мусульманина, где они всю зиму лакомились конской колбасой и брюшным салом толщиной в пять пальцев, исхудавшие на казенной баланде хивинцы от зависти и обиды едва не взвыли. «В свое время уруссы, помнится, калмыков так потчевали, теперь, видно, решили вас ублажать», — с грустью заметили они.

Что ж... Встретили их действительно честь по чести и потчуют — грех жаловаться. Но чужбина, как ни крути-верти, все равно чужбина. Все уже здесь опостылело.

Каждое утро кайсаки с надеждой всматривались в лицо Мамбета-мурзы, как бы допытываясь: «Ну чем же, благодетель, обрадуешь?» И тот, хитрец, конечно же, обо всем догадывался, но виду не подавал, только губы кривил в скользкой ухмылке. А сегодня подошел, тронул юношу-султана за плечо: «Не огорчайтесь. Еще чуть-чуть потерпите...» Сердце юноши учащенно забилося. А теперь еще и дядя Нияз вдруг отыскал, высмотрел на блеклом, грязноватом небе созвездие Плеяд. Может, это добрый знак? Может, он сулит обратный путь в степь? Ну конечно! С какой стати в этом шумном, грохочущем городе, где людям недосуг даже посмотреть на небо, в их крытую повозку, в крохотное окошко, задернутое шторками, слабо мерцающая, заглянуло вдруг далекое созвездие Плеяд — созвездие надежды?! И почему именно сегодня?

Нет, аллах свидетель, неспроста это! Мамбет-мурза только что пересел в другую карету и куда-то умчался. И каждый день вот так. С раннего утра он неотступно сопровождает степняков, но после полудня вдруг всполошится и несется неизвестно куда, едва успевая кивнуть на прощание. Бог весть, куда он так спешит. Точно мать-кормилица к своему дитяти. Правда, сегодня он был непривычно улыбочив. И, даже прощаясь, загадочно усмехнулся. Вообще до чего здесь люди замкнутые, скрытные! Пока не спросишь по несколько раз, ничего у них не выведаешь. Видно, не считают нужным заранее предупреждать тебя, поставить в известность — что да как. Даже куда тебя повезут завтра — и то накануне не скажут. И при этом не спросят, угодно тебе куда-то ехать или нет. «Поехали!» — объявляет с утра деловитый, вечно чем-то озабоченный Мамбет-мурза, и ты покорно трусишь за ним, не осмеливаясь спросить, куда и зачем. Во всех его повадках есть что-то от аульных мальчишек-ловкачей, которые так и норовят облапошить тебя и выманить все твои асыки. Ох, и лиса, должно быть! Любого играючи околпачит, с носом оставит. Сегодня, однако, он не такой, как всегда. Обходительный, предупредительный уж больно. Да и улыбка весь день не сходила с его лица. Ясно: не случайно это...

Юный султан, не отрываясь от окошка, пристальнее всматривался в небо. Казалось, из уголка стылого небосвода кто-то очень близкий и родной так же нежно и ласково глядел на него. Султану не хотелось, чтобы исчезло это сладкое видение. Да, да... Это Плеяды... Точно. Созвездие Плеяд... Бледным отсветом мерцает в бездонной вышине.

Выходит, не на болотах и воде они обитают, а на той же земле. Выходит, на одной и той же земле находятся и крохотный, затерявшийся в неоглядной степи казахский аул, о котором они уже столько времени тоскуют и во сне и наяву, и этот холодный и самодовольный каменный город. Выходит, жители этого города, несмотря на их надменность и спесь, отнюдь не с неба свалились. Они такие же земляне, такие же двуногие грешные существа, копошащиеся на единой для всех земле. Как все, они приходят в этот мир, а в сужденный час так же безропотно из него уходят. Все ступают по одной земле. Над всеми простирается единое небо. И всюду та же извечная суета

та. И каждый, глядя на звезды, тщетно пытается предугадать свою судьбу...

Юный султан, вглядываясь в созвездие Плеяд, рассыпавшееся у краешка тускло-серого небосвода, мысленно видел родной аул в далекой пустынной степи, по которой так истомилось его пылкое сердце.

Кареты, следовавшие за его повозкой, казалось, окунулись в сумрак.

В просторном царском покое медленно густела по углам вечерняя сутемь.

* * *

В середине покоя на широком пышном ложе, погруженная в думы, возлежала императрица. Не дожидаясь слуги, она потянулась к тяжелому бронзовому канделябру у изголовья и зажгла свечу.

В ярко вспыхнувшем язычке пламени остро блеснули черные, жгучие зрачки полнеющей, в летах, женщины. Брови ее были сурово насуслены; на властном, изрытом оспинами лице застыло выражение не то тайной радости, не то сдерживаемого гнева. Она резко вскинулась, поднялась с ложа, по-мужски, широкими шагами подошла к круглому, из красного дерева выточенному безымянным венецианским мастером столику и, легко подняв его, перенесла к постели. Потом с трудом повернула шею с массивным подбородком, глянула на дверь.

Резные створки массивной двери оказались приоткрытыми: видно, недавно вышедший на цыпочках из покоев вице-канцлер неплотно прикрыл их. Императрица, досадливо морщась, направилась к двери, рывком, крепко их притянула. После этого развернула свиток, лежавший на столе, но, не читая, погрузилась в думы. Перед мысленным ее взором тотчас выстроились ближайшие ее советники.

«Сие тщательно обдумать надлежит, — важно цедил граф Остерман, почему-то не опуская, что было его привычкой, глаз. — Отношения с Китаем, Индией, Джунгарией немисливо строить независимо от киргиз-кайсаков».

«Европа открывает Америку через моря-океаны, Россия откроет Америку у себя под боком», — со значительным видом изрек Бестужев-Рюмин.

«Надобно действовать решительно и наверняка», — двусмысленно заметил Бирон, заглянув к царице в покои

и разметаая ее косы, чтобы прильнуть губами к ее обнаженной пышной груди.

И все трое при этом имели в виду обстоятельное представление, которое императрица держала сейчас в своих руках.

Развернув, царица поднесла свиток к глазам. Нанизанные старательной рукой обер-секретаря Сената аккуратные, ровные букочки увели внимание царицы, не склонной к напряженным раздумьям, с привычной колеи, упорно завлекая в неведомые дебри. Читала с паузами, с усилием вникая в смысл обстоятельной промемории.

Хм-м... Выходит, киргиз-кайсаки – никому не подвластный, многочисленный, дикий сброд, разбросанный, точно птичий помет, по раздольной степи. Да еще и строптивый, воинственный. И еще выходит, что их хан Абулхаир со своею ордой и многими старшинами численностью в тридцать тысяч человек приняли в 1731 году русское подданство. И теперь прислал в державную столицу своего брата и одного из сыновей. Так, так... Все это ясно и понятно...

Царица, вчитываясь дальше, вдруг опешила. Батюшки! Что же это получается? «Та орда разделяется на три орды». Как изволите это понять? Почему три? Выходит, этот... как его... Абулхаир – не единовластный киргиз-кайсацкий хан, так, что ли?..

Императрица, недоумевая, оглянулась вокруг. Потом вновь погрузилась в чтение. «Первая называется Большая, в которой тысяч пять десят собратца может, имеют особенного своего хана, а кочуют на полдень и восток близ Бухар, Ташкента и Туркестана и зенгорского калмыцкого владельца Галдан-Черень».

Черт бы их всех побрал! Попробуй разберись тут... Императрица имела лишь смутное представление о том, что все эти места находятся на востоке, где-то очень далеко, за тридевять земель. Но какое из них расположено от другого к югу или востоку – убей ее гром, и понятия не имела.

«Вторая – Средняя орда, в которой, Шемяки-хан, в ней тысяч двадцать, оные еще в противности стоят и подданства не приняли».

Гляди-кось!... Выпуклый лоб царицы избородила тяжелая складка. Закусив нижнюю губу, ненадолго задумалась.

«Однако ж, как увидят порядочные с российской стороны поступки с Абулхаир-ханом и с Большой ордою, то скоро склонятца к подданству, потому что кочуют между теми обоими ордами по реке Торгай и по другим, которые реки башкирцы называют своими».

На этом месте сбоку была сделана помета. Судя по всему, рукою Остермана. «С присланною копиею получены ведомости с Уфы и ис Казани, что та Средняя орда хотела напасть на башкирцев в 20000 человеках, от которых башкирцев разбиты и осажены были, и тем принуждены просить подданства ж российского...»

Вот где, оказывается, собака зарыта! Помнится – тому уже четыре года прошло – пожаловал в столицу Башкирии Таймас Шаимов, привез подарки, тюки дорогих шкур, драгоценных мехов, просил взять под свое покровительство и выклянчил-таки немало земли за Каменным поясом. Выходит, хитрая bestия принял подданство поневоле, дабы сберечь себя от притеснений киргиз-кайсаков! Выходит, эти степняки в мохнатых шапках только искусно прикидываются простаками, а на самом деле так и норовят обвести тебя вокруг пальца. С ними приходится ухо держать востро. Четыре года назад ее императорское величество уверяли посланники, будто Абулхаир – верховный хан всей киргиз-кайсацкой орды, а теперь выясняется, что он всего-навсего владелец одной из трех орд. Вот и верь им после этого!..

«А третья – Меньшая орда, о которой выше упомянуто, что она в подданство принята, кочует близ Аральского озера, которое называют морем, и каракалпаков, и между Яика и Средней орды к башкирцам же и к калмыкам, кои по Ембе и Яику рекам кочуют, самые близкие соседи и немало башкирской земли захватили...»

Императрица несколько раз прочитала этот абзац про себя, сияясь представить место обитания Меньшой орды, но тщетно. Должно быть, грамотей Кирилов, составивший эту промеморию, полагает, что киргиз-кайсацкие просторы изъездил вдоль и поперек не мурза Мамбет Тевкелев, а самолично она, самодержица российская Анна Иоанновна...

Царица привычно потянулась было рукой к колокольчику на столе, но тотчас раздумала, вздохнув про себя. Промемория оказалась длинной.

«В тех ордах не столько ханы власти имеют, сколько

их старшина, и для того они ни людьми, ни богатством своих ханов усиливатца не допускают и грамотных в ханы не выбирают, однако ж ведут наследственных ханов, а детей ханских называют салтанами.

Оныя орды, когда были в согласии, то имели во владении своем знатные провинции и города Туркестан, Сайрам, Ташкент, и иныя к ним принадлежащая местечка, кои лежат по Сыр-Дарье, впадающей в Аральское море. И в том владении в вершинах оной и других рек берут золото, а как между собою не в давних годах вошли не в согласие, то зенгорской-калмыцкой владелец контайша у них все оныя провинции отнял.

Часто упомянутый Абулхаир-хан изо всех киргиз-кайсацких ханов знатной и умной человек, имеет одну жену и от нее пять сынов (из которых один здесь). Он, будучи таким вольным, и, почитай, диким народом, сам в подданство ее императорского величества пришел, и не только одних своих подданных склонил, но и каракалпакского хана со всем народом к тому же подданству привел. Да чрез ево ж пересылки и Большая орда прислала о подданстве просить. И сам желает, чтоб российской город близ ево владения и устья Орь-реки, впадающей в Яик, сделать, где обещает временем жить и службу свою оказывать...»

Возле слов «у устья Орь-реки» стояла канцелярская помета, на которую императрица обратила особое внимание: «Та река исстари во владении российском, между башкирцами и киргиз-кайсаками, от Яицкого казачья города верстах в 400 и от Уфы верстах в 300, от сакмарского нового казачья ж городка — с 150 верст».

Императрица довольно хмыкнула. Ну, вот... так бы сразу и написал! Тут, по крайней мере, все ясно и понятно.

Царица поудобнее улеглась на широком ложе, подмяв под бок большую пуховую подушку. Почему-то живо представился ей тот милovidный, разодетый, точно куколка, кайсацкий вьюноша, отрок ханский, вытянувшийся в струнку перед нею на аудиенции. Вдохновенный блеск в глазах, тонкая мальчишечья шея, торчащие уши, высокий, срывавшийся от волнения голос, в котором чувствовались, однако, и достоинство, и самообладание — все-все до мелочей сохранилось в памяти ее императорского величества. Осанка, жесты, манеры юноши-подлетка свидетельствовали о благородстве и воспитанности. Глядя

на него, царица подумала тогда еще про себя, что кочевники, видно, не только послушно бредут за скотиной в бескрайних степях своих, и отнюдь не дик и не невежествен их хан, коли он просит о построении города на границе своих владений. Ладно... Зачем, однако, понадобился ему этот город? Какие же цели он преследует при этом?..

«... то явно в журнале того Тевкелева, между которыми знатное его представление было:

1. Что они от зенгорских калмык обижены и когда под протекциею ее императорского величества будут, то могут свое владение от них со временем возвратить».

Что ж... вполне резонно и разумно. Царица погладила мясистый свой подбородок.

«2. Сам себя в ханстве безопасно содержать может, ссылаясь на волжских калмык, как ее императорское величество между таким же диким народом ханов утверждает и народ в покорение приводит».

Так, так... Допустим, и в этом совершенно здраво размышляет.

«3. Могут соседей своих хивинцов и аральцов в подданство ее императорского величества привести и за то в милости быть».

Ишь ты! Куда этот кайсацкий хан метит! Себе на уме... Царица чуть приподнялась, подминая подушку. Рябое лицо ее побагровело. Губы скривились в ухмылке. Она несколько раз покачала головой. И как бы заглушая неожиданную радость российской самодержицы, Кирилов далее аккуратно вывел: «И хотя по легкомыслию сего народа подданство их ненадежное...» (!)

Царица точно споткнулась на этом месте и нахмурилась. словно опасаясь, что кто-нибудь невзначай подсмотрел ее невольную радость, она подозрительно заозиралась и, лишь убедившись, что в огромных покоях не было, кроме нее, ни одной живой души, успокоилась и снова уткнулась в проеморию.

«... однако ж есть способ ко удержанию их в подданстве, не так как природных подданных, напротив привилегированных народов для нужных с российской стороны резонов».

Царица вновь потеряла подбородок. Она почувствовала какую-то неясную досаду — уж больно витиевато излагает свои хитроумные мысли обер-секретарь Кирилов и

вообще чересчур все запутано. Ей расхотелось читать дальше. Отрешенно полежала, прикрыв веки с длинными, изогнутыми ресницами, потом рассеянно пробежала еще несколько строк:

«1. Поньше они были неприятели и непрестанно российский, казанским, яицким, волжским, уфимским, сибирским граничным жителям, воровския малыми партиями нападении чинили, и ежегодно, как скот, пленников отгоняли и продавали в работу в Бухарию и Хиву, купецкие караваны разбивали и многия пакости делали, о чем хотя публично неведомо и невидно, но токмо одно разсудить надлежит, что в Хиву и в Бухары таких русских пленников натаскано и обретається там в работах многия тысячи, oprичь иных владений, куда також-де разводятца. А как будут оныя киргиз-кайсаки в российском подданстве, которых во всех ордах больше ста тысяч человек есть, тогда гораздо покойнее в российских помянутых владениях будет».

Последняя мысль привлекла внимание ее императорского величества, и она, обмакнув перо, подчеркнула это место.

«2. Понеже калмыки давно ль подданныя ее императорского величества, также и башкирцы, а к тому ныне прибыли третей народ – киргиз-кайсацкой, а один с другим весьма несогласных, да и впредь всегда их в том содержать надобно. И ежели калмыки какую противность покажут, то мочно на них киргисцов обратить, а напротив того, буде киргиз-кайсаки что зделают, то на них калмык и башкирцов послать, и тако друг друга смирать и к лутчему послушанию приводить без движения российских войск».

Царица Анна опять резко вскинула голову. И, словно поджидая этого момента, в покои вошел слуга и зажег свечи в канделябрах по углам. И то ли ярко освещенные покои были тому причиной, то ли промемория все более захватывала ее, царица оживилась, повеселела.

«О котором городе сами Абулхайр-хан и башкирцы просят, чтоб построить у устья Орь-реки, тот весьма нужен, не только для одного содержания киргисцов, но и для отворения свободного с товарами пути в Бухары, в Водокшан, в Балх и в Индию, чего император Петр Великий весьма домогался и не жалел ни казны, ни людей, князя Александра Черкасского послал от Астрахани, но

он своею оплошкою в Хиве пропал. А в место оному городу самое удобное около 52 градусов северной широты, во всем изобильное, откуда до Аральского озера сухим путем и реками только в 500 верст и гораздо ближе и безопаснее, как ходят из Астрахани, а озером Аральским и рекою Аму до самой Бухарии и Водокшана и почитай до границ индейских судами».

Царица вновь оторвалась от бумаги, задумчиво обвела покои. Свечи уютно потрескивали, перемигивались в бронзовых канделябрах и серебряных шандалах, точно говоря: «Да, да... все верно. Поистине так!»

«Водокшанская провинция нужна в российское владение для многова в ней имеющагося богатства, что золота, лалов, лапис, лазори в ней довольно. Та провинция принадлежала и всегда была во владении самаркандских, а потом бухарских ханов. А за несколько лет, слабостию бухарских ханов, отложилаь и хана своего не имеют, но наподобие республики старшины народных содержат, которых около 40 человек есть. И как говорят, что во время бухарского владения одного золота бухарскому хану приходило пуд по 500 и больши, oprичь дорогих камней. А ныне оныя старшины устави́ли между себя, что им в каждом году съезжатца с своими людьми в одно время и десять дней в тех горях золото и каменя доставать, и кому сколько по щастию достанется, тем во весь год и довольствуютца. Чего ради, не веря друг другу от каждой старшины крепкия караулы содержат и никого в те горы и места не впускают. Однако ж и по такому худому распорядку в городе жители богатства много имеют, продавая золота и каменя, к тому ж изобильны плодами земными и рукодельем, чего ради зенгорской владелец, яко ближней сосед, желает добратца до них. А в российскую сторону допускать и такова богатова места своему опасному соседу отдавать не надлежит, А лутче бы, ежели бог допустит, в свое владение чрез вышепомянутые чюжия войски достать и богатство, так как из Америки гишпанцы и португальцы получают, сюда вывозить, что при добром начале и прилежном попечении, буде нечаянных случаев не воспоследует без движения больших российских войск исполнитца может».

Смелые прожекты, изложенные в промемории, захватили императрицу. Она, точно не веря своим глазам, перевернула листы, заглянула в начало представления и,

убедившись, что оно зарегистрировано главной имперской канцелярией, что на нем стоит круглая печать, стала читать дальше.

«Ежели сие дело кто б хотел опровергать, представляя опасности от башкирцев и киргисцов или иных тамошних народов, такому мочно многия примеры представить. Первое, ежели в Казань и Астрахань царь Иоанн Васильевич у татар не завладел и башкирцы сами в подданство не пришли, то бы всегда близкими могли быть неприятельми, каких ныне уже за ними в степях имеем, а по щастию ее императорского величества и те приходят в подданство; второе: башкирцы утверждены в подданстве одною Уфою, коя так малолюдна, что сотой доли против башкирцов людей в ней нет, и всегда верно служивали, не только против шведов и поляков, но и против турков и крымцов, а о бунте бывшем, ежели зрело разсудить, то больши зделалось от того, что хотели прежняя привилегии опровергнуть, рыбныя ловли, мельницы отнять и подати лишния наложить и многим лутчих людей Сергеев с товарищи опоили и топили; третье: вся великая Сибирь чужая была и в такой же ко овладению неудобности в те времена казалось, как ныне о рассыпанных бухарских провинциях, но ее Ермак с шестьюстами человеками взял и путь до Китаи отворил, а ныне надеятца можно, что до Японии достигнуть могут, когда б те три знатные владения заранее к России не присовокуплены и не застарели и тамошний народ с русскими не перемешались, то бы всегда того ж надлежало бояться, как от Батыя и Темерлана и иных махометанов, выходящих с великими войски, от которых Россия терпела».

Императрица вдруг почувствовала странную дрожь в теле; даже сердце кольнуло нй с того ни с сего несколько раз кряду. Глаза от волнения затуманились; нанизанные на ровный ряд аккуратные, с завитушками, буквы расплылись, и она пальцами провела по лицу, словно убирая невидимую паутину. Ну надо же!.. Этот Кирилов, оказывается, не только ландкарты чертить горазд, но он еще – видит бог – вдохновенный пиит. Ишь, как все обрисовал! В каких тонах и красках все подать сумел! Как он печется о славе и могуществе России! Видно, от всех этих Батыев и Темерланов, как и от возродивших и восславивших их тьма-тьмущих кочевников счастье и удача отвернулись отныне на веки вечные...

Императрица обратила свой взор на кудрявистую помету сбоку, от которой загадочный трепет охватил все ее существо. «Батый и Темерлан — цари Золотой Орды — великие владения и воинства имели, а столица их была близ Волги, на Ахтубе, которыми местами купно с Астраханью царь Иван Васильевич завладел».

Поистине так: мир переменчив, изменчива судьба. Можно ли поверить в то, что киргиз-кайсацкие посланники, которые уже несколько месяцев томятся здесь, изнывая от безделья, в ожидании ее монаршей милости и благосклонности, — потомки тех самых необузданных, свирепых кочевых племен, той самой Орды, наводившей когда-то ужас на священную Русь. А ведь это так! Вчерашние униженные и посрамленные ныне обуяны гордостью за свою мощь и силу, а те, что некогда опьянены были славой и властью, ныне пали лицом ниц. Вот как все обернулось!

Царица скосила надменный взгляд на бумагу.

«Еще в случай разсуждения такого, ежели б кто представил, что слагается надежда в таком великом деле на такой народ, которой еще в верностях не опробован, и на сие многие примеры древних историй, а особливо Александра Великого победы и подборание славных владений под свою державу более чужими азиатскими, нежели своими природными европейскими войсками, за что ж и России терять, когда такой счастливой случай пришел, чужими людьми чужее в свою вечную пользу доставать, а хотя б, паче чаяния, ничего дальнего владения и богатства не получим, да ничего ж и не потеряем, но всегда от нового города прибыль останетца на нашей стороне.

Теперь многим покажетца неимоверно, подобно сысканию Америки, чему никто из владельцев не верили, а когда гишпане щастие сыскали и лутчими частями Америки не одним годом завладели, то после всем жаль стало. А и вышеупомянутые места опасны от зенгорско-калмыцкого владельца, которой и так уже несколько городов завладел, а как все в свое владение подберет, тогда России с таким соседом труднее управлятца, к тому ж и персы знают о богатстве водокшанском и часто от тухменцов озлоблены бывают, как и российские границы от киргизцов; ежели они, окончив с турками войну, или в кое ни есть время, оборотятца и завладеют сими землями, тогда опаснее с ними быть в соседстве».

При этих словах недавняя ликующая радость императрицы вмиг развеялась. Рука ее судорожно потянулась к перу, чтобы особо пометить это место в промемории. Вспомнились слова Бирона: «Надо действовать решительно и наверняка, без промедления». Ясно, что неспроста напоминал о том постоянно.

Императрица задумалась, глядя на ровные, буковка к буковке, точно бисером вышитые строчки. Потом грузно повалилась на спину, будто зарываясь в пышную перину, и задумчиво вперила взгляд в потолок. Она силилась вспомнить все, о чем в последнее время так настойчиво твердили ей Бирон, Остерман, Миних, Бестужев-Рюмин. Однако многое из того, что внушали ей советники, не всегда доходило до сознания российской самодержицы. Кирилов в своем представлении все изложил обстоятельно и убедительно. И не случайно обер-секретарь ссылается на Турцию и Персию. Непокойно на юге России: давным-давно попахивает оттуда порохом. Того и гляди разразится пожар да и охватит большую часть Азии. Попробуй потом с ним сладить. Великий царь Иван Васильевич покорил Казань и Астрахань, благодаря чему Волга стала — от истока до устья — русской рекой. Петр Великий вывел русский флот на Балтийское море и воочию доказал, что и Ближний Восток находится отнюдь не за тридевять земель. Одной ногой Россия крепко уперлась в западное побережье Каспийского моря, а вот укрепиться второй ногой на его восточном побережье дерзкий царь при жизни своей не успел. Черное и Каспийское моря, вбирающие в себя воды двух великих рек славянского мира Днепра и Волги, являются как бы двумя строптивыми неукми, которых еще не совсем удастся взнуздать и оседлать могущественному Российскому государству, простирающемуся ныне от Балтики до Камчатки. И мешают тому две искусные подстрекательницы — Турция и Персия. Обе они мусульманские страны. Обе издавна полны ненависти к России. Но, слава всевышнему, и между собою никак не поладят, грызутся, как кошка с собакой. Накинешься на одну, другая ни за что не заступится. Наоборот, злорадствует втихомолку, дескать, так тебе и надо. Петр искусно воспользовался этим, пошел в 1722 году войной против Персии. С помощью грузинского царя Вахтанга VI и армянского католикоса Есая Хасан-Джалаяна за весьма короткий срок добился блиста-

тельной виктории. Кавказские христиане, люто ненавидевшие правоверных падишахов, их давних притеснителей и захватчиков, послужили русскому оружию не щадя живота. По договору, заключенному 12 сентября 1723 года в Петербурге, города Дербент и Баку, а также провинции Гилан, Мазандеран и Астрабад, расположенные по западному и южному побережью Каспийского моря, перешли во владение России. Разумеется, Турции это было не по нутру, несмотря на ее исконную вражду с Персией. Распространение влияния России насторожило и напугало не только Турцию в Азии, но и Англию, Францию, Австрию, Венецию в Европе. Особенно усердствовала Англия, усиленно нашептывая то на левое, то на правое ушко турецкому султану, и без того сидевшему точно на раскаленных угольях. Понятно, что забеспокоилась и Франция. Но дальновидный и предусмотрительный русский посол в Порте Николай Иванович Неплюев мигом успокоил французского посла из Бонана, заткнув его глотку двумя тысячами рублей и тысячью тремястами соболиных шкурок. И когда царь Петр, захватив Дербент, отступил назад, в султанском дворце в Порте, наконец, облегченно вздохнули. Но мир продлился недолго. Коварный турецкий султан под видом содействия Грузии, враждовавшей с персидским шахом, вновь вступил в российские владения. Царь Вахтанг, забыв про недавнюю ссору, снюхался с султаном. Тайный сговор оказался на руку Порте. Перетянув на свою сторону непоследовательного, изменчивого грузинского царя, султан намеревался выбить русские войска из Дагестана и тем самым восстановить и укрепить свое влияние среди мусульманских народов Кавказа. И в самом деле, турецкому султану удалось взбудоражить крымских, кубанских и прикаспийских мусульман. Он даже заключил союз с далекой Хивой. И хотя две давние соперницы – Турция и Персия – по-прежнему косились друг на дружку и при случае так и норовили вцепиться друг другу в глотку, однако заметно уняли свою прыть, с опаской поглядывая на могучую северную державу, которая неуклонно, по кошачьи подкрадываясь, подбиралась к их владениям. В коротких передышках между частыми стычками они лихорадочно укрепляли свои северные границы. И можно быть уверенным, что будут это делать и впредь. Словом, отношения сейчас с Турцией и Персией отнюдь не прекрасные. И вся Европа так и норовит направить их на

Россию, боясь все возрастающего ее могущества. Нетрудно себе представить, что эти две мусульманские страны попытаются установить и наладить взаимоотношения со всеми разбросанными в закаспийских степях разрозненными правоверными ханствами. Следовательно, пока они еще погрязли в междоусобной возне, необходимо, действуя решительно и дальновидно, опередить их и первыми дотянуться до ханств в Средней Азии. Многоопытные, искушенные в государственных делах политики европейских стран верно подметили, что Петр Великий с западными своими соседями вел переговоры языком алмазного клинка, а к сердцам восточных соседей подбирал какой-то таинственный ключ. И вот этим загадочным ключом Россия завладела только ныне. Это — киргиз-кайсацкое ханство, решившее вступить в подданство русского государства. Именно в этом причина ликующей радости Тевкелева. Именно в этом залог тех успехов и побед, которые для вящей славы России усмотрел в грядущем дальновидный Кирилов. И прежде чем принять столь важные государственные решения по его предложениям, ее императорскому величеству Анне Иоанновне необходимо, пожалуй, еще раз все обговорить с ближайшими своими советниками.

На другой день, 1 мая 1734 года, составленное оберсекретарем Иваном Кириловым представление с высочайшей резолюцией) Анны Иоанновны было спущено «вниз», и прошло оно поочередно через те самые руки, которые накануне отправляли его «наверх». Резолюция императрицы гласила:

«Вышеописанное представление всемилостивейше опробуется и ныне указали по оному учинить: 1) город при устье Орь-реки строить и дать ему имя впредь; 2) пристойную привилегию сему городу написав, представить нам для конфирмации; 3) к строению и работе нарядить тептерей¹ и бобылей², сколько по рассмотрению потребно будет; 4) для первого случая и содержания города перевести из гарнизонов: ис уфинского половину полка да ис казанского — один или два полка; 5) которые из

¹ Тептери (щептери) — податное население.

² Бобыли — зависимые люди, обложенные вследствие маломощности хозяйства меньшим оброком.

уфинского полку взяты в армейские полки, тех для сей экспедиции возвратить, а вместо их употребить рекрут, которыми надлежало было комплектовать гарнизоны; 6) ис Уфы половины дворянских рот и казаков и недорослей уфинских и мензелинских взять туда ж, а яицких и сакмарских казаков же снарядить сколько возможно; 7) башкирских тарханов¹ и мещеряков² нарядить столько, сколько нужда требовать будет; 8) пушки, мартирцы и фальконеты с принадлежностью и с амунициею, также работником и инструменты, какие потребно, сделать в Екатеринбургe, а порох и свинец отпускать ис Уфы и ис Казани; 9) уфинских прибылых доходов кои собираются сверх прежнего оклада, никуда не отсылать, а употреблять для сей экспедиции; 10) взятых башкирцами киргискайсацкого старшины Букенбая батыря людей, собрав, возвратить, так же каракалпака, сосланного в Рогервик, буде не умер, и сына ево к Яику отдать; 11) к отправлению вышеописанных всех дел определить обер-секретаря Ивана Кирилова и с ним быть мурзе Алексею Тевкелеву, которых туда отправить немедленно и дать полную инструкцию и указы за нашим подписанием, а сколько каких людей потребно, отсюда и из Москвы о том донести нам. Анна».

Бумага с резолюцией ее императорского величества обрадовала многих. Особенно ликовал обер-секретарь Иван Кирилов.

Вот уже полмесяца, как в его скромном жилище все было перевернуто вверх дном. Все необходимое для дальней дороги было сложено, упаковано. Часть вещей, представлявших какую-никакую ценность, хозяева снесли на базар, кое-что раздали соседям, разный житейский хлам безжалостно выкинули на свалку. И только в небольшом кабинете обер-секретаря Сената творился жуткий тарарам. Бесчисленные книги, папки с бумагами, рулоны ландкарт, которыми обычно были завалены стол, шкафы, кресла, подоконники, теперь в величайшем беспорядке валялись на голом полу. Вечно куда-то спешащий, вечно

¹ Тархан — титул, пожалование которого освобождало от налогов.

² Мещеряки — часть волжских татар, живших в Башкирии и Приуралье в XVII в.

озабоченный, рассеянно-суетливый Иван Кирилов, возвращаясь из канцелярии, торопливо стягивал с себя служебный мундир, облачался в просторный простой халат, в каких обычно ходят мастеровые и кладовщики, и принимался за работу. Однако, несмотря на все его старания, беспорядок в кабинете, от которого можно было прийти в отчаяние, не уменьшался, ибо вместо того, чтобы привести свой объемистый архив в надлежащий вид, хозяин часами просиживал в глубоком раздумье возле раскрытого посреди комнаты обитого железом вместительного ларя. Его канцелярскую душу, привыкшую к многолетним тихим и усердным трудам, необычайно радовали бесчисленные и столь необходимые, всегда — и дома, и на работе — неизменно находившиеся под рукой предметы его повседневного бытования, как-то: ножницы и ножички, линейки и циркули, карандаши и перья, резинки и скрепки, иголки и нитки, чернила и клей, папье-маше и тетради, альбомы и газетные вырезки и многое-многое другое, разложенные по коробкам, банкам, папкам, футлярчикам. Трудно было со всем этим враз расставаться. И ничего из этих привычных вещей Кирилову не хотелось оставить здесь. Все чудилось: лиши его вдруг всех этих — совсем вроде незначительных — канцелярских принадлежностей, и он превратится в ничто и сам себя не узнает, не говоря уже о других. Ведь что там ни говори, а именно эти милые его сердцу вещички связывают нынешнего везучего, поднявшегося на головокружительную высоту важного господина с недавним заурядным, мало кому известным писаришкой Кириловым, день-деньской копошившимся в бумагах. Ныне, хвала господу, он достиг и чести, и славы, и кое-какого состояния. И подчиненных, внимающих каждому его слову, предостаточно. То злосчастное время, когда он, без чинов и званий, униженно гнул спину и чувствовал себя одиноким пешим, бредущим в обшарпанных, скосопяченных сапогах по пустынному льду, ежеминутно опасаясь поскользнуться и шлепнуться посреди белого дня, осталось, кажется, навсегда позади. Теперь, через год-другой, бог даст, огромная часть великой империи за Волгой окажется в полномостном его подчинении. И никто в том краю ему не указ! Горделивые мысли эти пьянили Кирилова, и тогда все эти невинные канцелярские вещички, ставшие за долгие годы неотъемлемой частью его существа, чуди-

лись еще более близкими и дорогими. И он чувствовал себя на распутье, не зная, какие из них ему оставить здесь, а какие забрать с собой.

В самом деле, своей удаче, своей неожиданной карьере он всецело обязан им. Подумать только: вся его судьба зависела от этих мелких вещичек, сопровождающих непритязательную жизнь канцеляриста. Кем бы он стал без них, сын скромного, безвестного писаря, еле-еле сводившего концы с концами? Да что там, и в люди-то он выбился благодаря чернилам и перьям. Иначе и поныне маялся бы на окраине большого города, в мазанке-завалюшке на отшибе, в тесных, грязных улочках, где ютились сапожники, извозчики, истопники, прачки и кухарки и прочий бесталанный люд, и никогда, никогда не добиться бы ему тех почестей и славы, которыми вознаградила его судьба, должно быть, за прилежание и старательность.

Теперь, размышляя об этом, Кирилов нередко ощущал в груди странную слабость, и сердце сладко щемило то ли от гордости за себя, то ли от жалости к себе. Ему, долгие годы заботившемуся, главным образом, о хлебе насущном, не вылезавшему из нужды, женившемуся лишь по горькой необходимости, разные нежные чувства были непозволительной роскошью, даже о любви ему доводилось читать только в романах, поэтому душевное волнение он склонен был считать скорее блажью или неожиданным телесным недомоганием и всячески избегал его. Однако теперь, достигнув высокого положения при царском дворе, он мог изредка позволять себе расслабляющую дух чувствительность.

Да, всех этих благ он добился с помощью обыкновенного гусиного пера, которым натер себе мозоль на среднем пальце правой руки, и не избавиться ему от этой мозоли, должно быть, до конца дней своих.

Покойный отец, тоже не расстававшийся с пером и ослепший над бумагами, мечтал об иной судьбе для сына, не хотел, чтобы он прокоротал свою жизнь в четырех стенах, а вырвался на вольный, свежий ветер и познал чужедальные страны. С этой целью он определил тринадцатилетнего бледного отрока в открывшуюся впервые в Москве школу навигации. Но не вышло из сына отважного мореплавателя. Хотя и окончил старательный юнец школу успешно, но по причине хилого здоровья был вы-

нужден довольствоваться местом письмоводителя в захолустном Елецке. Однако в пору крутых преобразований в годы царствования Петра стольник Холопов собрал в Москве двенадцать способных юношей, выказавших прилежание и усердие в канцелярском деле. Среди них оказался и Кирилов. Потом, при распределении, ему выпал жребий трудиться в канцелярии по расследованию особо важных преступлений. Здесь ему, однако, не сразу доверили стол, и он вынужден был некоторое время слоняться бездельно и бесцельно по улицам. О том времени он и ныне вспоминал с содроганием. И от этой тайной канцелярии, наводившей на многих знобкий трепет, он в конце концов отделался опять-таки благодаря гусиному перу. Иначе, кто знает, может, он и поныне слонялся бы по углам и подворотням, часами высматривая и выслеживая опасных преступников или подозрительных лиц, разделяя незавидную судьбу множества шпииков и соглядатаев. В руки кому-то из начальства, должно быть, случайно попало одно из его тайных донесений. Бог весть, как он отнесся к содержанию того донесения, но уж очень приглянулся начальнику почерк. Кирилов и сейчас еще живо помнит, как вместе с многими сыщиками торчал, бывало, в очереди с утра в огромном зале серого сумрачного дома и нетерпеливо ждал, когда из-за тяжелой окованной двери с решетчатым окошком вызовут их и дадут задание, после чего они, точно тараканы из всех щелей остывшего запечья, разбегутся врассыпную кто куда. Помнится, они друг друга даже и в лицо не знали. Приподняв воротник и отворачивая лицо, проходили к начальнику. Так же, молча и хмуро, выходили от него. Потом незаметно, тихо разбредались по улочкам и закоулкам, словно растворялись в тумане, в сумраке... В тот день его вызвали последним. Насупленный, с толстой бычьей шеей начальник, сидевший за деревянной перегородкой, выпучил большие, с красными прожилками глаза на тщедушного робкого агента, словно тот не за поручением пришел, а занимать деньги, и буркнул себе под нос:

— Кирилов, валяй к следователю!

— Зачем?

Но ответа не последовало. Осторожно, словно боясь оступиться, робко озираясь по сторонам, он пробрался в кабинет следователя. Следователь сидел в просторной выстуженной комнате в толстой шубе, бурясь за сто-

лом, и, не глядя на вошедшего, кивнул подбородком в сторону маленького столика в углу. С этого дня ему поручили записывать показания преступников и свидетелей во время допроса. Новой своей должности Кирилов был несказанно рад.

Потянулись однообразные, тусклые дни. Каждый божий день одно и то же. Крики, ругань, мордобой, плач, стон, угрозы, кровь, проклятия. Казалось, бесконечно длился кошмарный сон. Кирилов, прямой как кол, сидел в своем углу за маленьким столиком и, не поднимая головы, старательно водил пером по бумаге, записывая вопросы следователя и ответы допрашиваемых. В сумрачной, с низкими потолками комнате стояла ледяная стынь, но ражие детины, свирепо вращая глазами, разгоряченные, потные, приводили каких-то людей, избивали, понемногу сатанея, их в кровь, потом куда-то их выволакивали, а Кирилов все строчил и строчил, стараясь не упустить ни одного слова и, конечно, не знал, не ведал о том, что во время допросов заходившие ненадолго разного рода высокие чины в белых воротничках обратили внимание на молчаливого и старательного писаря. Однажды, знакомясь с делом важного расследования, какое-то высокородие невольно воскликнуло: «Ах, какой, однако, почерк! Истинный бисер!» Этого было достаточно, чтобы вскорости Кирилов очутился в только что образованном Сенате. Некоторое время он ходил в простых переписчиках. Потом дорос до секретаря. В то время Сенат не пустовал, как ныне. В нем бывало оживленно,людно. Двери его не закрывались с утра до вечера. Сюда заглядывали не только важные господа по делам службы, но и разношерстный люд со всех уголков необъятной России в поисках правды и справедливости. Понятно, что вельможам и высокородным господам было недосуг всех встречать-привечать, выслушивать все просьбы и жалобы, разводить с каждым встречным-поперечным тары-бары. И многие из посетителей довольствовались тем, что выкладывали душу перед каким-нибудь заштатным чиновником вроде Ивана Кирилова, быстро усвоившим бюрократические замашки и научившимся выпроваживать докучливых просителей чаще всего ни с чем.

Однажды, в обеденное время, в кабинет, где он сидел, ворвалась вдруг свора зверей — куница, соболь, рысь, корсак, барс и бог весть еще кто. Кирилов опешил. По-

том это оказалась диковинных размеров шуба из дорогих мехов на саженных плечах бородатого верзила. В маленьком затхлом кабинете тотчас запахло хвоей и смолой. Верзила, не говоря ни слова, горой двинулся к нему. Половицы заскрипели под ним. Он подергал-подергал широченный кожаный пояс, резким движением сбросил огромную шубу, грубо сшитую из дорогих шкурок разного таежного зверья, сложил ее пополам и швырнул небрежно на стул возле стола, а потом и сам взгромоздился сверху. Лишь после этого хмуро уставился из-под кустистых бровей на чиновника за столом, будто спрашивая: «А ты кто такой будешь?!» Смотрел долго, пристально; наконец потянулся рукой к поясу, наброшенному на спинку стула, взял пузатенький, расшитый бурдючок, пристегнутый к поясу, побултыхал его содержимое, откинулся вдруг всей тяжестью на спинку так, что стул затрещал, застонал под ним, потом широким жестом протянул бурдюк Кирилову. Тот отшатнулся, чуть осклабился, замотал головой:

– Покорнейше благодарю.

Широкое обветренное лицо гостя побагровело, точно распаренное в бане. Светло-голубые глаза-буравчики вновь нацелились на Кирилова. Потом верзила отвел взгляд, сделал рукой короткий жест, как бы говоря: «Ну и черт с тобой! Не хочешь – не надо!» и поднес горловину бурдюка к широкой пасти под густыми рыжими усами. Огромный, с кулак, кадык задвигался взад-вперед, в горле забулькало, точно в бездонной бочке. Потом верзила шумно выдохнул, вытер рукавом рот, потянул носом. Так же, не торопясь, повесил пояс снова на спинку стула, хлопнул себя с силой по правому колену, утробно забубнил. Представился он казачьим атаманом Афанасием Шестаковым. Приехал из Якутска, что на краю земли. Дело у него небольшое, но важное. Он считает нужным сообщить правительствующему Сенату вот что. Стоит только шаг ступить за пределы избяной, соломенной, прокопченной, нищей России, как наткнешься на несметные богатства. На нем ныне сидят ни сном ни духом о том не ведающие малочисленные таежные, лесные, степные племена. И, кроме русских, пока что на всех просторах Российской империи не видать такого народа, который мог бы с умом и пользой для отечества и сограждан своих воспользоваться наземными и подземными сокровища-

ми, коими щедро наделена неоглядная ширь между двумя великими океанами. И если за освоение этих богатств не примемся мы, русские, еще долгие годы лежать кладу без какой-либо пользы. И сколько еще можно ждать, сколько еще медлить, изнывая от тоски, точно ядреная неутешная баба, дожидаящаяся возвращения мужа из солдатчины? Разве не настала пора всерьез думать о неслыханном дармовом добре, без толку пропадающем на широких ковыльных просторах, а также в непроходимых сибирских лесах, в которых обитает одно лишь зверье? Разве не кощунственно не брать того, что само просится в руки? Какой в том смысл — торчать в этом туманном, сыром городе, тесных каменных мешках этих, прислушиваясь к лепету горстки безродных чужеземцев, ловко задуривших матушке-царице голову и жадно ловящих мерзопакостные сплетни из ее спальни, вместо того чтобы бросить клич расторопному и предприимчивому русскому мужику: «Давай, ребята, подавайтесь на север, на восток, на волюшку вольную и гребите богатство, сколько душе угодно!»

Все более распаяясь, грохоча утробным басом, Афанасий Шестаков высказал все, что накопилось, видно, в его душе за многие годы и напоследок разразился отменным русским матом, неизвестно кому адресованным — то ли Кирилову, с разинутым ртом уставившемуся на его крупные, желтые от махорки зубы, то ли самодержавной русской царице, то ли самому господу богу.

Широко, по-медвежьи ступая по скрипучим половицам, казачий атаман, подхватив пеструю, мохнатую шубу, вышел, однако задел какие-то затаенные струны в душе невзрачного, услужливого секретаря, пробудил что-то сокровенное в нем, оставив после себя стойкий, дразнящий запах хвойных лесов и вольных сибирских просторов.

С той поры Кирилов с особым рвением и пристрастием начал выпытывать у каждого посетителя: откуда он родом, из каких краев прибыл, каковы особенности и приметы той местности, с каким народом или племенем соседствует. Особенно радовался он встрече с людьми бывалыми, пожаловавшими в столицу из далеких диковинных окраин. И уж вовсе Кирилов не оставлял в покое тех, кто участвовал в дальних военных походах или выезжал куда по поручению коллегии иностранных дел, пря-

мо-таки преследовал их по пятам, выспрашивая всевозможные подробности. Разузнав все, тут же по свежей памяти аккуратно заносил на бумагу. Именно в эту пору появилась в нем страсть к географическим картам. Отныне он уже не довольствовался устными рассказами собеседников, а настойчиво упрашивал их по своему разумению начертить карту тех мест, где они накануне побывали.

К его просьбам привыкли. И вскоре те частые посетители Сената, имевшие обыкновение приходить к иным чиновникам с туго набитой мошной, к Кирилову заглядывали со свитками бумаг и рулонами карт под мышками. В ящиках его письменного стола и в шкафах, на настенных полках за короткое время накопились целые вороха подобных самодельных ландкарт со всех уголков Российской империи.

Старания его не прошли даром. Великий царь Петр был тогда всецело поглощен баталиями на севере и в столице своей бывал лишь изредка, но при этом каждый раз непременно заглядывал в правительствующий Сенат.

Тот день запомнился Кирилову на всю жизнь... На одном из заседаний Сената в декабре 1724 года возник вдруг разговор о Сибири... Петр, закинув ногу на ногу, сидел во главе стола и рассеянно смотрел в окно, точно любясь причудливой изморозью на стеклах. Совершенно неожиданно для всех буркнул:

— Имеется ли карта сибирского края? Принесите.

Сидевшие за столом украдкой переглянулись. Все знали, что такой карты не существует, но никто не осмелился сказать о том царю. Царь же обо всем сразу догадался, но сделал вид, будто ничего не замечает, и продолжал отрешенно смотреть в окно. Наступила тягостная пауза. Все, затаив дыхание, краешком глаз следили за царем. Вот, наконец, дрогнул в ухмылке кончик тонких усов. Сейчас царь, продолжая ухмыляться, повернется лицом к ним. И когда сам грозный император обращает на тебя свой взор, разве ты посмеешь опустить голову и прятать глаза? Нет уж, извольте глядеть прямо! Далее произойдет то, что бывало уже не раз. Черные, лоснящиеся, точно шерсть выдры, усы вдруг затрепещут, задергаются и ошептятся, разом лишаясь блеска; большие черные глаза округлятся в гневе, в бешенстве, выкатываясь белками; горделивая голова надменно вскинется, и царь скажет сквозь зубы, как пригвоздит:

— Дерьмо вы, а не Сенат!

Но на этот раз до этого не дошло. Царь только открыл было рот, как поднялся с места Кирилов и сказал:

— Ваше величество! Такую карту можно изготовить, используя имеющиеся схемы по Сибири и Камчатке.

Воцарилась тишина. Никто не посмел шелохнуться. Поступок Кирилова был неожиданностью для всех. Не успевший разразиться яростью царь вскочил и устремил свой бешеный взгляд на дерзкого чиновника. Он раза два судорожно повел кадыком, как бы сдерживая вырывавшееся наружу едкое словцо, потом мгновенно побагровел лицом, а в черных зрачках полыхнул огонь.

— В таком разе требую собственноручно вычертить сию ландкарту за сутки! В противном случае считай, голубчик, что дни твои на этом свете сочтены!

И вышел, широко, по-журавлиному ступая.

На другой день, мельком взглянув на новенькую, аккуратно вычерченную карту, царь грохнул кулачищем об стол и громко воскликнул:

— А ты, Кирилов, я чую, упрямее самого осла!

Свечи затрепетали в канделябрах. Казалось, обрушится сейчас потолок. Указка выпала из дрожащих рук Кирилова. Царь уткнулся в развернутую перед ним огромную карту и довольно похохотывал.

У присутствовавших глаза полезли на лоб. И Кирилов почувствовал, как две холодные капли пота, стекая от висков, точно превратились во что-то острое, грозя вонзиться в горло под самым подбородком.

Царь еще более потемнел лицом.

— Брюс!

Шотландец Брюс, сидя в углу, с любопытством разглядывал явно растерянных русских вельмож и от неожиданности вздрогнул, точно со сна.

— Подойди сюда!

Брюс, заплетаясь ногами, робко двинулся к царю.

— Ну, чего скукожился? Живей, живей!

Бедный Яков Виллимович засеменял сноровистее. Подбородок его мелко-мелко дрожал.

— А еще слынешь президентом Берг- и Мануфактур-коллегии! А то делать не можете, на что горазд простой письмоводитель. До сего дня Кирилов исправно переписывал все ваши зело многие прошения и реляции, в коих вы печетесь о процветании российской науки. Теперь на-

стал черед вам переписывать то, что во имя вящей славы отечества сочиняет Кирилов. Уж коли вам несподручно изготовлять ландкарты, может, приложите усердие их переписать и умножить?

— Как прикажете, ваше императорское величество, — дрожащим голосом ответил Брюс.

— Кирилов! — вновь вскрикнул царь.

Кирилов еще более вытянулся, замер, ни жив ни мертв. Невидимые иголки под подбородком обжигали холодом, больно впились в горло.

— С сегодняшнего дня быть тебе обер-секретарем Сената!

Вздых облегчения, казалось, прокатился по залу правительствующего Сената. Царь скрутил в тугую рулон ландкарту, самолично сунул ее под мышку Брюсу, потом подошел к стоявшему в стороне Кирилову, ободряюще хлопнул его по спине и, круто повернувшись, зашагал к выходу. Вслед за царем один за другим подошли к Кирилову и остальные вельможи, на мгновение застыли перед ним, отвешивали поклон и направлялись к своим экипажам у подъезда.

В огромной зале Сената Кирилов остался один. Он еще никак не мог прийти в себя и сообразить, что же случилось. Повернулся было в ту сторону, куда только что направился царь, и опять почувствовал, будто что-то вонзилось ему в горло. Он вздрогнул, похолодел весь. Неужели, перед приходом царя, волнуясь, впопыхах воткнул иголку, которой сшивал бумаги, в ворот мундира? Он поднес руку к подбородку и опешил: весь ворот его был мокр. Только теперь он догадался, что все это время он беззвучно плакал. Крупные слезы катились по его щекам, скапливались у подбородка, потом тонкой струей стекали под ворот.

Вконец измученный, он плюхнулся в рядом стоящее кресло, согнулся, как подкошенный, скрючился и, давясь от слез, затрясся всем телом, не в силах сдержать себя, успокоиться.

Первый раз в жизни он плакал навзрыд от радости и счастья.

С тех пор при слове «Сенат» всем прежде всего вспоминалось имя Кирилова. В кабинете обер-секретаря появился еще один широченный стол, на котором изготовлялись российские ландкарты. За этим столом, не

разгибая часами спину, и проводил Кирилов отныне основную часть своего времени. Целыми днями не расставался он с линейкой, карандашом, циркулем и резинкой. Каждый, кто отправлялся в далекий путь или хотя бы намеревался совершить путешествие, считал своим долгом непременно заглянуть в кабинет обер-секретаря Сената. С какими только людьми не сталкивался Кирилов в то время! Однажды к нему ввалился плотный, широкогрудый человек, вырубленный, казалось, из цельной породы. Весь его облик говорил о том, что он мореплаватель. Капитан первого ранга. Лицо круглое, розовое. Брови густые, вразлет. И подбородок мягкий, круглый. И только мощный, с горбинкой, нос и небольшие щетинистые усики под самым носом придавали его женственному лицу грозное, волевое выражение. Кирилов узнал его: Витус Беринг! Датский мореплаватель, честно и преданно служивший России. Однако за двадцать лет безупречной службы, проливая кровь и стойко вынося немало испытаний, он не мог подняться выше капитана второго ранга, и тогда, махнув на все рукой, вышел в отставку. Но не уехал на родину, а поселился в Выборге. И лишь выйдя в отставку, он стал, наконец, капитаном первого ранга. Слыл он человеком честолюбивым, обидчивым и вспыльчивым. И было неожиданно, что этот гордый, знающий себе цену морской волк зашел именно к нему, Кирилову, а не к какому-нибудь высокородному начальству.

Гость заговорил первым, без лишних церемоний:

— Слышал я, что готовится экспедиция на Камчатку. Это верно?

— Верно.

— Коль попрошусь, отправите ли? В том краю, сказывают, пушнины много. Я бы купил по дешевке да и перепродал бы здесь, чтоб семью содержать. А то нужда заедает. Невмоготу стало. Что посоветуете, господин обер-секретарь?

Кирилов сначала решил, что норовистый, язвительный мореплаватель смеется над ним, однако полное лицо его оставалось серьезным и в глазах не мелькнуло лукавинки.

Кирилов с тайным восхищением оглядел знаменитого мореплователя. Сразу было видно: волевой, деятельный. В отличие от своих коллег немногословен. Казалось, каждый шаг, каждый жест, каждое слово на строгом счету.

Прямодушен. Предельно откровенен. Не всем это по душе. Потому, видно, и нажил немало недоброжелателей и неприятностей. Трудно, ох, трудно в холопской России с таким характером! Кому здесь надобны дерзкие прожекты, смелые деяния, решительные действия! Даже тщательно обдуманые, всесторонне взвешенные предложения и те раздражают знатных вельмож, пристроившихся к царскому трону. Не жди, чтобы они поддержали чьи-то добрые начинания. Наоборот, каждый, кто обладает властью, начинает ставить тебе подножку, находить в помыслах твоих изъян, какой-нибудь промах, или норовит приложить свою вельможную руку, всячески раздувая, возвеличивая свои заслуги. К подобным нехитрым уловкам прибегают сейчас в России все, кто только сподобился восседать в креслах. И усугубилась эта напасть особенно со смертью Петра Алексеевича. Крутонравный император мог любого вельможу поставить на место, оглушив его монаршим гневом, и вознести безродного, но усердного писаря до высот небывалых. Тому сам Кирилов бывал не однажды свидетелем. Нынешних вельмож больше занимает какая-нибудь побрякушка на камзоле, нежели чьи-то высокие помыслы и разумные речи. Повальная слезка и дворцовые сплетни-интриги – вот чем заняты их умы, вот что они считают управлением государством. Что ж... так бывает всегда, когда величие подменяется ничтожеством.

Вот и этому упрямому мореходцу вряд ли есть резон обивать чьи-то пороги. Для того, чтобы осуществить ему давнее намерение, наверняка придется многое начать с азов...

К счастью для России, Витус Беринг внял тогда здравому рассудку, прислушался к добрым советам и тем самым получил возможность своевременно отправиться в камчатскую экспедицию.

Глядя на прославленного мореходца, с детской непосредственностью радовавшегося своей удаче, Кирилов про себя горестно усмехнулся. В душе скромного и прилежного канцеляриста, выше всего в жизни ставившего учтивость и исполнительность, послушание и усердие, равно как беспрекословное чинопочитание, словно очнувшись вдруг, тоскливо заскулил щенок. То была тайная зависть.

В самом деле, скольких сынов России он подвигнул на дерзновенные деяния, способствуя тем самым приумно-

жению могущества и славы отечества! А сам-то? Когда же он сам отправится в неведомые дали? Или ему, как опасался покойный отец, суждено всю жизнь сидеть в четырех стенах, точно прикованному к письменному столу? Он, Кирилов, никогда не чуравшийся никакой работы, равнодушный ко всяким житейским страстям и соблазнам, и не предполагал, что в его душе способна угнестись какая-то еще зависть. Он испытывал стыд от того, что низменное чувство это проснулось, в нем не к кому-либо, а именно к знаменитому мореплавателю, который сам за свою жизнь хлебнул горя с лихвой. И, должно быть, потому достохвально отзывался о Беринге, где только мог. Даже в недавнем поданном царице представлении о планах и целях новой экспедиции Беринга Кирилов не пожалел красок, восторженно описывая значение его первого путешествия на Камчатку. Только так, полагал он, можно вытравить из себя недостойное чувство зависти. Иначе она подспудно, незаметно завладеет всем твоим существом и лишит тебя покоя, пока не ввергнет в пучину беды. Человек и отличается от животного тем, что может подавить в себе подлую, холопскую зависть и подчинить свои чувства холодному, здравому рассудку. Тот, кто становится рабом зависти, уподобляется злому псу, которому рано или поздно выбьют клыки. Поборов в себе черную зависть, кто знает, может, ты и изведешь со временем настоящую удачу. А если и не повезет, то по крайней мере никому не причинишь горя и никому не станешь в тягость.

И вот, кажется, тот желанный миг настал: фортуна улыбнулась тебе, и ты нынче в фаворе.

Кирилов достал из ларя два увесистых фолианта. Полистал с благоговением первый из них. Над этим трудом он, не жалея сил и тщания, корпел долгие десять лет. И на издание его едва не угробил все свое состояние. Что только ни приходилось изучать ради создания этого фолианта! И историю, и географию, и математику, и основы геодезии и картографии, которые прилежно усваивал в адмиралтействе и военной коллегии. А скольких людей, отправляющихся в дальние походы и путешествия, он терпеливо обучил азам картографии, дабы могли они его снабдить необходимыми сведениями о всех землях Российской империи. Главной его мечтой было создать и издать трехтомный «Атлас Российский», включающий сто

двадцать карт. И вот с превеликим трудом увидел нынче свет его первый том из двадцати шести ландкарт. Ни одной ржавой копейки не выделял Сенат на его издание. Все немалые расходы понес лично он, Кирилов.

Он погладил добротный переплет, прочитал, шевеля губами, длинное название: «Атлас Всероссийской Империи, в котором все царства, губернии, провинции, уезды и границы, сколько возмогли российские геодезисты описать оныя и в ландкарты положить по длине и широте, точно изъясняются и города, пригороды, монастыри, слободы, села, деревни, заводы, мельницы, реки, моря, озера, знатные горы, леса, болота, большие дороги и протчая со всяким прилежанием исследованные русскими и латинскими именами подписаны имеются трудом и тщанием Ивана Кирилова». Что и говорить, зело длинным получилось название, зато исчерпывающе ясно и понятно. Он старался, чтобы его атлас отразил все, чем примечательны необъятные российские просторы. Даже малой малостью не пренебрег.

Нынешний год выдался на редкость удачливым. Не успела высохнуть краска первого тома «Атласа», как вышел из типографии второй его значительный труд с надписью на русском и латинском языках: «Генеральная карта о Российской империи, сколько возможно было исправно сочиненная трудом Ивана Кирилова, обер-секретарем Правительствующего Сената, в Санкт-Петербурге, с 1734 г.».

Обе книги произвели фурор в столице. Ученые Петербурга и Москвы разобрали их мигом. Ими заинтересовались и иноземцы. Они умоляли своих петербургских знакомых раздобыть для них хотя бы один экземпляр трудов Кирилова.

По одному экземпляру своих книг автор изготовил в золотом тиснении, положил в дорогой ларец и все ждал случая, чтобы вручить их самой императрице. Случай этот вскоре подвернулся. Вызвал обер-секретаря как-то Остерман и сообщил, что царица заинтересовалась его трудами. Кирилов несказанно обрадовался своей дальновидности и предусмотрительности. Он долго умолял искусного художника снабдить титульный лист «Атласа Всероссийской Империи» символической картиной. Россия была изображена в образе миловидной женщины в золотой короне, в пышном белом платье и с распущенными по плечам волосами. Перед мудрыми очами женщи-

денное оспой, грубой ковки лицо царицы никак нельзя было назвать красивым. Да и думалось невольно все время о том, как такую тяжесть выдерживает хрупкий диванчик с точеными тонкими ножками. И непонятно было, каким образом эта в общем-то вполне обыкновенная, уже в годах женщина достигала внушительности и властности. Неужели благодаря одной лишь царской короне? Кирилов, мельком взглядывая в лицо императрицы, никак не мог это для себя определить, но смутно находил какие-то знакомые черты.

– Предложения твои, любезный Иван Кирилович, не лишены основания. Более того, они столь резонны, что не терпится увидеть все это скорее осуществленным.

Императрица скосила на него пытливый взгляд. Он хотел было встать, но она остановила его легким жестом.

– Покорно благодарю, ваше величество, – пролепетал только он.

– В ближайшее время будет выработана инструкция о надлежащих претворению задачам экспедиции и о мерах их осуществления. Не так ли?

Остерман встал.

– Поистине так, ваше величество!

– Сиди, сиди, голубчик... – И, выждав, пока Остерман снова сел, поинтересовалась: – Из скольких регул состоит инструкция?

– Из сорока одного.

Императрица чуть улыбнулась.

– Иван Кирилович, ты ознакомился с проектом?

– Конечно, ваше величество.

– И как изволишь судить?

– Полагаю, все по делу и уместно.

– О, сие лепо слышать!

Хотя обе стороны расположились примерно на одном уровне, но беседа протекала отрывисто, сбивчиво, на короткий вопрос тут же следовал короткий ответ, словно одна из сторон находилась на вершине горы, а другая – у ее подножия.

– Положение в оных краях тебе, Иван Кирилович, более ведомо, нежели нам, – продолжала царица после недолгой паузы. – По приезде осмотришь и действуй согласно обстоятельствам. Однако ж главную цель из виду упускать не следует. Прежде всего нельзя спускать глаз с

башкирцев и киргиз, кои хотя и подданные наши, но проявляют легкомыслие и строптивость. Разумно, дабы стояли они между собой в явной противности. Что принадлежит до Хивы, с которою ныне наш подданный Абулхаир-хан имеет войну, в том ему не токмо не мешать, но и поощрять. Помогать ему порохом и ружьем, токмо наших собственных войск в помощь не давать. И еще помнить надобно об аманатах. Не так ли, Андрей Иванович?

Остерман с готовностью кивнул. Стало понятно, что они предварительно обо всем договорились. Кто знает, сколько советников скрывалось за каждой фразой, слетавшей сейчас с уст ее императорского величества. Кирилов сразу же заметил, что главные положения инструкции основаны на его же представлении, составленном недавно. Часть этих мыслей он с прошлого года усердно внушал Бестужеву-Рюмину. Ему же, Кирилову, о том в свое время говорил Тевкелев, который, надо полагать, заимствовал их у степных заправил в мохнатых шапках-треухах. Потом эти мнения, суждения, мысли, кое-как пережеванные Остерманом и Бироном, дошли до царицы и теперь через ее уста вновь возвращаются в форме высочайшей инструкции к Кирилову. Самое поразительное, что царица ни сном ни духом о том не ведает и говорит с таким убеждением и уверенностью, будто прошлой ночью сам святой дух нашептал ей про все на ушко. «Да-а, — подумал про себя Кирилов. — Власть — всемогущая сила. Обладая властью, можно себе позволять многое. Можно присвоить себе чужие мысли, чужие деяния, и никто перечесть тебе не посмеет. Ибо ты — власть. Ты волен казнить или миловать. Услышав свои же суждения из монарших уст, едва ли не каждый чувствует себя благодетельствованным и начнет твердить о том с холопским усердием. Поистине: слово владыки — свято...»

Кирилов спохватился, поняв, что невзначай поддался течению еретических размышлений. Весь напрягся, принял учтивый вид, точно послушный ученик перед суровым наставником.

— В аманатах башкир мы много неудобств претерпели. Аманатами нам был представлен всякий низкий и непристойный люд, а на нас потом за него ответственность налагали. По неразумению нашему мы оных аманатов даровой амуницией и харчами обеспечивали, а башкирцам

они и не нужны были. Впредь такому не быть. Брать надлежит от ханов и от старшин кайсацких лучших детей под образом аманатства, чтоб вернее и надежнее были. И еще резонно создать суд из аманатов, дабы согласно своим обычаям и законам кайсаки промежду себя сами справедливость чинили. Негоже нам в каждую их ссору вмешиваться. Пусть то сами рассудят. Однако ж надобно, чтоб каждый гостинец или чин, даруемый нам оным кайсакам, крепкой петлей захлестывал им горло. Не так ли, Андрей Иванович?

Вице-канцлер усердно закивал головой, всем своим видом показывая, что весьма доволен правильным ответом старательной выученицы.

— Совершенно верно примечено тобой, любезный Иван Кирилович, в представлении, что нам не долженствует выражать свой гнев к новоподданным. Пусть наш гнев обрушится на них под образом калмыцкой плетки, казачьей секиры или башкирской пики. Нам же следует более чинить им милость, ласку, справедливость и удовольствие показывать и между тем к распорядку приводить, дабы к службе нашей против наших неприятелей были удобнее. Новоподданные туземцы — не российские мужики, коих можно в любое время бить батогами за непослушание и дерзость. От битья российский мужик становится только покладистее. А кои самые дерзкие, убегают в неведомые края, поселяются там, и тем самым российские владения приумножаются. С дикими же туземцами надобно осмотрительнее быть. Иначе они отвернутся и примкнут к Китаю или к мусульманским ханам на юге, кои их всякими посулами прельщают. С новоподданными придется пока несколько поцеремониться, дабы нам никакой худобы чинить не помышляли. А ежели они, зарвавшись, станут строптивиться, то надлежит дать им знать, сколько весит наш кулак, дабы пред российским могуществом достойного решпекту имели.

На этот раз одобрительно закивали головами Остерман и Кирилов одновременно.

Императрица, судя по всему, осталась весьма довольна своей речью. Сделав паузу, сказала:

— Ну, говори теперь ты, Иван Кирилович!

— Ваше величество, не пожалею сил и живота своего ради исполнения высочайших указаний. А за оказанное

мне доверие обещаю по возможности своей до конца дней своих со всяким усердием и верностью служить.

Кирилов вскочил, и голос его прозвучал уверенно, громко. И императрица на тот раз не просила его сесть.

Поднялся вслед за ним и Остерман.

— О чем же просишь?

— Ваше величество! Смею напомнить: киргиз-кайсацкие степи — дикий, неизученный край. Посему экспедиции необходимы и искушенные в науках люди. Позвольте включить в нее нескольких преуспевающих учеников из Греко-славяно-латинской академии в Москве, а также аглицкого капитана, астронома и математика Эльтона и профессора ботаники Гейнцельмана.

Императрица задумалась.

— Подумать надобно. Еще о чем просить намерен?

— Ваше величество, о Тевкелеве за его службы, усердия и старания пред империею милостиво рассмотреть и, ежели возможно, пожаловать каким чином...

Императрица чуть усмехнулась. И тут только Кирилова осенило: так, бывало, ухмылялся царь Петр Алексеевич. Но его ухмылку, помнится, смягчали, как бы скрадывали тонкие блестящие усы. Ухмылка же Анны Иоанновны придавала ее грубому лицу еще большую холодность и суровость. Вообще в лице царицы можно было заметить схожие черты с ее великим дядей. Только черты эти очень украшали властный и вдохновенный лик царя Петра, а лицо императрицы Анны уродовали, придавая ему мужеподобность.

— Да, Тевкелев с честью выполнил возложенное на него задание. И мы, Андрей Иванович, разве не пожаловали ему чин полковника? Ну, вот... Теперь положим ему еще две тысячи рублей жалования. Заслуги перед империею всегда будут оценены по достоинству. Не так ли?

— Поистине так, ваше величество.

Кирилов не сразу понял, на что намекала императрица, но, выходя из ее апартаментов, вице-канцлер приоткрыл завесу тайны.

— Всего доброго, ваше превосходительство, — сказал на прощание Остерман, особо подчеркивая голосом последнее слово.

— До свидания, ваше сиятельство!

И тут только дошло до сознания. Что он сказал? Ваше превосходительство? Какое еще превосходительство?

Однако вице-канцлер не из тех, кто может оговориться... Выходит, ее величество императрица произвела его сразу в статс-советники?! Да возможно ли такое?! Статс-советник...

И все-таки... В канцелярских делах он, Кирилов, собаку съел, и уж кому, как не ему, доподлинно знать, что по табели о рангах, введенной Петром Великим, «превосходительством» надлежит называть лишь чинов третьего и четвертого разряда, а именно генерал-майора, генерал-лейтенанта, правительствующего статс-советника и тайного советника. Следовательно, он, обер-секретарь Сената, в одночасье произведен в статс-советники. Вот это карьера! Это называется – одним махом семерых побивахом... Не было ни гроша, да вдруг алтын.

Он шел домой – не чуял земли под ногами. Широко, рывком, распахнул дверь, глянул в круглое настенное зеркало в прихожей и увидел в нем не унылого, скучного обер-секретаря, а молодежавого, с румянцем во всю щеку, незнакомого мужчину, который, несмотря на свои сорок пять лет, казалось, только что вернулся со свидания с юной девой. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» – проникновенно и с нежностью сказал ему Иван Кирилов, которому еще лишь считанные дни оставалось ходить в обер-секретарях.

Конечно, Кирилову было ведомо, что всегда, во все времена бывали такие баловни судьбы, редкие счастливицы, которым удавалось разом вспорхнуть на непостижимые высоты. Но нельзя было не удивляться тому, что на этот раз капризная птица счастья, никогда не отличавшаяся разборчивостью, безошибочно избрала достойного. А в том, что он достоин такой судьбы, Кирилов не сомневался.

Где власть, там кипят страсти. Там роятся и слухи-сплетни. Одному создателю ведомо, о чем начнут перешептываться в стольном граде, когда завтра будет объявлен указ императрицы. Пусть!.. Пусть говорят что хотят. Главное, он, Кирилов, своего достиг! И главная цель его – отнюдь не высокое положение, не титулы, не выгодная служба и даже не те три тысячи рублей, которые ему положены с завтрашнего дня. Высшая его мечта – получить возможность всецело заниматься любимым делом во славу отечества, все силы и порывы без остатка посвятить России. И вот теперь, кажется, мечта его так близка, как никогда.

У Кирилова сладко кружилась голова, горели щеки и мечтательно туманились глаза, точно у девы, выходящей замуж за возлюбленного. Далекое, неведомое края... Вдохновенный труд... Великие деяния, столь необходимые великой державе и народу российскому.

Непритязательным, неприметным с виду Кириловым руководило непомерное честолюбие. Его не привлекала скоротечная слава царей, которая вспыхивала и угасала вместе с их короной. Он грезил о славе стойкой, немеркнувшей, неотделимой от славы России. И до славы этой было теперь рукой подать. Первый к этой славе шаг — его предстоящая экспедиция в неведомые киргиз-кайсацкие дали. В экспедицию он возьмет с собой самых нужных ему, дельных людей, самые необходимые, дорогие ему вещи. Там, в экспедиции, он осуществит, наконец, самые сокровенные свои намерения и планы.

Вот она, рукопись, над которой корпит он уже столь давно — «Цветущее состояние Всероссийского государства». В этом труде обстоятельно, со всеми подробностями будет рассмотрено и изложено состояние двенадцати губерний России. Сюда будут также включены подробные сведения о новых провинциях, землях, вступающих в российские владения, а также о разных народах и племенах, их нравах и обычаях. Наверняка допишет он и новые главы о башкирах и киргиз-кайсаках, к которым намерен отправиться в ближайшие дни. И с этой рукописью он уже не расстанется до тех пор, пока не будет поставлена в ней последняя точка. Теперь уже ни на минуту не выпустит он ее из виду. А вот материалы по «Истории Свейской войны», которые он собирал по поручению кабинет-секретаря в царствование Петра Алексея Васильевича Макарова. Какая, однако, досада! Когда вчера ее императорское величество спросила «Что еще желаешь?», он от растерянности промолчал. Прямо напрочь вылетело из головы. Многие редкие, ценные книги из архива Сената в свое время перетащил к себе домой бывший вице-канцлер Павел Петрович Шафиров, чтобы написать книгу по истории России. Но сие намерение не осуществилось. Бедняга навлек на себя грозный гнев императора. Доступ к наследию подобных мужей затруднен: на то надлежит иметь разрешение самой венценосной правительницы либо верховного прокурора. Теперь уже

неудобно вновь обращаться с такой просьбой к императрице. А вот решится ли дать такое дозволение обер-прокурор Анисим Маслов — это еще как сказать.

Иван Кирилов посмотрел на громадный сундук в углу кабинета, в котором хранилась всякая всячина. Это — разные пособия, учебники, необходимые для открываемых им в будущем башкирских, киргиз-кайсацких, каракалпакских школ. Хочешь не хочешь, а учить-обучать туземцев придется. Кое-кто считает, что образование инородцев бедой же обернется для России. Сущий вздор! Неуч не способен понять простых слов. Это все равно что строптивый неук. Попробуй удержать его все время на привязи. Рано или поздно аркан оборвется. И неук умчится, куда глаза глядят. А объезженный обученный конь — что дворняга у порога. Отнюдь не железная узда укрощает дикого коня, а та сытая кормежка, которую суют ему под храп после того, как загонят его в кровавую пену и поставят на привязь. Такой же кормежкой следует соблазнить и инородца. Только кормежка эта — учение, образование. Вкусив однажды его плод, инородец никуда уже не денется, а — смирный и покорный — будет увиваться вокруг тебя, словно замороженный. Образование для него — что путы. И обучать инородцев следует как на русском, так и на их природном наречии. Лишь тогда они познают истинный вкус образованности. Только в таком случае откроются у них глаза и они воочию убедятся в том, насколько пусты их собственные тощие карманы и как туга мощна великой русской державы. Доверять полностью только пушке — неразумно, опрометчиво. Пушкой можно инородцев скорее всего отпугнуть. А в разумных письменах на белой бумаге заключена колдовская сила, подобная красе юной обольстительницы. Она тебя одурманит, приворожит и в рабство обратит. За ней ты покорно затрусись хоть на край света.

Ах, отправиться бы скорее и благополучно в долгожданную экспедицию! Первым долгом он принялся бы за открытие школ для туземцев.

Кирилов с упоением предался сокровенным мечтам, совершенно забыв, что все это время без дела сидит у раскрытого сундука с самыми дорогими для него вещами.

В кабинете царил все тот же тарарам.

Предстояли спешные сборы в дальнюю дорогу.

* * *

Необычно оживленно и шумно было и в тесном дворике при особняке, в котором остановилось киргиз-кайсацкое посольство. Бий Куттымбет и туленгут¹ Байбек собирались в обратный путь, в степь. Им предстояло скорее добраться до хана, сообщить ему тутошные новости.

Успокоить, обрадовать. Доставить грамоту императрицы, передать ее приветы-наказы. Ее императорское величество благодарила киргиз-кайсацкого хана за верную службу России и просила его сообщить биям Большой орды Тюлебию, Кодару, а также батырам Сатаю, Хангельды и Булебеку о том, что милостиво вняла их просьбе принять российское подданство. До Уфы двух кайсаков будут сопровождать трое башкирских биев. Со вчерашнего дня и кайсаки, и башкиры – и те, что готовились в путь, и те, которые пока оставались, – шумной гурьбой слонялись по базару и магазинам столицы. Разношерстный городской люд – как отечественный, так и заморский – с удивлением пялился на шумных, бесцеремонных степняков в просторных чапанах и мохнатых треухах.

– Эй, посмотри! Как думаешь, влезет в них моя баба или нет?

– Мне-то откуда знать? Я ведь твою бабу не лапал.

– Черт знает что! Не пойму никак: для бабы это или для мужика?

– А что тут понимать? Если с разрезом впереди – значит, для мужика. Без разреза – для бабы.

– Каковы сапожки-то, а?! Как раз! Сафьяновые... Таких, думаю, и на базарах Хивы и Бухары не сыщешь.

– Какая жалость, что года уже не те! А то пощеголял бы в таких сапожках, всех аульных красоток свел бы с ума.

– Интересно, какой у русских насвай?

– Насвай покупай вон у той толстозадой рыжухи. С ног сбивает!

– Неужели?! У них ведь изень не растет. Да и золы такой нет...

– Эй, эй! Чего раззевался? Гляди: завязка на штанах болтается. Наступит кто невзначай – и заголишься перед всем честным народом. А кругом – бабы.

¹ Туленгут – зависимый от феодала человек, дворовый.

– Ничего... Пусть смотрят. Здесь обрезанных небось еще не видели...

– Глянь: ну и бородища! Сколько, думаешь, в ней вшей?

– А зачем тебе знать? На развод, что-ли, хочешь взять? Или своих тебе мало?

– Смотрите, вон в карете Мамбет-мурза промчался. Собирайтесь давай! А то еще заблудимся.

– Это не он. Здесь таких карет и золотопогонников – тьма-тьмушая. А Мамбет-мурза вон с башкирами калякает.

– Слушай, будь другом, одолжи мне одну пестренькую. Знал бы, что в них будет нужда, загнал бы на Уфимском базаре добрый косяк бегунцов.

Так шумели, колготали, пугая прохожих, со вчерашнего дня вольные степняки в российской столице. Шум не смолкал и перед самым отъездом путников.

– Куттеке, дорогой, ради аллаха, доставь мои гостинцы сам в мой аул, а? Не доверяю я этому туленгуту.

– А ты сегодня спать ляжешь – положи узелок под бочок. Пусть пропитается твоим духом. Вдыхая его, баба твоя там, в ауле, хоть утешится.

– Ой, не напоминай. А то тебе смешно, нам же, мытарям, хоть плачь.

Укладывая коробки, узелки, баулы с гостинцами на задок повозки, степняки тараторили без умолку.

– Эй, туленгут кривоносый! Доберетесь до Уфы, сам тщательно пересчитай наши подарки. А то у Куттеке сердце мягкое. Выбегут ему навстречу башкирки-красотки, и он мигом им все раздарит.

– Не волнуйся! Башкир и кайсак могут только табун угнать, а на барахло не позарятся.

Наконец с шутками-прибаутками были уложены все вещи. Степняки приутихли. Отъезжающих отводили в сторонку, негромко наказывали, кому что – из родных и близких – передать. У каждого за время разлуки многое накопилось в душе.

К бию Куттымбету тихо подошел башкир Токшара Туйтеев – бий Тлеу-Кубаканской волости, что по Ногайской дороге¹. Держался он всегда особняком, был хмур и оза-

¹ Башкирия тогда делилась на четыре части-дороги: Ногайская, Сибирская, Казанская и Осинская.

бочен. На вопросы отвечал нехотя, говорил неопределенно, дескать, с желудком нелады, должно быть, городская еда не впрок. Чувствовалось, что его что-то постоянно заботит. И на базаре, и в магазинах он стоял все время в сторонке, словно отбившийся от косяка мерин. Совершенно не интересовался покупками, не встречал в разговоры. Интересно, что же ему вдруг понадобилось передать? И почему он избегает своих соплеменников и обращается с просьбой к кайсацкому бию?

Простодушный батыр Куттымбет не стал, однако, о том задумываться. Мало ли какие у человека могут быть тайны?..

— Куттеке, — вкрадчиво начал башкирец, — будете в Уфе — навёрняка не проедете мимо тамошнего правителя. Там работает дворником один старик башкирец. Не смогли бы вы передать ему эту книгу? Еще перед выездом сюда Калмак-Абыз очень просил меня раздобыть в Казани священную книгу «Мухтасар». А кто знает, задержимся ли мы на обратном пути в Казани или нет, и будет ли время искать там книги. Вот я и выпросил ее здесь у одного татарина. Передайте ее тому дворнику и скажите: скоро прибудет к нему человек от Калмак-Абыза, вот пусть ему и отдаст книгу в руки. Будьте добры..

Бай-башкир отчего-то смущенно озирался по сторонам и переминался с ноги на ногу.

— Ну ладно... Чего там?.. — сказал Куттымбет. — Священная книга, думаю, не тяжелее других гостинцев. Не беспокойся, доставлю кому надо.

— Тысяча и одно спасибо! Да поддержит вас в пути всевышний!

Путники еще раз простились со всеми и уселись в повозку. Кайсаки и башкиры, только что весело и громко подтрунивавшие друг над другом, мигом посерьезнели, поутихли и грустно уставились вслед отъезжающим. В глазах стлыла тоска: «Эх, когда же, наконец, и мы тронемся в обратный путь?..»

Желанный день, о котором так долго и страстно мечтал Кирилов, настал. 10 июня 1734 года с утра в дверь Кирилова постучал посыльный ее императорского величества.

— Ваше превосходительство, императрица и самодержица всероссийская желает вас видеть.

Кирилов вскочил, спешно собрался.

На этот раз императрица приняла его в мраморном зале. По обе ее стороны выстроились, точно на параде, одетые по официальному уставу Бирон, Остерман, Бестужев-Рюмин, президент Российской академии Корф.

У императрицы был особенно строгий, даже грозный вид. Она чуть склонила голову, через силу изобразила подобие улыбки и, явно стараясь смягчить грубоватый, как из бочки, голос, коротко бросила Остерману:

– Начинай!

Подчеркнуто исполнительный, услужливый, верткий и, как всегда, безукоризненно одетый вице-канцлер принял еще более напряженную позу и заговорил высоким, четким голосом, словно выступал не перед горсткой приближенных царицы, а на многолюдном сборище. Он сначала объявил указ венценосной императрицы о постройке города в устье реки Орь, коего следовало снабдить людьми и артиллериею, пушками и мортирами и прочим воинским снаряжением. Повелением ее императорского величества новый город надлежало именовать Оренбургом. Остерман хлопнул кожаной папкой и застыл в выжидательной паузе. Императрица слегка откашлялась.

– Надеюсь, ты не возражаешь против такого названия города?

– Никак нет, ваше величество!

Императрица знаком показала Остерману читать дальше. Вице-канцлер все тем же четким, беспристрастно проникновенным голосом перечислил все меры наибо-
рейшего возведения нового города, а также предоставляемые ему привилегии, и опять остановился, точно разгоряченный конь на всем скаку.

– Ты знаком с проектом указа? Что желаешь добавить? Или одобряешь полностью?

– Всецело одобряю, ваше величество!

Императрица вновь кивнула. Остерман взял с круглого столика перед ним еще одну плотную папку с изящным тиснением. То была грамота императрицы Анны хану Абулхаиру. дочитав ее, Остерман перевел дыхание.

– С проектом сей грамоты тебя также ознакомили? Значит, можно надеяться, что в состоянии растолковать киргиз-кайсацкому хану каждое слово и каждую букву нашего соизволения?

– Несомненно, ваше величество!

Остерман тотчас потянулся к следующей папке. В ней

находилась грамота императрицы Анны хану Семеке по поводу его повторной просьбы о российском подданстве.

— Сей документ тебе также известен?

— Разумеется, ваше величество!

Засим была зачитана грамота императрицы Анны старшинам, батырам Большого жуза Кодару, Тюле, Хадкельды, Сатаю и Булеку о согласии на принятие их в российское подданство.

— Согласен ли с сей грамотой?

— Не смею возражать, ваше величество!

В заключение вице-канцлер прочитал указ императрицы о составе Оренбургской экспедиции. Большинство названных лиц оказалось Кирилову знакомо. Почти все они были предложены им самим. Для постройки пристани на Аральском море и налаживания перевоза судов в состав экспедиции, помимо его начальника Кирилова и полковника мурзы Тевкелева, входили один морской поручик, один мичман, один штурман, два кондуктора, один боцман, один помощник-боцман, шестеро матросов, несколько корабельщиков и лодочников в чине капитана, один поручик, двое кондукторов; для организации и налаживания городского хозяйства — один майор, десять прапорщиков, два унтер-офицера, тринадцать капралов; для проведения геодезистских работ и исследований — два поручика, четверо подпоручиков и два прапорщика; для конторских работ — один бухгалтер, один делопроизводитель, один помощник и один писарь; для артиллерийской службы — два бомбардира и четверо канониров. Всех этих участников экспедиции Кирилов заблаговременно отобрал сам. К тому же в Москве к экспедиции должны были присоединиться один горных дел мастер, один аптекарь, один ботаник, один историк, один художник и чертежник, один штык-юнкер; один прапорщик, один комиссар, семнадцать унтер-офицеров, один конторский служащий с помощником, четыре переписчика, один хирург с ассистентом, один священник, а также несколько прилежных студентов из Греко-славяно-латинской академии. Такая представительная, многочисленная экспедиция до ныне в России еще не создавалась. Но и это еще далеко не все! Кирилов получил право включить в свой отряд Пензенский пехотный полк, Уфимский гарнизон, Вологодский полк, половину дворянских рот и казаков из Уфы, Мензелинска, Бирска, равно как и недорослей от-

туда же. Столь многочисленное и доблестное русское войско, никогда еще не вступало в степи за Яиком. И вся эта грозная, мощная сила доверялась всецело еще недавно никому не известному, скромному и робкому писарю Ивану Кириловичу Кирилову! Было отчего кружиться голове!

Новоиспеченный стас-советник так расчувствовался и разволновался, что с трудом удерживал недостойную дрожь в ногах и едва не пропустил мимо ушей вопрос императрицы. К счастью, успел расслышать последнее слово.

— ...доволен?

— Еще как, ваше императорское величество!

— Полагаю, тебе понятно, что в киргиз-кайсацкие степи отправляетесь вовсе не на свадьбу. Должно быть, подстерегут вас и опасности, и суровые испытания. Готовы ли не уронить чести русского мундира и, ежели в том нужда будет, ради славы российской животом лечь?

— Несомненно, ваше величество!

— В таком случае можете ни на миг не сомневаться в том, что Россия, российский народ, российская корона и трон державный никогда не забудут и всегда по достоинству оценят верную службу и доблесть своих славных сынов.

— Да воздаст господь наш за милость вашу, ваше величество!

У Кирилова затуманились глаза, в горле запершило. Господи, дожил, дожил, наконец, до славного, долгожданного часа! Только понимают ли, в состоянии ли понимать всю значительность этого мгновения застывшие сейчас у трона разодетые в парчу и золото сановники? Ай, вряд ли! Разве что один Бестужев-Рюмин? А эти трое чужеземцев бог весть о чем помышляют. Им-то, понятно, какое дело до славы и могущества России? Вон застыли, вытянулись, выражая подобострастие и усердие. А может, и им хоть в какой-то мере открылась историческая значимость предстоящей экспедиции в Степь? Если они хотя бы смутно это чувствуют, то с какой стати они с такой важностью и апломбом втолковывают, внушают ему то, что ему давным-давно до мелочей известно и о чем он уже столько лет с упорством и настойчивостью сам ратует? С какой стати эти господа столько времени с серьезной миной на равнодушно-спесивых лицах зачитывают

ему документы, которые и родились-то под его пером и каждое слово, каждую фразу, даже каждую точку-запятую в которых он успел выучить назубок? Не смешно ли?! Разве не разумнее было бы – вместо долгих речей – просто пожелать ему удачи и доброго пути? Да что о них-то, иноземцах, говорить? Неизвестно еще, разумеет ли сама царица в полной мере о том, какой исторический день для России наступил ныне. Ведь сегодня, если судить здраво, – самый знаменательный день за все пять лет ее государствования. Сегодня осуществилось то, о чем до самой своей кончины так страстно мечтал сам император Петр Алексеевич. Беспредельные просторы Азии, занимающие половину света, окажутся вскорости по божьей воле под могущественной десницей России. О таком счастливом времени никто даже из самых дальновидных и достославных – российских монархов, предшественников Анны Иоанновны, не мог и помышлять. Никогда еще с самого сотворения мира своенравная косяглазая Азия ни одному из европейских владык не покорялась. Доступно ли это твоему бабьему разуму, о, венценосная самодержица российская?! В состоянии ли ты осознать выпавший на твою долю дар судьбы, по которой не кому-нибудь, а именно тебе довелось, восседая на троне в Европе, накинуть подол платья на азиатские равнины? Открылся ли тебе сокровенный смысл той картины на титульном листе многолетнего труда моего, переданного от меня Остерманом? А может, поняв намек, вложенный в картину, ты и решилась на столь величественный жест? Воля твоя, самодержица российская, мне нет дела до твоих тайных побуждений и помыслов, а за благо твое щедрое, за доверие неслыханное ко мне остаюсь благодарным и обязанным тебе до самого гроба. Торжественная церемония, заимствованная твоим двором у иноземцев, сковывает мои чувства, клопочущие во мне бурным потоком. Как мне совладать сейчас с собой и выйти в столь счастливый, знаменательный для меня, для всей России час отсюда, сохранив на лице одно лишь холопское усердие и равнодушие? Ведь в таком кругу, в такой обстановке даже проникновенное, от всей души «спасибо» не выразишь. Стоишь точно истукан...

Императрица опять кашлянула. Видно, что-то еще намерена сказать. Дай-то бог...

– Ну, ступай, голубчик! Счастливого тебе пути...

— Видно, торжественный миг взволновал все же и императрицу: как она ни крепилась, а голос дрогнул.

От радости у Кирилова едва не разорвалось сердце. Он, точно подкошенный, рухнул на колени, благоговейно приник губами к подолу пышного платья. То, что не в силах был выразить словами, он вложил в свой произвольный порыв. Сдерживая рыдания, вздрагивая плечами, он выбрался из зала сам не свой от обрушившегося вдруг на него счастья.

Пять дней спустя от берегов полноводной, широко раскинувшейся Невы торжественно отплыли пять парусников. Небо было чистое, ясное. Ветер упруго надувал паруса. У пристани плотными рядами стояли экипажи. Толпились провожающие. Кто-то вытирал слезы. Кто-то беспрестанно махал вслед удалявшимся по водной глади кораблям.

Собравшиеся в далекий путь, в неведомые чуждадельные края сбились на палубе и, притихнув, зачарованно глядели на еще долго тянувшиеся по обеим берегам знакомые мощные и политые с утра пораньше широкие проспекты, на прямые, точно линейкой выверенные, каналы, на зеленые островки разбитых там и тут садов и скверов, на величественные дворцы и шпили, возвышавшиеся над бесчисленными приземистыми и неказистыми постройками.

За каких-нибудь тридцать лет из непролазных мертвых болот и топей по несокрушимой воле императора Петра вымахал на глазах Кирилова этот величественный город. Со стороны, с моря, с открытой палубы славный Петербург казался особенно внушительным и прекрасным. И — главное — чувствовалось, как в нем зрела с каждым годом горделивая мощь. Ах, как бы обрадовался великий царь Петр, глядя на творение воли и рук своих! Нетрудно себе представить, какой была бы теперь столица державы российской, будь жив сам император!

Куда бы ни глядел сейчас Кирилов, он всюду явственно видел так и не осуществившиеся дерзкие мечты своего кумира. Вон — вдалеке, в Финском заливе, виднеется остров Котлин. После Полтавской битвы, закончившейся славной победой русского оружия, Петр Великий замыслил именно на этом острове построить центр своей столицы. Были вырыты прямые перекрещивающиеся каналы, вдоль которых планировалось воздвигнуть фешенебель-

ные дворцы и особняки для знатных дворян, купцов и крупных промышленников. Более того, в 1712 году был обнародован указ о переселении на остров около тысячи семей богатых вельмож. Список знати рассмотрел и утвердил сам Сенат. Но осуществить сей грандиозный проект так и не удалось: помешала затянувшаяся Северная война. К тому же выяснилось, что остров уязвим и стратегически – не очень удобен для защиты от возможных нашествий северных соседей. Теперь там вырос Кроншлот – надежная крепость для защиты Петрова града с моря.

Кирилов с любовью обозревал любимый город. Однако со смертью императора столица не особенно изменилась. Большинство домов одноэтажные, глиняные. Снаружи их выкрасили в темно-коричневый цвет, чтобы придать им вид построек из жженого кирпича. Как ликовал царь Петр, когда эти приземистые глинобитные жилища появились заместо сосновых, наспех сколоченных лачуг? И как не терпелось ему увидеть на их месте благопристойные прочные кирпичные здания! Живо помнится Кирилову, как в 1716 году император самолично пожаловал в Сенат, дабы полюбоваться на генеральный проект застройки города, предложенный французским архитектором Леблоном. Внушительный, живописный макет на просторном, во всю залу, столе притягивал взор, радовал глаз. Император, возбужденный, лукаво ухмыляясь, вышагивал длинными ногами вдоль стола и все расспрашивал-расспрашивал архитектора. Простодушный француз отвечал велеречиво, все более распаляясь. Да, да, столица российской державы не должна быть похожей ни на одну из величайших столиц мира – ни на Рим, ни на Париж, ни на Вену, в которых за тысячелетия причудливо смешались многочисленные архитектурные стили. Петербург должен отличаться строгостью, стройностью, соразмерностью, компактностью и опрятностью, как чудо, сотворенное дерзким гением в одночасье и непременно в форме выверенного эллипса, точь-в-точь как на макете. Далее... все здания на острове Адмиралтейства следует выстроить в ровный ряд вдоль прямых, как копье, улиц, а на Васильевском острове вместо подобных улиц необходимо прорыть также прямые, прекраснодивные каналы.

– М-м... – хмыкнул царь.

– Для этого, – еще более воодушевился архитектор, –

мы снесем все нынешние постройки, засыплем все прежние каналы и проложим новые.

— М-м...

Кошачьи усы императора поблескивали умиротворенно. В глазах полыхали озорные огоньки. Архитектор, довольный собой, задрал голову. Царь вдруг резко взмахнул правой рукой и с силой хлопнул француза по плечу:

— Чудесно, ничего не скажешь! Великолепно! Новая Венеция, а?!

Француз вначале опешил было, но тут же от царской хвалы весь рассиял лицом.

— Н-но-о...— царь сделал значительную паузу.

Длинные ресницы Леблона, затрепетав, недоуменно застыли. — Н-но-о, мон шер, наш северный климат не располагает к прогулкам на гондолах. И к тому же...

И царь, хохотнув, выразительно похлопал себя по карманам.

С дивной мечтой о северной Венеции пришлось таким образом расстаться. Истаяло видение, как мимолетный сон. И все же в стремительно воздвигавшемся городе Кирилов узнавал потом кое-какие очертания того величественного макета на огромном столе в Сенате. Теперь с открытой палубы парусника он убеждался в том воочию. Как широк и великолепен прямой, как стрела, Невский проспект! Как красиво обрамляют его высаженные в три-четыре ряда деревья! Как прелестны змеей извивающиеся между ними выложенные камнями тропинки! И все это появилось по воле царя и с живым его участием. По его распоряжению каждый воз обязан был доставить в город три булыжника весом не менее пяти фунтов, а корабли — по двадцать-тридцать таких камней, иначе никому не разрешалось въезжать в столицу. И таким простым способом были вымощены все улицы Санкт-Петербурга. А вон тот зеленый райский уголок на острове Адмиралтейства, окруженный каналами, — Летний сад. Краса и гордость царской столицы! Там на каждом дереве, на каждой скульптуре, на каждой скамейке можно найти отпечатки мозолистых Петровых рук. Все это диво — разных пород деревья и экзотические цветы, доставленные со всех уголков света; умело — в виде прямоугольников и шаров — подстриженные кусты; многоцветные, аккуратные клумбы, похожие на изящную вышивку, белоснежные стройные колонны и статуи; раз-

брошенные там и тут зеленые лужайки, причудливо изви- вающиеся тропинки для уединенных прогулок; бьющие упругими струями в небо фонтаны; таинственные, сум- рачные гроты, мраморные беседки и фонарные столбы — все это проплывало мимо, оставалось позади, зыбясь в легкой хмари и сливаясь в четкий прямоугольник.

А вот и Адмиралтейство, сплошь в парусах. Между Адмиралтейством и Летним садом вытянулись в ряд пыш- ные дворцы, построенные еще Петром Великим. Набе- режные каналов укреплены могучими бревнами, обросшими лохмами ила. Напротив мрачно насупилась Петропавловская крепость. Над крепостью взметнулись, слепя взор, медью покрытые шпили собора Павла и Пет- ра.

Васильевский остров еще почти пустует. Возле дворца Меншикова, издалека бросающегося в глаза, прогулива- ются редкие зеваки. Дом Коллегии уже достраивается. Вдали видны очертания воздвигающегося здания Биржи. У нового здания Кунсткамеры толпится многочисленный люд. На пустыре острова пасутся разморенно-томные пятнистые буренки. Ватага вихрастых мальцов, задрав подолы чумазных рубах, в которые собирали грибы, с ра- зинутыми ртами глазееет на торжественно проплываю- щие мимо парусники.

Большинство мостов при выходе каналов к реке по- крылось ржой. При жизни император ревностно следил за состоянием мостов. Однажды в поездке по городу со- провождал его главный полицмейстер столицы генерал- адъютант Девиер. Родом из Португалии, ловкий, ушлый, готовый в своей услужливости пролезть через ушко игол- ки, Антон Девиер отличался к тому же необычайной го- ворливостью и назойливостью. Видно, успел-таки он изрядно прожужжать уши императору. Проезжая мимо Мойки, царь заметил какой-то непорядок на мосту и гроз- но спросил:

— Что это?

Только что заливавшийся соловьем полицмейстер осек- ся, будто рот набили песком.

— Что ж, голубчик, — ухмыльнулся царь. — Встань на том мосту и спусти портки.

Средь бела дня при всем честном народе император всыпал полицмейстеру несколько горячих и, передавая окровавленную плетку кучеру, сказал:

— Надеюсь, милейший, ты теперь будешь помнить, что

мосты следует содержать в исправности хотя бы до тех пор, пока заживут раны на твоём заду.

Потом, усаживаясь в карету, оглянулся на посрамленного генерал-полицмейстера, которому никак не удавалось натянуть на себя штаны, крикнул как ни в чем не бывало:

– Пошевеливайся, браток! Аль не пора ехать?!

Случай этот распространил по городу сам Антон Девиер. Он рассказывал об этом с гордостью, со вкусом, со всеми подробностями. И при этом сам похохатывал. В самом деле, надо ведь кем-то быть и заслужить такой чести, чтобы сам император собственноручно, плеткой стегал тебя по мягкому месту! Не всякий достаивается подобной царской милости. Для честолюбивого чужеземца даже наказание государя оказалось высшей наградой.

А ныне сколько их развелось, нерадивых правителей и служак, которым и дела нет до разрушенных и разрушающихся мостов. И некому их приструнить, некому всыпать им за распущенность и разгильдяйство. «Эх... бедный император!» – вздохнул про себя Кирилов. Конечно, был бы теперь жив царь Петр, он бы собственной персоной проводил их экспедицию в этот далекий, государственной важности путь.

Сухой комок подкатился к горлу Кирилова, в глазах защипало. Столь знакомые и дорогие очертания родного города, тускнея, зыбясь, точно растворились в далекой хмари.

Вдали от города Нева становилась все внушительней и величественней. К небосводу, клубясь, потянулись отовсюду пухлые, кудлатые тучки. Деревья, густо стоявшие по обоим берегам, поредели, а глухие сосновые боры отступали все дальше. Зато стеной встали плотные заросли камыша. Простор обнажился, открылись дали. С глаз точно спала пелена. Все виднелось вокруг далеко-далеко. Ах, милая сердцу вольного степняка ширь! Значит, еще существует она в своем первоизданном виде. Значит, не удалось еще, оказывается, запрянуть ее в тесные улочки каменного града, загнать за деревянные заборы...

Сердце молодого Ералы, все это время молча стоявшего возле Кирилова и оглядывавшегося окрест, радостно забилось. Полноводная река, густо раскинувшийся вдоль берегов рослый камыш, неоглядные дали вновь напомнили ему родную вольную степь.

Кайсацкому наследному принцу-ханзаде живо вспомнилась весна в степи. В эту пору заканчивался весенний расплод овец. В барханах становилось душно и жарко. Размножались клещи и пауки, распространяя неприятный запах. Скотники стригли овец, верблюдов. Громадные тюки шерсти весенней стрижки тотчас отправлялись с караванами в Бухару и Хиву. Аулы снимались с насиженных, теплых мест и откочевывали к летовкам на севере. Ханский аул, покидая родовое зимовье в песках возле реки Адам-ата, почти у самой границы с Хивой, по пути на летовку перебирался обычно через Сырдарью в том месте, где она впадала в Арал-море. Должно быть, и сейчас многолюдное ханское кочевье привычной тропой пробивается на север — на раздольные выпасы Золотого свода — Сары-арки! И Сырдарья в эту пору так же полноводна и величественна, как и эта северная река, по которой сейчас стройным рядом плывут парусники. Дойдя до широко разлившейся, своенравной реки, кочевье останавливается на привал. Верблюдов развьючивают. Тюки переносят на плоские плотики, связанные и сплетенные из сухого тальника. Деловитые загорелые жатаки, бедные жители прибрежных кишлаков, высоко закатав штанины и ловко орудуя шестами и баграми, переправляют на утлых плотиках стариков и детей, а также многочисленный домашний скарб на противоположный берег. Могучие, в мыльной пене дромадеры-нары, одолевшие тяжкий путь через барханы, косясь на бушующую у их ног реку, испуганно рывкают и упираются изо всех сил, не решаясь войти в воду. Но им не дают воли, их понукают, нещадно бьют плетьюми и соилами — березовыми палками, и нары, обезумело выкатив глаза, обреченно плюхаются в белопенные крутые волны. Связанные между собой, огромные, неуклюжие, они, бедолаги, заваливаясь на бок, бугрясь в воде, отчаянно гребут всеми четырьмя ногами и в ужасе напряженно вытягивают длинные шеи. И чудится людям и животным, что они избавились, наконец, от назойливой мошки и комарья южного края, но не тут-то было: и на том северном берегу, точно нетерпеливо поджидая их, ошалело налетает, набрасывается тотчас туча комаров и слепней. Перебираться в пору кочевки через реку — все равно что пройти через узенький, как волосок, адов мост. Сколько мук и мытарств изведает! Да еще комары искусают тебя в кровь. А все

равно, когда вспоминаешь ту суматошливую пору, душа ликует и сердце замирает от блаженства и восторга. И вот, кажется, теперь уже совсем немного осталось до тех желанных, благодатных дней. Кочевка весной – самая счастливая пора в степи. Сколько радостей и забав! Дети и подростки в многодневном пути укрощают и объезжают стригунков, скачут наперегонки на жеребятах по третьему году. А сколько привалов, сколько взаимных угощений, встреч и знакомств случается в пути, пока кочевье доберется до пастбищ Золотого свода! Пока взрослые ставят походные юрешки, готовят ужин, малышня разбегается враспынную окрест, собирает по низинам дикий лук, выкапывает дикую морковь и возвращается к привалу усталая и довольная. Потом, неторопливо цедя из деревянной чаши терпкий перебродивший айран вперемешку с диким луком, подолгу смотришь вдаль, туда, за зыбящийся горизонт, и предаешься причудливым мечтам. Ах, благодать! Нет более счастливого, безмятежного мгновения...

– Ханзада!

Это еще кто? Кто-нибудь из забияк, приглашающих его пуститься вскачь наперегонки?

– Ханзада!

Нет, голос взрослого мужчины. Ералы вздрогнул, очнулся от дум. Он, оказывается, совсем забылся, не помнил, где стоит. Вокруг все изменилось, посветлело. Откуда этот призрачный белесый туман, точно зыбкой кисеей нависший над озером? А что это вон то громоздкое, темнеющее, устремившееся ввысь, грозно прорвавшееся сквозь невесомую пелену? Откуда эти люди, усевшиеся в длинный ряд на плоских лодках и гребущие все в лад? Куда они спешат? Что хотят? Почему оггибают их парусники?

– Ханзада...

Ералы, недоумевая, повернулся к стоявшему слева Мамбету-мурзе.

– Вон перед нами. Шлиссельбургская крепость!

Ералы посмотрел вперед, все еще ничего не соображая.

– Здесь находилась русская крепость под названием Орешек. Несколько лет ею владели шведы. Тридцать лет тому назад Петр Великий вернул ее России.

При приближении к крепости на острове вспененная

Нева разделилась на два русла. Многочисленные лодки, по двенадцати гребцов в каждой, окружили парусники с двух сторон и направили их по правому рукаву. Крепость занимала весь остров. Каменные стены, казалось, поднимались круто прямо из воды, и проникнуть в крепость представлялось невозможным: только птица могла перелететь через такие стены. Высоко, из бойниц, грозно высывались жерла пушек. Острые зубчатые башни поблескивали на солнце, будто отделанные жемчужью. Рассказывали, что толщина крепостных стен в добрый кулаш — расстояние между пальцами двух раздвинутых в стороны рук. Захватить эту крепость было необычайно трудно. Русские, окружив ее, обстреливали из пушек трое суток. Потом, подплыв на лодках, точно муравьи, поползли на канатах и веревочных лестницах по крутой стене. Много солдат погибло. Но русские после отчаянного штурма все-таки выбили шведов из крепости.

Вот и она — грозная, неприступная — проплывала мимо. Ералы она почудилась похожей на одинокого, рыжей масти нара-дромадера, застывшего в широкой степи. Накануне вечером, на прощальном банкете, императрица еще раз подтвердила, что по просьбе кайсацкого хана она распорядилась построить город-крепость при устье Оререки. Надо полагать, и тот город будет похож на эту старинную крепость. И он будет так же возвышаться над степью, ввергая врагов в оторопь. И из бойниц его стен, очевидно, так же будут высываться жерла грозных пушек, нагоняя на всех страх. Ханзада встрепенулся: он увидел вдруг своего отца в ханских доспехах, стоящего у стен неприступной крепости, выставив могучую грудь свежему степному ветерку. Эх, скорее бы все это осуществилось! Тогда никто бы не осмелился противостоять его отцу — хану Абулхаиру. Смешно было бы глядеть на самоуверенных джунгар, размахивающих пиками и в бесильной злобе скачущих вокруг неприступной каменной крепости у устья реки Оререки. Все равно что шавка, твякающая на верблюда. Можно себе представить, как обрадуется отец при виде такой крепости. Конечно, его удивит, поразит даже сам подробный рассказ сына о подобном чуде...

Словно догадавшись о затаенных думах юного наследника принца-ханзады и подтверждая их, разом, дружно пальнули в это время все пушки Шлиссельбургской кре-

пости. Один за другим последовало десять залпов. Огромная крепость окуталась пороховым дымом. Приятное видение, только что мелькнувшее перед глазами ханзады, мигом исчезло, растаяло. Почудилось, будто отец в медном шлеме, с нежностью глядевший на своего сына, вздрогнул от неожиданного грохота и, хмурясь, с недовольством спросил: «Это еще что за напасть?!»

Вновь донесся до Ералы назойливый мужской голос:

— Это в вашу честь, дорогой ханзада, пушки из крепости палят...

Юный ханзада узнал голос Мамбета-мурзы. «Тоже мне честь...» — с ухмылкой подумал было Ералы, но тут опять оглушительно грохнуло.

Юноша опять вздрогнул и старался больше никуда не смотреть: ему наскучили эти почести. Отчего-то закружилась голова, и тошнота подкатила к горлу. Вчера, возвращаясь с прощального банкета, Мамбет-мурза сообщил ему, что половина экспедиции до Москвы доберется сушей, а другая половина — на парусниках. Кайсацкое посольство отправилось в путь вместе с караваном. Где-то за этой крепостью на берегу реки его должны поджидать кареты. Хоть бы скорее добраться до этого условленного места...

От порохового дыма и пушечной пальбы ханзаде стало не по себе. Ему не терпелось скорее миновать крепость. Он крепко зажмурился, стараясь подавить в себе тошноту. И тут же ожили в нем знакомые степные звуки. Точно засипели кузнечики, запели цикады... Нет, то вновь залился зачарованный жаворонок в вышине... Звонко, ликующе...

Вот так, охваченные нетерпением и волнением, добрались, наконец, и до Москвы. Оттуда в дальнейший путь отправились уже не на пяти кораблях, а на одиннадцати. Ханзада и кайсацкое посольство поехали сушей. В начале осени, громыхая на ухабах и вздымая дорожную пыль, проехали через огромный город, над которым, высоко вздымаясь, ослепительно поблескивали позолоченные кресты вперемежку с серебряным мусульманским полумесяцем над многочисленными минаретами. Это был прославленный город Казань, воспетый в многочисленных сказах и киссах. А когда уже повалил снег и плотно укутал землю, и мороз схватил реки и озера, и звонче зацокали копыта коней, вдалеке, на склонах горбатых холмов,

показался живописный город Уфа, запестрел приземистыми домишками вразброс, словно широко разбредшийся табун лошадей, радуя глаз путника тянувшимся из всех труб уютным дымком.

В душе ханзады вновь чарующе запела таинственная птаха. До родных степей отсюда было уже рукой подать.

Долгую снежную зиму провели в этом городе, раскинувшись по склонам бурых холмов и увалов. Вновь пришла весна, осели и потом растаяли сугробы, обернулись грохочущими ручьями. С оглушительным треском разрывался лед, сковавший опоясавшие город две реки. Широко разлились они в половодье.

Когда лед сошел и реки, успокоившись, вошли в русла, на восточном берегу полноводной Ак-Едиль грозно ошестинились белые пики. Потом потекли туда из города — под грохот барабанов и литавр — многочисленные военные отряды. Туда же строем двинулись казаки в высоких папах и широченных шароварах, волоча на боку длинные шашки. Казаки расположились по флангам. Главную часть лагеря заняли пехота и артиллерия. В противоположной части, ближе к реке, обосновался штаб, здесь же было поставлено несколько кошомных юрт для офицеров. Потом привели сюда верблюжий караван. Тяжело навьюченных верблюдов опустили на землю по четырем краям военного лагеря. Часть солдат принялась тотчас развьючивать животных, развязывать огромные тюки. Другие взялись растаскивать груз по отрядам и отделениям. Третьи сноровисто ставили юрты и шатры. Верблюды, освободившись от поклажи, отдыхали, откровенно жуя жвачку и не обращая внимания на суету вокруг. За какие-нибудь пятнадцать — двадцать минут явственно обозначились контуры огромного военного лагеря.

Жители Уфы, и стар и млад, собравшись на противоположном берегу, с изумлением глазели на это чудо. За действиями русских солдат издали, с вершин холмов, наблюдали с любопытством и рассеянные группы степняков в мохнатых халатах. Солдаты, казалось, не обращали на них внимания и трудились еще сноровистее, словно подогревая их любопытство. Вдруг взмылся резкий раскатистый голос:

— Выгнать скот на выпас!

Тотчас, тяжело, неуклюже качнувшись, поднялись ты-

сячи верблюдов. Десятки верховых казаков с шашками на боку, с длинными кнутами в руках, покрикивая и посвистывая, погнали верблюдов подальше от лагеря на выпас. С другого конца лагеря погнали к водопою лошадей. С подветренной стороны вмиг вырыли несколько земляных печек; на них водрузили огромные котлы. Забойщики скота, посверкивая длинными ножами, направились к откормленным бычкам, томившимся в сторонке на привязи. В нескольких местах палили соломой только что заколотых кабанов. Часть солдат, растелешившись, с бреднями вошла в реку. Кто-то уже устроился на берегу с удой.

Над равниной за рекой там и тут курчависто взвился дымок; запахи варящегося мяса, лука и чеснока, перца защекотали ноздри. Любопытствующий люд постоял, повздыхал да и поразбрелся по домам.

Радовались и солдаты, выбравшись из постылой городской тесны на вольный простор. В течение шести зимних месяцев отовсюду прибывали армейские полки и части, выделенные указом ее императорского величества в Оренбургскую экспедицию. Вынужденные покинуть привычные обжитые гарнизоны, солдаты роптали, терпели лишения и неудобства, мыкались в поисках мало-мальски пригодных зимних квартир для себя, стойла и фуража для лошадей, помещения и складов для продовольствия и оружия.

Всю долгую зиму не знал покоя и Кирилов. В сопровождении воеводы Кошелева, полковника Тевкелева, секретаря-помощника Петра Дьякова он объехал и тщательно осмотрел все улочки-проулки, все дома-мазанки тихого, невзрачного городка. Были взяты на строгий учет каждый двор, каждое жилище, где можно было поставить хотя бы десяток коней и определить на постой хотя бы десяток служивых. И не только город, но и ближайшие деревни объехал неутомимый Кирилов. Вызвал и лично поговорил со всеми биями всех четырех башкирских частей-дорог — Ногайской, Сибирской, Казанской и Осинской. Выяснилось что среди башкир, обосновавшихся на этих четырех дорогах, одна тысяча четыреста тридцать одна семья отнесена к так называемым тарханам, освобожденным от всяких податей, а восемь тысяч триста девяносто пять семей причислены к низкосословным и обложены податями в виде лисьих, собольих, куньих шкур, а также меда. По распоряжению Кирилова каждая из этих

низкословных семей была теперь еще обязана доставить в экспедицию по два воза сена, двух овец или одного телка. От дополнительной подати освобождались только те, кто обязался в будущем обеспечивать экспедицию необходимой подводой, кошмой, волосяными арканами и канатами. Всю зиму вереницами тянулись в Уфу обозы с сеном.

Теперь, судя по всему, и эти мытарства остались позади. Прибыли все воинские части, за исключением Вологодского полка. Чувствуя, что Уфа изнемогла от непосильного бремени по содержанию столь многочисленных отрядов, Кирилов принял решение выступить в путь. Горожане, наблюдавшие с берега за устройством военного лагеря, тихо радовались про себя: «Слава всевышнему, может, избавились от ненасытных обжор... Мочи уж нет!..»

И то верно: столь огромное войско было городу в тягость. Нелегко было содержать его всю зиму, но еще труднее — обеспечить его запасами продовольствия еще на шесть месяцев. Всю зиму в каждом дворе готовили сухари, складывали их впрок в берестяные туески. Двойные холщовые мешки набивали ячменем, овсом, различной крупой. Крепкие шестиведерные дубовые бочонки наполнялись водкой и спиртом. Запасы соли, перца, табака были и вовсе неисчислимы.

Чего только не надо было огромной экспедиции, отправляющейся в малолюдную дикую киргиз-кайсацкую степь! Надо было позаботиться заблаговременно о легких деревянных корытах, из которых в долгом пути можно было поить рабочих верблюдов и лошадей. А сколько тюков кошмы понадобилось для юрт и походных шатров! А разве можно было сосчитать необходимые в столь ответственном деле лопаты, ведра, таганы-треноги, топоры, молотки, арканы... разную утварь? Даже кузню предстояло везти с собой вплоть до наковальни, горна и угля.

Громадные тюки всякой всячины отводились специально на подарки для родоправителей и прочей кайсацкой знати: сукно, шелк, парча, пряжа, золотые и серебряные вышивки, аппликации, орнаменты, искусно отделанные роговые шакши-табакерки, платки, гребни, зеркальца, иголки, холст, разные украшения и безделушки, до которых столь падки туземцы.

А главное – сколько понадобилось оружия на случай, если туземцам захочется вдруг исподтишка напасть на Оренбургскую экспедицию! Можно себе представить, какой ужас наведет на степняков этот доселе никем не виденный, не слыханный караван, когда он завтра выступит в путь. Как говорится, земля осядет под такой мощью. Дай бог, чтобы только наступил скорее тот желанный час! И да не оставит всевышний их своими милостями!..

Так думал, так горячо молился в своем походном шатре, ворочаясь ночь напролет, не один Кирилов. Не сомкнуло глаз в ту ночь и кайсацкое посольство, расположившееся в трех кошомных юртах. Знакомые картины, запахи и звуки взбудоражили душу степняков. Фыркание лошадей, пасущихся вдоль реки; тяжелые вздохи верблюдов, монотонно жующих жвачку; плеск воды, шелест трав – все волновало их. Все казалось им, что в одночасье очутились они вдруг в родной степи, которая в последние три года им так часто снилась. Да и ночь, как назло, выдалась лунная, ясная. Все окрестности были залиты молочным светом, а степь, безбрежно раскинувшись, дышала размеренно, спокойно, отдаваясь неге и блаженству.

Наутро, едва взошло солнце, раздалась оглушительная барабанная дробь. Солдаты выскочили из шатров и толпою ринулись к реке.

Ближе к обеду войско выстроилось на торжественный молебен. На площади посередине был установлен походный алтарь. Дородный, величественно-важный священник, облаченный в дорогую до пят рясу, с тяжеленным позолоченным крестом на брюхе степенной поступью обошел строй. Он останавливался перед каждым солдатом и казаком, благословлял их и окроплял священной водицей. Солдаты шевелили губами и неистово крестились. Когда священник окончил молебен, грянул тысячустый русский гимн. От торжественного, многоголосого и ладного пения пробежали мурашки не только по напряженным спинам солдат, но и тех любопытных горожан, которые собрались разрозненными кучками с утра пораньше, чтобы насладиться невиданным зрелищем. Едва утих торжественный рокот гимна, с четырех сторон пальнули пушки. И не успел рассеяться дым, как взмыла к небу звонкая походная дробь. Строй дрогнул, зашевелился. Потом отряды – один за другим – прошли перед Ки-

риловым и построились возле своих шатров. Вновь прокатилась над равниной барабанная дробь и раздалась команда:

— Грузить поклажу!

В одно мгновение были разобраны походные юрты и шатры. В следующее мгновение были сложены и связаны тюки и навьючены нары-дромадеры, длинным рядом опущенные на колени. За полчаса весь лагерь был готов сняться с места. Караван выстроился в цепь. Обоз подготовился к пути.

Кирилов на белом коне под посеребренным седлом легкой рысью подъехал сначала к сибирским казакам, потом к пешим солдатам и артиллерии, пожелал доброго пути в предстоящем походе. Войско, выдержав паузу, откликнулось четким, многоголосым «ура».

— Марш!

Трубачи и барабанщики заиграли походный марш. Всех охватили волнение и радость. Войско двинулось в поход. Вперед выехал конный дозор — три казачьи сотни. Кони нетерпеливо приплясывали под ними. Когда казаки отъехали примерно на полверсты, двинулись в путь четыре роты пеших солдат. За ними, тяжело колыхаясь, поползли девять пушек. Вслед за ними покатились кареты Кирилова и принца-ханзады Ералы. Далее следовал обоз с офицерской поклажей, потом — санитарный обоз. И лишь затем доходил черед до основных частей войска. При этом половина его шла впереди верблюжьего каравана, а вторая половина — за ним. В караване шли две тысячи верблюдов. Их вели двести караванщиков по десять верблюдов в поводу. За караваном потянулся, поскрипывая и колыхаясь, обоз с необходимым снаряжением для строительства города-крепости у устья реки Ор. Обоз зорко охраняла вооруженная стража.

По обе стороны многоверстового кочевья на строгом расстоянии друг от друга двумя рядами шла конница. А замыкали столь внушительную экспедицию шесть казачьих сотней и девять пушек.

Все было заблаговременно и тщательно продумано и исполнено неукоснительно.

Надрывались флейты и трубы. Грохотали барабаны и литавры. Пели во всю мощь глоток солдаты и казаки. Так начался желанный, долгожданный поход в Степь. Вдалеке, у самого горизонта, маячили группы всадников. Вре-

мя от времени они пускались вскачь, словно сопровождая великое кочевье в сторону юга.

Огромное, пустое пространство под ясным небосводом казалось застеленным зеленым плюшевым ковром. На западе, выплескиваясь из берегов, белела Ак-Едиль. На востоке простирались, темнея, леса. Позади, со склонов живописных холмов, молча и долго глядела вслед как бы затихшая Уфа.

Сияло высоко благодатное апрельское солнце. Казалось, и оно стремилось приукрасить и без того красочное шествие: лучи весело вспыхивали на эфесах казачьих шашек и штыках ружей.

Любопытствующая толпа осталась позади. Только верховые в башкирских шапках-малахаях еще долго сопровождали вдалеке войско, скача наперегонки. Временами они приближались к казакам на флангах, гоготали, улюлюкали, но тотчас удалялись врассыпную. Потом вдруг скрывались, исчезали, в глухой чащобе у горизонта, но через некоторое время вновь выскакивали на простор.

— Чего они там резвятся? — спросил Кирилов у своего помощника-секретаря Петра Дьякова. Отъехав на несколько верст от вчерашнего привала, Кирилов передал повод своего походного коня адъютанту и пересел в карету. Дьяков, внимательно следя за игрой верховых башкир вдалеке, ответил:

— Такая вот забава. С приближением весны затеваются в степи веселые игры. Говорят, такой обычай. Называются эти игры... дай бог памяти... да, да... Каргатой. Недавно мы — Алексей Иванович, Сергей Костюков и я — объездили несколько аулов в поисках кошмы, и вот всюду говорили, что готовятся к весеннему празднику.

Кирилов удивленно вскинул брови:

— Как? ...Каргатой?

— Да... Карга — вроде как наши грачи. Той — по-ихнему значит пир, праздник. Весной, перед прилетом грачей, устраивается всюду такой праздник — каргатой. Уезжают на полверсты за аул, выкапывают земляную печку, продолговатую такую ямину, на которой устанавливают котел. Варят какую-то похлебку. Мужчины в празднике не участвуют. Только дети-подростки да бабы-молодки. Весь день бегают, суетятся, резвятся.

— Как это?

— Ну, по-всякому. Устраивают борьбу, загадывают за-

гадки, поют песни, острят. Девушки и молодницы, рассказывают, закатывают штанины шальвар и бегают наперегонки. Подростки устраивают скачки. Одним словом, не скучают, забавляют себя, кто на что горазд.

Кирилов с тайным восхищением уставился на своего секретаря. Каких-нибудь пять-шесть месяцев он в этом краю, однако на любой вопрос отвечает обстоятельно, будто всю жизнь занимался изучением местных обычаев и нравов. Среди всех писарей ему с самого начала приглянулся именно этот круглолицый, добродушный увалень. Был он необыкновенно легок на подъем, быстр в движениях и исполнительен. Любую просьбу выполнял беспрекословно. И во всем можно было на него положиться. И когда речь зашла о надежном письмоводителе для экспедиции, Кирилову первым делом вспомнился он. Ему же он дал задание: если среди его знакомых есть способные, энергичные молодые люди, их следует немедленно привести в экспедицию. И вот, уже в Москве, Дьяков привел однажды к Кирилову рослого, светлолицего, улыбчивого парня с внимательным, цепким взглядом.

- Ну, и как зовут тебя, молодой человек?
- Михаил Ломоносов.
- Где служишь?
- Учусь.
- Ах, вон как! И где учишься?
- В Греко-славяно-латинской академии.

Кирилов поговорил было с ним, расспрашивая о том, о сем, и удивился: высоколобый, светловолосый юноша оказался сведущим во многих науках. Однако руководство академии не отпустило его, сказав, что он является одним из способнейших учеников и его намереваются отправить на учебу за границу. Петр Дьяков, как выяснилось, знал его еще по Архангельску. Отец Дьякова был купцом, поставлявшим зерно из Вологды и Архангельска через Сухон и Северную Двину для продажи за рубеж. Петр нередко сопровождал отца в его деловых поездках, и там, в северных портах, выучился немецкому и голландскому языкам. Желание учиться привело его в Москву. Здесь он познакомился с директором стеклозавода Эльмсенем, устроился к нему на службу. В это время и обратил на него внимание Кирилов, помог ему определиться толмачом в торговую таможню. И вот теперь, в двадцать два года, Петр Дьяков — секретарь-делопроизводитель,

начальник канцелярии и бухгалтер Оренбургской экспедиции.

Открытый, общительный, Дьяков тянулся к молодежи, и молодежь тянулась к нему. Должно быть, по этой причине и приглянулся ему сразу любознательный Ломоносов. Здесь, в экспедиции, он привлек к себе долговязого, худющего Сергея Костюкова. Его для канцелярских дел рекомендовал и разыскал сам Мамбет-мурза. В свое время Костюков сопровождал его в первую поездку к киргиз-кайсакам. Отличался парень покладистостью, добрым нравом, безотказностью. Вечно ходил с разинутым от удивления ртом, выставляя напоказ длинные молодые зубы. С Дьяковым он подружился с ходу. Были они неразлучны. При виде Костюкова сразу оживилось и обрадовалось и казахское посольство. «Эй, да это же Сартайлак! Да, да, он самый!» — и окружили, обступили его со всех сторон. Прозвали Костюкова казахи метко: Сартайлак, то есть рыжий годовалый верблюжонок. Был он и в самом деле похож на годовалого, еще не стриженного верблюжонка: длинноногий, рослый, неуклюжий, добродушный. Любопытству его не было предела и, казалось, он знал все, что было связано со степным краем. А экспедиции очень нужны были люди, которые пристально изучали обычаи, нравы и быт, традиции кочевников. Не зная этого, трудно управлять инородцами. Такого мнения Кирилов придерживался давно. Находясь еще в Петербурге, он изучил немало сведений и документов о башкирах. Но здесь, в самой Башкирии, он с горечью убедился, что все они были составлены поверхностно, приблизительно, без конкретных, достоверных знаний.

Кирилов, погруженный в думы, вдруг вздрогнул от многоголосого крика:

— Крупа! У кого крупа? Дайте крупу!

Справа открылось маленькое башкирское поселение с сосновой мечетью в середине. Между домами, шумно галдя, металась ватага малышни. Рядом на стригунках неслись подростки.

— Крупа! Дай крупу! — горланила ватага.

Петр Дьяков улыбнулся.

— Видно, самая пора для весенней пахоты. Посмотрите вон туда, на гребень холмов: сохи стоят наготове. Значит, земля прогрелась, пора пахать и сеять. Через день-другой приступят. А перед пахотой полагается про-

вести сабантуй. Вот и скачут подростки по домам, по селам, собирают крупу по ларям и сусекам, оставшуюся от семян. Потом с добычей скачут в степь, высыпят крупу в котел, сварят кашу, чтобы хватило на все окрестные деревни. И начнется потеха – борьба, скачки, разные конные игры. И еще затевают кокпар. Это их самая любимая забава. Раньше для кокпара использовали волчью тушу. Соберутся всадники в круг и начинают друг у друга отнимать, вырывать тушу матерого волка. Кто выхватит да ускачет из круга, доставит тушу до намеченной межи, тот и победитель. Ему честь и слава. Теперь же для кокпара используют и овечью или козлиную тушку. А вон, ваше превосходительство, видите молодку с коромыслом? С речки идет. Ее окружили добрые молодцы, требуют, чтобы она им дала вышитый платок. Попробуй только откажи. Могут и плетью огреть. Посмотрите, посмотрите... Вот молодуха достала из-за пазухи платочек. Видите, белеет?.. А сунула его вон тому, самому отчаянному и нетерпеливому, на игреневома скакуне. Эх! Понесся, поскакал во весь дух, ошалев от радости. Остальные пустились в погоню. Отними-ка платок, если смелый... Такая вот игра. А жители аула все высыпали из домов, смотрят, дивятся, радуются и переживают. Даже сама молодка опустила ведра, сняла с плеч коромысло, загляделась, аж рот до ушей. Простодушный, веселый народец, точно дети!

Должно быть, прав Петр Дьяков: в самом деле, склонный к веселью народ. С самого утра сегодня и стар, и млад носятся как угорелые...

Кирилов задумался: он был о башкирах совсем другого мнения. Полагал, что они скрытные, необщительные, недоверчивые. Может, хмурый молчун старик, что дворником у него, тому причиной?..

Усмешка покривила губы Кирилова. Перед глазами его предстала привычная картина, которую он в последнее время наблюдал изо дня в день...

Каждое утро настежь распахиваются огромные, из сосновых плах, ворота с фигурными наличниками, и из двора выскакивает одномастная тройка, запряженная в легкую санную кибитку. Медлительный, сосредоточенный, вечно хмурый старик башкирец, даже не удостоив вниманием статную тройку лошадей, из ноздрей которых вырывается упругий пар, и кибитку на скрипучих полозьях, и самих пассажиров, укутанных в толстые шубы с подня-

тыми воротниками, снова — все так же неторопливо, как бы нехотя — закрывает ворота.

Каждый раз — при выходе или входе в этот особаяк — Кирилов непременно бросает пытливый взгляд на старика. Когда-то он ходил в дворниках у воеводы. Старик был необычайно тощ и долговяз. О таких в народе говорят: о скулы его можно наточить нож. Усы его, прикрывая запавшие щеки, по краям топорщились и всегда подрагивали, точно уши у кота, подстерегающего у норки мышшь. И острая бороденка росла клочками, чем-то напоминая хвост задиристого петуха. Серые, глубоко запрятанные глаза никогда не смотрели прямо. Большой, с горбинкой, точно клюв, хищный нос мощно нависал над тонкими губами под вызывающе щетинистыми усами. Под скулами виднелись, выступая, мелкие красные прожилки, и оттого старик казался краснощеким. Вообще во всем его облике было что-то затаенно-ершистое, задиристое, однако поведение старика ничуть не соответствовало его внешнему облику. Он был необыкновенно покладист, незаметен и тих, даже кроток. За пять-шесть месяцев Кирилов ни разу не заметил, чтобы старик кому-то перечил, с кем-то ссорился или буянил. Да какое там! Он даже ни разу не видел его говорящим, беседующим с кем-нибудь. Целыми днями старик копошился в ограде, топтался по двору, не расставался почти с такой же длинной, как он сам, метлой, грузил на сани дубовые бочки и бадьи и возил с реки воду, или, покрякивая, колуном и топором ловко раскалывал на дрова кряжистые, промерзлые чурбаки.

А хлопот у старика было действительно предостаточно. Сколько за день приезжало кибиток, запряженных в пары и тройки с колокольчиками-бубенцами! Все важные персоны. У всех спешные дела. Одеты в дорогие меха. И мехами укрыты. А то еще и медвежьей полостью запахнуты. С такими господами шутки плохи. И путь у них неблизкий. Одни — аж из далекого Екатеринбурга. Владельцы горных заводов и рудников. Другие — из Казани и Вологды, Мензелинска и Самары, считай, представители военных гарнизонов. Третьи — атаманы яицких казаков и их нарочные. Попробуй тут не быть расторопным или недостаточно усердным и учтивым. Тут уж не мешкай. Успевай вовремя открывать и закрывать ворота, стоять по струнке, не то и по роже схлопочешь. Но и при этом долговязый старик башкирец не спешит, не суетится. И

когда на всем скаку приближается к особняку разгоряченная тройка, ворота, словно по мановению волшебника, точно к сроку широко распахиваются настежь: «Добро пожаловать, господа хорошие!»

Но Кирилову будто мало было русского начальства на Волге и на Урале — к нему со всех сторон стекались еще и башкирские родоправители. Одни прибывали из степей, где гуляет-свищет вольный ветер, — в поярковых шапках, в мерлушковых тулупах; другие — из глухих, непроходимых лесов, в соболях и бобрах. И таким полным спеси бекам-биям угодить, пожалуй, посложнее, чем родовитым вельможам из русских. Но молчаливый старик башкир и перед ними ничуть не робел. Все, что положено было ему делать, делал безукоризненно. Встречал учтиво, под уздцы заводил лошадей во двор, помогал спешиться, а, провожая, так же чинно подводил коня и подсаживал гостя в седло.

Хмурый старик никогда не спешил, но все успевал делать. И его, вечно озабоченного, сумрачного, ни в чем нельзя было упрекнуть.

У Кирилова, прибывшего в Уфу, было сложившееся мнение и представление о башкирах. Первым поколебал их старый дворник-молчун. По описаниям русских землепроходцев получалось, что башкиры — праздный народ, совершенно не приспособленный к труду, единственная способность которого проявляется в том, чтобы до багровости лица дуть хмельной кумыс и слоняться по аулам. Но более исполнительного и трудолюбивого дворника, чем этот старый башкирец, было не сыскать. И еще говорили, что башкиры дерзки и вздорны. Чуть что не по нему — затеет свару. Однако, глядя опять-таки на этого старика, можно думать, что более покладистого и робкого народа и нет на свете.

И постоянно наблюдая за старым дворником, Кирилов понемногу уверовал в то, что все башкиры холодно-замкнуты и неприступны. И в этом предположении его еще более укрепили те башкирские правители, которые и приходили к нему и уходили от него со спесивым выражением на лицах. Однако сборщики, выезжавшие в башкирские деревни, в один голос утверждали, что местные жители очень добродушны и приветливы, что на все просьбы откликаются живо и сердечно. А Сергей Костюков и вовсе часами может о них рассказывать с восторгом. Видно, его восторг передался уже и Петру Ивановичу Дьякову.

Вон сидит и глядит во все глаза, аж рот разинул, точно мальчишка. Того и гляди из кареты невзначай вывалится. — Ваше превосходительство!..

Кирилов искоса взглянул на секретаря-помощника. Эх, молодо-зелено! Чего ты хочешь: двадцать два годика всего-то парню. Все ему в диковинку. Все его волнует.

А вокруг в самом деле простиралась краса неопишуемая. Поблескивая под солнцем, причудливо извиваясь, катила воды Ак-Едиль. Противоположный берег был крут, обрывист. Вдоль него тянулись березовые и сосновые леса. Другой берег, наоборот, был пологим, совершенно голым и открытым. Волны Ак-Едиль выплескивались далеко, и порой чудилось, что река, выйдя из берегов, захлестнет всю степь. Колки, темневшие у горизонта восточной части, все более редели, открывая неоглядное равнинное пространство. Вдали виднелись поляны, покрытые белыми тюльпанами. Казалось, там резвились стайки белых бабочек. На лугах — здесь и там — мирно паслись табуны лошадей. Всадники, словно издали сопровождавшие войско по обоим флангам, тоже никак не могли угомониться, продолжали скакать наперегонки. Неподалеку, в открытой местности, торчал длинный шест. На вершине его трепыхались разноцветные лоскутки. Возле него толпились люди. Рядом, сбившись в круг, стояли заседланные кони. Туда же со всех сторон стекались верховые.

— Видите, ваше превосходительство, тот шест? Его украсили лоскутами, чтобы видно было издалека. На том месте и состоится сабантуй. Далее — сплошная равнина. Там пройдут скачки, — пояснил Петр Дьяков.

Кирилов видел: несколько человек вышло из толпы возле шеста, село на лошадей и быстрым скоком примчалось к дозорным впереди войска. Размахивая короткими плетями, всадники что-то горячо говорили, показывая то на кареты посередине войска, то в сторону шеста. Наконец в сопровождении трех казаков подъехали к карете начальника экспедиции.

— Ваше превосходительство, — загундосил казачий есаул. — У этих чечмеков, оказывается, большой праздник. То ли сабантуй, то ли кабантуй — дьявол их разберет. Представьте себе: все войско приглашают на пир. Иначе, говорят, мы вас задержим. Я им говорю: дурачье, разве можно приглашать в гости целое войско, вам же самим

ни крошки не достанется! А они настаивают на своем. Отведи, шумят, к своему начальнику, пусть, дескать, поздравит нас с праздником и даст шашу, подарок, значит. Не то, говорят, растянем на вашем пути пеструю веревку. Кто переступит ее, тому удачи не видать.

Два гладколицих башкира усердно закивали головами, как бы подтверждая слова бородатого казака, и при этом щурили глаза и улыбались.

Кирилов пристально посмотрел на одного, на другого башкира и сказал:

— Поздравляю вас с праздником. Желаю удачи. И да будет урожайным год! Пусть всего уродится вдоволь! Башкиры выслушали благопожелания русского начальника, переглянулись между собой, потом благодарно поклонились, прижимая правую руку, в которой держали плеть, к груди.

— Есаул! — приказал Кирилов. — Отведи их к обозу и распорядись подарить им к празднику пару ящиков кренделей.

Есаул и башкиры тотчас круто завернули лошадей и поскакали прочь. Петр Дьяков, радостно посмеиваясь, посмотрел им вслед.

Кирилов про себя подумал: «Видно, прав мой секретарь. Эти инородцы и впрямь простодушны, как дети. Чудно! Это надо же додуматься — пригласить на торжество тысячное войско!»

Ну, впрочем, это, вероятно, и к лучшему. Пусть будут простодушны и доверчивы. Гостеприимны — значит, общительны. А простодушны — значит, покладисты, покорны, и легче ими управлять. Все остальное со временем само собой образуется. Великой России нужны не только новые, богатые владения, но и послушные, дешевые работники. А если туземцам дать небольшое русское образование и воспитание, из них, судя по всему, выйдет кое-какой толк. Разве молчаливый старик дворник тому не свидетельство? Надо только поскорее — пока царит тишь да благодать — расселиться по всей степи, прибрать к рукам огромные просторы. Тогда этот неразумный народец, не имеющий ни ремесла, ни образования, легче поддастся управлению и вскоре будет безропотно делать то, что ему прикажут.

От этой мысли уставшему за последние дни Кирилову стало приятно и покойно да душе, и он погрузился в

дрему. Но вскоре снова очнулся от чьих-то возбужденных голосов. Оказалось, что к восточному флангу опять подъехало полсотни башкир и, размахивая плетками, о чем-то громко колготало. Кирилов досадливо поморщился. Ну, теперь эти чечмеки, обнаглев, будут всю дорогу путаться под догами и клянчить подарки. Видно, и эти решили пригласить на сабантуй. Пусть только сунутся! Он им прямо скажет, что выпрашивать милостыню – унижительно, позорно для всякого народа, что не надо забывать и о достоинстве и приличии и что если они и впредь намерены мешать продвижению войска, то он, Кирилов, вынужден будет их строго наказать.

По приказу Кирилова адъютант, ехавший верхом рядом с каретой, флажком подал знак дозорным: «Приведите башкир сюда!»

И на этот раз из группы всадников выехали двое и в сопровождении того же казачьего есаула подскакали к начальнику экспедиции. Двое башкир – пожилые, с окладистой черной бородой, круглолицые – осадили коней в нескольких шагах от кареты, почтительно приложили руки к груди. Они не улыбались, как те безбородые юнцы, были строги и хмуры и сдержанно-холодно взглянули на есаула, требуя, чтобы он передал начальнику их просьбу. Есаул был заметно смущен, отчего гундосил еще сильнее:

– Ваше превосходительство, они пожаловали не с добрым намерением. Они требуют, чтобы мы убирались отсюда. Говорят: знаем ваши помыслы, вы хотите здесь построить еще один город и выжить нас из родной земли. Этого не будет. Убирайтесь, откуда пришли. Все равно превратим ваш город в пепел и прах. А если исполните наше требование, останемся верными подданными русской царицы.

Едва есаул закончил речь, оба чернобородых башкира молча кивнули, дескать, все верно, ждем ответа.

Для Кирилова это было совершенно неожиданно. Он быстро повернулся к своему секретарю. Петр Дьяков, точно не веря своим ушам и глазам, недоуменно уставился на башкир. Есаул беспокойно заерзал в седле. Лица башкир оставались непроницаемыми.

Кирилов с трудом овладел собой:

– Мы прибыли сюда по приказу и высокой воле ее императорского величества. Башкиры являются подданными великой Российской империи. А подданные обяза-

ны беспрекословно подчиняться указам благотельницы-государыни. Следовательно, ваши требования возмутительны и незаконны. За дерзость и непослушание вы заслуживаете серьезного наказания. Однако на первый раз я вас прощаю. Но если подобное повторится впредь — пощады не будет. Я приказываю все мои слова точь-в-точь передать тем, кто осмелился прислать вас сюда.

От гнева и ярости голос Кирилова задрожал. Оба башкира, не проронив ни слова, повернули коней назад.

Дьяков растерянно глядел им вслед. Кирилов со злоградской ухмылкой смерил взглядом своего помощника: «Вот тебе и сабантуй!»

Вскоре исчезли, точно провалились сквозь землю, и те всадники по обоим флангам, которые всю дорогу неслись наперегонки. Погас огонь под котлами возле длинных шестов, украшенных разноцветными лоскутами. Верховые башкиры, сбившись в тесные кучки, молча глядели на продвигавшееся в степь войско с вершин ближних и далеких холмов. Они стояли там и после полудня. И их становилось все больше и больше. И лица их все более суровели, а в глубине зрачков вспыхивали недобрые огоньки.

Торжественное шествие, начавшееся утром так бодро и безмятежно, к вечеру явно приуныло и пригорюнилось. Солдаты и казаки все тревожнее косились по сторонам и жались друг к другу, словно на них были нацелены стрелы.

Широкий лоб Кирилова глубоко изрезала продольная складка. Радостный с утра блеск в глазах потух. Зрачки точно покрылись ледяной коркой. Временами он вздрагивал, зябко ежился, будто по спине пробежали холодные мурашки.

Через несколько перевалов почудилось вдруг, что опасность грозила не с флангов, а сзади, будто затаившие злобу башкиры молча преследовали теперь их по пятам. Солдаты помимо воли без конца оглядывались, и ощущение страха неотвратимо росло и росло. Голубые холмы и бугры позади, казалось, недобро глядели вслед, становились все сумрачнее, напоминая опухоль под глазами обуюнного гневом человека. Чудилось, будто и за плоскими, пологими косогорами кто-то затаился. И караульные вышки впереди будто таили неизбежную опасность. Мерзкий страх закрался в душу, сковал волю.

Огромная экспедиция продвигалась молча и будто на

ощупь. Она уже не казалась столь могущественной, как утром. И травы были уже не так густы и сочны, и все окрестности поблекли, лишились первоюданной красы, и мелкая пыль все плотнее окутывала войско, делая его невзрачным. Уже не поблескивали воинственно шашки на боку казаков, а просто неприглядно болтались на поясах. Жалобно скрипели арбы. Даже пушки потерянно покачивались, колыхались на ухабах и в рытвинах и в беспредельной степи смахивали скорее на старый рыдван сбившегося с пути старьевщика.

В первый день пути экспедиция упорно одолевала перевал за перевалом, углублялась во все более пустынную степь, словно стремясь как можно дальше уйти от тех преследовавших ее недобрых взглядов, и ни разу не остановилась на привал, пока не зашло солнце. На привале обошлись без торжественных церемоний. Не стали ставить ни юрт, ни шатров. Только развьючили верблюдов, расседлали лошадей и отпустили на выпас под присмотром усиленной охраны. Усталые, измученные дорогой солдаты и казаки, не раздеваясь, повалились прямо на землю возле пушек и телег. Однако сон не шел. Никто не мог уснуть толком. Глядели в безмолвное небо, словно считали звезды. От любого звука или шороха испуганно вздрагивали, озирались по сторонам. И, не заметив ничего, снова вглядывались в таинственный небосвод. И на следующий день все обошлось благополучно. Никакая опасность ниоткуда не грозила. Однако не стали продвигаться до глубоких сумерек, а расположились на привал еще засветло.

По тому же порядку, как и под Уфой, поставили походные юрты и шатры, скотину отпустили на выпас. И хотя тоже спали настороженно, чутко, ночь прошла тихо, без каких-либо происшествий. И скот, и люди в экспедиции приободрились. Понемногу рассеялся страх. Почти исчезли березовые колки. Бурые холмы и бугры остались далеко позади. Степь становилась все ровнее, шире. Усатые казаки и солдаты, с самой Уфы шедшие молчком, словно проглотили языки, встрепенулись и завели дружную, во всю мощь глоток, песню, от которой, казалось, вздрогнула степь. На этот раз для привала избрали уютное, тихое озерцо величиной с площадь для конных скачек. Напоили скот, поразмялись, порезвились, с бреднями прошли по озеру.

В широкой, раздольной степи всем показалось, что опасность окончательно миновала. Да и откуда ей быть, когда вокруг — куда ни посмотри — ни одной живой души? Солдаты все увереннее всматривались в горизонт. Некоторые уже начали прикидывать, сколько еще примерно осталось пути. Редкая птица пролетала в небе, редкий зверек шмыгал в траве. Но по-прежнему выезжали вперед дозорные и выставлялась надежная охрана. Особенно казаки не спускали глаз с коней. Бдительно стерегли их ночью. Стоило мелькнуть под луной какой-нибудь тени, как тотчас выхватывали из ножен шашки. А утром, на рассвете, выяснялось, что то было или валуном, торчавшим из земли, или кустом тамариска. Раздосадованные дозорные, ругаясь по-черному, гнали лошадей обратно в стан.

Но вскоре кончились и лунные ночи, в которые золотисто-матовый, точно только что вытопленное сливочное масло, свет щедро заливал всю степь, придавая ей таинственность и причудливую красу. Сразу же с заходом солнца обрушивалась на степь непроглядная ночь, черная и косматая, как подгрудная шерсть верблюда-самца, и окрестности сужались до размера каменистой ниши в могиле. В темноте невозможно было различить табуны лошадей на выпасе, и пастухи и дозорные ночь напролет кричали до хрипоты, устраивая переключку. И это, как выяснилось, было серьезным промахом...

Однажды, когда изнуренные дневным походом, распряженные и расседланные лошади при ночной прохладе разбредались по пастбищу, с наслаждением и жадностью хрустя густо разросшейся молодой и сочной овсяницей и прибрежницей, впереди, в непроглядной тьме, одновременно в разных местах ярко вспыхнули огоньки. Вспыхнули и, рассыпаясь искрами, тотчас погасли. Лошади на мгновение подняли морды, застригли ушами и в ужасе отпрянули, повернулись, будто перед ними разверзлась земля, и сплошняком поскакали назад. Степь вздрогнула. Казалось, в ночной степи в единый миг образовалась гора и тотчас рухнула. Гул прокатился по всем окрестностям.

Казаки с перепугу припали к ружьям и принялись беспорядочно палить. Табуны и вовсе обезумели. Лошади, разом забыв про безмятежный выпас, про медовую прибрежницу, захрипели, заржали и, сталкиваясь, сшибаясь, понеслись наметом в сторону погруженного в глубокий сон лагеря.

Совершенно не соображая, что стряслось, откуда обрушилась нежданная напасть, сонные солдаты выскочили из юрт и шатров в одном исподнем, забегали, заметались из края в край. А табун, разрывая в клочья ночную мглу, ураганом понесся по лагерю, круша и сметая все на своем пути. Грохот, треск, стон, крики, свист, пальба, ругань. Только что тихий, безмятежный лагерь превратился в ад. Опрокидывались, словно игрушечные, юрты. Рушились шатры. Наткнувшись на неожиданную преграду, кони и вовсе ошалели. Падали на всем скаку. Перепрыгивали через телеги. Брыкались, попав в скопище людей. В отчаянии солдаты продолжали беспорядочно стрелять, усугубляя переполох и панику. С табунном не было никакого сладу. Опрокинув лагерь, диким наметом понесся в неведомую даль. И неизвестно, сколько бы продолжались эти безумные скачки, если бы впереди не сверкнули вновь зловещие огоньки. Табун шарахнулся вспять. Задние ряды на всем скаку наталкивались на передние. В неслыханной толчее было затоптано немало лошадей. Теперь табун, вконец обезумев, все той же сплошной массой вновь пронесся по растерзанному лагерю, довершая разрушение. Казалось, над ним прокатился смерч. Не только четвероногие твари, но и двуногие грешники так и не поняли, что же такое произошло в эту страшную ночь.

На рассвете открылось жуткое зрелище. Перевернутые телеги, разбросанные тюки. В клочья изорванные шатры. Перебитые остовы юрт, сломанные решетки. Здесь и там бугрившиеся туши лошадей. И среди солдат были убитые и раненые.

Откуда нагрянула лихая беда, в чем и в каком обличье, — неизвестно. Пересчитали лошадей вместе с убитыми — число сходилось, чужих не было. Так что же такое могло напугать табун? Что за безумие охватило их?!

Начальник Оренбургской экспедиции в сопровождении Тевкелева и Дьякова, а также башкиров-проводников объехал ближайшие окрестности. На том месте, где накануне пасся табун, наткнулись на старое, заброшенное кладбище. И на другой стороне лагеря, неподалеку, обнаружили надмогильные памятники — серые камни-стояки, осевшие в землю и обросшие ржавым мхом. Белобородые старики заметили: «Известно, что на старых могилах ночью вспыхивают огоньки. Может, они и напугали лошадей?» Кирилов недоверчиво посмотрел на казахов из

посольства, как бы спрашивая: «Так или не так?» Те во главе с султаном Ниязом и прибывшим к ним навстречу в Уфу Мырзатаем неопределенно дожали плечами.

Понеся неожиданные и чувствительные потери, погрузив раненых на телеги и оставив в степи все, что было перебито и переломано, экспедиция двинулась снова в путь. Кирилов, оглядываясь на место злополучного привала, удрученно покачивал головой. Был он хмур. Глубокая бороздка на челе так и не разгладилась. По его распоряжению шли весь день, без остановки, до самого заката. Для выбора места стоянки были высланы вперед дозорные. Те внимательно смотрели, чтобы поблизости не было ни кладбищ, ни старых могильников. Была усилена охрана. Спали солдаты поочередно. По краям лагеря выставили пушки, заряженные ядрами. Ночь прошла в тревоге, но благополучно. Думали: нечистая сила отступила, сгинула.

Но в одну из темных ночей все повторилось. Снова точно с неба обрушился грохот. Вскочили солдаты, прислушались: содрогая землю, лавиной мчался на стан табун. Жуткое ржание коней вспарывало аспидно-черную тьму. Чтобы отпугнуть обезумевший табун, выстрелили несколько раз в воздух, но тщетно. Казалось, никакая сила не в состоянии остановить эту страшную лавину. Еще несколько мгновений — и она, как и в тот раз, грозила смести весь лагерь.

Кирилов в отчаянии крикнул пушкарям:

— Пли!

Пять пушек, грохнув почти одновременно, взорвали глухую ночь. На мгновение все точно оглохли. Все, казалось, провалилось в тишь. Но тут же явственно донеслись храп, хрип, ржание коней и дробный, сливавшийся в сплошной гул цокот копыт. Черная лавина, горным селевым потоком накатывавшаяся на лагерь, тотчас отхлынула, откатилась назад, все стремительнее удаляясь. Умчавшихся в степь лошадей казаки, собрав в табун, пригнали назад. На месте, где ночью упали ядра, громоздились туши мертвых лошадей. Кирилов подосадовал на себя: «Надо было заряжать пушки одним порохом...»

Поголовье лошадей в экспедиции с каждым днем, вернее, с каждой ночью катастрофически таяло. Обоз отяжелел и шел все медленнее. Многим пришлось плестись пешком. Какие бы меры предосторожности не предпри-

нимали, все тщетно: черная напасть преследовала табун по пятам.

Люди устали от постоянных тревог. Все были подавлены и раздражены. Особенно мрачен был юный ханзада. До самой Уфы он ни разу не был столь угрюмым. Наоборот, он испытывал радость от приближения встречи с родным краем. А под Уфой его ожидало и вовсе приятное событие. Однажды ханзада глазам своим не поверил, встретив на пути живописную группу всадников. Все были, как на подбор, в пышных лисьих треухах-тымаках. На всех одинаково толстые бараньи шубы, выкрашенные хной. У всех в руках короткие толстые плети-доиры, сплетенные из сыромятных ремешков. И все внимательно глядели в сторону Казанской дороги, по которой стремительно катились сотни саней. Когда несколько кибиток круто остановились возле всадников, их, казалось, охватила оторопь. Наконец казахи недоверчиво приблизились к одной из кибиток. Верзила в красной шубе, крепче стиснув в одной руке увесистый доир, другой рукой притенив глаза, защищаясь от слепящего снега, подошел к повозке, нетерпеливо высматривая кого-то.

– Дядя! – раздался восторженно-изумленный возглас.

Чернолицый верзила, не поняв, откуда донесся столь знакомый и родной голос, неуклюже заворочался, переминаясь с ноги на ногу.

Ханзада рывком распахнул дверцу кибитки, вприпрыжку, словно спасаясь от жгучего мороза, пронзившего все его щуплое тельце, кинулся к детине в красной шубе, под сапожищами которого скрипел, взвизгивая, снег, и прильнул к нему, припал к груди, исчез в его огромных объятиях.

Знакомые запахи ударили в ноздри ханзады, всколыхнули душу – запахи пота, дубленой кожи, степного ветра, хны, дымного очага. Голова сладко закружилась, в глазах все поплыло. Охрана, приставленная к ханзаде, не позволила ему поздороваться с другими верховыми в лисьих треухах, поспешно затолкнула дядю с племянником обратно в теплую кибитку.

Дядя Мырзатай, кое-как втиснувшись в тесную для него кибитку, пристально оглядел племянника с головы до ног. В больших, воспалившихся на ветру и морозе глазах вспыхнули лукавые искорки. Дядя не скрывал своей радости. Широкой, как лопата, ладонью энергично провел разок-

другой по повлажневшему лицу, обтер руку о штанину, придвинулся плотнее к племяннику.

— Ну, бала, как съездил? Уж не окрутила ли тебя царицына дочка? А то мы там, в ауле, не на шутку встревожились: а вдруг оженили джигита и превратился он в приبلудного зятя, а?! Три года как уехал, будто в воду канул. Встревожишься тут! Ну, слава аллаху, свиделись! И до этого дня дожили!

И словно не веря своим глазам, опять в упор выставился на смущенного и взволнованного встречей племянника.

— Слушай, а что у тебя на губе? Сажай вымазался, что ли? Уах! Да у тебя, видно, усики пробиваются! Должно быть, в материнскую родню пошел. У нас в роду все волосатые. А у отцовской родни подбородки гладкие, как облезлая шкурка.

Похохатывая и балагуря, Мырзатай приобнял ханзаду, пощупал как бы невзначай ребра.

— А отощал-то как! Впроголодь, что ли, живешь?

— Не-ет...

— И дух от тебя идет незнакомый. Должно быть, свинину ешь?

— Что вы?! Аллах упаси!

Дядя, казалось, не верил. Бурно задышал, раздувая широкие ноздри. Лукавые искорки в глазах разгорелись ярче.

— Нет, что ни говори, а запахи от тебя исходят не нашенькие. Как в лавке бакалейщика. Может, душистым мылом моешься? Или от русской одежды такой дух? Не узнать тебя!

Юный ханзада от души рассмеялся над словами бесцеремонного дяди-степняка.

— Ну а гостинцев много везешь?

Ханзада весело кивнул.

— Что же мне подарить?

— Приедем — покажу.

— Ладно. Я, конечно, не надеюсь на подарки, какие везешь отцу и матери. Но если подарок для меня окажется дешевле, чем тот, который для Нуралы, тогда смотри... пеняй на себя. Я ведь тоже на базары выезжаю. И в отместку могу и обделит гостинцами. Нынче осенью собираюсь в Хиву торговать лошадьми. Могу заехать к сватам и шепнуть им, что ты, мол, берешь в жены царицыну дочь. Мигом твою невесту против тебя настрою. Понял?

Ханзада еще пуще развеселился.

И с того дня радость не угасала на его лице. Среди той большой группы всадников, которая встретила его на Казанской дороге, находились и его двоюродный брат султан Клыч-Мухамбет и хаджи Мухамбет. В сопровождении нескольких биев они направлялись в Петербург на прием к царице. Остальные примкнули к Оренбургской экспедиции.

Разговорам не было конца. Ханзада все расспрашивал и расспрашивал обо всем, что произошло в родных местах за три года его отсутствия. И дядя Мырзатай с удовольствием рассказывал. Слушая его, султан Нияз светлел лицом, приходил в возбуждение и азартно хлопал себя по коленям:

— Э, то-то же? Вот так и должно было быть!

И не зря ликовал султан Нияз. Повод для этого имелся достаточный. Оказалось, после того, как казахское посольство отправилось в далекий путь в Петербург, хан Самеке так же спешно заслал своих послов в Уфу. Но русские правители без обиняков напомнили ему злодеяния, учиненные против посольства Мамбета-мурзы в казахской степи, и отправили доверенных людей Самеке назад, не удостоив их тем самым чести быть принятыми ее императорским величеством. Конечно, это было на руку хану Абулхаиру. Вес его среди казахов сразу возрос. Не говоря уже о других, сам контайджи без конца отправлял к нему нарочных, прося перемирия. Да и всех жен и наложниц из ханского окружения отпустил из джунгарской неволи домой; и не просто отпустил, а доставил с почестями и подарками. Галдан-Церен передал правление подвластным ему Большим жузом младшему брату Абулхаира хану Джульбарсу и бию Туле из рода уйсунь, а сам отправился воевать с китайцами. Словом, между казахами и джунгарами ныне не происходит никаких стычек. Воспользовавшись этим, иные пронырливые султаны из династии Жадика то и дело совершают вылазки в Туркестан.

— И твоего будущего тестя миновало лихо, — осклабился Мырзатай, глядя на племянника. — Влиятельные хивинские инаки, ханские придворные, значит, попытались сместить с трона Джульбарса. Только ничего из этой затеи не получилось, так как сами, как псы, перегрызлись между собой.

Не осталось новостей, о которых не поведал бы словоохотливый Мырзатай за долгий путь из Уфы.

Каждый такой рассказ глубоко западал в чуткую душу юного ханзады, будил воспоминания и усугублял тоску по родному краю. Взираясь на очередной перевал, он каждый раз приподнимался, вглядывался вдаль, стремясь увидеть родной аул. Но не увидев знакомых окрестностей, вновь обессиленно опускался на сидение, свешивал голову на грудь. Глаза тотчас наполнялись грустью. Нетерпенье охватило ханзаду. Все уже ему наскучило. И вдобавок угнетали еще эти тревожные ночные происшествия... Столько лет томился он на чужбине, а теперь, когда уже, считай, до родных мест, где он, наконец, обнимет мать, отца, многочисленных родных и близких, осталось почти рукой подать, подстерегла их еще одна неожиданная напасть, и самому всевышнему неведомо, чем все это кончится. Горькие думы доводили юношу до отчаяния, и он ночи напролет проводил без сна. Но и днем он не мог избавиться от дурных предчувствий. Уж кого-кого, а наймитов-татар и калмыков в экспедиции было достаточно. Немало было и проводников-башкир. Неугомонный Мырзатай приглашал их в повозку ханзады, затевал с ними бесконечные беседы, расспрашивал обо всем на свете. И они охотно рассказывали, ловко сочиня всякие небылицы.

– Слушайте, братцы, – настаивал Мырзатай. – Объясните толком, что это творится с табуном?

– Должно быть, происки несыти...

– Несыть? Это что еще такое?

Словоохотливые башкиры, видя искреннее удивление верзилы-казаха, однако, не спешили с ответом, загадочно помалкивали, щурили глаза, принимали непроницаемый вид, медлили, точно скряга-купец, которому неохота возвращать старый должок. Поговорить, однако, в долгом пути все же хотелось, да и не приличествует важничать перед юным наследным принцем, и они начинали плести такие были-небылицы про всякую нечисть, от которых знобило тело.

«Про несыть спрашиваешь?.. Так вот, слушай... Когда умирает обыкновенный смертный, который жил скромно и почитал аллаха, его душа в самое последнее мгновение покидает брренное тело. А тот, кто при жизни творил разные пакости в угоду верховному дьяволу Иблису, в

час смерти оборачивается несутью. Башкиры считают несуть оборотнем. Несуть можно разглядеть еще при жизни. Тот, кто ненасытен, обжорлив, кто время от времени ест сырое мясо и пьет кровь, это и есть, считай, несуть. Он иначе не может. Иначе он сразу лишится силы и зачахнет. Увидишь человека, едящего сырое мясо, заставь его тотчас поднять руку. И если под мышками у него сквозная дыра, так и знай – оборотень, несуть. Э-э... чего только не бывает на свете! Рассказывают, в старину один джигит взял себе в жены небывалую красотку. В первую же ночь она обратилась к нему с мольбой: «Об одном прошу тебя: если хочешь, чтобы я не погибла, никогда не смотри мне под мышки». Джигит дал слово. И когда жена-красотка раздевалась или одевалась, каждый раз отворачивался. Ну, вот... выехал он как-то на охоту, но едва выбрался за аул, захромала под ним лошадь. Делать нечего, вернулся домой. Откинул, значит, полог, заглянул в юрту, а там... Представьте себе: сидит на почетном месте, на ковре и подушках совершенно лысый дьявол и милует-ласкает на коленях молодку-красотку. Джигит в ярости кинулся к жене, заломил ей руки назад и обомлел: под мышками ее зияла дыра! Он сунул в дыру руку, вырвал черное сердце, и жена тотчас испустила дух. Вот тебе и красotka! Колдуньей оказалась. Несутью...»

«Апыр-ай, а!» – изумлялся простодушный Мырзатай.

«Слушай дальше... Когда подобные колдуны умирают, им в пятки загоняют иголку. Это для того, чтобы не вырвался из тела дух оборотня, чтобы несуть не вырвался на волю. Случается, таких закопают в могилу, а там невзначай иголка выпадет из пятки. Значит, несуть и из могилы вырвется. Поэтому таких выкапывают из могилы и в прах вгоняют железный кол. Тогда уж несутьи деваться некуда. Считай, конец. Вот если бы тогда, в ту ночь, когда лагерь остановился неподалеку от старого кладбища, мы бы вскрыли одну могилу и проткнули бы останки железным колом, могли бы наверняка избавиться от всякой напасти...»

«Ну и ну! А увидеть несуть можно?»

«Конечно!.. Запросто... Если увидишь днем, при свете, какого-нибудь плюгавенького старикашку по пояс, без нижней части тела, так и знай – несуть! Вечером он превращается в летучую мышь. А темной ночью мельтешит там и тут блуждающим огоньком. Мается, мечется

по степи, присосется ко всему живому, кровь пьет, всякие хвори-недуги распространяет...»

«Выходит, это несеть преследует наших лошадей? В лагерь пролезть, видно, боится. Пушки, ружья, порох и пули – страшно ведь. Вот и нападает на лошадей на выпасе...»

«Вполне может быть... А может, совсем не несеть, а обыкновенные чий-хоботы...»

«Чий-хоботы?!»

«Да, есть и такая нечисть. С длинными, как песчаный тростник, носами. Вот и прозвали их чий-хоботами. Они ведь очень бойкие, резвые. Страсть как любят скакать ночами на лошадях. А здесь, в безлюдной, пустынной степи, должно быть, надоело, осточертело им плестись-тащиться пешими. Ни аулов вокруг, ни скота, и караваны не проходят. И вдруг – на тебе! – целый табун пасется. Вот и решили влась поскакать на резвых лошадях под покровом ночи. Чий-хоботы, сказывают старики, по своему обличью похожи на людей. Только глаз у них один во лбу. И еще, говорят, отменные провидцы. Если поймать чий-хобота и заставить его погадать, он тебе точно предскажет судьбу всех твоих потомков до седьмого колена».

Видя, что у верзилы-казаха округляются глаза, а юный ханзада аж разинул рот, башкиры все более распаялись и, выставив кадыки на тощих шеях, продолжали рассказывать с жаром, перебивая в нетерпении друг друга.

«Вообще, сказывают, нечисть нынче необычайно расплодилась. В лесах на каждом шагу тебя подстерегают разные лешие, шурали. В горах под каждым камнем, в каждом ущелье – ведьмы, джинны и пери. Одинокие путники исчезают бесследно. Был человек – и нет его. В иных аулах поголовно сгнули все мужчины. Отправились, говорят, на сбор кошмы, арканов, шкур и как сквозь землю провалились. Одно бабье и детвора стоном стонут в осиротевших аулах. Видно, настали дурные времена...»

«Да, да... Тяжко, не приведи аллах!.. А какая была нынче зима? Буранило – жуть. Вой стоял – ошалеть, свихнуться можно. Такое бывает, когда ведьмы свадьбы играют. Если уж они в самую стужу так куролесят, то можно себе представить, что они вытворяют летом!»

«Верно, верно... Страх, что делается в аулах, особенно вблизи озер и рек. Как только заходит солнце, налетает, говорят, косматая туча, опускается к воде, выхватывает из волн дракона-аждаху и куда-то уводит».

Казахи высоко вскидывали брови.

«Как уводит?.. По воздуху, что ли?.. Разве аждаха летает?»

«Сказал!.. Обыкновенную гремучую змею знаешь? Ну вот, когда она проживет сто лет, то превращается в аждаху и обитает где-нибудь в омуте, болоте, озере или реке. А еще через тысячу лет становится страшилищем-джухой, таится в воде и подстерегает зазевавшихся девиц и молодых. Но всемилостивейший создатель не допускает, чтобы змея жила тысячу лет. В облике косматой черной тучи хватает ее из воды и переносит далеко-далеко за Капские горы. И в том наше спасение. Иначе бы джуха на корню истребила бы башкир в горах Урала».

«Надо же, а! Столько дней в пути, а ни одной змеи так и не увидел. Значит, надо полагать, все, прожив сто лет, превратились в аждаху...»

«Ай, кто знает... Когда по степи прет такое войско, наверняка всякая змея в нору прячется. Шутка ли...»

«Вряд ли... При всякой суматохе нечисть ликует. Людям – горе, дьяволу – радость».

«Это уж так!.. Хорошие духи на нас в обиде. Мимо скольких кладбищ проехали, сколько одиноких могил в пути встретили, а ни одной молитвы не сотворили, ни одного святого не помянули, словно нечестивцы какие...»

«Скажешь тоже! Неужто тебе хочется, чтобы начальник русского похода опустился на колени возле заброшенной могилы в степи, зарезал жертвенную скотину да сотворил мусульманскую молитву?! От такого кощунства все святые из могилы встанут!»

«Это еще куда бы ни шло! А ведь нынче под Уфой солдаты вместо дров сожгли все надмогильные шести. Не побоялись аруахов. А сколько мечетей осквернили в поисках укромного местечка, чтобы справить нужду!»

«Но, видно, не все бесчинства сошли им с рук. И аруахи, должно быть, не дремали. Вот, рассказывают, зимой сто пятьдесят солдат отправились в аул Шортали добывать мяса, а пятьдесят из них так и не вернулись. А дело было так. Согревшись в теплых домах и всласть наевшись мяса, солдаты потребовали истопить им баню. Ну, истопили баньки, значит, во всех дворах. Жарко, хорошо, смолой пахнет, березовыми вениками. Мылись-парились солдаты долго-долго. За такое время можно было конину в казане сварить. Первая партия вышла благополучно,

все живые-целехонькие остались. А те, что пошли париться следом, уже за полночь, так в бане и околели. Ни один не уцелел. То ли угорели, то ли в горячем пару обварились. А виноваты оказались сами. Хозяева их предупреждали: «За полночь в баню не ходите. В это время обычно моются невидимые духи. Того, кто парится вместе с ними, непременно постигнет беда». Но солдаты, говорят, не послушались».

«Да, да... И я слышал, аруахи сурово карают за кощунство. Похожий случай произошел и в горах Кырыкты. Там, на снегу, нашли двадцать застывших солдат с оголенными задами. И у всех из них, сказывают, торчали, трепыхаясь на ветру, разноцветные тряпицы. Вначале никто не мог донять, что за напасть такая. Потом сообразили. Оказывается, неподалеку от ущелья росли деревца. По поверью, здесь обитал горный дух. Задабривая его, девушки на выданье привязывали к веткам деревьев разноцветные лоскутки и серебряные монетки. Здесь же они проводили свои игрища, пели, плясали. А солдаты, возвращаясь из аулов, решили тут справить большую нужду. Сорвав с веток по одной тряпице, тут же, под деревьями, и присели. Ну, дальше все ясно. Здесь и нашли свою гибель».

Башкиры в ужасе покачивали головами. Казахи от удивления языками пощелкивали.

Ханзада сначала слушал эти жуткие истории, словно причудливые сказки. Но постепенно в него вселился страх. А потом ужасные видения стали преследовать его во сне. Стоило ему только коснуться подушки и закрыть глаза, как мерещились зияющие чернотой пещеры. А у входа в пещеры сидели, греясь на солнце, полногрудые обнаженные светлолицые девы. Телом белые, пышные. Глазища – синие, бездонные. Раз взглянешь – глаз не оторвешь. А они, искусительницы-колдуньи, томно улыбаются, непристойно изгибаются, заманивают, пальчиком указывая в глубь пещеры. Он, не в силах устоять против соблазна, уступает им, направляется к пещере, хватает одну из дев, но она ловко спрыгивает с валуна, и он тут с ужасом видит, что дева одноногая и одноглазая. Холодея, он пытается дать деру, унести ноги поскорее да подальше, но не тут-то было. Одноногая дева одним прыжком настигает его и взбирается ему на спину. А он все бежит, бежит из последних сил, кричит-надрывается: «Спасите! Спа-а-

си-и-ите!» И тут, весь в поту, просыпается. Голова его запрокинута. Постель истерзана. Подушка, вся измятая, где-то под спиной. Одеяло у изголовья. Сердце сильно-сильно колотится, подкатившись к горлу. Шепча молитву, он переворачивается на бок и старается снова уснуть.

Отныне сон для него превратился в муку. Что только не мерещилось ему в плену наваждений! Как-то раз мальчишка с длинной челкой на лбу повел его собирать землянику. «Вон за той топью земляники навалом», — уверял мальчишка. А он — это все во сне — засомневался: «Как же так? Разве на топи земляника растет?!» «Не бойся, — все твердил мальчишка с челкой. — Пойдем напрямик, через топь. Скорее дойдем». Ну и идут они, идут. А под ногами зыбко.

С каждым шагом топь засасывает все глубже. Вот он погрузился по щиколотки. Вот уже — по колено. Еще через мгновение — по брюхо. И холод подкрадывается к ногам, обжигает пятки стужей. «Эй! Куда ты меня привел?!» — кричит он своему напарнику. А тот бежит себе вприпрыжку, улепetyвает по трясине, будто заяц. Ханзада глянул на его следы и обомлел. Следы шли к нему, а не от него. Выходит, мальчишка шел пятками вперед, и, значит, то был оборотень, заманивший его в глубокую гиблую топь. Обливаясь потом, ханзада проснулся. Одеяло, оказалось, сползло с него.

Еще один сон преследовал его особенно часто. Пышнотелая баба с распущенными волосами — откуда ни возьмись — усаживалась на него верхом и совала ему попеременно в рот непомерно огромные груди, столь огромные, что она закидывала их за спину, точно косы. Даже сосцы были величиной с большой палец дяди Мырзатая. И во сне ханзада понимал, что это была ведьма-албасты, несчастная женщина, лишившаяся когда-то детей. С тех пор она, как неприкаянная, ходит по степи и ищет среди спящих людей своих малюток. Груды ее распухли от обилия молока, от тоски и боли, и немало людей задохнулось от них во сне во время кормления. Неужто и ему, ханзаде, уготована такая участь? Он начинает задыхаться, вырываться из-под распатланной грудастой женщины. Он просыпается, отшвыривая одеяло, натянутое на голову. Попробуй уснуть теперь, после такого...

Приуныл юный ханзада. Бесконечная однообразная дорога усугубляла тоску. А дни становились все длиннее,

солнце припекало все заметнее. Далеко в степи зыбились причудливые миражи. В долинах вдруг возникали безбрежные голубые озера, которые сливались с таким же безбрежным небом. Исчез душистый, настоящий на весенних травах запах. Пахло сильно разогретой пылью, паленой кошмой и острым конским и верблюжьим потом.

Нескончаемые думы о родном ауле изнурили, извели юношу. Истомился он за три года разлуки с отцом-матерью. Сон и явь — все смешалось. Беспорядочные, затейливые видения преследовали его неотступно. Страхивая нудную дрему, он приоткрывал глаза и видел беспредельное водное пространство. По ровной голубой глади — и спереди, и по краям — все куда-то плыло, плыло. То здесь, то там виднелись небольшие островки. И на них невесомо высились белые башни... багрово-красные крепостные стены... Откуда они?.. Уж не опять ли очутились они в Петербурге?.. А может, эти башни и минареты относятся к Казани?.. Как могло случиться, что все вокруг залито водой? Неужто наступил второй вселенский потоп? Может, слились воды Едиля и Яика?.. Может, это плывут по воде белые русские церкви с золочеными крестами?.. Но как они очутились здесь, в степи?.. И почему в степи не видать аулов? Куда подевались табуны лошадей, отары овец, гурты верблюдов?.. Странно... Все плывет-плывет куда-то... Где плывут? По степи или по неведомой пустыне?.. Куда плывут?.. Зачем плывут? Нет ответа... Порой мерещилось, что бредет покорно и молча огромное скопище скота, гонимое удачливыми степными разбойниками-барымтачами. А что это там, позади, темнеет?.. О, так это же каменная крепость вблизи Петербурга. Да, да... Она!.. И, должно быть, сейчас начнется пальба из пушек... Нет, не слышно грохота... Видно, при такой воде и порох отсырел... Плыет каменная крепость спокойно-величаво... Из зияющих бойниц выставились жерла пушек... Э, да это и не пушки вовсе, а верблюды. Бедняги, тянут длинные шеи из бойниц... Но как они попали в крепость на острове? Может, спасаясь от воды туда попрятались?.. Ну и чудеса!.. Для верблюдов, пожалуй, лучшего загона не сыскать... За крепостные стены уместилась бы не одна тысяча голов. Почему, однако, не видать лошадей?.. А-а... вон и они, далеко впереди плывут... Уши-камышинки торчком... А овцы? Их не видать. Этих беспомощных, безропотных бедолаг, кроме челове-

ка, никто и ничто не спасет. Давно, небось, погрузились на дно моря разлитанного... Вон виднеются какие-то наносы на поверхности воды. Что это? Сено или всплывшие со дна бараньи туши? Ни звука... Молчаливые и покорные всегда обречены. Другое дело – строптивые. Лошадь или верблюд за свою жизнь сражаются отчаянно. Какая-то часть из них непременно выживет и во вселенном потоке. А овцы?.. Эта беспомощная тварь первая гибнет при любой смуте. Как и большинство слабого человеческого рода. В пору величайших потрясений надежду на выживание получают лишь сильные и ловкие, хитрые и пробивные, у кого горячее сердце в груди и буйная головоушка на плечах. Да, да... только так... искони так. И в этой заварухе наверняка уцелеют козы и лисы. Дуралей-верблюды заберутся в лучшем случае в крепость и будут тянуть длинную шею из бойницы, а приткие козы, подергивая острыми бородками, вверх-вверх по ступенькам-лестницам нахально заберутся на самую крышу царского дворца. С них станется! А кто, воспользуясь суматохой-паникой, заберется втихаря на золотой царский трон? Хитрый лис, держащий мордочку по ветру, или оглядчивый, осторожный барсук, что вечно печется о своем брюхе? Как бы там ни было, шустряки и пройдохи доли своей не упустят. Они всегда хозяева жизни. Так постоянно говорит дядюшка Мырзатай... Но что же это происходит? Неужели ему уже не суждено увидеть родной край? Неужели мать в приливе нежности не обнюхает ему лоб, а отец не прижмет к своей могучей груди? Неужели ему уже не скакать на строптивых стригунках, не бегать босиком по траве, не собирать в степи дикий лук и не выкапывать клубни марьиных кореньев? Конечно, какие тут клубни, какая трава, если и травянистые долины, и песчаные взгорья – все осталось под водой?! Веселенский потоп обрушился на землю, и все перевернулось вверх тормашками. Иначе откуда бы здесь, у степных дорог с редкими, одиночными могилами вдоль обочины, появились вдруг неприступные крепостные стены? И если бы не нарушился вдруг извечный ход бытия, с какой стати он, потомок кочевников, жизнь которых искони меряется переходами на верблюдах и скачками на лошадях, оказался в каменной крепости? Почему не кочует по вольной степи? Зачем понадобились казахским просторам эти чугуновые пушки с зияющими жерлами, похожими на ступку,

если степняки тысячами вполне обходились дубинками и длинными шестами для ловли строптивых неуков? Для чего, в самом деле, казахам пушки? Чтобы заквашивать молоко? Чтобы варить кислый сыр? Чтобы из трав, приобретенных у проезжего торговца, толочь зелье-на-свай, который закладывает за губу? Куда ведет он этих людей со всеми доспехами-причиндалами, которые его предкам до седьмого колена и не снились? За что ему, безусому юнцу, такие почести? А не играет ли он роль заблудившегося паршивого ягненка, который ведет за собой шакалью стаю в овечий загон? Да, да... он всего лишь несчастный ягненок... Он пытается заблеять, но не может. У него нет голоса. Что такое? Горло на месте. Глотка на месте. И рот, и ноздри, и язык — все на месте. А голоса нет. Для чего ему тогда горло? Для чего рот? Неужто только для того, чтобы молча проглатывать все, что в него пихают? О, нет! Ему нужен голос. Он хочет кричать. Но он не знает, куда подевал в забытии голос. Он отчаянно шарит вокруг себя, ищет лихорадочно, но тщетно: голоса нет. А ему хочется петь. Громко, во всю мощь легких. Но из него вырывается только беспомощный хрип, а поют другие. Поют ладно, грозно. Поют незнакомую песню. словно поток обрушился с гор. Не селевый поток, а людская лавина. А поют-то как! Неистово, отчаянно вытягивая шеи. Рты распахнулись до ушей. Лица побагровели. Идут, будто на смертный бой. Не оглядываясь. Напролом. Все сметая на своем пути. Ну, точь-в-точь как тот табун в ночи, охваченный смертным ужасом. Грозная, несокрушимая сила чувствуется в их пении. Грозная, несокрушимая сила в их поступи. Ханзаде хочется открыть глаза, посмотреть на эту лавину. Но ничего ему не видно. Ни воды, залившей всю сушу. Ни многочисленных наносов, плывущих на поверхности. Только мощный, несмолкающий гул. Все нарастающий. Все более неистовый. Оглушающий. Нет от него спасу... «Эй! Да перестань-те же вы!» Так он кричит. Вернее, так он хочет крикнуть. Но слышен голос не его — чужой. И тут же песня обрывается. Глохнут разом все звуки. И он погружается в вязкую тишину. И неизвестно, сколько времени он наслаждается тишиной, как бы купается в полном безмолвии. Или предается благодатной дреме... Перед глазами простирается водная гладь. Чуть-чуть зыбится... И так лежит он долго, долго. И вдруг издали вновь нака-

тывается – поначалу приглушенно, потом все явственнее – дробный цокот копыт... Потом вроде как сухой треск, словно в раскаленном сале жарят кукурузу... Странно, что это такое может быть?.. И опять исчезли звуки. Кто-то осторожно похлопал его по плечу, потом ко лбу приложил холодную ладонь... Потом поднесли что-то к губам, влили в рот. Что-то горькое, невыносимо горькое. Вроде как молоко обжевшейся полыни верблюдицы... Нет, не молоко... Что-то совсем уж горькое. Не различить. «Пей, пей!» – монотонно настаивает кто-то. «Возьми в рот. Соси!» – твердит еще настойчивее. О, аллах! Что же от него хотят? Что-то белое, большое, податливо-мягкое склоняется над его лицом... Неужто его опять оседлала ведьма-албасты? До чего же непомерно огромные у нее груди. Раньше она их закидывала за спину, а теперь еще и вокруг шеи обмотала. По белым грудям ее ползут к нему два мохнатых каракурта. Сейчас ужалят его. Он с омерзением отпихивает, отталкивает от себя набухающие белые груди ведьмы, старается стряхнуть с них ядовитого паука и в страхе открывает глаза. Белая пелена отодвигается, рассеивается, и вдруг, стремительно приближаясь, возникает у изголовья знакомый облик дяди Мырзатая.

– Ну что... очнулся, душа моя?!

Он не помнил, что пролепетал в ответ. Не услышал собственного голоса. С трудом раздвинул губы в улыбке, и вновь зыбкая муть обволокла его.

Он не знал, сколько дней был в забытии. Однажды, открыв глаза, увидел неподалеку от себя идущих в ряд людей с высоко поднятыми руками. Они были изнурены. Ноги заплетались. Руки их были привязаны к длинному волосяному аркану, концы которого крепко держали вооруженные всадники по краям. Мужчины были обнажены по пояс. Под мышками их, казалось, зияли черные дыры. Неужто это те самые несыти, о которых рассказывали жуткие истории? Неужели у них под мышками и в самом деле дыры? Да нет... вроде обыкновенная волость... И дух от них идет тяжелый, прелый, как от ночных конокрадов после трудного набега. Почему, однако, их связали? Почему заставили поднять руки?

– Кто эти?

– О, слава всевышнему! Да стану тебе жертвой! Очнулся, наконец! А эти? Это и есть оборотни-несыти, о которых нам всю дорогу толковали башкиры...

Несыти, говорит? Выходит, все-таки не люди, а оборотни? И под мышками у них чернеет не волосня, а дыры? Тогда, значит, сейчас через эти дыры вырвут из груди их трепещущие сердца, швырнут их в белесую дорожную пыль и раздавят колесами?

В глазах ханзады опять потемнело. Снова он будто оглох. Исчезли все звуки – треск, скрип, топот, крик. Сплошная темень. Мертвая тишь. Он только смутно, как во сне, чувствовал, что весь горит, что пересохли губы, горло и нестерпимо хотелось пить. Он отчаянно искал воду, но во все стороны простиралась бесконечная пустыня. Что-то там, далеко впереди, неясно голубело, и он из последних сил брел и брел в ту сторону. Язык во рту распух, точно одеревенел. «Воды! Воды!.. – шептал он, но голоса по-прежнему не было. Кто-то лишил его голоса. А вон показалась голубая кромка воды. «Пить... пить... Дайте же, наконец, пить...» – срывалось с его губ, но голос слышался другой. Что-то поднесли ему ко рту. Что-то большое, бесформенное. Уж не опять ли ведьма-алба-сты сует ему в рот свою безобразно огромную, вислую грудь? И уже не молоко сочится из ее сосков, а вроде как вода... Нет, и не вода вовсе, а песок... раскаленный, шелестящий, шуршащий, струящийся песок... Он сделал рукой резкое движение. Что-то отлетело, громыхая, в сторону. А он продолжал идти-брести туда, где смутно голубела желанная кромка воды. И вдруг споткнулся. Глянул под ноги: оловянная солдатская фляжка в холщовом футляре. Видно, уронил кто-то. Наверняка в фляжке есть вода. Он открутил крышку, поднес горлышко к губам. Нет, опять песок... раскаленный, струящийся. В досаде отшвырнул он фляжку. Она не громыхнула, а упала с глухим стуком. Пить... пить... Он чувствовал, что горло его от жара распухло, точно баранья брюшина, подсушенная на дымном огне. Сейчас треснет, лопнет... Пить-пить... Неужто во всем этом огромном мире не осталось спасительного глотка воды? Один, один торчит он, точно пень, в безбрежной пустыне. Голо вокруг, куда ни посмотри, гладко, безжизненно. И даже небо над головой безучастно к нему и не вселяет никакой надежды. Что же делать? Он опустил на корточки, потом лег на живот и начал в отчаянии руками разгребать песок. Он вспомнил: под верблюжьей колючкой песок всегда влажен. И если прижаться губами к влажному, прохладному песку под янтаком, то

можно хотя бы на время утолить жажду. Ах, как хорошо, что он это вспомнил! Дети кочевников с малолетства знают все, что касается скотины, трав, дороги и пастбищ. Все приметы им известны. А тут, куда ни глянь, ни свежего помета, ни сухого кизяка. Значит, не пасется здесь скот. И давным-давно не обитали в этом краю люди. Тогда, выходит, можно найти верблюжью колючку. Вон вроде как лиловый пучок торчит из-под песка... Он подполз, подобрался к нему... Точно: янтак... Даже укололся о его колючки... Из пальцев рубиновыми капельками выступила кровь. Дотронулся губами до ранок и почувствовал солоноватый привкус. Он начал лихорадочно копать податливую супесь под янтаком. Наткнулся на ворох старых разноцветных тряпок. Он начал их брезгливо отшвыривать от себя. Что за дьявольщина! Конца-краю нет этим тряпицам. Что за янтак такой, выросший на тряпках?! Он перестал копать, склонился над лиловым пучком и только теперь разглядел, что то был не янтак, а бутылка с разбитым горлышком. Вот, оказывается, о что он порезался... Потеряв последнюю надежду, он уткнулся лицом в песок и безутешно заплакал. Плакал долго, трясясь всем телом. Потом он почувствовал полное изнеможение. В висках покалывало. Разламывалась голова. Он перевернулся на спину и уставился в небо. В это мгновение блеснула молния, прогрехотал гром. Что за чудо? Какая молния, если на небе ни единого облачка? Но тут опять ярко сверкнуло, даже глазам больно стало, и тотчас раскатисто громынуло. Дробно зашлепали, застучали по иссохшей земле дождевые капли. Он жадно принялся ловить их ртом, но тщетно: никакой влаги не почувствовал... Опять блеснуло в глазах. Значит, все-таки разыгралась гроза. А при грозе даже нечистая сила, сказывают, ищет укромное местечко. Но где его тут, в пустыне, найдешь? Разве что возле него найдет спасение разная нечисть? Пусть идет. Пусть хоть сам дьявол придет к нему и ляжет в страхе рядом. Все веселее. Не так одиноко. А если он еще и мокр, то, может, принесет ему, страждущему, облегчение... Вновь раздался оглушительный грохот. Далеко, у горизонта, всклубилось черное, как копоть на котле, облако пыли. Оно разрасталось, взбиралось все выше и становилось все косматей и мрачнее. Вон оно уже сплошняком укрыло весь западный небосклон и устремилось к зениту. А там, за облаком, выплывало какое-

то бесформенное чудище. Оно тоже стремительно приближалось, ширясь и раздуваясь. Чем-то оно походило на черного беркута. Только вместо головы и крыльев виделось что-то клубящееся, словно огромный клок шерсти. А вот когти — непомерно большие, острые — различались явственно. В когтях, трепыхаясь, извивалось страшилище. Круглые, как деревянная чаша, огненные глаза свирепо вращались, вылезали из орбит. Того и гляди покатаются по земле. Хвост страшилища был раздвоен. А туловище поблескивало, переливалось, конвульсивно дергалось, как у гигантского питона. Страшилище отчаянно отбивалось, стараясь вырваться из железных когтей. Пружинисто сжимаясь, оно хлестало похожее на орла чудище сильным раздвоенным хвостом. Но когти не разжимались, не выпускали жертву. Тогда страшилище начало растягиваться, едва не доставая до земли, раскачиваться длинным, упругим телом. Тщетно. Страшилище вонзало раздвоенный хвост в землю, пропахивало по ней, точно сохой, глубокие борозды. И опять напрасно. Когти вцепились в него насмерть. Страшилище протяжно стонало, утробно урчало, свистело и шипело. Наконец, резко сжимаясь, неистово заколотило себя по бокам. Но и это не помогло. Между тем страшилище, волочая хвостом по земле, приближалось все стремительнее. Вот-вот оно заденет и его и полоснет по нему, лежащему, острым, как нож, кончиком хвоста. Но тут страшилище вдруг резко вскинулось, сжалось, подтягиваясь кверху, и с его тела что-то посыпалось. Может, блестящие серебристые чешуйки?.. Вот и на лицо его просыпалось. Он поймал одну чешуйку губами. Странно, это оказалась капля влаги с медовым привкусом. Из страшилища вдруг струйками потекла вода. Вот оно что!.. Это, видно, и есть тот самый дракон-аждаха, что обитает в воде и которого черная, кудлатая туча выхватила из пучины, чтобы увести и вышвырнуть за Капские горы. Значит, где-то поблизости должна быть пресная вода? Не случайно он почувствовал облегчение от нескольких капель, попавших на его пересохшие от жажды губы. Он осторожно приоткрыл глаза. Черная кудлатая туча так же стремительно удалялась. Страшилище, поняв, что ему уже не высвободиться из железных когтей, перестало сопротивляться и всем длинным, обмякшим телом покорно втягивалось в тучу, словно растворяясь в ней. Чешуйки на туловище серебристо

поблескивали, будто вспыхивали в лучах солнца. И туча постепенно окрасилась разноцветными полосками. Голубая, алая, желтая... Внизу под тучей украсила небосвод яркая радуга... И оттого почудилось, что страшилище с выпученными огненными глазищами обернулось радугой...

Пораженный этим видением, он долго лежал с широко распахнутыми глазами. На гладком крупе сивой пристяжной, как в зеркале, отражалась радуга. Цвета радуги играли, переливались в пышной гриве и хвосте шедшего ровной рысью коренника. Туча, истаивая, темнела вдалеке у горизонта. Радуга сияла вполнеба и напоминала новую разноцветную пряжу-ленту, опоясавшую белую нарядную юрту. Воздух был чист и влажен.

Ханзада чуть приподнял голову и высунул руку в открытое боковое окошко кареты. Прохладные струи воздуха мягко окатили его горячую ладонь, и ему стало приятно и радостно, как от прикосновения холодной мордочки любимого щенка.

— Слава всевышнему! Слава всем святым духам! Ну, вот и пришел в себя, мой родной!..

Дядя Мырзатай суетливо склонился над ним.

— Что случилось-то, дядюшка?

— Э, милый, чего только не случалось?!

Обычно шумный, браваурный дядя Мырзатай сказал это тихо и подавленно.

Болел ханзада, оказалось, более недели. И все это время он метался в жару. И дядя Мырзатай всерьез встревожился: может, во время ночевок в степи под открытым небом нечистые силы навлекли порчу на его племянника?

Испугавшись, он обратился за помощью к бухарскому мулле Мансуру-ахуну, сопровождавшему караван. Тот сотворил молитву, взывая ко всем известным ему святым духам и покровителям. Может, она и исцелила бедного юношу? А может, удалось спасти его стараниями русского лекаря, ни на шаг не отходившего всю неделю от больного? Такой он неусидчивый, суетливый, минуту на месте не усидит. И потому Мырзатай решил, что ему можно разве что доверять коз пасти, а никак не хворых лечить. Однако оказался старательным и внимательным. Как бы там ни было, слава создателю, все благополучно обошлось. Мырзатай был совершенно уверен, что племянника его или сглазили, или в сердце его вселился страх от жутких рассказней башкир. Могли и сглазить... Шутка

ли, едва выбравшись из детской люльки, он уже сподобился с белой царицей за одним столом заморские яства вкушать. Кто еще из племени кочевников удостаивался такой чести?! То-то же... А восхищение, восторг искони соседствуют с черной завистью. Зависть же — первый признак вражды. А сколько на свете недобрых, завистливых людей! Такие сглазят кого хочешь. Так и норовят сотворить какую-нибудь пакость. Глянут на верблюжонка, покачают головой, цокнут языком и тем самым накличут на неокрепшую животину какую-либо хворь. А разве мало колдунов? Русский лекарь, однако, оказался опытен и сведущ. А по части знахарского искусства, пожалуй, не уступал и прославленным степным баксы-шаманам. Видно, знахарство у всех народов одинаково. Надо было прочесть молитву из Корана, русский лекарь достал из сундука книгу и тотчас что-то прочел. Надо было дать какое-то снадобье, русский лекарь извлек из мешочка порошки. Нужен был травяной настой, русский лекарь и его мигом сготовил. Словом, применил все виды лечения, которые известны и доморощенным врачевателям. Правда, заговоров не шептал, слюной в лицо больного не брызгал, амулета на шею не вешал. Все остальное делал. Смочив в холодной воде белую тряпицу, клал больному на пылающий лоб. Влажной белоснежной ватой без конца смачивал пересохшие губы. Днем и ночью хлопотал у постели больного. Что только не вытворял ханзада в бреду! Всккивал, размахивал руками, отпихивал все, что подносили ему ко рту, выплевывал лекарство, отчаянно сопротивлялся всякому лечению. Его неистовство и напугало больше всего Мырзатая. Он очень опасался, что в племянника вселился какой-нибудь бес, которых в степи, особенно в знойную, летнюю пору, пруд пруди...

Ну, а дождало не только в тот день, когда ханзада, наконец, пришел в себя. Оказалось, трое суток без передышки бушевала гроза. От обвального ливня не было никакого спасу. Куда денешься, где спрячешься в открытой степи? Много лишений и мук вынесла за эти дни экспедиция. Но и до грозы было беспокойно. Все меньше и меньше лошадей возвращалось по утрам с выпаса. И тогда в ночной дозор отправился сам Мамбет-мурза. Он сам расставил казаков и метких стрелков, приказал им не шелохнуться и не смыкать глаз. И вот, когда уже перевалило за полночь, вдруг в темной ночи — там и тут —

зловеще замигали огоньки. Застывшие настороже солдаты открыли пальбу. Послышались крики, стоны. Предоставив напуганный табун казакам, Мамбет-мурза с ротой солдат ринулся в густую темень, туда, где только что вспыхивали огоньки. Послышался впереди топот лошадей. Казаки стреляли в том направлении без умолку. Многих разбойников застрелили на месте. Многих ранили. Некоторые с перепугу свалились с коней. Человек семь удалось схватить. Их, связанных по рукам, Мамбет-мурза утром пригнав в лагерь, собрал всех правоверных, участвовавших в походе, за исключением казахского посольства, и разразился перед ними гневной, обличительной речью.

Тут и открылась тайна ночных событий, нанесших экспедиции столь тяжкий урон. Выяснилось, что конный башкирский отряд преследовал экспедицию всю дорогу, держась позади на расстоянии двух-трех перевалов. Под покровом ночи башкиры неслышно подкрадывались к табуну на выпасе и, достав из-за пазухи кресало, начинали высекать огонь. Этой нехитрой, но древней и испытанной уловкой опытных конокрадов-барымтачей они нагоняли на табуны страх. Способ этот известен всем степнякам, однако башкиры помалкивали, не решаясь выдавать единокровников, а казахи делали вид, что им нет дела до того, что происходит вокруг. «Ну, их всех к шайтану! — рассуждали они про себя. — Пусть сами разберутся. От греха подальше».

Поведение башкир и казахов в экспедиции и вывело из себя Мамбета-мурзу. «Смотрите, смотрите! — кричал он в ярости. — Вот они, ваши несыты! Вот они, ваши чийхоботы! А ну, поглядите внимательней, есть ли у них под мышками дыры? Давайте, кто смел, вырвите из них сердца да поднесите мне на ладонях!»

Обычно уравновешенный и улыбчивый, уже успевший облиться жиром, Мамбет-мурза от негодования побагровел и дышал бурно, клокотал весь, как раскаленный самовар. Когда, не помня себя от ярости, он топал ногами на смущенных правоверных, его упругие, округло выпиравшие ягодицы вздрагивали, точно курдюк жирной ярочки.

Долго, рассказывают, не мог уняться Мамбет-мурза. Заставил-таки захваченных ночных разбойников поднять руки, а башкирам и казахам в экспедиции приказал уткнуться носами в подмышки пленников, дабы убедиться, несыты ли они или обыкновенные злодеи.

«Ну что?! Зияют у них дыры под мышками? Может, сейчас их не видно? Может, они обнаружатся через некоторое время, а?!»

Пленников заставили раздеться догола, руки их привязали выше головы к длинному волосяному аркану, концы которого с двух сторон крепко держали двое всадников, а сзади приставили еще четверых, которые подгоняли несчастных ударами плеток. Так их вели для устрашения всех смутьянов трое суток — без пищи, без глотка воды, в дождь и под нещадным солнцем. Должно быть, это и увидел ханзада тогда, за короткий промежуток, когда он ненадолго пришел в сознание.

После того как тайное стало явным, башкиры перешли к открытым действиям. Стали совершать набеги на аррьергардные части. В коротких стычках нанесли урон обоим флангам. Эти неожиданные, дерзкие наскоки сбивали с толку. Растерянность и страх охватили экспедицию. Башкиры были неуловимы. Они появлялись словно из-под земли и так же бесследно исчезали. А тут еще, к их везению, трое суток неистовствовала неслыханная гроза. Казалось, смешались небо и земля. Башкиры, воспользовавшись суматохой, теперь бесшабашно нападали на основные части русского войска. Они даже подбирались к обозу с порохом и швыряли в него пылающие головни. Но бог миловал, искры не смогли пробить толстую мокрую кошму, которой укрывали ящики с порохом. В обозе находилось много раненых солдат. Их башкиры захватили в плен. Многие аулы за эти дни, должно быть, обзавелись дешевыми слугами.

Начальник Оренбургской экспедиции отправил всех своих ближайших помощников в маневренные отряды аррьергарда и флангов, отдав в их распоряжение все пушки. Башкиры, не ведая о том, затеяли крупный натиск одновременно по обоим флангам и попали под пушечный обстрел. Мятежники понесли огромные потери. Ханзада понял: оказывается, то не гром раскатывался по небу, а пушки гроыхали на земле.

Ханзада высунул голову из кареты. Небо прояснилось. Недавние черные косматые тучи уплыли за горизонт. Аромат степного разнотравья, омытого дождем, дурманял голову, щекотал ноздри. Все вокруг, казалось, ликовало после отшумевшей грозы. И только экспедиция — измученная, изнуренная — понуро брела-плелась вдаль.

Люди молчали, скорбно свесив головы. Только и слышно было, как чавкала грязь под ногами людей и копытами коней, да как жалобно поскрипывали колеса.

Наконец, окончательно вымотавшись, добрались до огромного мыска, как бы вклинившегося между двумя реками. Когда экспедиция взобралась на вершину огромного черного крутояра, издали походившего на чело насупившегося великана, то все первым делом увидели на противоположной стороне такой же внушительный, мрачный увал. А между ними раскинулось во всю ширь голубое море. Только нельзя было сразу различить: истинное ли то было море или просто мираж. И посреди этого голубеющего, зыбщегося, переливающегося пространства смутно виднелось что-то темное. Казалось, лошадь забрела в озеро, чтобы всласть напиться чистой водицы, да так и застыла там, наслаждаясь прохладой, по брюхо в воде.

Кирилов и Тевкелев приказали войску остановиться, а сами с вершины крутояра, оживленно размахивая руками, всматривались вдаль, туда, где посреди безбрежной сини неясными очертаниями темнел островок. К ним подошли юноша-ханзада, султан Нияз, Мырзатай, и, указывая рукой на западную часть темневшей вдали полоски, Мамбет-мурза торжественно произнес:

— А вот и Орынбор!

На бледном, осунувшемся лице ханзады вспыхнул румянец. Перед глазами его всплыла неприступная крепость на острове посреди свинцовых волн, которую он увидел при выезде из Петербурга. И еще ему померещился отец: спокойный и довольный, упоенный властью, он челичественно стоял у стен крепости и вглядывался в далекую степь. А там, за крепостью, по кустам и лощинам во все стороны трусливо разбегались ничтожные фигурки верховых и пеших, размахивая потрепанным бунчуком-древком с привязанным к концу конским хвостом. Страх охватил их при виде грозных русских пушек и ощетинившихся стальных штыков. Нет, не сунутся они к крепости, когда им не под силу одолеть даже водную преграду. А если и найдутся такие безумцы, то, когда из-за крепости загрохочут пушки, изрыгая дым и пламя, они ударятся в бегство, бросая убитых и раненых вдоль берега реки, и вся окрестность окажется усеянной вражьими трупами, точно кизяком в степи...

Ханзада улыбнулся про себя, живо вообразив эту картину. В голове, непослушно-тяжелой после болезни, вдруг зашумело, и сквозь этот гул и тошнотную слабость он вновь явственно услышал ликующую трель невидимого жаворонка.

Но прекрасное, столь милое сердцу ханзады видение быстро исчезло, развеялось. Первым словно испарилось море между двумя увалами. Оказалось оно миражем. Не успели головные части экспедиции спуститься в долину, как вместо безбрежной водной глади открылась степная ширь, густо заросшая молодой черной полынью. Она еще не успела затвердеть: лилово отливала нежными кудрявистыми верхушками. Посреди этого полынного раздолья могуче темнел длинный сумрачный увал с гладкими, лоснящимися плотным разнотравьем склонами, чем-то напоминая разморенную сытостью и дикой волей лошадь, которая, всласть наевшись сочной травы, напившись чистой речной воды, теперь с наслаждением валялась на зеленой лужайке. Омывая с двух сторон могучий увал, сливались две реки: с севера – Яик, с юга – Орь, у самого устья, на месте слияния двух рек, и остановилась заметно потрепанная в долгом и опасном пути экспедиция.

По нежным нетронутым травам, словно по только что сотканному пышному ковру, вдоль и поперек пролегли глубокие, как шрамы, борозды – следы от колес пушек и арб. Девственно-нетронутый увал, растянувшийся посреди долины в первозданной красе, мигом обезобразился, истерзанный тысячью ног и копыт. Вековую сонную тишь тотчас изорвали в клочья крики, скрип телег, грохот и хляскание. Скрежет стоял с утра до вечера, будто тысячи мясников одновременно правили ножи о точильные камни. В нежную и пышную, как девичья грудь, плоть земли нещадно вгрызались сотни и сотни лопат, ее терзали и долбили кайлами, пешнями, ломами. Топча и уничтожая на корню травы, рыли рвы, сооружали насыпи, валы. Страшная железная сила, точно божья кара, неистово обрушилась на покорную, не знавшую насилия землю, сокрушила ее, исхлестала, перевернула вверх дном, грубо надругалась над ее вековой целомудренностью. Казалось, сильные руки безжалостного мясника в мгновение свалили сильную, упитанную лошадь, связали ей ноги, полоснули стальным ножом по горлу и, не дождавшись, когда прекратятся предсмертные конвульсии, ловко содрали с

нее шкуру. Словно освежеванная туша лошади, простерся посреди степи истерзанный людьми черный увал. Осталось только расчленить, разрубить, распотрошить, искромсать огромную тушу на части. Как освежевывают и расчлениают скотину на части, степняки видели и наблюдали испокон веку. Но что и землю можно так же освежевать, живьем содрав с нее покров, выворачивать ее нутро и рубить на части, такое приходилось им видеть и наблюдать впервые. Они полагали, что кромсать тело земли такое же кощунство, как исцарапать ногтями лицо родной матери. И, видя такое кощунство, такое надругательство над молчаливо-покорной землей, они поначалу растерялись и даже как бы онемели. Но нет на свете более пугливого и одновременно более покладистого и терпеливого народа, чем казахи! Кого и чего только они не боялись? К кому и к чему только потом они не привыкали? И не такое видали, и не к такому привыкали, и не к такому притерпелись... Привыкнешь тут, когда изо дня в день видишь одно и то же: засученные рукава, потные лица, лязг и скрежет железа, плотный, как бы дымящийся глинозем, напоминающий внутренности только что зарезанной скотины, черные, как пропасть, рвы, тысячи и тысячи измазанных с головы до ног глиной землекопов, похожих на мифические существа мади, что в концсветный час ошалело выскакивают из-под земли. Казалось, солдаты задалась целью вывернуть степь наизнанку. Уже холмы глины образовались на равнине. Уж и солнце тускло виднелось сквозь завесы пыли. Степные травы по всей окрестности давно лишились свежести. Даже реки по обе стороны увала помутнели. И когда поднимался ветер, крылья пыльной бури простирались от горизонта до горизонта. И тучи, проплывая над этой местностью, становились грязными, чумазыми, словно подол похотливой бабенки, повалившейся прямо на зольную кучу за юртой. И на юрких ящерицах, сновавших поблизости, пыль слоилась толщиной в два пальца. И не видать было конца-краю работе. И нескончаемым казался грунт. И неутомимыми казались упрямые солдаты, которые, не щадя себя, днем и ночью лопатили и перелопачивали неистово, исступленно многотерпеливую божью землю.

Казахское посольство каждый день поднималось на восточное взгорье и, опустившись на корточки, часами

глазело на копошившихся внизу, точно муравьи, людей. Даже глядя на эту монотонную работу, степняки испытывали нестерпимую скуку. От одного только глаzenia на этот нескончаемый труд у них ныли поясницы и руки-ноги тяжелели от неведомой усталости. Они, позевывая и поплеывая по сторонам, только диву давались: до чего же неутомимы и горазды на всякие выдумки эти чужеземцы! Все вновь и вновь придумывают себе заботы и находят работу за работой. Уже по пояс углубились в сырую землю, а все еще чего-то копошатся и суетятся, как угорелье. Вон опять что-то вымеривают, прикидывают, размечают, забивают в ряд колышки, натягивают на них бечеву. И когда все это проделали, получился огромный четырехугольник, внутри его хоть конные скачки устраивай.

И вот однажды солдаты, горланя песню, торжественным строем направились к четырехугольной площадке. Каждый держал в руках лопату или кайло. Шли как на праздник, с блеском в глазах. В середину вступил дородный бородатый священник в дорогой рясе. Рядом шел еще один бородач, весь в черном, и держал в руках серебряную чашу со святой водицей. Священник рокочущим басом прогнусавил молитву, потом, обмакивая персты в чашу, окропил святой водой солдат и границу будущей крепости.

После торжественного молебна солдаты раздвинули, растянули цепь, встав друг от друга на расстоянии двух сажень. Трое усатых барабанщиков, стоявших на бугре в стороне, бешено заколотили палочками, оглушая окрестность дробью. И тут же, как по команде, тысячи штыковых лопат разом вонзились в плотный пласт земли. Только и слышно было тяжелое сопение, кряхтение землекопов и лязг, скрежет железа. За трое суток вокруг четырехугольной площади образовался ров шириной в один, а глубиной в два человеческих роста. С внутренней стороны рва соорудили насыпь высотой с верблюда и укрепили ее вокруг пластами.

— Эй, это еще что такое? — любопытствовал Мырзатай, встречаясь с татарами и башкирами.

— Это и есть крепостной вал. Вот так защищаются от врагов.

— Помилуй, алах! Раньше сражались человек против человека, мечом против меча, копьём против копья. А

теперь что же? Воздвигают стены, роют рвы, а сами отсиживаются в крепости и играют в нарды, что ли? Степняки прибегают к такому лишь при крайней опасности. Случается, прячутся в горах и ущельях, и то созданных самим всевышним. Но чтобы человек заранее зарывал себя в землю, спасаясь бог весть от каких врагов, такое я вижу впервые!

— Э, братец, поживешь — не то еще увидишь...

Искреннее удивление простодушного Мырзатая не разделяли, однако, ни татары, ни башкиры. Даже племянник Ералы укоризненно покачал головой при этих словах дяди: «Ай, ай, дядюшка!.. Какой ты все-таки наивный...»

Пока Мырзатай удивлялся, прищелкивая по привычке языком, была переделана уйма дел. Солдаты и казаки еще сооружали ров, а башкиры уже въехали с обозом в будущую крепость и занялись его разгрузкой. Развьючили верблюдов, живо распотрошили тюки. Поставили юрты и походные шатры для штаба и старших офицеров. Из крепких плах на сухом, возвышенном месте соорудили подставку и аккуратными, ровными штабелями — длиной в двенадцать, высотой в три аршина — сложили мешки с продовольствием. Чтобы сберечь от дождя и пыли, штабеля укрыли сначала холстом, потом — плотным войлоком, а сверху еще и парусиной.

После недолгой передышки обоз снова потянулся в Уфу за необходимым для строительства крепости снаряжением.

Люди же из экспедиции не знали покоя. Их разделили на небольшие группы. Каждый человек знал, в какой он находится группе и что ему надлежит делать. Одни в огромной ямине, ведя коней по кругу, замешивали глину. Другие раскладывали ее по формам, лили кирпичи. Третьи складывали подсохший кирпич в кучи. Еще одна группа копала ров, в котором должен был быть ледник. Другая — строила складские помещения. Где-то подводили фундамент под казармы. На краю крепости, на возвышенном месте, недалеко друг от друга поднимались стены будущих пекарни и столовой. Из кузни доносился деловитый перестук молотков.

На четырех углах крепости, по краям рва и земляного вала, грозно возвышались кирпичные башни, на которых были установлены четыре пушки. Они, казалось, зорко следили за всеми четырьмя сторонами света. В середине

крепости был построен центр-цитадель. Там обосновались основные части войска.

Острые штыковые лопаты, поблескивая в лучах солнца, продолжали неумолимо терзать землю. Вскоре за первым рвом на почтительном от него расстоянии вырыли еще один. Потом и вдоль него соорудили еще один земляной вал и так же обложили дерновыми пластами. Над внешним валом возвышались девять башен. С девяти башен бдительно сторожили окрестность девять пушек. Над валом должна была подняться еще одна стена. Получилось как в детской загадке: в одной большой норе пять маленьких норок. В подобном лабиринте ров и стен не мудрено было заблудиться не только врагу, но и коренному жителю крепости. Девять башен с пушками, нацеленными на все стороны света, поневоле наводили на степной люд оторопь и страх.

Мырзатай перестал недоумевать, как прежде, и не ругал уже в хвост и в гриву тех, кто заблаговременно защищался от невидимого врага, зарывая себя в землю. «Да, да, — восторженно говорил он. — Разве какой-нибудь безумец сюда сунется?! Да от одного только вида этих длинноношеих страшилищ, изрыгающих пламя, он наложит в штаны!»

И начищенные до блеска пушки словно в ответ на восторг простодушного степняка еще ярче засияли на солнце.

Столь огромная работа была проделана за какой-нибудь месяц. И вот опять выстроили войско на торжественный парад. Священник окропил святой водицей из серебряной чаши вновь построенные башни и крепостные стены. Потом тремя залпами прогрехотала тридцать одна пушка. И всколыхнулась вековая тишина в степи. И многие казахи впервые в тот день познали запах пороха. Рыбы обеих рек, лакомящиеся на мелководе ряской и камышом, в испуге шарахнулись прочь и нырнули вглубь. Зашевелились, заколыхались верхушки трав. Врассыпную, куда глаза глядят, разбежалась в ужасе степная тварь — лисы, барсуки, корсаки, тушканчики, суслики, спрятались змеи и ящерицы. Косяками понеслись, срываясь с окрестных холмов, охваченные смертельным страхом куланы, каракуйруки и джейраны. Все живое в извечно тихой и мирной степи вдруг разом обратилось в бегство. Даже воды в реках точно покатались стремительней.

Ни страха, ни волнения не испытывали, казалось, только рыжеусые солдаты, вновь сменившие лопаты на ружья. Еще недавно, когда не было вокруг ни рвов, ни стен, ни башен, когда во все стороны простиралась голая, всем ветрам открытая, всем врагам доступная степь, они боязливо озирались, как-то притихли даже, теперь же за надежной крепостью они почувствовали себя вольготно, вольно, словно в родных стенах. И голоса их звучали бодро, зычно. Весь свой скарб, привезенный сюда изда-лека, они ловко растащили, рассовали по ими же выры-тым землянкам, а землянки и халупы разметили на улицы и переулки, и каждый усердно убирал, подметал свой за-коулок, придерживаясь единого строгого порядка. Бой-кий, трудолюбивый и неугомонный оказался народ, склонный к тому же к веселью, будто не в заботах живет, а на ярмарке гуляет.

Ханское посольство истомилось от безделья. Всеоб-щие оживление и радость в крепости ему не передава-лись. Все с нетерпением ждали того дня, когда можно будет вновь вдеть ноги в стремяна. И вот прошел однаж-ды слух, что начальник Оренбургской экспедиции наме-рен направить своих гонцов к Абулхаиру с приглашением пожаловать со своей свитой на торжество по случаю ос-нования у устья реки Орь новой крепости.

Узнав об этом, ханзада Ералы обрадовался так, что, как говорится, едва не уперся макушкой в небо. Он был уверен, что теперь-то, аллах даст, совсем уж скоро он свидится с родными и близкими, а потом вместе с ними вернется в родной край. Он был готов отправиться до-мой хоть пешком. Разулся бы, закатал бы штанины повы-ше и побежал бы, как мальчишка, не чуя под собой ног. Только известно: человек лишь предполагает...

Прошло всего несколько дней, и вдруг вечером, совер-шенно неожиданно, начальник экспедиции пригласил хан-заду к себе и заявил: «Строительство крепости мы окончательно завершим к будущей весне. Тогда и пригласим на торжество твоего отца. И тебя отправим домой. Пока же пробудешь здесь». Обычно начальник разгова-ривал с ханзадой мягко, приветливо, а сейчас он был холоден, резок, и в голосе послышались раздражение и недовольство. И лицо его было хмурое. Глубокие морщи-ны изрезали его.

Ханзада был в недоумении. Начальника после отъезда

из Уфы он увидел сильно состарившимся. В глазах плескалась муть. Щеки запали. От носа по краям пролегли две тяжелые, как рубцы, складки. Высокий голый лоб холодно поблескивал, будто обтянутый бараньей брюшиной. Всем своим видом начальник выражал непреклонность и неприступность. Говорил отрывисто. Накануне стало известно, что в крепость прибудет Нуралы. Возможно, -начальник опасался, что ханзада начнет выказывать капризы в присутствии старшего брата...

Действительно, за праздничным столом юного ханзаду усадили между самым начальником экспедиции и Мамбет-мурзой. К брату, по которому он так соскучился, и близко не подпустили. Нуралы окреп, возмужал, держался с подчеркнутым достоинством. Изредка бросал пылкий взгляд на младшего братишку. Во всем облике Нуралы чувствовались уверенность и грозная сила. Говорил мало, но весомо. Жесты были скупы и степенны. Видно, вошел во вкус власти. Пообтерся за последние годы, управляя народом. С золотопогонным начальством держался на равных. Напряженно выпячивал крепкую грудь. Вольно расправлял плечи. Важно вскидывал бровь. Не чаявшего в своем племяннике души Мырзатая в эти дни вообще как бы от него отстранили. В последнее время он и не видел-то его толком. Зато возле ханзады особенно усердно увивался бухарский мулла по имени Мансур, который сопровождал экспедицию от самой Уфы. Еще один долговязый вертлявый чужеземец приставал к нему с листом бумаги и карандашом в руках, уверяя, что он нарисует его облик и преподнесет вскорости рисунок хану-отцу, с которым намерен встретиться. Шустрый, как воробей, лекарь пообщупал ханзаду с головы до ног, проверил зубы, уши, заставил высунуть язык. И вся эта возня продолжалась три дня... Как-то утром, едва он очнулся от сна, с ворохом дорогих тканей вошли к нему трое и принялись снимать с него мерку. А вчера на него напялили новую, с иголочки, одежду, покрутили-повертели перед большим круглым зеркалом. И когда группа всадников перед полуднем поднялась на вершину перевала за крепостными стенами, к ней навстречу повезли разодетого в пух и прах юного ханзаду. Обветренные, загорелые, пропыленные путники-степняки, увидев худощавого, бледнолицего подростка в ярких, разноцветных одеждах, похожего на только что раскрывшийся тюль-

пан, поневоле застыли и обомлели. Какого казаха ладная одежда оставляет равнодушным! К тому же с тех пор, как джунгары оттеснили казахов подальше от привычных базаров, им не удавалось разжиться обновой, и потому ладное новое обмундирование юного ханзады вызвало у соплеменников неподдельное восхищение. Некоторые от любопытства принялись ощупывать его. И вот теперь, красный от смущения, он сидел, будто на иголках, между двумя высокими начальниками. Казахи-степняки заметно отличались от него: лица их были цвета вяленого на горячей золе конского мяса. Он же был хил и бледен, точно недопеченная лепешка. Бледного лицом человека казахи искони считали хворым. И степняки при встрече, сочувственно глядя на него, спрашивали: «Ты что такой бледный, дорогой? Не болен ли?» При виде его щуплой, тощей фигуры они укоризненно качали головами, а при виде его добротной одежды восхищенно цокали языками. И сейчас, за столом, ханзада ловил на себе их восторженные взгляды. И ему это доставляло удовольствие, однако когда он думал о том, что после торжественной трапезы эти люди тут же оседлают коней и отправятся в обратный путь, оставив его здесь, среди чужаков, одного, жесткий комок подкатывал к горлу, а глазам становилось жарко от сдерживаемых слез.

За огромным столом, сколоченным вчера солдатами из струганых досок, было много народу, но все взгляды были устремлены туда, где сидело начальство экспедиции. Кирилов, одетый во все парадное, встал и заговорил торжественно, высокопарно, напрягая голос. Едва он закончил, все за столом заполошенно вскочили и заорали во всю мощь глоток.

— О, алла! Что с ними случилось?! — недоумевали казахи.

— Начальник произнес здравицу в честь ее императорского величества, — пояснил Мамбет-мурза торопливо и тоже присоединился к общему ору.

Грозный гул, все разрастаясь, накатываясь, как морская волна, гулким эхом разнесся далеко и задрожал, завис надолго в воздухе. Так и не позволив ему оборваться и угаснуть, грянул вслед залп из тридцати одной пушки. И не один раз гроыхнуло, а несколько раз кряду... Над ночным небом зажглись яркие огни. Шипя, разлетались во все стороны искры. Даже звезды на небе поблекли,

точно с испугу попрятались. Казалось, что задрожал от грохота диск луны и что от следующего залпа она разлетится на куски, словно фарфоровое блюдце. А пушки все продолжали грохотать. Когда утих очередной залп, далеко за окрестностью послышался глухой гул. Будто что-то тяжелое, огромное покатилося по земле. Но тут же все прояснилось. На пологом холмике неподалеку от крепости возвышалось древнее сооружение с куполом. Было оно сложено из собранных в степи камней. От пушечного грохота оно вдруг обвалилось с одного края. Камни, громяхая, покатались с холмика в долину. Солдаты и казаки весело расхохотались и поспешно поднесли ко ртам бокалы с прозрачной жидкостью. Степняки-казахи опешили. Лица их вытянулись и побледнели. Губы беззвучно шевелились. Видно, испуганные не на шутку, степняки лихорадочно поминали аллаха.

Начальник экспедиции, весь побагровев лицом, еще раз поднялся с места. И на этот раз говорил так же напыщенно и громко. Ханзада не все понял, но четко расслышал слова: «Хан Абулхаир».

— Эта здравица в честь твоего отца-хана, — шепнул юноше Мамбет-мурза.

Опять все вскочили и загорланили. И пушки вновь загрохотали. Снова вспыхнули на небе разноцветные огни, с шипением рассыпаясь искрами. Звезды тотчас в испуге заметались и исчезли. И луна, вздрогнув, все же уцелела, не разлетелась на черепки.

Теперь пришел черед говорить Мамбету-мурзе. Он также произнес две здравицы — в честь наследников хана Нуралы и Ералы. И все повторилось точь-в-точь: крики «ура», оглушительные залпы из пушек, гирлянда разноцветных огней на небе, звон бокалов за столом.

Торжество продолжалось до полуночи. Потом неистово заколотили барабанщики, словно норовя отыгаться за долгое молчание, долго били отбой.

На другой день казахское посольство двинулось в обратный путь. Ералы, бледный и растерянный, стоял между начальником экспедиции и Мамбетом-мурзой и долго махал рукой вслед землякам. На прощание он только и успел шепнуть на ухо расстроенному дяде Мырзатаю: «Присылайте кого-нибудь хоть изредка. Хоть весточку подайте». При ханзаде оставили батыра Котыра из рода табын. Рябой, шумный верзила успокаивающе рокотал:

«Ничего-о... Аллах даст, весной и мы с ханзадой подадимся в аул». Юноша кивал головой, с трудом сдерживая дрожь в теле.

С тех пор прошло еще десять месяцев. Из родного аула ни слуху, ни духу. Да и не было никаких надежд на какую-либо весть. В прошлом году, пока посольство добралось до родных мест, наступила осень, и аулы, снявшись с летовок, перебрались на зиму в теплые края, в спасительные барханы пустыни. Оттуда они возвращаются обычно ближе к лету, после весеннего расплода овец. Лишь покончив с весенней стрижкой, кочевье соберется в обратный путь, к северным пастбищам. В эту пору в лучшем случае прибывает на летние пастбища Золотого свода лишь головная часть кочевья. С наступлением весны юный ханзада и вовсе лишился терпения. С раннего утра по его просьбе приводили заседланную лошадь, и он отправлялся на прогулку по окрестностям. Он поднимался на каждый холм, на каждый бугорок и, затаив дыхание, вглядывался в голубеющие дали, надеясь увидеть какого-нибудь путника. Но тщетно... Не то что одинокий путник, даже какой-нибудь зверек, и то не попадался ему на глаза. Ни одной живой твари вокруг! Все живое унесло отсюда ноги как можно подальше. Да и как же иначе, если многочисленные обитатели нежданно-негаданно возникшей будто из-под земли крепости у устья двух рек огласили ружейной пальбой все окрестности на много верст и отравили воздух едким запахом пороха?! Да они, голодные и ненасытные, разом прихлопнут любую божью тварь, словно муху. Прихлопнут — и волоком волокут в свои бесчисленные землянки-норы. Ведь с прошлого года, считай, они и питаются только что дичью да зверьем. Что же еще им остается? Все пути-дороги как отрезаны... И если бы не зверье, искони обитавшее в этих краях, вряд ли двуногое племя, забившееся, точно суслики, в свои норы за крепостным валом, дотянуло бы до весны... Аживым оказалось и обещание начальника экспедиции о завершении строительства крепости к весне. С прошлой осени ничего почти не изменилось. Все работы были приостановлены. Судя по всему, не до стройки было высокому начальству.

Через несколько дней, как Нуралы со своей свитой покинул крепость, простившись с огорченным юным ханзадой, оставшимся заложником-аманатом, к Кирилову при-

скакали нарочные — человек двадцать на взмыленных лошадях. В тот же день они так же неожиданно исчезли, будто сквозь землю провалились. Должно быть, не с доброй вестью они пожаловали... Кирилов стал неузнаваем: потемнел лицом. В глазах появилась лютость. На всех глядел волком. По любому поводу приходил в раздражение. На подчиненных рычал свирепо. По его приказанию были тотчас приостановлены все земляные работы. Солдаты занялись спешной чисткой оружия. Казаки приводили в порядок сбрую. Обозники подладили телеги, смазали колеса. Злой и сумрачный, метался Кирилов по лагерю с утра до вечера. Все понимали: случилась беда. Судя по всему, предстоял поход. Глядя на своего начальника, развил небывалую деятельность и Мамбет-мурза. И если Кирилов яростно покрикивал на солдат и казаков, то Мамбет-мурза с тем же рвением нагонял страху на башкир и татар. Никому не давал спуска. И вот однажды, на рассвете, протрубили команду: всем встать в строй. Кирилов с Тевкелевым обошли строй, придирчиво осмотрели снаряжение каждого солдата. И если находили неполадки, то нерадивого солдата тут же сурово наказывали и заставляли немедленно исправить все огрехи. В тот день солдаты протомились в строю до самого обеда. А вечером образовали два вооруженных отряда. Под покровом ночи они спешно выступили в поход. При этом в разных направлениях. Один под предводительством самого начальника Оренбургской экспедиции, второй — во главе с Мамбетом-мурзой.

В недостроенной крепости у развороченного устья реки Орь осталось всего около двух тысяч солдат. Сухопарый, носатый Чемодуров, оставленный ими командовать, долго вышагивал на следующий день перед куцым войском, важно заложив руки за спину. Наконец решительно вскинул голову, подбородком указал на сложенные в кучу лопаты и кайла и зычным голосом выкрикнул:

— Приступить к работе!

Еще более тоскливо и уныло стало в крепости, окруженной гладкобокими сумрачными холмами. Что там происходит за перевалами у горизонта, кто там затаился за холмами и в лощинах — все было тайной. Только тянулись вдаль следы тех, кто отправился вчера ночью в спешный поход. Но и они обрывались у подножья северных холмов. Куда отправились отряды, с какой целью — тоже

загадка. В бытность начальником экспедиции Чемодуров целыми днями слонялся по крепости, дымил с казаками самосадам, слушал солдатские байки, а теперь, сам став начальником, держался особняком, все шнырял по закоулкам, будто проглотивший отраву пес, все чаще увивался возле складов со снаряжением и продовольствием. Был он озабочен и хмур: все что-то прикидывал, пересчитывал вплоть до штыковых и совковых лопат. Солдаты гадали, недоумевали: что с ним? Или свихнулся? Или делать нечего? Чего он вдруг ни с того ни с сего застывает столбом, одной рукой подперев бок, другой — потерянно почесывая затылок? Непонятно. Все-все непонятно...

И работа вся разладилась. Поковыряются-поковыряются brave солдатушки лопатками да кайлами и тут же усаживаются в кружок, сигарки смолят, беседы разные затевают. В разговорах этих не принимают участия только двое — ханзада Ералы и батыр Котыр. Им нет дела до всяких кривотолков, ибо ничего не понимают. Только и делают, что озираются вокруг да глазами хлопают. Выяснилось, что солдаты за глаза потешаются над двумя неразлучными казаками в поярковых треухах, называя их промежду собой «третьим постом». Первый и второй посты, с которых нельзя спускать глаз, понятно — военный и продовольственный склады, ну а третий пост, выходит, ханский наследник, принц Ералы, что взят русскими в аманаты. Казахи вначале оскорбились было такому прозвищу, но потом, когда бухарец Мансур-ахун все им растолковал, вполне успокоились.

— Э, ладно... Пусть хоть как называют. Главное, что эти нечестивцы головой отвечают за нас перед самой царицей, — простодушно похохатывал батыр Котыр. — Значит, если с меня упадет хоть один волос, сама русская царица будет отчитываться перед моей бабой. Каково?! И вообще здорово эти братцы-урусы придумали, что за малейшую провинность тут же расплачиваются головой, а!

Бухарец-мулла, разинув рот, долго глядел на то, как хохочет простак-батыр, а потом открывал книгу и начинал учить ханзаду священным словам пророка. Батыр Котыр почтительно слушал и крошил, толоч при этом насвай или плел из сыромятных ремешков камчи, а когда уж совсем становилось скучно, отправлялся к знакомым башкирам и татарам в пекарню и столовую. Вернувшись

оттуда, делился с юным ханзадой впечатлениями и слухами. «У этих, по всему видать, дела застопорились. Не замечаю что-то прежней прыти».

Чувствовалось, что казакам не нравилось, когда ханзада со своим спутником отправлялись верхом на прогулку. Делать, однако, было нечего, и они поневоле усилили сопровождающую их при поездке по окрестностям охрану. При этом татар и башкир в охране, с которыми можно было в пути вступать в беседу, заменили исключительно русскими солдатами и казаками. А какие с ними разговоры?! У них разговор короткий: стоит только отъехать чуть подальше от крепости, как они, размахивая плетками и окружая плотным кольцом, заворачивают поспешно назад. Даже не позволят всласть поскакать по ровной степи, споря с вольным ветром, настоящим на запахах знакомых трав. И к ближайшим холмам норовят не подпускать, опасаясь невесть чего. Была бы их воля, они вообще загнали бы ханзаду в клетку, точно воровья.

Раньше ханзада неизменно ощущал себя почетным гостем. Он напряженно вытягивал тощую шею, стараясь высоко, с достоинством держать гордую голову. Ведь не простой же он казах в конце концов, а ханский сын, наследный принц! Но в последнее время это приятное ощущение поубавилось. Чем он лучше обыкновенного невольника? Тем, что не в кандалах ходит и работать не заставляют? А так он — тот же подневольный. Скажут «Встань!» — встанет, прикажут «Садись!» — сядет. Вот тебе и принц. Даже поговорить — и то не с кем. Этак не мудрено и онеметь. О чем все вокруг шушукуются — ему неизвестно. К сборищам, которые проводятся в крепости время от времени, его не допускают. Даже индийский купец в высокой белой чалме, и тот по сравнению с казахами в более выгодном положении. Он свободно разгуливает по крепости и все время находится среди людей. Вступает в беседу, улыбается белозубо. По-русски говорит довольно бегло. Выучился, должно быть, из года в год приезжая по торговым делам в Астрахань. И к неприятельской походной жизни тоже привык. Единственное, к чему ему никак не удастся привыкнуть, — это холод. С наступлением осени кутается во все возможные одежды. Разве что в верблюжью попону не заворачивается. Но и при этом мерзнет безбожно, зуб на зуб не попадает, как при лихорадке. Жаль беднягу: в самые свирепые

морозы ему предстоит возглавить торговый караван на родину. По пути, сказывают, завернет в Бухару. Начальник экспедиции уговорил его направлять отныне индийских купцов с караванами не в Астрахань, а непременно в Оренбург, суля большие барыши. Солдатам бдительный заморский купец пришелся по душе, и, казалось, он был им ближе, чем наследный принц кайсацкого хана.

А вообще в Оренбургскую экспедицию народ собрался поразительно разношерстный. Кого только здесь не было! Помимо крещеных и некрещеных татар, башкир, остяков, чувашей и вогулов, в крепости у устья степной реки Орь находились и другие узкоглазые и скуластые представители многочисленных сибирских племен. Бог весть для какой цели неумемный Кирилов собрал всех в одну кучу. Даже суетливый лекарь-попрыгунчик, и тот, как выяснилось, оказался не из русских. Тоже, видно, пришелец из теплых стран: постоянно зябнет, даже рыжие бакенбарды топорщатся от холода. При этом трудно найти более деятельного и беспокойного человека. В день один раз непременно проведает ханзаду, осмотрит, ощупает его, заставит показать язык, потом ободряюще хлопнет по плечу. Вертлявого лекаря необыкновенно почитают в крепости все; за ним все бегают, каждое его слово ловят, на все лады повторяя: «Доктор Родэ!», «Доктор Родэ!»

И только казахи воспринимали его как назойливого, болтливого чудака. Почему-то лекарь охотно приходил к ним и начинал бесконечно расспрашивать о том, о сем. При одном только его приближении ханзада испытывал нечто похожее на озноб. Ему было неприятно, что лекарь каждый раз заставлял его раздеваться. Неприятны были и прикосновения его всегда холодных пальцев. Батыр Котыр, завидев его, тоже поневоле морщился. Едва переступив через порог, лекарь стремительно бросался к казахскому батыру и приветливо протягивал ему руку. Батыр приходил в негодование:

— Прочь, негодник! Небось не правоверный, совершивший паломничество в Мекку. То чьи-то подмышки чешешь, то кому-то пах погладишь, а теперь мне руку свою опоганенную тянешь? Иди, вымой сначала!

И указывал подбородком на кумган с теплой водой, приготовленный для омовения.

Лекарь, улыбаясь, опускался на корточки, мыл над мед-

ным тазом руки, тщательно вытирал их платком. Только после этого у батыра по обыкновению теплело лицо.

— Ну, козел егозливый, о чем же еще спросить хочешь? Вот и сегодня лекарь начал что-то быстро-быстро лопотать, а постоянно сопровождающий его пронырливый башкирец Юмаш услужливо переводил его слова:

— Почтенный батыр, этот человек, оказывается, собирает сведения о разных способах лечения, распространенных среди киргизов, то есть, я хотел сказать, среди казахов. Он просит вас рассказать, что вы об этом знаете. Вам это, говорит, зачтется.

— Ну ты, трепло, тоже скажешь! Зачтется! Чего ради стану я распинаться перед каким-то волосатым иноверцем?! Разве что лишь забавы ради?.. Пусть спрашивает!

Юмаш посмотрел на длинноносого, бледнолицего юнца лет двенадцати. Рассказывали, что он из немцев. Длинноносый юнец посмотрел на волосатика-лекаря. Тот что-то прохрипел, точно задыхающийся хворый верблюжонок. Его лепет тотчас подхватил длинноносый юнец и усердно зашлепал губами, будто жевал жвачку. Едва он умолк, услужливо забалабонил проныра башкирец, с улыбкой глядя на насупившегося батыра Котыра.

— Господин доктор Родэ интересуется, какое применяют лечение киргизы, то есть казахи, при...

— Ты что это, неуч, заладил тут «то есть», «то есть»? Ты что, до сих пор киргиза от казаха не отличаешь?!

— Ради аллаха, не сердитесь, батыреке! Это просто привычка у меня такая...

— Да пусть баба моя помочится на такую твою привычку! Говори по-человечески! А то стрекочет, как сорочка... «то есть», «то есть».

Юмаш угодливо захихикал, стараясь унять гнев вспылчивого батыра.

— Батыреке, этот человек спрашивает, как казахи лечат глазные болезни?

— Э, болезни ведь разные бывают. Вот по-разному и лечат. Если, скажем, глаз наветрен, к нему прикладывают ветку, смоченную в растопленном масле или в кипяченом верблюьем молоке. Можно просто приложить теплую печень только что зарезанной ярки. Или, на худой конец, следует баранье ребрышко подогреть на огне и осторожно прижать к глазу. И опухоль снимет, и гной выдавит. Если, скажем, глаз ослепило яркое солнце или снег блес-

кучий, то следует носить повязку из старого войлока. А бельмо снимают так: дробят и растирают в порошок жемчуг, перемешивают с рыбьим жиром, мазь накладывают на тонкий кругляшок из кожи и накрепко прикладывают к больному глазу. Или заставляют дуть в глаз единственного у матери ребенка непременно натошак. Если же образуется ячмень, то привязывают иголку или заставляют промывать глаз мочой ребенка.

Проныра Юмаш, растягивая слова, будто читал суру из Корана, тщательно пересказал ответ батыра длинноносому юнцу. Длинноносый юнец еще более многословно изложил его пересказ волосатому лекарю. Волосатый лекарь, склонившись над тетрадью, принялся быстро-быстро строчить пером. Батыр Котыр, весьма довольный собой, насыпал из роговой шакши-табакерки большую горсть бурого насвая на ладонь, помял, уплотняя зелье большим указательным пальцем и заложив насвай за губу, привычно цвиркнул тонкой струйкой меж зубов в сторону двери.

Через некоторое время, по обыкновению поерзав, Юмаш вновь залебезил:

– Лекарь-мурза спрашивает, что киргизы...

– У, затопчу твою дочь! Сколько баранов скормили тебе казахи, а ты все про киргизов долдонишь...

– Ойбай, батыреке, виноват, виноват... Господин Родэ спрашивает, к каким лечением прибегают казахи при головной боли.

– Это когда башка, что ли, болит?..

Батыр задумался. Он не нашелся сразу, что ответить, ибо представления не имел, что такое головная боль. Правда, в стычках раза два хватили его дубинкой по темени, но то не в счет. Тут он вспомнил, что старшая его жена часто мучается «кольцевой хворью», при которой, как говорила она, голову будто обручем стягивает. И, вспомнив это, обрадовался, заговорил уверенно, важно, с видом знатока:

– Значит, когда болит голова, делают вот что. Чашку чистой воды выплескивают в потолок юрты у входа. Потом капли собирают и увлажняют ими волосы. Если это не помогает, надевают на палец новое серебряное кольцо. Или: если голова болит у женщины, надо зарезать барана, если у мужчины – ярку и обернуться в теплую шкуру и улечься спать... Впрочем, так лечат простуду, а

не головную боль... Да, да, ошибся малость, запомятовал... Вот, вспомнил еще одно средство от головной боли. При восходе солнца или на закате наполни деревянную чашу водой и брось туда по три зернышка перца и гвоздики. Потом усади больного лицом в сторону священной Мекки и, набрав из той чаши полный рот воды, обрызгни ему грудь, бока и спину. Потом трижды проведи пустой чашей по голове больного и выбрось ее подальше...

– Голову, что ли?!

– Чашку, дурень! Неужто не понятно?.. – Батыр ожер взглядом башкирца. – Потом... это... укрой больного девятью одеялами и оставь его одного. Понял?..

Волосатый лекар удивленно вскинул брови, даже на минуту застыл с открытым ртом, потом, продолжая покачивать головой, склонился над тетрадкой.

Батыр, выковыряв поблекшую жвачку насвая из-за отвисшей губы, поплевал еще усерднее, вытер подбородок и принялся щипать-теребить жесткие усы.

– Батыреке, а что делают, когда разболится зуб?

– О, аллах, неужели твой нечестивец и этого не знает?! Как же он до сих пор людей лечил?! Это проще простого. Белену знаешь? На каждом шагу в степи растет. Берут зерна белены, высыпают в раскаленное в сковороде сало и заставляют вдыхать горячий пар. Голову при этом укрывают чапаном, чтобы пар не рассеялся. Рядом ставят чашу с водой. Слюна должна капать в чашу. Потом начинают заговаривать боль – кликать червя, который точит корень зуба. Вот так! Слушай!

Батыр опустил на колени, затянул-завыл высоким голосом:

Стервятник-ястреб, ястребок!

Кликни родичей в кружок.

И этих, и тех,

Собери всех!

И желтоглазого,

И черноглазого,

И шипящего,

И свистящего,

И когтистого,

И задиристого.

Ворог подлый захватил летовку,

Ворюга подлый захватил зимовку.

Прилети, ястреб, через море,

*Одолей долины-горы,
Приди-приди,
Червя схвати,
Раздави,
Боль уйми!*

Глаза батыра страшно выпучились. Рябое одутловатое лицо посерело. Длинноносый юнец застыл на месте, точно вбитый в землю кол. Не посмел шелохнуться и вертлявый лекарь. И только у Юмаша от сдерживаемого смеха затрясся-задергался живот под мерлушковым полусубком, точно хвост годовалой козы, дорвавшейся до сочной травки на лужайке. Батыр люто скосился на него и оборвал песню-заклинание.

— Эй, чего трясешься, балбес?! Или тещину стыдиху подглядел? А?!

Юмаш задохнулся от смеха, поперхнулся, побагровел весь от натуги.

— Ойбай, батыреке... разве я над вами смеюсь? Над собой я смеюсь! Как я им, скажите на милость, все это объясню?!

— А-а... Ну, это уж твоя забота!..

Батыр, успокаиваясь, вновь потянулся за шакшой-табакеркой. Двое толмачей и лекарь смиренно перешептывались, точно провинившиеся дети перед суровым отцом. Глядя на них, батыр Котыр самодовольно усмехнулся, почувствовав себя храбрецом, обратившим толпу врагов в бегство.

Еще некоторое время спустя Юмаш, заметно робея, спросил:

— А как поступают казахи при ножевых ранах? Или от сабли, меча?

— Что значит — как поступают? Как положено, так и поступают. Ну, лист лопуха к ране прикладывают, или сухой кизяк, лепеху коровью, обернутую в тряпицу, или еще паленую кошму.

Лекарь старательно заскрипел пером по бумаге.

— Еще этот человек интересуется, какие применяются средства против укусов змей, собак?

— Если ужалила змея, укрывают потником. Укушенного собакой проводят промежду ног ядреной бабы. Толмачи и лекарь двусмысленно ухмыльнулись. Юмаш, явно боясь разгневать батыра, перевел очередной вопрос любопытного чужеземца.

— А встречаются ли в вашем народе больные падучей или бешенством?

Батыр метнул на гостей недобрый взгляд, как бы удостовераясь, не смеются ли над ним. Юмаш весь сжался и опустил глаза, точно провинившийся мальчишка.

— Ну как же? В любом народе всякие встречаются. И юродивые, и бешеные. В кого вселился бес, тому за пазуху суют живого зайца.

Ответ батыра Юмаш кончиками губ, тихо изложил немцу-подростку, а тот, лопоча по-своему, кое-как пересказал лекарю.

А вопросы лекаря сыпались, как из дырявого мешка. Он погрыз в задумчивости кончик пера и выдал очередной вопрос, от которого у бедного Юмаша глаза на лоб полезли.

— Ба-ба-батыреке, — начал он, запинаясь. — Этот человек спрашивает, что вы знаете о женских болезнях?

— Что-о?!

— Ну, это... о женских болезнях что, говорит, знаете?..

— Вот шельмец! Откуда мне знать про женские болезни? Он меня за бабу, что ли, принимает? Или думает, что бабы про свои хворости мне доверчиво рассказывают?! Я-то полагал, что он меня всерьез расспрашивает, а выходит, он надо мною потешаться вздумал?!

Батыр не успел в гневе вытащить камчу из-за голенища, как Юмаш юркнул за дверь. За ним поспешно ретировались и остальные двое.

Ханзада Ералы, присутствовавший при этой беседе, весело расхохотался и схватился за живот. Батыр сначала опешил, не зная, возмутиться ему или обидеться. Но потом передумал, сунул камчу вновь за голенище и хвастливо усмехнулся:

— Слава аллаху, хоть ханзаду развеселил... Чудаковатый лекарь и после этого случая наведывался не раз к казахам, но уже не осмеливался задавать неуместные вопросы.

В самом деле, странный какой-то народец! Всякого, кто не из ружья палил, а шкрябал пером по бумаге, они были склонны называть ученым или даже мудрецом. Но разве мудрец так себя ведет? Мудрец, насколько это известно батыру Котыру, держится степенно, отрешенно, ходит в высоком тюрбане и не расстаётся с медным кумганом. Несколько раз на дню он удаляется на почтитель-

ное расстояние от аула, неторопливо совершает омовение, потом, вернувшись в юрту, открывает огромную, тяжеленную книгу в кожаном переплете, которую не всякий и поднимет, начинает ее листать и благоговейно шевелить при этом губами и тихо бормотать что-то. Истинный мудрец, мусульманский книжник, никогда ни о чем не спрашивает. Он постиг все науки, и потому с вопросами все обращаются к нему. И мудрец, оглаживая длинную белую бороду, отвечает многословно и витиевато, со множеством туманных слов, и люди внимают ему затаив дыхание, с восторгом и благодарностью. Мудрецы же этих нечестивцев, аллах свидетель, неучи какие-то. Сами ничего не знают, а только и делают, что других про всякую чепуху спрашивают. Особенно поразил казахов один долговязый чудак, напяливший на глаза огромные, под стать колесам кокандской арбы, очки. Бедняга, бывало, часами томился у какой-нибудь сусличьей норки. Целыми днями зарисовывал жучков-паучков, ящериц и мышей и приставал с назойливыми расспросами: «А как это называется по-казахски?, а как по-башкирски?» Спасу от него не было. К счастью, уехал в поход с начальником экспедиции, дав тем самым покой ушам. Не то замучил бы дурацкими вопросами: «Какая из них женская особь, а какая – мужская?», будто у скотоводов только и забот, что лягушек и жучков разводить. Этот долговязый очкарик тоже слыл у них ученым, говорили, что про травы и животных якобы все на свете знает. Тоже мне знаток нашелся, если, дожив до зрелых лет, не ведаешь, как происходит случка у верблюдов!

Котыр-батыр горделиво ухмылялся: шутка ли, он, безграмотный степняк, конокрад-барымтач, который всю жизнь только и делал, что скакал на лошади и размахивал увесистой дубиной, знал то, что и не снилось этим яйцеголовым мудрецам! Поневоле возгордишься тут!

Хвастиливый, шумный казахский батыр и в самом деле привлекал внимание своей колоритной фигурой и непосредственностью. В последнее время к нему зачастил еще один чудак-рисовальщик. Он был неразлучен с конторским служащим по прозвищу Сартайлак. Оба худощавые, длинноногие, они охотно слонялись по землянкам и мазанкам и тоже обо всем на свете спрашивали и делали зарисовки. Они поразительно подходили друг другу. И как-то обходились без услуг толмача Юмаша. Объясня-

лись с горем пополам, мешая русские, казахские, башкирские, татарские и бог весть еще какие слова. Говорили, что неизменный спутник Сартайлака – чужеземец, из англичан. Вроде как купец. Прибыл в эти края с единственной якобы целью: выяснить, чем и как следует торговать со степняками. Но, судя по всему, умел он многое. В том числе охотно и умело рисовал.

Иногда он неожиданно-негаданно вваливался к ханзаде и Котыру и ошарашивал с ходу:

– Ради бога, умоляю вас, не двигайтесь, не шелохнитесь. Я мигом запечатаю вас в такой позе!

И начинал быстро-быстро водить по листу плотной бумаги то карандашом, то углем. Сколько бумаги он извел, рисуя попеременно то батыра, то юного ханзаду! А кончив работу, совал лист под нос и назойливо допытывался:

– Ну, как? Похож или не похож? А?!

И что тут скажешь? Может, и похож. Во всяком случае, по тощей, длинной шее ханзаду узнать вполне можно было.

И чего только не рисовал этот мазила! И огромные, войлоком отделанные изнутри сапожищи Котыра, и его короткую, увесистую плеть-доир, и замызганный, дражный малахай – все точь-в-точь изобразил на бумаге. Ни одной степняцкой одежды не оставил. При этом каждую одежду рисовал на отдельном листе, подписывал его, расспросив у батыра название той или иной вещицы, и аккуратно складывал в папку.

– Для чего это нужно? – недоумевал батыр Котыр.

– Как для чего? Для науки это очень-очень важно, – внушал ему Сартайлак.

– Неужели для твоей науки нет ничего важнее моих портков с болтающейся мотней? – простодушно смеялся батыр.

И долговязый мазила вместо того, чтобы оскорбиться, начинал тоже хохотать.

Как бы там ни было, эти посещения и беседы на многое открыли ханзаде и батыру глаза, к чему в последнее время не подпускали татар и башкир. О многом получили они достоверные сведения. Выяснилось, что прошлой осенью начальник экспедиции и Мамбет-мурза вовсе не прогулки ради сорвались вдруг с места и отправились с вооруженным отрядом в далекий поход. Оказалось, баш-

киры, преследовавшие экспедицию по пятам с самой Уфы, совсем уж разбушевались. Вот Кирилов и Мамбет-мурза и отправились спешно на усмирение дерзких мятежников. Поговаривали, что волнения охватили всю Башкирию. Потому-то они здесь, в недостроенной крепости, и сидят столько времени на голодном пайке. В прошлую осень Мамбет-мурза снарядил в крепость обоз — аж шестьсот саней! — с оборудованием и зимней одеждой; так на этот обоз возле реки Ай напала шайка башкир во главе с батыром Кулеке и разграбила его. А вот совсем уж недавно жители села Саян-тес едва не перебили весь отряд Мамбета-мурзы, собиравшего продовольствие для оставшихся в крепости голодных солдат. Сам толмач, называют, поджег все зимовье, в котором располагалась часть отряда Мамбета-мурзы. На следующий день исчезли в огне еще пятьдесят кишлаков.

Послушать — так волосы дыбом встают. В декабре прошлого года, когда особенно лютовали морозы, комендант крепости Чемодуров, как на грех, спешно отправил в поход по Сибирской дороге пятьсот солдат. Через день отряд притащился назад с ощутимыми потерями: пятеро погибли, сто пятьдесят человек были обморожены. С морозом в безлюдной степи шутки плохи. Едва перевалив один-другой перевал, люди стали падать как подкошенные. Вернувшись, эти несчастные навлекли на себя гнев и ярость Чемодурова. Он топал ногами и кричал на них с пеной у рта. Через два дня — хотя морозы и не ослабли — был снаряжен в путь еще один отряд. Но его постигла еще более горькая участь: из семиста пятидесяти человек остались навечно в степи пятьсот, восемьдесят человек обморозили руки и ноги. Их, оказалось, отправили в какой-то русский городок за Яиком, чтобы раздобыть зимнюю одежду и хоть какое-нибудь продовольствие. Обе вылазки кончились, таким образом, неудачно, и ждать помощи было неоткуда. Крепость была обречена на голод. Видно, этого и добивались мятежники, чтобы раз и навсегда отбить охоту у тех, кто покушался на их вольные просторы.

Ханзада и Котыр-батыр и не ведали об этих ужасах. Они по-прежнему жили в тепле, были сыты, одеты, обуты, и о том, что творится вокруг, даже не догадывались.

А зима и в самом деле выдалась на редкость жестокая. Бураны неистовствовали неделями. Пурга намела причуд-

ливые сугробы. Не так-то просто было высунуть голову на свет божий. Крохотное окошко в землянке покрылось наледью. Ветер в печных трубах завывал на все лады.

Какая уж тут работа в холоде и в голоде! Свежие рвы тут же занесло, засыпало снегом. Крепостные стены остались под сугробами. По ним голодные волчьи стаи пробирались в крепость, кружили возле землянок, жались к торчавшим из снега печным трубам, из которых струился теплый жилой дух, и выли ночами напролет, надрывая душу. Случалось, солдаты подстреливали хищников метельными ночами, но к утру никто даже следов не находил. Никто не знал, куда девались трупы.

Голод становился все ощутимей. Запасы продовольствия иссякли уже в начале декабря. Голодные солдаты косились на мешки и переметные сумы мешчеряков и вогулов, которые те ревностно оберегали и на ночь клали под голову. Вскоре, однако, кончились и эти крохи. Жадные огоньки вспыхивали в голодных запавших глазах при виде тяглогового скота, поголовье которого также катастрофически сокращалось. Немало людей погибло, занимаясь подледным ловом в ближних озерах и старицах. Иные проваливались в трясину на болотах и топях, где устраивали облаву на диких кабанов. Другие, охотясь на зайцев, сбивались с пути, бродили в непролазных прибрежных зарослях и становились добычей шакалов. Те, что дожили до весны, вконец ослабли и опухли от голода.

Ближе к весне юный ханзада и вовсе не находил себе места. Едва дождавшись рассвета, он отправлялся к Чемдурову и, переборов неловкость и стыд, просил лошадь для прогулки. Хмурый и раздраженный комендант, у которого голова и без того шла кругом, еще более темнел лицом от такой просьбы. Потом, пробурчав что-то, вызывал помощника. Через некоторое время появлялся помощник в скосопяченных сапогах, поправляя на ходу помятые голенища. Комендант кивком головы сумрачно указывал на ханзаду. Все сразу смекнув, помощник в скосопяченных сапогах тотчас выходил с Ералы во двор и некоторое время молча переминался с ноги на ногу, изображая, что напряженно думает. Наконец он, все так же молча, направлялся в сторону конюшни. Дойдя до нее, ожесточенно пинал-бухал в гулкие ворота. Только что угодливый, подобострастный перед своим начальством помощник принимал тут грозный вид, свирепо вращал

глазами, подчеркивая свою значимость и власть. В воротах показывался рыжеусый, плосконосый казак. Помощник коменданта, подражая начальству, кивал подбородком в сторону ханзады и с чувством исполненного долга, хлюпая сапогами, убирался восвояси. Теперь важный, значительный вид принимал уже плосконосый казак – старший конюший. С откровенной неприязнью мерил он взглядом ханзаду и батыра Котыра и, витиевато выругавшись, кричал кому-то в глубине конюшни. После этого, досадливо приподняв ворот замызганной шинели, уходил прочь. Через некоторое время появлялись пятеро верховых казаков с двумя заседланными конями в поводу. Семеро всадников выезжали за крепость и направлялись легкой, ровной рысью к черным холмам, простиравшимся к востоку.

Во все стороны открывались погруженные в зыбкую синь дали. Поразительно: куда ни посмотри – ни одной живой души. Ни кочевья, перебирающегося на весенние пастбища, ни одинокого путника, ни даже спешащего по своей надобности зверька. И суслики, и барсуки сплошь повымерли. Голодные солдаты кайлами и лопатами выкопали их из норок живыми еще зимой. Мертво вокруг! Не то что зверька какого-нибудь, клубка пыли, взметенного ветром, и то, пожалуй, не увидишь.

До рези в глазах всматривался ханзада в весенние дали, но пустыни, безжизненны были окрестности. Так было вчера. Так же – сегодня. Так будет, наверное, и завтра. Ни малейшего признака жизни на холмах. Впору взвыть от тоски.

Но ханзада не терял надежды. Все с большим упорством каждый день выезжал он из крепости, взбирался на вершину холмов и, вытянув тощую мальчишескую шею, подолгу всматривался в дрожащую полоску у горизонта.

На исходе месяца мамыр вдали, у горизонта, замаячили сизые тени. Перед глазами юноши, наполненными слезами тоски, ожили полные соблазна сказочно дивные видения...

Уплывали, растворяясь в степи, дни и недели. Прошла уже и половина месяца маусым. От излучистых речушек, падавших с испещренных ущельями древних Мугоджарских гор, издали похожих на скелет растерзанной волками лошади, до могучих, полноводных рек Ирғиз и Турғай тянулась неоглядная ширь. Плотный травяной покров уку-

тал ныне степь. Зима выпала на редкость суровая и снежная, и твердый, глянцевитый, ледяной корочкой покрытый наст долго не поддавался разрушительной силе теплого и настойчивого южного и восточного ветра. Бурый ноздреватый снег долго темнел слежавшимися пластами на северных склонах Мугоджар и в ущельях, саях, густых зарослях Каракумов, куда не проникали лучи благодатного весеннего солнца. Эти островки напоминали скромные запасы топленого масла, припрятанного бабой-скупердьяйкой в уголочке ягнячьей брюшины. Когда солнце, поднимаясь все выше, набрало силу и растопило-таки обильные снега, талые воды залили всю степь, превратив ее ненадолго в море, сливавшееся с голубым небом. Меловые горы, разбросанные там и тут, выделялись в этом море призрачными белыми островками.

Наконец ушла и вода. Но земля никак не оттаивала, не согревалась. Размокшая, неприглядная, еще не ожившая, простиралась степь. Никак не могла проснуться, отойти от долгой зимней спячки. Но уж близок был ее час. Наливались живительной силой золотистые снопы лучей, струившиеся от раскаляющегося с каждым днем огненного диска в зените безбрежной синевы. Примчался издалека распаленный жаждой любви бурный и неистовый месяц сары-атан, согревая истомившуюся по нему, по его ласкам и горячему дыханию землю. Уже в первые дни она смягчилась, подобрела, густой парок закурился над нею, а через неделю вся покрылась нежно зеленеющим пушком. В ней затеплилась жизнь, неистребимая, ликующая, набиравшая стремительно буйную, хмельную силу. Сразу ожили, прихорошились тальник и тростник, еще недавно зябко дрожавшие на холодном ветру, точно нищий под дырявым, заскорузлым чапаном. Неприглядно заголившиеся песчаные дюны стыдливо прикрылись зеленым подолом и украсили макушку яркими цветами. Одинокие щербатые холмы, похожие на отбившихся от гурта верблюдов, тоже вырядились в полосатую пестрядь и как бы приосанились, точь-в-точь изрядно потрепанный вдовец, решивший по весне приударить за какой-нибудь бабенкой.

Каждый укромный уголок земли обновился, принарядился. Девственно чистая, убранная степь застыла в томительном ожидании. И вскоре ее огласили бодрым пением перелетные птицы. Тотчас ожили пустынные рав-

нины. Птички свили гнезда под дернистой пушицей и в ветвях ивняка, приступили к извечной заботе о потомстве. Степь наполнилась звуками – криком журавлей, криканьем уток, гоготом гусей, клетотом орлов. В кустах бойко шебаршили рябчики.

С наступлением теплых дней буйно пошла в рост трава. Неведомо из каких щелей вылезли всякие жучки, паучки, забегали, засуетились, зашныряли вокруг. Возле норок деловито заверещали суслики, тушканчики. Озабоченно принюхивались барсуки. Зашмыгали в кустах облившие лисы. Подкрадывались, шевеля жалом, к птичьим гнездам змеи. Даже в безлюдной степи жмущиеся к земле осторожные черепахи, то высовывая на миг крохотные, круглые головки, то поспешно втягивая их в панцирь, тоже ползли-спешили куда-то. Быстро-быстро перебирая тонюсенькими ножками, неслись ежи и, вдруг почуяв какую-то опасность, мгновенно замирали, сворачиваясь в клубок.

Да, многообразная жизнь ликовала в степи. И все же чувствовалось: безбрежная ширь ожидала в нетерпении еще кого-то. И крутосклонные холмы, и пологие черные увалы, и прозрачные степные озера, казалось, замерли в ожидании, тоскливо глядели вдаль, туда, за южный горизонт, откуда вот-вот, со дня на день должен был появиться, вымахнув на вершину перевала, кто-то желанный, долгожданный. И пока он не появится, не объявится на этой равнине, степь при всем своем многообразии все равно не обретет своей подлинной красоты и истинного смысла.

Но вот уж и весна на исходе. Степь вся преобразилась. Густой листвой покрылись кусты. Все травы в полном соку. Даже колючки на кустарниках помягчели. В низинах пылают тюльпаны. В глазах рябит от множества цветов. Разноцветные кущи караганника, терескена, реповника, чернобыльника издали притягивают взор. Воздух, пронизанный синью, дрожит. Зыбится хмарь у горизонта, В разморенную, охваченную истомой степь вереницей тянутся с юга стада диких коз и каракуйруков. Но и эти бесчисленные стада быстроногих животных не могут заполнить бескрайнюю ширь. Степь приготовилась к большому, шумному торжеству. И главный праздник еще впереди. Самые дорогие гости еще не прибыли.

И вдруг в один из долгожданных дней на вершинах

далеких перевалов появляются небольшими группками всадники. Они долго кружатся на одном месте, обозревают окрестности, что-то оживленно обсуждают. Потом часть из них решительно направляется в сторону тучных выпасов вдоль Иргиза, другая часть — к темнеющим вдали отрогам Мугоджарских гор.

В руках всадников длинные копыя и сверкающие секиры; они едут плотной кучкой, собранно и настороженно, будто готовясь к схватке с невидимым врагом. Это дозорные, высланные вперед приближающимся в эти края кочевьем. Дозорным полагается быть при оружии и на чеку. Большинство дозорных — мужчины в летах, многоопытные, многое повидавшие. Молодежь при них ходит в коневодах. Все примечают дозорные, громко, без умолку разговаривают, делятся впечатлениями. По нутру им нынешние тучные пастбища. Радуюсь про себя, то и дело поплевают по сторонам, чтобы не сглазить, благоговейно поминают всевышнего. Иногда между дозорными вспыхивают споры: где лучше, где разумнее расположиться кочевьям. Спорят шумно, горячо. Поднявшись на вершины холмов, зорко вглядываются в дали, размахивают копыями, что-то прикидывают. Наконец, приняв решение, отправляют нарочных назад, к кочевью, с наказом, а сами едут дальше, все больше углубляясь в нарядную степь.

Приглядев удобное место для стоянки аула, кто-нибудь из дозорных спешится, отвязывает от тороков колышек, вонзает его в податливую почву и привязывает к верхушке свой пояс или камчу в знак того, что именно здесь расположится его аул. Потом садится на коня и едет с дозорными дальше выбирать удобные стойбища для других аулов.

И чем богаче пастбища, тем веселее на душе дозорных. Далеко разносится их громкий говор и смех, и все бойчее бегут под ними крутобокие лошадки.

Вскоре, вслед за дозорными, появляются из-за перевалов медленно бредущие отары. По их краям едут на рабочих ослах пастухи. На стригунках несется вскачь ошалевшая от воли ребятня. Обычно отары отправляют на летовку пораньше, заблаговременно, чтобы овцы по пути не отошали, с частыми остановками. В отарах бредут и несколько верблюдов, груженных необходимым в долгом пути скарбом. Если вдруг заждит или становится свежо, сыро, чабаны ставят походные юрты. В теплые

звездные ночи спят под открытым небом прямо в одежде, подстелив старую кошму, в центре круга за волосяным арканом, за который не проникает ни одна ползучая тварь. Самый старший из пастухов спит, намотав на руку конец аркана, к которому привязан баран-производитель, вожак отары – так надежнее: отара за ночь не разбредется.

Пища у чабанов тоже всегда при себе. В мешках из козьих шкур они хранят терпкую молочную закваску. Подоят овец, размешают в турсуках свежее молочко с айраном – получается сытный и вкусный напиток коиртпак. Из густого, жирного молока поздно оягнившихся овец готовят дрожашее, как студень, молозиво. Забавы ради стравливают круторогих баранов-кошкаров и любят их схваткой. А то рассказывают сказы о древних батырах или загадывают друг другу загадки. Наиболее голосистые заводят песню:

*На холме пологом – тенистая сосна,
Стан у любимой – тонкий, как струна.
Душа у любимой – как белая пташка,
Сокола завидев, трепещет она.*

Нет лучшей поры для чабана, чем многодневная кочевка на летние пастбища! Он не только наслаждается простором и волей, не только всласть пьет терпкий коиртпак из турсуков, но и предается сладким и дивным мечтам, радуется безбрежности жизни, жадно приглядывается к чудесам природы, восторгаясь ее глубинным смыслом и мудрым созвучием и согласием. Сколько чудес и тайн природы раскрыли казахам пастуший посох да конские копыта!

Зачуханный и затюканный, познавший вдосталь и холод, и жару чабан пасет не только овец. Он всегда и всюду размышляет. За медленно бредущей отарой неотступно бредут и его думы. Когда овечки усердно пощипывают травку, нагуливая жирок, чабан, вольно развалившись на пригорке, подолгу смотрит в небо и предается бесконечным раздумьям. Рождению многих дивных сказов-дастанов, сказок, песен, загадок и скороговорок казахи обязаны непритязательному чабанскому племени.

Что и говорить, чабан с посохом в руке – примечательная фигура в неоглядной казахской степи. У него

открытая душа, чуткое сердце, зоркий глаз. И это понятно. В то время, когда большинство степняков зимой прозябает в задымленных юртах, а летом прохлаждается где-нибудь в тенечке, кто неизменно остается с природой один на один? Чабан. С кого спросится за потерю паршивого козленка? С чабана. На ком срывает зло свирепый бай? На чабана. На чью долю выпадает больше всего испытаний и мытарств? На долю чабана. Кто прежде всего испытывает неустойчивость бытия и обманчивость мира? Все тот же чабан.

Он порой готов свихнуться от одиночества. Все, что происходит в степи, не минует его. Всклужится за несколько верст пыль, и чабан точно определит: скот ли пасется, враг ли скачет, и первым о том известит. Уши его обостренно ловят все новости. Ни один путник в степи не проедет мимо чабана. Отбилась ли скотина от стада – спрашивают у него. Проскачет ли смутьян какой – обратятся к нему. Путник спросит – чабан ответит. Вопрос – ответ, ответ – вопрос, и вот уж рождается слух. А слухами земля полнится.

Пора кочевок – чабанская отрада. Когда скот перегоняют с зимних пастбищ на весенние луга, потом – на летовку, потом – на осенние выпасы и, наконец, снова к зимовью, к чабану спешат и дети, и подростки, помогая ему в трудных переходах и разделяя постылое одиночество. Сколько новостей услышит от них в эту пору чабан! Да и сам он за эти дни наговорится всласть.

Сколько разнообразных сведений о живой природе, о погоде, о животном мире, о приметах и явлениях в жизни, о дорогах-тропинках узнавало не одно поколение казахов от простых пастухов! И грубое, непотребное словцо, и соленые шутки, и непристойные остроты, скабрзные стишки, и о том, что не осмеливались говорить родители, о сокровенных тайнах в извечных отношениях между мужчиной и женщиной – все и обо всем узнавали любознательные подростки от словоохотливых чабанов во время многодневных кочевок.

Наконец отары спустились в долину, отведенную дозорными тому или иному аулу; чабаны обустроились, поставили шатры-балаганы, перевели дух после утомительного пути, и тут – вот оно, начало долгожданного торжества! – на вершине ближнего перевала показалось само красочное кочевье. Впереди длинной вереницы

едет, величественно восседая на украшенном дорогими коврами могучем дромадере, старшая жена аульной головы, хозяйка главной, большой юрты. Кочевья малых юрт, то есть юрт сыновей или младших братьев главы аула, следуют на почтительном расстоянии друг от друга. Каждое кочевье возглавляет покладистый атан, выхолощенный верблюд, а завершает черный нар-дромадер, навьюченный деревянным потолочным кругом, остовом юрты — шаныраком. Из ларей-кебеже, привязанных к бокам верблюдов, высовывает головенки малышня, точь-в-точь птенцы из гнезд. Кочевье сопровождают с обеих сторон группы верховых. Серебристо позванивают монеты, вплетенные в длинные косы девушек и молодых.

Мерно, монотонно бредет утомленное долгой дорогой кочевье, но при виде будущего становища с прозрачными озерами, с вольными выпасами, задыхающимися от разнотравья, всех охватывают радость, восторг. И тотчас вспыхивают оживленный разговор, веселый смех, шутки.

Только что безлюдный край преобразуется на глазах. На самом видном возвышенном месте, подальше от душевой низины, от мошки и комарья, ближе к холмам и перевалам, обдуваемым свежим ветерком, неподалеку от овражка, по дну которого шумит-течет речка или днем и ночью бормочет родничок, ставятся, конечно же, белые байские юрты. Пусть манят взор, пусть издалека бросаются в глаза, чтобы по всей окрестности знали: здесь раскинулся аул знатного человека. А уже подальше от белокошомных юрт байского аула, в низине, возле лощин и у подножья холмов теснятся невзрачные, созревшие от солнца и дождей черные юрешки и шатры-балаганчики работников и obsługi. Так уж повелось исстари: все броское, красочное, богатое лезет вверх, занимает почетные вершины, а всему уродливому, неприметному, бедному отводится укромный уголок где-нибудь на задворках.

И все равно зимняя тесень сменяется летним простором, и, может, в этом и заключена вся прелесть кочевой жизни.

Полукругом останавливается кочевье у подножья холмов. Вот уж развьючены верблюды и выгнаны подальше на выпас, а на широком лугу, на месте будущего аула, на густой зеленой траве запестрели домотканые паласы и ковры, циновки и боковые решетки юрт, выкрашенные хной унины и потолочные круги-шаныраки. Вскоре, словно

в волшебной сказке, выросли на открытом лугу белокошомные, одна другой наряднее юрты, опоясанные разноцветными лентами из пряжи. Казалось, над весенней степью пролетела чудо-птица Самрук, проронив невзначай несколько пестрых своих яиц. Тонкой стружкой взвился над очагом дымок. По-домашнему затывкали собаки. Вдали, на выпасах, ревели верблюды, ржали лошади, бляляли овцы.

В летнюю пору, когда аулы расположились и поудобней устроились на джайляу, доходит, наконец, черед и до бесчисленных дел, которые все откладывались и отодвигались. Соседние аулы непременно приглашают друг друга в гости, обмениваются взаимными благопожеланиями. Детям, которые начали ходить еще зимой, теперь перерезают ритуальные путы. В честь тех, кто появился на свет нынешней весной, проводятся шильдеханы. Тех, кто покинул юдоль печали еще осенью, зимой или даже ранней весной, поминают именно летом на грандиозных асах-поминках. В эту пору к девушкам на выданье засылают сватов, а жениха для первого знакомства снаряжают в путь к родителям невесты. Проводятся сборища степных судей, биев-златоустов для решения спорных вопросов и давних тяжб. Все эти бесконечные и неотложные дела желательно решить еще до наступления самого знойного месяца шильде. Ведь когда на степь обрушится нещадный зной, ни у кого не бывает особой охоты пировать – ни у хозяина, ни у гостя.

О, да-а... всему свое время. Дай срок, и к приходу знойной поры округлятся, облившись нежным жирком, ягнята раннего расплода. И ярочки войдут в самый сок. И, обретя хмельную силу, станет кумыс густым и терпким, а слой жира под гривой коня упругим и плотным, и кость еще слаще и сочнее. А борец-палуан почувствует во всех мышцах прилив мощи, и горячий скакун попросит поводья, чтобы ринуться в лихую байгу...

И это время уж не за горами. Пьянят, дурманят голову запахи луговых трав, дикого лука, прибрежницы и мяты.

Попробуй тут усидеть дома! Нет, не усидишь. Так и тянет тебя из юрты на простор вольный. А выйдешь за аул, оглянешься – дух захватывает. От горизонта до горизонта под легким ветром колышутся житняк и пырей, и чудится тебе, что волнуется безбрежное море. Живым зеленым покровом, точно тугим ворсом, покрыта земля,

переплелось разнотравье — и черная полынь, и костер, и овсяница, и триостница, и лиловые еще кусты перекасти-поля, и все это дрожит, будто обильное руно барана перед стрижкой. Там, где встречаются редкие такыры и впадины, все еще стоит талая вода. Даже в безветренный день четко виднеются разноцветные полосы стоялой воды, напоминающие оборки праздничного платья молодухи. Напуганные косяком коней, пришедших на водопой, низко-низко тучей кружатся стаи диких гусей и уток. Игривые жеребята-стригунки, лоснясь гладкими боками, резво вбегают в воду, но, испугавшись сверкнувшей у ног рыбешки, ошалело шарахаются назад к берегу, заваливаясь набок, точно сноп камыша под серпом.

Дальние отроги гор густо усеяны отарами овец. Широко разбрелись они по склонам, уткнулись мордами в сочную траву, и никакая сила не отвлечет это прожорливое четвероногое племя от любимого занятия, и чабаны, получив, наконец, передышку от постылых повседневных хлопот, собрались на вершине холма, предаваясь невинным забавам: угощают друг друга напитком из квашеного овечьего молока, прикладываются попеременно к горлышку бурдюка, потом, усевшись в круг, выкопав лунки, играют в тогуз-кумалак, потом, вскочив, — в пятнашки и догонялки, потом, шалея от избытка сил, устраивают борьбу на поясах.

Овцы, что так вольно пасутся у подножья увалов, — двух- и трехгодовалые. Их стригли еще по пути на джайляу. А молодые ягнята, весенний приплод, гуртятся неподалеку от чабанских стойбищ, в затишье ущелий, возле котловин и стариц. С ягнятами раннего расплода особенно много возни. Одних, связав им ножки, стригут, других — до самой курчавой головки — купают в проточной воде. Стриженные, дрожащие всем тельцем барашки попадают в руки отборщиков — тех самых суровых, в летах, мужчин, которые еще недавно ехали дозорными впереди кочевья и определяли летовки для аулов. Они ловко и умело сортируют ягнят, выделяя отдельно самых крупных, длинноногих и ширококостных, с круглыми курдюками, с белой шерстью, наиболее крутолобых, с изогнутыми в кольца рожками. Часть барашков, которых необходимо выхолостить, тотчас передают немолодым, но сильным мужчинам, мастерам этого дела, которые стоят тут же наготове, засучив рукава. Краснолицые, усатые, с нетерпеливым

блеском в глазах, они хватают перепуганных и трепыхающихся барашков, зажимают их, точно тисками, между ног, сильными узловатыми пальцами начинают шарить в тепло, нежном паху бедняг, что-то там нащупывают, старательно мнут, ухватываясь поудобней, потом делают резкий рывок и хлопком по заду отшвыривают от себя прочь. Несчастные барашки, еще не зная, что случилось, не понимая, чего лишились, на какое-то мгновение застывают, приседая на дрожащие задние ножки, ошалело водят вокруг глазенками, потом, точно спохватившись, пошатываясь, бегут прочь от места позора. Глядя на них, скалят зубы и гогочут мужчины-стригали, время от времени распрямляющие затекшие спины.

В сопровождении многочисленной свиты бай объезжает свои владения. Надо ведь знать, где и как пасется его скот и чем занимаются скотники. Группа верховых трусцой направляется к озеру, где, разбившись на косяки, дремлет на солнышке табун лошадей. Воздух дрожит от звонкого ржанья жеребят, смеха детей и подростков, грубых окриков табунщиков.

В табуне в летнюю пору особенно оживленно и весело. С восходом солнца к широкому лугу у озера, подхватив уздечку, спешат мальчишки. Они пристают к табунщикам, с важным видом волочащим за собой длинный курук — шест с петлей на конце для ловли строптивых неуков. «Агатай! Дяденька! — умоляют они, спрашивают. — Ну поймай мне стригунка...» Табунщикам приятно, что им сейчас столько уделяется внимания; они, охальники и матершинники, набивают себе цену, хорохорятся, непотребным словом прохаживаются по тетушкам да по будущим тещам этих сорванцов, потом, сжалась над ними, ловят для каждого по стригунку. И вот уже несутся по лугу, потешно брыкаясь, вскидываясь на дыбки, стригунки-неуки. И мальчишки шлепаются на мягкую траву, досадливо морщатся, гладят, потирают ушибленную попку и, спохватившись, со всех ног бросаются вслед. Нет для них более вожаемой забавы! В табуне всегда имеется десяток-другой необъезженных трехлеток и четырехлеток. Их стараются обуздать и укротить крепкие, ловкие подростки и юноши. Изловчившись, взбираются на строптивых неуков, берут их в шенкеля и пускают диким наметом по степи, по склонам холмов, по мелководью озер и речушек, по песчаному бережку, загоняя в мыльную пену.

Бай и его свита внимательно наблюдают за норовом и аллюром укрощаемых стригунков и неуков и заранее определяют, какой из них станет иноходцем, скакуном, покладистой ездовой лошадей или смиренной клячей, пастушым одром. У почтенных аксакалов беспрестанно дергаются бороды; у горячих джигитов топорщатся усы. Тут же знатоки-лошадники бьют по рукам, заключают азартные пари.

И в самом ауле в эту пору необычайно кипит-бурлит жизнь. В стороне, на вытоптанном пяточке, на аркане, растянутом на кольшках, томятся на привязи жеребята-сосунки. В ноздри бьет запах свежего кобыльего молока. Поджарые пожилые дояры с туго завязанными белыми платками на головах, держа на запястьях кожаное ведро и опустившись на одно колено, сноровисто дергают-тянут кобылиц за сосцы. Сильные, хваткие мужские пальцы причиняют кобылицам боль, но ноги их спутаны, голова коротко привязана, захлестнута куруком, не вырвешься, даже не дернешься. И кобылицы скалятся, страшно выкатывают глаза, сжимаются все, и дояры резким окриком тотчас их смиряют.

Возле юрт темнеют свежие вырытые земляные печки – жерошаки. Краснозем еще не успел покрыться копотью и сажей. В огромных казанах бурлит, булькает прокисшее молоко – варится курт – кислый сыр. Над котлами средней величины витает сладкий пар – варится иримшик – сладкий творог. Видно, в котел случайно попал кусочек копченого мяса – остаток зимних запасов, и запах копченки вперемежку с густой, золотистого отлива сыворожкой дает особый аромат. Но, должно быть, и это лакомство, и смешанные запахи не по нутру затяжелевшей к весне служанке, и она, убажывая свою бабью прихоть, поджаривает украдкой на угле кусок вяленого мяса, завалившийся на дне холщового мешка, наспех обтирает его подолом и без того замусоленного длинного платья и быстро-быстро грызет, ничего и никого не замечая вокруг.

На приличном расстоянии от белых байских юрт стоят рядком продымленные лачуги-кухни. Здесь на деревянных подставках расстелено множество больших и малых циновок. На них вразброс, точно овцы на выпасе, рассыпаны и сушатся под навесом разноцветные комочки белого и желтого иримшика – творога, соленого, кислого и

пресного курта – сыра, густеет балкаймак – кипяченая медовая сметана, заготавливается впрок разная «белая» пища, славное украшение стола щедрого на угощение степняка-скотовода. В тени лачуг, в огромных бурдюках из жеребьих шкур дозревает напиток из верблюжьего и кобыльего молока. Из лачуг доносится монотонный глухой стук: то в мехах-сабах мешают, взбивают мутовой кумыс. Сытный кисловатый дух витает, дразня аппетит, возле кухонь.

А в стороне от всех этих бесконечных житейских хлопот и забот, на возвышенности, куда не всякому положено подняться, белеют нарядные байские юрты. И здесь с утра до вечера не смолкают голоса. Шлепают губами, обсуждая все на свете, пожилые бабы. Весело судачат, щебечут молодухи. Звонко смеются девицы. За юртами, расстелив широкую войлочную подстилку, теребят, взбивают шерсть. Рядом, набив ряд колышек, прядут пряжу и ткут узоры. Женщины ловко крутят прялку-юлу, девушки из разноцветных лоскутков стегают на шерстяной подкладке одеяла. Пока не переберут и не потеребят всю шерсть весеннего настрига, пока не спрядут ее и не выкрасят пряжу, пока не выткут из пряжи разноцветные узоры и не наложат их на войлок, пока не наделают разных ковров, паласов, дорожек, подстилок, хурджунов, мешков для пряжи, для утвари, для одежды, нарядных лент для юрт и множества других вещей, необходимых в жизни кочевника, не зная отдыха-покоя и слабой половине человеческого рода.

Многое нужно успеть переделать степняку за короткую летнюю пору. Всем забот хватает. Даже беззаботной ребятне, и той не сидится на месте. Играм-забавам нет конца от зари до зари. Избегая взрослых, вечно ворчащих и поучающих, веселые мальчишечьи ватаги собираются на лугу подальше от юрт и гомонят весь день, затевая игры в бабки, в асыки, в чеку, в догонялки, в чехарду. А то разбредаются в кустах приречья и приозерья, собирают гусиные и утиные яйца, ставят силки. После захода солнца, в сумерках, к ним присоединяются подростки, девчонки и начинаются другие игры – в «белое кочевье», в «белую кость» до глубокой ночи.

Нет, неисчерпаемы соблазны и прелести кочевой жизни в благодатную летнюю пору! Об этой поре неотступно, точно наваждение, грезилось юному ханзаде,

томящемуся в постылой крепости у устья реки Орь. И на исходе месяца мамыр, когда вдали, у горизонта, замаячили сизые тени, перед наполненными слезами тоски глазами ханзады Ералы ожили полные соблазна сказочно дивные картины.

Дожить бы... дожить бы скорее до этой желанной поры... Лето было в самом разгаре, и стар, и млад наслаждались его радостями, и только одна Бопай-ханум, старшая жена хана Абулхайра, ходила подавленная и отрешенная. Крупная, рослая, она в последнее время особенно погрузнела, а возле больших лучистых глаз появилось множество мелких морщин. В пристальном ее взгляде мелькало что-то незнакомое, движения, жесты стали неторопливыми, и, казалось, все она делала неохотно, через силу. Ребенок в люльке, искусно вырезанной из кости и укрытой легкой накидкой, беспokoйно заворочался, захныкал и, наконец, сорвался на нетерпеливый, яростный крик, и только тогда, как бы очнувшись, ханша встала и подошла к нему.

В юрту, как заполошенный, ворвался до дерзости своенравный, большеголовый, с беркутиным взором Кожамет, запихнул за пазуху несколько горстей асыков из висевшего на решетчатой стенке мешка и тотчас бросился вон. Ханша и сыну ни слова не сказала.

У входа в юрту возилась с самодельной куклой семилетняя Зулиха. Заметив, что старший брат куда-то сорвался, точно угорелый, она тоже вскочила и затрусилась было за ним, но Кожамет только хлопнул носом и отмахнулся на ходу:

— Да отстань ты от меня! Буду я еще с сопливими девчонками возиться!

И, сверкая голыми пятками, во весь дух помчался к белому такыру, где играли в асыки дети большого аула.

Оскорбленная Зулиха шмякнулась оземь, заколотила ногами, заорала дурным голосом, но, видя, что от этого проку нет, вскочила и бросилась вдогонку. Упрямый Кожамет не обернулся. Все чаще оглядываясь на ревущую девочку, Туяк некоторое время послушно сопровождал своего дружка, однако не выдержал, пожалел строптивницу и поневоле остановился. Он успокоил запыхавшуюся от бега по высокой траве Зулиху, вытер ей слезы, взял за ручку и трусцой побежал с ней вместе.

Игра была в разгаре. Возбужденный Кожамет ринул-

ся в самую гущу ребят, оглянулся, нетерпеливо помахал рукой Туяку, дескать, ну что же ты, давай скорей, скорей, однако, заметив рядом с ним медлительную вредину-сестренку, скривился от досады и показал ей издали кулак.

Ханша Бопай, все видевшая из-за решеток с подвернутой кошмой, чуть улыбнулась и с наигранной строгостью пригрозила пальцем озорнику сыну:

— Ну, гляди! Схлопочешь у меня!

Но какое мальчишкам, охваченным азартом, дело до материнских угроз? Проигравший лишается не только асыков, но и должен еще согнуться в три погибели и таскать победителя на закорках. Гомон и гвалт стоят на всю округу. Вон какой-то долговязый оборвыш взгромоздился верхом на ханского отпрыска и подгоняет его, похлопывая по заду, точь-в-точь хивинский торговец-старьевщик на захудалом ишачке.

— А-а... хвастунишка! Так тебе и надо!

Видя, что брат посрамлен и наказан, Зулиха сразу развеселилась и злорадно захлопала в ладошки. Туяк что-то сдержанно внушал ей, но озорница вся оказалась во власти мстительного чувства. Задергала головой, запрыгала, ликуя пуще прежнего.

— Так тебе и надо! Так тебе и надо!..

Кожамет самолюбив и вспыльчив. Как бы не задал сестренке трепку. Но, к счастью, Туяк ведь рядом, заступится, не даст в обиду.

Туяк, да ниспошлет создатель ему счастья-удачи, очень добр и не по годам разумен. На него можно во всем положиться. На другой же день, как только ханский аул расположился здесь на летовку, он в дар названому отцу, как того требует обычай, привел под уздцы своего единственного стригунка. Хан обрадовался смышленому мальчику, принял его подарок и распорядился оставить Туяка на все лето в своей семье, при его детях. Достаточно и того, что почти полгода томится один на постылом зимовье возле затерявшегося в степи родника. Пусть хоть летом поиграет со сверстниками, поразвезется и ответит душу.

Хан благоволил к Туяку с самого начала. Особенно после событий на холме Даурен мальчик чудился ему самым святым Хызыром, дарующим благо и радость. Туяк, которому только что исполнился один мушель, то есть двенадцать лет, судя по всему, отмечен божьей милос-

тью. Можно было б возгордиться и потерять голову от особого расположения и внимания к нему всего ханского дома во главе с самим Абулхаиром, но мальчик держится с удивительным тактом, неизменно вежлив, добросердечен и услужлив.

Дети хана сразу же привязались к нему. Особенно Кожамет от радости ног не чует. Сегодня утром Туяк засобирался было в табун, чтобы изловить и укротить стригунка для Айчувака, но Кожамет настоял на своем и не отпустил его. Даже крохотный Адиль в люльке, и тот расплывается в улыбке, едва завидев Туяка.

Как только в стане мальчишек объявился Туяк, Кожамет сразу почувствовал подмогу и начал покрикивать на своих обидчиков. Вообще, кажется, мальчик — не в пример старшим братьям — растет задиристым и ершистым. Те — покладистые, смиренные, легко приноравливаются к новым условиям, а Кожамету, судя по всему, будет трудно привыкать к незнакомой обстановке.

Ханша вздохнула. Сердце ее больно сжалось. Вспомнилось сборище, прошедшее на весенней стоянке перед откочевкой на джайляу. Для весеннего выпаса ныне были избраны пески Дадик. Обычно перед тем, как перебираться на летовку, стригут двух- и трехгодовалых овец, подстригают гривы и хвосты годовалым жеребяткам, клеймят их родовым тавром, распределяют яловых кобылиц по косякам, отделяют ягнят от маток и, подготовившись таким образом к переезду, по обычаю собирают почтенных людей и родоправителей, чтобы обговорить жительство на новом месте, обсудить и решить, кому где выделить пастбища и водопой и кому с кем обустраиваться по соседству или поблизости. В кочевой жизни важно все взвесить и предусмотреть, дабы избежать потом всевозможных распрей и дразг.

Проводить подобные сборища доверялось, как правило, тем знатым и имущим аулам, которым предстояло возглавить кочевье. На таких сборищах определялись не только будущие джайляу и порядок кочевки, но и взаимоотношения людей и родов, сложные связи и симпатии между теми или иными родоправителями. Ведь за долгие зимние месяцы, пока пережидали холода и бураны в зимовьях, разбросанных по оврагам и барханам в пустыне, между аулами, правителями, баями и биями случались дразги и обиды, кто-то к кому-то охладевал, кто-то к

кому-то, наоборот, воспыал любовью, и все это очень легко выяснялось на сборищах в канун откочевки на летние выпасы. Из витиеватых речей биев, состязавшихся за кумысом в красноречии, узнавалось все, кто чем дышит и что в данное время больше всего волнует народ.

И зная это, Абулхаир, проводивший в этом году традиционные весенние сборы, проявил особенную щедрость. В прошлом году русский правитель в Оренбурге прислал в подарок хану через его сына Нуралы несколько тюков диковинных, дорогих яств, груженных на семи нарах-дромадерах. Часть из них ушла на многочисленные пиры в зимнюю пору, однако кое-что по распоряжению хана приберегли в мешках и ларях. Выходит, еще тогда Абулхаир все задумал и предусмотрел. Слава всевышнему, за эту зиму немало перепало ханскому аулу и от Хивы и Бухары. Дважды были в те края снаряжены караваны. Они навезли всякой всячины. А сколько еще было подастей в ханскую казну! Не однажды навевывался тайком, под покровом ночи, преодолев пески и барханы, доверенный самого контайджи. И тоже не с пустыми руками: привозил на верблюдах китайские товары, а из Ташкента — урюк, кишмиш, связки сушеных дынь, пастилу и много всякого прочего.

Надо отдать должное и Мамбету-мурзе: слово свое сдержал. Хоть на вершок, а все же возвысил авторитет ханского окружения, посрамив спесивую династию Жадика. Не успел царев посланник Мамбет-мурза уехать в Уфу, как настигли его нарочные от хана Семеке с челобитной: дескать, шайтан попутал, получилась промашка, прости нашу дерзость и глупость, прими и нас в русское подданство, прихвати в Петербург и наше посольство, хотим подать в руки царице наше письмо-прошение. Так они униженно упрашивали посла русской государыни, а он был сдержан и холоден, письмо-прошение принял, но ни одного их человека в кайсацкое посольство не включил, отправил всех нарочных назад, восвояси. Тут только и спохватились незадачливые послы хана Семеке, поняли, что опростоволочились, что из-за своей недалековидности и спеси опять нечаянно возвысили давнего соперника Абулхаира, и, опозоренные, посрамленные, в лютые декабрьские морозы еле дотащились до родных мест. Особенно унизили их слова этого русского прихвостня, этого выкреста, будь он неладен, процедившего

сквозь зубы на прощание: «О воле ее императорского величества узнаете от хана Абулхаира». Ну не изощренное ли издевательство это?! Мало того, целый месяц спустя с такой же просьбой и желанием примчались к нему доверенные Большого жуза, и этот чертов выкrest принял их с распростертыми объятиями и, включив их в посольство, прихватил с собой в Петербург, и тогда всем стало ясно, что таким образом род и клан Семеке наказали — наказали за строптивость, за спесь, за дерзкие и неблагоприятные дела, за смуты и интриги, которые они искусно плели в течение двух лет. Может, не все о том догадались, но сам Семеке это безошибочно понял. Понял это, само собой, и хан Абулхаир. Первый от досады и боли слег, потемнел лицом, готов был укунить себя за локоть. Второй, ликуя, еще более выпятил грудь, просиял лицом, важно восседал в ханской юрте. Один скрипел зубами: «У, мерзавцы!.. Голым задом усадили на такыр... Будьте вы все прокляты!..» Другой злорадствовал: «А-а... так тебе и надо! Будет тебе урок, самонадеянный дурень!»

Вспоминая все те события, чуткая и мудрая Бопайханум, даже за шестью перевалами безошибочно угадывавшая настроение супруга, вспыхнула от радости и удовольствия, точно юная дева, чью нежную шейку впервые покрывал горячими поцелуями пылкий возлюбленный. Именно тогда ей стало ясно, что слава и мощь мужа крепнут с каждым днем и что отныне он не только сравнялся со многими знатными династиями в казахской степи, но и возвысился над ними. «Слава всевышнему! — шептала ханша про себя. — Не оставь нас и впредь своей милостью...»

Абулхаир не из тех, кто, довольствуясь благодеяниями судьбы, предается праздности в ожидании новых милостей. Успехи только подстегивают его, подвигают к новым деяниям. Он, как говорится, не давал просохнуть потникам, не позволял остыть коням верных своих порученцев, рассылал их по всей степи и тщательно обдумывал, взвешивал их донесения. Тайком направлял он своих людей и к брату, сидевшему на ханском троне в Ташкенте, выводил, что происходит там во владениях джунгар и даже у самых китайских границ.

Бопайханум замечала, что после уединенных бесед с лазутчиками и соглядатаями у мужа явно поднималось настроение, и хмурь на его челе исчезала, уступая место

тихой радости и спокойствию. На сером, осунувшемся, в последние годы постоянно озабоченном и сумрачном лице вновь появился и заиграл румянец. Морщинки возле глаз смягчились, разгладились, в усталых, глубоко запрятанных белесых глазах все чаще вспыхивали задорные искорки. От всей его крупной, сильной фигуры веяло свежестью и бодростью. Особенно радовали его вести о волжских калмыках. И на то была своя причина. Много неприятностей и хлопот доставили они хану в приезд Мамбета-мурзы в казахскую степь. Семеке и Батыр, решив загребать жар чужими руками ловко натравливали волжских калмыков против Абулхаира, сеяли смуту и вражду, будоража неразумную толпу. И сейчас еще, вспоминая, с каким коварством расставляли они на него капканы и силки, у хана вскипала кровь, и он с трудом сдерживал радость. Твари подлые, кровожадные! Попробовали бы теперь Семеке и Батыр, коль так сильны и храбры, вновь снюхаться с волжскими калмыками! Кишка тонка! Не то теперь время... Вот уже почти десять лет прошло с кончины Аюке-хана. После него усугубилась междоусобица среди его преемников. И не видать конца этим дрязгам. Когда-то Аюке-хан был в могуществе и славе. Особенно вознесся он в тот год, когда царь Петр, возвращаясь по Волге после персидского похода, удостоил калмыцкого владыку своим посещением в городке Каражар. Высочайший прием оказал русскому царю Аюке-хан: под руку повел его с корабля, зарезал в его честь откормленного жеребенка, поднес в позолоченной чаше кумыс, а на ночь положил ему в постель юную калмычку — высший знак гостеприимства. Ханская вдова Дарма-бала, дочь знаменитого Сыбана Раптана, и поныне вспоминает о том событии с умилением, облизывая губы и закатывая глаза. Рассказывают, что Аюке-хан подвел к русскому императору трех своих сыновей и высказал желание объявить его наследником старшего из них — Церен Дондука. Однако напрасными оказались его старания. Не успел он навеки закрыть глаза, как вспыхнула ожесточенная борьба за ханский трон. Народ пожелал иметь своим ханом внука Аюке — Дондука-Омбо. Русский же правитель на Волге предпочитал Дорджи, сына Назара, младшего брата покойного хана. И все же затяжная возня между наследниками кончилась тем, что ханом волжских калмыков был избран Церен Дондук.

Абулхаир ликовал: такой оборот дела его вполне устраивал. В душе он долгое время опасался, что новый хан волжских калмыков тотчас найдет общий язык с джунгарскими калмыками и начнет устраивать набеги на казахов, особенно на Младший жуз, еще не успевший оправиться от всех бед и невзгод. К счастью, получив в наследство шаткую власть, не угодную богу, бедолага, кажется, увяз по уши в собственных заботах. Не до жиру ему сейчас, быть бы живу. Дондук-Омбо, затаив смертельную обиду, откочевал на просторы диких заволжских степей. «Пусть жирный кус, не доставшийся мне, достанется рыжему псу». Злобствовал и Дорджи, сын Назара, дескать, тоже мне правитель, не мог настоять на своем, не смог меня возвести на ханский трон. Подливал масла в огонь раздора и его забияка-сын Лобджи. «Раз уж мои пасынки не смогли договориться по-доброму между собой, то придется мне самой взять власть в руки», — открыто заявила строптивая, своенравная вдова Дарма-бала, не успевшая утешиться ни любовью старого Аюке-хана, ни властью юной ханши.

Полный разлад между нойонами сильно ослабил положение волжских калмыков, и их слабовольный хан, очутившись в изоляции, теперь сам затравленно поглядывал в сторону казахов, умоляя о заступничестве и помощи. И еще в первый приезд Мамбета-мурзы Абулхаир смекнул, что если он протянет руку помощи бессильному сейчас хану волжских калмыков, то русские правители этому никак препятствовать не станут. Скорее, наоборот. Но разве в то время Абулхаир имел возможность собрать джигитов под свой бунчук и двинуться в поход? Не до того было! И лишь когда до него дошла весть о том, что Ералы с казахским посольством выехал из Уфы в Петербург, хан снова наострил уши в сторону торгоаутов, как казахи называли волжских калмыков. И тут выяснилось, что Дорджи и Лобджи по-прежнему ярятся и беснуются, обрушивая на голову своего соперника страшные проклятия. По-прежнему плетет интриги, не расставаясь с мечтой о власти, самолюбивая Дарма-бала, облюбовавшая места вблизи Сарытау. И все так же затравленно озирается незадачливый хан Церен Дондук.

Абулхаир, довольный, поплевал на ладони, успевшие за последние годы отвыкнуть от оружия. Все складывалось отменно. Видно, пришла самая пора напомнить зар-

вавшимися Дорджи и Лобджи об обидах, учиненных ими некогда Абулхаиру, и наказать их за былую дерзость: силком отобрать богатые пастбища, простирившиеся до самого Яика. Более удобного случая впредь может не выпасть. И, осознав это, Абулхаир решительно пошел на двух самонадеянных нойонов, конфликтовавших и со своим ханом, и с русскими, отбил у них благодатные выпасы вдоль рек Жем и Темир и оттеснил их к устью Яика на съедение свирепому прибрежному комарью. И чтобы в будущем обезопасить себя от возможных их набегов, поселил на всхолмленных лугах между реками Темир и Кобда многолюдные аулы батыров Есета и Букенбая, а вдоль реки Жем расположил тесно, густо, будто помет в степи, аулы стропливой и воинственной родни ханши Бопай. Понятно, против этого не возражали ни Уфа, ни Петербург. Наоборот, в душе поощряли активные действия российского подданного Абулхаира, который способствовал обузданию мятежного духа среди волжских калмыков.

По словам этих забияк и драчунов – адайцев, чьи аулы обосновались неподалеку от богатого травостоем приречья Жем, волжские калмыки, которые в течение трех последних лет сидели тише воды и ниже травы, отбивая лишь наскоки туркмен в лохматых бараньих шапках, теперь вроде как бы вновь поднимают головы. И это, должно быть, неспроста. Видно, Дондук-Омбо и Дорджи вступили в тайный сговор, явно что-то замышляют. Надо полагать, решили, объединившись, скинуть с ханского трона Церен Дондука, который и сидит-то на нем как в утлой лодчонке в бурю. У Абулхаира же свое на уме: как только переберется на просторы Золотого свода, он разузнает настроение родоправителей Среднего жуза и, если они его поддержат, соберет войско, приберет к рукам Яик и даже попытается перебраться через Волгу. С приволжскими лугами Церен Дондук, понятно, не захочет расстаться, ну а вольные выпасы до Яика он волей-неволей вынужден будет уступить. И, вероятно, даже с радостью, чтобы насолить своим заклятым врагам. Для Абулхаира сейчас важнее всего оттеснить Дондука-Омбо и Дорджи за Волгу, а там пусть калмыцкие нойоны разбираются между собою сами. Пусть этого недотепу Церен Дондука хоть слопают с потрохами. Давний и тайный этот замысел следует осуществить быстро и неожиданно, не сове-

туясь с русскими. А в случае чего можно все объяснить оплошностью, промахом, желанием помочь попавшему в беду калмыцкому хану. Пока там разберутся, что да как, казахи по крайней мере год-другой попользуются благодатными пастбищами вдоль раздольного Яика.

Когда Куттумбет и сопровождавшие его башкиры доставили Абулхаиру вести от казахского посольства в Петербурге, он их долго, с пристрастием расспрашивал и так, и этак, и из их ответов пришел к заключению, что русские не особенно возмущены тем, что он без их ведома понемногу теребит и притесняет волжских калмыков. Прошлой осенью навестил Уралы русского правителя в крепости у устья реки Орь, и Абулхаир опасался, что начальник экспедиции упрекнет его за своевольные набеги на калмыков, но, к счастью, о том не сказано было ни словечка. Может, и нынче пронесет?.. Судя по всему, русским сейчас не до дрязг между казахами и калмыками. Они там увязли в бесконечных стычках с мятежными башкирами. Нападет сейчас на волжских калмыков мор, русские того и не заметят.

Конечно, о сокровенных своих замыслах Абулхаир распространяться не будет, а к силкам, расставленным на калмыков, никого из династии Жадика не подпустит. Завесу своей тайны он слегка приоткроет лишь перед Жанибеком из Среднего жуза и батыром Букенбаем из рода шакшак. И если заручится их поддержкой, то, пожалуй (терять-то ему нечего!), осторожно выведает, что на уме у Батыра и Барака. Если они изъявят желание выступить с ним в поход – милости просим. Абулхаиру это только на руку. Тем самым он только еще раз подчеркнет свою значимость в глазах многочисленных родов Среднего жуза. Поговаривали, что после башкирского набега хан Семекле слег. Болел он долго и тяжело и, наконец, скончался. Таким образом, Средний жуз остался теперь без хана. Абулхаир в душе издавна метит и на этот трон и, кто знает, может, именно сейчас он близок к своей мечте как никогда. Поначалу все складывалось как нельзя лучше, и благоволение русских оказалось весьма кстати, и все, возможно, давно бы уже решилось в его пользу, если бы башкирский мятеж не спутал все карты и не смешал все планы. Но не все еще потеряно. Если, удачно воспользовавшись нынешней смутой, он проявит решительность и расторопность и отхватит половину владений волжских

калмыков, то авторитет его в глазах казахов сильно возрастет, и тогда его давнее и сокровенное желание осуществится, аллах даст, не сегодня, так завтра...

Осознав эту истину, Абулхаир не сидел сложа руки. Порученцы и лазутчики его без усталы шныряли и шастали по ближним и дальним аулам. И усердие их не было напрасным. Когда-то, узнав про то, что Семеке исподтишка готовил поход против башкир, Абулхаир через своего нарочного тотчас известил о том Таймаса, за что и был вознагражден сторицей. Тем самым удалось башкир втянуть во вражду с потомками Жадика, ослабить авторитет самого Семеке и его окружения и показать себя с выгодной стороны перед русскими правителями. Даже Барак и Батыр, не говоря уже о других, поспешили отмежеваться от этой неблагоприятной истории, делая вид, что они лично никакого отношения к затее хана Семеке не имели. И то, что разгневанные башкиры в отместку разграбили по пути невинный аул шакшактинца Букенбая, также послужило горьким уроком для спесивых правителей Среднего жуза. Пришлось в это дело решительно вмешаться русскому правителю в Уфе, и по его настоянию башкиры были вынуждены вернуть всех шакшактинцев, которых они захватили в плен, и это обстоятельство укрепило вес и значение Абулхаира в глазах простого люда из Среднего жуза. Словом, популярность Абулхаира среди казахов в последнее время заметно возросла. А теперь, надо полагать, до слуха всех его явных врагов и тайных недоброжелателей наверняка дошла весть о том, что русские строят военное укрепление у устья реки Орь и что недавно в той крепости в честь Абулхаира, Нуралы и Ералы начальник Оренбургской экспедиции провозгласил во всеуслышание здравицу, которая сопровождалась многократными пушечными залпами.

Да, времена изменились, и теперь большинство врагов убедилось в том, что с Абулхаиром, заручившимся милостью и благосклонностью самой белой царицы и поддерживаемым русским славным оружием, волей-неволей приходится всерьез считаться. Что же о других говорить, если посланник самого хунтайчи в последнее время все чаще униженно отирается возле дверей ханской юрты?!

По слухам выходит, что ныне ветер удачи все реже дует в его сторону. После смерти Сыбана Раптана на трон взобрался Калдан Церен, который лютым волком

принялся терзать собственный улус. Говорят, весь свой гнев он обрушил на посланников Аюке-хана и на мачеху Сетержеп, обвиняя их в злоумышленном убийстве отца. Четверых посланников Аюке он приказал повесить, а мачеху и трех ее дочерей злодейски умертвил, загнав их между ног деревянный кол. Шоне Добе, рожденному от Сетержеп, удалось сбежать к волжским калмыкам. Матерый волк, некогда свирепствовавший в казахской степи, теперь, судя по всему, трусливым шакалом скрывался в прибрежных зарослях Волги. В тот год, когда Мамбетмурза прибыл во главе русского посольства в степь, джунгары и китайцы снарядили своих послов к белой царице. И те, и другие якобы коленопреклоненно просили: «Возьми нас к себе в союзники!» Но русские не проявили к ним особого расположения и благосклонности. По свидетельству тех, кто побывал в прошлом году в Петербурге, китайцы ловко натравили Шону Добу на Калдана Церена. Это означает, что между волжскими и джунгарскими калмыками проскочила черная кошка. Так что об их объединении и совместном выступлении против казахов сейчас не может быть и речи. К тому же, как никогда, укрепились китайцы. Не случайно, едва захватив власть, Калдан Церен передал повод правления Большим жузом и Ташкентом Джульбарсу и уйсуню бию Туле, а сам, спешно собрав все свое войско, отступил в глубь страны. Поход на Халку во главе с Церен Дондоба закончился бесславно. Тридцатитысячное войско почти поголовно полегло на поле брани в чужом краю. Тех, кто уцелел, вернулся назад, разъяренный контайджи приказал обезглавить. Ясно, что при таком положении Калдан Церен не осмелится напасть на казахов. Где у него на это сила? Наоборот, контайджи важно сейчас не враждовать с казахами. Он будет всячески искать мир. И наверняка понимает, что нужно попытаться найти общий язык прежде всего с Абулхаиром. Ведь сильнее и влиятельнее его правителя сейчас среди казахов нет. Джульбарса, считай, он держит в своих руках. Семееке, обернувшись саваном, отправился в мир иной. В Среднем жузе пустует ханский трон. Русские уже строят крепость у устья реки Орь. И Абулхаир их верный подданный. Не исключено, что завтра он будет объявлен верховным ханом всех трех жузов. Тут, хочешь не хочешь, а придется заигрывать с Абулхаиром. Недавно контайджи прислал своего узкотлазого доверен-

ного, и тот прозрачно намекнул, что предстоящим летом джунгары отпустят домой пленников — женщин, слуг и служанок, принадлежащих сородичам хана, вместе с награбленным при набеге имуществом и скотом. В своих скользких и лживых речах доверенный контайджи также не один раз упомянул Джульбарса, правителя Ташкента. По его словам выходило, что Джульбарс и бий Туле из рода уйсунь довольно круто обходятся с местными жителями — узбеками и таджиками. И на базарах якобы царят и властвуют едва ли не одни казахи. Даже верблюды казахов, и те вроде как обнаглели: травят посевы, житья не дают земледельцам. Народ обложили непосильными податями. Бии и беки творят произвол. Ропщут все: и купцы, и дехкане, и ходжи, и муллы. Очень тяжело держать их в узде. Но пока жестокому контайджи это удается.

Весть эта насторожила и Абулхаира, и Бопай-ханум. С досадой подумали о неосторожном, вздорном Джульбарсе: «Ну зачем ему враждовать с местными жителями? Зачем навлекать на себя их гнев? На кой дьявол сдались ему кочевники-казахи? Им и базар-то нужен раз-другой в году. Пытался бы лучше найти общий язык с теми, кто поближе, у кого, как говорится, для дружбы раскрыты объятия, а для вражды всегда при себе меч. В детстве был Джульбарс горяч и опрометчив. Руками действовал прежде, чем умом. Видно, и поныне не может избавиться от этой привычки. Как бы не натворил беды. Выходит, даже мудрый бий Туле, без труда смиряющий буянов всех трех жузов, не может найти управы на него...»

Пришлось через доверенного контайджи, приехавшего под покровом ночи, передать необузданному Джульбарсу свои проникновенные братские наставления. Хорошо, если этот строптивец им внемлет...

Ну, а с другой стороны, что еще ему остается? Каким бы он ни был буяном и строптивцем, а без поддержки старшего брата и шагу ему не ступить. Да и Абулхаиру, признаться, без него не обойтись. Не сиди Джульбарс в Ташкенте, мог бы разве он, Абулхаир, провести многолюдное сборище в горах Ордаба под самым городом? Или восседай на этом троне какой-нибудь другой клыкастый пес контайджи, мог разве он, Абулхаир, несмотря на все интриги и происки упрямых и надменных правителей Среднего жуза, все-таки уломать, уговорить влиятельных

биев Большого жуза, чтобы они подписали прошение о принятии их в русское подданство? А сколько для этого понадобилось усилий, изворотливости и ума? Чего бы без него добился Мамбет-мурза? Трудное было время: с одной стороны, строили бесконечные козни правители из династии Жадика, с другой стороны, постоянно теребили под боком волжские калмыки, и неизвестно, как бы все это обернулось для казахов, не имей Абулхаир в эту пору всюду своих близких и надежных родственников — брата Джульбарса в Ташкенте, свата Джульбарса в Хиве, зятя Мусу в приаральском ханстве, еще одного свата, Кушука, в роду найман, который, будучи сватом Абулхаиру, не всегда послушно следовал на поводу своего задиристого и вздорного младшего брата Барака.

Верно сказывают: родственники — порой что крылья, порою — путы на ногах. Путьми, правда, оказался один Батыр. Но пусть он теперь пеняет на себя! То, что он осрамился тогда прилюдно на вершине Даурен, ему долго не простят. Вряд ли кто теперь осмелится последовать за ним...

Что там говорить, судьба благоволит к Абулхаиру. И все благодаря милости русской царицы, благодаря тому, что в далеком Петербурге с почестями встретили и приняли казахское посольство. Теперь членам этого посольства, вернувшимся из русской столицы, воздают почет и уважение в степи. Сам Абулхаир следит за тем, чтобы они присутствовали на всех сборищах, торжествах, поминках и взахлеб рассказывали о том, что видели и слышали в столице и во дворце ее императорского величества. Хан обласкал и одарил их щедро. И слава об этом докатилась даже до одиноких зимовий, разбросанных вдоль рек Жана-дария, Куан-дария и Адам-ата, в чем сам Абулхаир имел ныне возможность убедиться. Даже присловье новое родилось. При виде опрятно одетого человека казахи стали спрашивать: «Оу, дорогой, ты что, в Петербурге, что ли, побывал?»

Слава создателю, удача повернулась к нему лицом. Как говорится, дымок над его юртой вьется прямо, а стрела сама настигает добычу. И если еще благополучно пройдет лето, а осенью, сдержав слово, русский правитель пригласит его в новую крепость и проведет пышный пир, то можно считать, что Абулхаир на редкость везуч: цели достиг, от напастей увернулся, куда метил — попал, предсказания — сбылись.

И еще: насколько ему ведомо, никто из известных ему правителей, за исключением разве что самой царицы, не может сейчас похвалиться такой везучестью и удачливостью. Контайджи, точно затравленный пес, мечется между Петербургом и Ханбалыком и только жалобно поскуливает. Хан волжских калмыков еле сидит на краешке трона, и щипают, и кусают его со всех сторон завистники и соперники каждый божий день. Лишившись надежды взобраться на опустевший ханский трон, захлебываются от ярости и досады спесивцы из династии Жадика... И поделом им!

«Слава всевышнему! Слава, слава...»

Слова эти твердит Абулхаир про себя и во сне, и наяву.

Слова эти шепчет Бопай-ханум по сорок раз на дню.

Как бы только не вспугнуть удачу... Сейчас надо быть, как никогда, зорким и чутким. Все видеть, замечать и не пропустить ни одной людской молвы. Вот почему нынешние торжества по случаю откочевки на джайляу Абулхаир провел с такой щедростью и с таким размахом, будто отмечал годовщину давным-давно истлевшего в могиле отца. На пир пожаловали представители всех родов — тех, что зимовали в песках за Сырдарьей. О том свидетельствовало родовое тавро на лямках лошадей, стоявших на привязи. Из племени джетыру собрались все. Из племени байулы — тоже все. Из племени алим — почти все; отсутствовал кое-кто из рода шекты. Не видно было кое-кого из шумекейцев. По клейму можно было определить, что откликнулись на приглашение хана и некоторые кипчаки, керей, аргыны и найманы. Однако не из богатых и влиятельных аулов, а из тех, что победней да потщедущнее, из ближних кочевий, разбросанных там-сям.

Причудливые отметины на лямках разномастных лошадей как бы отражали разноречивый душевный настрой самого Абулхаира. Было чему и радоваться, и огорчаться. Возвращались понемногу те, кто когда-то от него отмежевался. Но не все. Особенно огорчало, что мало кто приехал из племени бекарыс, с которым до недавнего времени были неразлучны и в походах, и в мирных сборищах. Племя это могущественное, многолюдное — как деревья в лесу. Много еще предстоит приложить стараний, чтобы привлечь его на свою сторону. А без него нет ни единства, ни цельности. Без него не то веселье на

казахском пиру, не та слава на поле брани. Без него любое дело — блажь, любое сборище — пустой треп. Тот, кто мечтает объединить казахов, должен заручиться поддержкой племени бекарыс. Именно благодаря ему, вернее, его многочисленности, самонадеянные потомки династии Жадика, не будучи умными, кажутся значительными, а не будучи сильными, кажутся грозными. И к тому же, когда разноплеменные казахи вновь объединились в народ, именно они, дети племени бекарыс, заложили основу единства — подняли остов первой юрты и первыми разожгли огонь под таганом. Потому их одинаково почитают и те, кто вышел к берегам Волги, и те, кто обосновался у подножья величественных гор Алатау. Хорошо понимал это славный хан Тауке, и ему единственному удалось завоевать доверие и расположение всего многочисленного племени. И если Абулхаиру в ближайшее время не удастся прикрыться хотя бы краешком этого мешковатого, длиннополого чапана, то на предстоящей встрече с русским правителем в новой крепости у него, бесспорно, будет жалкий, невзрачный вид. Значит, нынче на прохладных выпасах Золотого свода следует этим заняться всерьез. Необходимо обладать особой честью и достоинством, немалой силой и весом, чтобы заручиться благосклонностью столь могущественного племени. И кто знает, может, милостью русской царицы Абулхаир добьется и этого.

Ясно одно: к большому торжеству по случаю окончания строительства новой крепости у устья реки Орь надлежит подготовиться заблаговременно. Такова была подоплека щедрого пира, который Абухаир закатил для родоправителей накануне откочевки на джайляу.

На пиру хан держался с достоинством, спокойно, не пропускал мимо ушей ни одного словца, подмечал каждое движение и жест биев; соглашаясь с ними, едва заметно кивал; в спорных случаях возражать не спешил. Безошибочно угадывавшая настроение мужа, ханша Бопай всячески ублажала знатных родоправителей, вовремя гасила возможную вспышку страстей. Она понимала: если хан испытывал своих гостей, то и гости особенно придирчиво испытывали хозяев. Известно, что человек, чем-то выделившийся из своей среды, вынужден в окружении родичей держаться как можно поскромнее да потише. Иначе не мудрено задеть их самолюбие и противопоста-

вить себе. Ведь не каждый обладает добрым, кротким нравом. Иной так и норовит подковырнуть исподтишка. И попробуй-ка тут не сбиться с плавной иноходи, не расплескать при этом ни капли воды. Бывает, случайная неумная выходка жены или неуместная шалость ребенка могут осрамить и унижить мудрейшего мужчину. Трудная доля быть достойной спутницей человека, вознесенного счастьем или отмеченного судьбой. И, сознавая это, Бопай-ханум на том пиру старалась вовсю и, как говорится, павой плыла перед гостями.

Сразу же выяснилось, что гости не только довольны щедрым угощением, но и ошеломлены. И действительно, было чему дивиться. Большинство яств на ханском дастархане являлось для степняков диковинкой. И произвело впечатление не только то, что было на дастархане, а больше всего то, откуда все прибыло. Глядя на невиданные доселе яства, гости поневоле удивлялись, еще раз убеждаясь в огромной популярности Абулхаира. Это надо же, а? Из каких только краев доставлены гостинцы! И ведь ясно, что не караваны в степи и пустыне ограбили лихие джигиты хана. Ясно, что все это кем-то привезено, доставлено, подарено в знак особой благосклонности и душевного расположения. Да-а... Силен Абулхаир, ничего не скажешь!..

На эти сборы, понятно, не прибыли самые знатные и влиятельные степные воротилы, как Букенбай, Есет, Тулебай, Алтай, Керелбай, Серке, Арал, Аджибай. Станут они тесниться в этой ораве! Они припожалуют потом, отдельно, когда уж разговор зайдет о самом важном и насущном. А что может решать крикливая толпа?! Пошумит, погалдит и разъедется. И то сказать: не курултай ведь, а обыкновенное сборище. Повременим, посмотрим, чем это все кончится. А дойдет до главного – без нас не обойдутся.

Так думали воротилы с толстыми загривками, отправив на пир старейшин родов.

Действительно, не нашлось никого за дастарханом, кто бы возглавил беседу и повернул ее в нужное русло. Разговор зашел легкий, беспредметный, о том, о сем. Поначалу больше всего говорили о диковинных яствах на ханском дастархане. Абулхаира это вполне устраивало. Пусть... пусть потреплют языками. Погалдят о яствах – выйдут непременно на разговор о базарах. А заговорят о

базарах – поневоле затронут все: и ближние улусы, и дальние страны, и отношения между собой и с другими. «Ну, поговорите, пошумите», – снисходительно усмехнулся хан, до поры до времени не вмешиваясь в беседу.

И ханша Бопай, поблескивая большими умными глазами, горделиво вытягивая круглую, гладкую, слегка порозовевшую от волнения шею, раз-другой метнула взгляд на мужа, словно предупреждая: «Спокойствие, мой господин. Не встревай. Пусть выговорятся».

И хан без слов понял свою верную спутницу жизни, с живым интересом вслушивался в колготню, одобрительно посмеивался. Это означало: «Не беспокойся, помолчу пока».

Чувствовалось, однако, что многие выжидали, не спешили говорить о главном, осторожно кружили вокруг да около. Но характер, заложенный природой, не скроешь, он непременно даст о себе знать. Коль бог наградил тебя буйным нравом, он проявится, сиди ты хоть в темнице. Так случилось и на этот раз. Горячий, неумный Сырлыбай, первым примчавшийся на пир, по обыкновению побагровев крупным мясистым лицом, вдруг насмешливо хмыкнул:

– Гляжу я: почти все, что на дастархане, – русская пища. Видно, удачливый, счастливый народ, коль его бабы так вкусно готовят, а?

– А чем ты хуже Итжемеса? Подыщи себе русскую бабенку из пленниц да и женись. И на калым не потрадишься.

Сырлыбай оторопел. Кто этот наглец, осмелившийся ужалить его при всех в самое уязвимое место?! Он выпучил глаза, оглянулся.

– А-а... это ты, оказывается! – рявкнул, полоснув взглядом Арыстанбая, сына Айбаса. – Чтоб жало твое ядовитое отсохло!

За дастарханом все дружно расхохотались.

– А что? Добрый совет! Вон обжора Итжемес обзавелся русской бабой и теперь, сказывают, когда кумыс пьет, даже соринки сдувает.

– Приучила, значит, чистюля баба!

– Вот как! Выходит, к совету Арыстанбая всем нам прислушаться не грех?

– Что ж... правоверному и русская бабенка не помеха. Скорее, даже благо.

– В таком случае, считай, вам повезло. Русские сами прикочевали. Вон под боком обосновались.

Сказал это Баймурат из рода жаппас. Жилы на висках его по обыкновению вздулись. Рыжеватые усы встопорщились. В глубоко упрятанных зрачках вспыхивали колючие искорки. Не понять, в шутку ли говорит или всерьез.

Хмурый важный Баимбет, восседавший на почетном месте, ехидно скривился краешком рта:

– Повезло, думаю, прежде всего тебе. Ты ведь, как, известно, особенно охоч до русских чаровниц.

Гости опять дружно прыснули, но тотчас спохватились. Видя, как Баймурат весь налился краской, все не на шутку испугались: а вдруг вспыльчивый, буйный батыр, оскорбившись, затеет бузу и разом нарушит все благочиние за ханским дастарханом... Насторожились и Абулхайр с ханшей Бопай. Едкая шутка намекала на давний грех Баймурата – еще в тот приезд русского посольства во главе с Мамбетом-мурзой. Но, к счастью, все обошлось. Батыр подавил в себе вспышку гнева, только заозирался вокруг, как бы говоря: «Да уймите же этого охальника! Что он себе позволяет в присутствии хана?!» И Бопай, мигом оценив обстановку, ласково-игривым тоном заметила:

– Ну скажите, какой же истинный джигит откажется от сладкой добычи? Вы просто завидуете удачливости моего сородича!

Все облегченно вздохнули. Мудрая Бопай-ханум во время сняла напряжение, заступившись за Баймурата. И Баимбет также поспешил сгладить опасную свою шутку.

– Верно сказано: тому несдобровать, кто от своих отрекается. Своим заступничеством Бопай доказала, что Баймурат ей ближе, чем мы все остальные. И теперь нам понятны его шалости. Он, выходит, просто испытывал великодушие своего грозного зятя.

И захохотал, как бы признавая свою оплошность.

– Да, да! Именно так! – подали голос представители аулов байулы. – Коль сестра наша ханша сердцем чутка да душою мудра, отчего бы не быть великодушным зятюхану? Знал, чуял Баймурат, что ему простят все его шалости.

От этих речей захлебывавшийся от ярости и обиды Баймурат разом помягчел, подобрел и, добродушно по-

смеиваясь, откинулся на подушку за спиной, принялся растирать онемевшую ногу.

Теперь, когда гроза благополучно миновала, гости перевели разговор в спокойное русло.

– Скажи, хан-повелитель, в новом городе этом, кроме солдат, еще кто-нибудь будет?

До этого момента Абулхаир сидел как бы в стороне, безучастно, и говорил, и смеялся сдержанно. Сейчас же выдержал паузу, подождал, пока все успокоится и смолкнут за дастарханом, потом степенно откашлялся. И заговорил он не велеречиво и красочно, по обыкновению опытных золотоустов-биев, не обрушил на гостей поток искусственных слов, а ответил сдержанно, скупое, будто мастер-резчик снял первую стружку с дерева:

– Ну что значит «кроме солдат»?

Гости затаили дыхание.

– Ведь город-то строится вовсе не для войска. Наоборот, войско нагнали, чтобы охранять город.

– Как это?! – недоуменно переглянулись гости.

– Город прежде всего строится для того, чтобы наладить торговые отношения с кочевниками, – пояснил хан, – чтобы открывать базары.

– Так... так... Интересно... – оживились все за дастарханом.

– На базары будут приезжать с товарами не только русские купцы, но и из других далеких стран. Некоторые, говорят, уже сейчас там находятся.

– Так они, купчишки эти, и в глаза нас сроду не видели. Откуда им знать, какие нам нужны товары, в чем мы нуждаемся?

– Спрашиваешь! – хмыкнул кто-то. – Какой же он, к шайтанам, купец, если этого не знает?!

Хан согласно кивнул и добавил:

– Купцы из Индии и Китая, а также доставлявшие все необходимое нам караванчики Ташкента, Бухары, Хивы – все отныне проложат путь и к новому городу на Ори.

– Вот здорово!.. Это поубавит спеси у торгашей в пестрых чапанах. Хватит, поизмывались и над нами, и над нашими верблюдами...

Хан не рассердился на это не очень уместное замечание. Лишь чуть-чуть усмехнулся.

– Выгодно, должно быть, с русскими иметь дело. Как-никак, большое и сильное государство. Не то что, наши

соседи, с которыми день живешь в дружбе, день – в ссоре.

– Ну, конечно... раз мы вступили в подданство русских, значит, они и заботятся о нас. А то как же?..

– Это, положим, так-то оно так... Но для чего тогда понадобилось войско?

– Надо полагать, не для того, чтобы охранять базары...

При этих словах хан нахмурился.

– Войско это, поймите, направлено не против нас, – сказал он холодно. – Оно должно противостоять нашим противникам.

– Выходит, волжские и джунгарские калмыки отныне к нам уже не сунутся?

– Говорят, не посмеют.

Гости опять переглянулись, не зная, поверить этому или нет.

– А ведь в самом деле, с тех пор, как приезжал к нам Мамбет-мурза, ни торгоуты, ни джунгары не тронули у нас даже паршивого козленка.

– Что правда, то правда. Скорее, не они нас, а мы их тормозили.

– Да. Мы их тормозили, а они даже мстить не решились. Должно быть, не нас испугались, а наших новых грозных соседей.

– Получается так...

Все на некоторое время задумались.

– А с чего бы к нам такая милость со стороны русских? Чем уж так мы им приглянулись?

Абулхаир пристально обвел всех взглядом. Вопрос открытый, честный, без подковырки. Лица у гостей настожились. Ни на чьем лице хан насмешки не заметил.

– Ни пастбищам, ни водопоям вашим русские не угрожают. Скот будут покупать на деньги. Вы же продаете шерсть и шкуры, скажем, Хиве и Бухаре? Ну, так отныне будете продавать и русским. Разве вам не все равно?

– Это, конечно, так.

– Вот, собственно, и все, что нужно от вас русским. Больше ничего, что могло бы их привлечь, у вас и нет.

Опять воцарилась тишина. Только и слышно было напряженное сопение гостей.

– Может быть, и так... – неопределенно заметил, наконец, кто-то, явно не желая, чтобы разговор на этом оборвался.

– Если же на вашей земле обнаружится, допустим, свинец или железо, то русские его вывезут, понаделают ружья, разную там утварь, отольют пули и вам же и вернут.

– Э, это разумно. Это хорошо, когда для тебя делают то, что ты сам не можешь.

– И это все? Больше от нас ничего не потребуют?

– Почему же? Есть у них и другие требования.

И опять гости, все как один, затаили дыхание.

– Отныне мы должны не нападать на русских, а они – на нас.

– Согласны.

– Отныне мы не должны угрожать их подданным, а они – нам.

– Согласны.

– Отныне мы не должны грабить караваны, которые проходят через наши земли. Наоборот, мы обязаны быть проводниками и обеспечивать их безопасность. За это будем получать положенную плату.

Это было не совсем понятно. С чужаками сводят сче-ты или берут с них дань. Так бывало всегда. И это ясно. Но чтобы к чужаку пошли на службу и получали за это плату – такое уму непостижимо. Однако кто-то из гостей, не особенно вдаваясь в суть дела, неуверенно про-изнес:

– Ладно... Пусть будет так.

– Всех русских пленников, сирот и вдов мы должны отпустить домой.

Кое-кто из собравшихся озабоченно почесал себе затылок. Видно, накладно было расстаться с даровыми скотниками и служанками.

– Русские также обязуются отпустить наших пленников.

– О, это радостная весть!

– Это, конечно же, мы приветствуем.

За дастарханом все оживились, загадели:

– И это все?

– Нет, еще не все!

Хан поправил соскальзывающий с плеча чапан.

– В знак верности этому уговору русские требуют отдавать в аманаты по одному сыну от каждого родоправителя. Гости замерли. Даже сопение и кряхтение прекратилось.

– И при этом, – продолжал хан, – отдавать сыновей должны самые знатные, такие, как мы, люди.

От этой вести у гостей глаза полезли на лоб. Застыла в изумлении и ханша Бопай. Об этом она слышала впервые.

– Это как же? – спросил обескураженно кто-то. – Как это можно кровное дитя отдавать в чужие руки?!

– Что ж... обычай старый. Не только народы и страны, но и роды, договариваясь о чем-то важном, обменивались, случалось, аманатами.

Но и этот довод никого не убедил.

– Выходит, мы отдаем детей своих на веки вечные?!

– Почему же? Пройдет срок аманатства, и дети вернутся к родителям. А взамен отправят других.

– А на сколько продлится этот уговор?

– Пока не установится полное доверие друг к другу.

– Э-е-е... Вон оно что...

Опять наступило молчание. Почтенные родоправители растерянно потупили взгляд, как бы говоря: «Вот, значит, как все повернулось...»

– А не станут ли наши сыновья русскими?

– Нет, конечно! Жить и воспитываться они будут мусульмански, в наших обычаях. Вот, к примеру, наш Ералыжан. Он так и не прервал мусульманское учение. И в новом городе он продолжает прилежно учиться у ахуна Мансура Абдрахмана-оглы из Бухары.

– Ну, так он же – ханзада. У него положение особое. Он ведь не аманат, а посланник.

– Нет! – резко ответил Абулхаир. – В Петербурге Ералы был посланником, а в новом городе на Ори он – аманат. Все оторопело вскинули головы. Бопай-ханум даже вздрогнула от этих слов. Это что же? Ее сын, султан, наследник хана, и вдруг заложник у русских, аманат?!

– Аманат – не пленник, – жестким голосом продолжал хан. – Это то же, что и посланник. Почетный гость русского государства. За его здоровьем, благополучием, воспитанием следит сам царь. За жизнь аманата отвечают головой. Этому правилу русские следуют строго.

Резкий, прямой ответ хана, суровый тон его заставили собравшихся призадуматься. Кто-то робко поинтересовался:

– Так когда же вернется Ералыжан?!

Бопай вновь встrepенулась, вся превратилась в слух.

Гости поразились про себя, поняв, что в эту тайну не посвящена была даже ханша.

— Когда прибудет в город ему замена...

— Когда же это произойдет?

— Видно, на предстоящем торжестве.

Далее гости уже не решались задавать вопросов, боясь, что беседа за ханским дастарханом этак может превратиться в допрос. И все же нетерпеливый Сырлыбай, стремясь продолжать весьма заинтересовавший всех разговор, глубокомысленно протянул:

— Э-е-е, вон оно, значит, как...

Однако благоразумный Арыстанбай тотчас пресек его попытку, заметив:

— Как недостойны тебя мы, мой хан-повелитель, так и наши сыновья не важнее и не дороже, полагаю, твоих. Так что видно будет. Коли надо — отдадим своих детей в аманаты и мы.

Против этого никто возражать не стал. Гости сотворили благодарственную молитву и встали из-за дастархана, потянувшись к выходу. Многие направились к заседанным коням на привязи. Хан, прощаясь с гостями, обратился к Арыстанбаю:

— Может, заедешь еще чуть позже?

— Ладно, хан-повелитель.

Бопай молча глядела вслед разъезжавшимся во все стороны гостям. Вид у нее был потерянный, усталый. Глаза потухли. Хан понимал ее состояние, но подошел к ней лишь после того, как последний гость исчез за шеревалом.

— Что с тобой?.. Так и будем здесь торчать как шни?..

Молча и укоризненно выставилась ханша на супруга. От этого взгляда Абулхаиру стало не по себе.

После этого случая Бопай ходила сама не своя, как в воду опущенная. И все хлопоты при кочевке взяли на себя туленгуты и слуги. А главным распорядителем пришлось стать султану Ниязу.

Равнодушие, безразличие ко всему охватили Бопай. Близким казалось, что она заболела «желтой хворью» — тоской. Однако не слегла. Как прежде, вставала по утрам, весь день слонялась по юртам, шоперянная, опрешенная, а вечером, отчего-то уставшая, шлохалась в постель. Она и сама не знала, что с ней происходит. В самом деле, что это — тоска ли, горе ли, или досада.

обида, раздражение, гнев?.. Одно ясно: как-то враз ушла, истаяла радость. Еще недавно она чувствовала себя легкой и бодрой, будто на крыльях носилась, а теперь невыносимая тяжесть одолела и сковала ее.

Абулхайр видел, что с женой творится что-то неладное. Однако ни разу не спросил: «Что за червь тебя точит?» Не принято это было между супругами. Ничего не говорила и Бопай. А если бы муж и поинтересовался ее состоянием, она все равно промолчала бы.

И вот за день до откочевки, когда уже сложены были тюки и пригнаны с выпаса рабочие верблюды, нагрянули неожиданно трое. Хан принял их в юрте Бопай, а не в гостевой, и это означало, что беседа состоится в присутствии и с участием ханши.

Ханша, соблюдая внешние приличия, проявила радушие, была приветлива, однако, скованная внутренне, вся ушедшая в себя, поначалу не обратила внимания ни на обличье гостей, ни на их манеры. Встреча проходила с соблюдением привычных правил гостеприимства. И гости за дастарханом ни единым словом не заикались о деле, ограничиваясь короткими замечаниями о пути-дороге, о нынешнем травостое, о выпасах и водопоях.

Напившись чаю, отведали бесбармак, потом, подавляя отрыжку, цедили кумыс, продолжая говорить о том, о сем, о незначительном и второстепенном, и хан, заметив нерешительность гостей, однако, тоже все выжидал, не торопился повернуть разговор в деловое русло. Паузы становились все тягостнее. И хан спросил напрямик:

— Ну, дорогие гости, какие заботы вас пригнали?

Тут только Бопай как бы очнулась. Сразу смекнула, что гости, видно, не желают говорить при ней, и потому метнула вопросительный взгляд на мужа, но тот незаметным движением головы дал понять, что ее присутствие в данном случае желательно.

Бопай внимательно посмотрела на гостей. Все трое были ей незнакомы. Двое из них — один пожилой, а другой совсем еще юноша с едва заметным пушком на верхней губе — были казахи. Судя по одежде и речи, из аргынов. Третий же, тот, что сидел посередке, часто взывал к аллаху и степенно оглаживал густую смоляную бороду, с огненным взором, с прямым, крупным носом, всем своим видом как бы свидетельствовал, что он не казах, хотя и, несомненно, относится к правоверным. Чувствовалось,

что занесло его в казахские края явно издалека, из незнакомых, диковинных мест. Уж очень колоритная, примечательная была внешность гостя: круто изогнутые брови, открытый, высокий, без залысин лоб, узкое, смугло-матового цвета лицо, чуть вытянутый подбородок, тонкие губы, прикрытые аккуратными, блестящими, как шерсть выдры, усиками, трепетные, как у пугливого коня, ноздри. Большею частью говорили за дастарханом пожилой и юноша, а чернородый помалкивал, ограничивался словами «аллах» и «аллах акбар». И потому Абулхаир держался настороженно, старался ничем не выдать себя, приглядывался, точно опытный наездник к незнакомому, норовистому коню.

Речь завел пожилой носатый бородатый казах в нанковом чапане, в белой чалме, не пышной и высокой, как у бухарцев, а просто, по-степенному накрученной раз-другой на голову.

Пока ханша искося разглядывала гостей, она упустила нить разговора и потому некоторое время никак не могла вникнуть в суть, будто ехала верхом по пустыне и конь под ней шел спотыкливо, глубоко увязая в песке. И лишь потом кое-что для нее прояснилось. Она вскоре убедилась в верности своего предположения: гость с колоритной внешностью действительно не был казахом и прибыл издалека. Судя по словам «Стамбул», «славные турки», «паша», «газават», он являлся благочестивым странником, прибывшим сюда из далекой Турции. А по тому, как потом замелькали слова «Крым», «Капские горы», «ногайцы», «черкесы», «Кабарда», «долина Сулака», можно было предположить, что гость объездил едва ли не полсвета. Потом посыпались слова «туркмены», «Хива», «Бухара», «Газни», из чего можно было догадаться, что гость обшарил и ближние края. А когда неоднократно, с какой-то упорной настойчивостью, прозвучали слова «мусульмане», «иноверцы», «священная война за веру», стало очевидно, что гость преследовал определенную цель. Так оно и есть: надеется, что от казахов оседлают боевых коней тысяч двадцать.

— И когда поднимутся мусульмане Поволжья и Приуралья, верные слуги пророка, обитающие в Крыму и Капских горах, объединятся с турками и кызылбашами на юге, России поневоле придется убраться отсюда восвояси. О том турецкий падишах договорился и с Китаем, и с

Индией, и даже с далекими англичанами и алеманами. Главное теперь – заручиться единой волей и поддержкой мусульман кайсацких просторов. Если все мы объединимся под зеленым знаменем пророка и объявим иноверцам войну за веру, за язык, за землю, к нам придут на помощь правоверные многих стран. Полагаю, что они приложили руку и к башкирскому мятежу. Отсюда гость намерен податься к башкирам.

Пожилой казах в чалме перевел дыхание, пытливо уставился на хана. Абулхаир сидел с непроницаемым видом. Неясно было, одобряет он тайные цели гостей или осуждает.

– Дошел до меня слух, будто Калмак Абыз прислал своего человека в Средний жуз и просил помощь. Так ли это?

– Слух, полагаю, не без основания. Завтра, когда мы Перекочем на джайляу, башкиры наверняка не дадут нам покоя, будут постоянно совершать набеги.

– А от их мятежа толк-то хоть какой-нибудь есть?

– Видно, есть. Как-никак продвижение русских они задержали. Русские войска очень надеялись на башкирских лошадей, на жилище, на продовольствие, теплую одежду, на снаряжение и оборудование, а на самом деле, ничего этого не получая, сотнями гибнут от голода, холода, меча и секиры. Это точно!

– Неужели русские не в силах с ними справиться?!

– Во всяком случае пощады не дают. Дотла выжигают деревни, огню предают и детей, и женщин. В числе тех, кто особенно свирепствует, по словам очевидцев, находится и знакомый нам Мамбет-мурза.

В юрте воцарилась долгая и тяжкая тишина. Потом пожилой казах в чалме заметил:

– Наверное, не так-то просто справиться русским с мятежниками. Иначе зачем бы русскому правителю, прибывшему строить новый городок на реке Орь, мотаться целый год по башкирским дорогам со всем своим немалым войском?!

– А какие, кстати, поступают новости из крепости на Ори?

– Должно быть, и там далеко не все блестяще. Сказывают, от крепости до самой Уфы все дороги усеяны трупами. Зима выдалась суровая. Продовольствие кончилось. Те, что отправились на сборы, замерзли в пути. Остав-

шиеся пробавлялись дохлятиной, тухлятиной, ловили рыбу, выкапывали из нор сусликов. Башкиры могли бы без труда сровнять крепость с землей, да, видно, решили, что за зиму там и так все перемерут.

Бопай от этих слов вся сжалась. Абулхаир нахмурился. А в больших глазах бородатого гостя-чужеземца в это мгновение, показалось, еще ярче вспыхнули огоньки.

— Так вот, судя по всему, и у русских храбрецов душа ушла в пятки. Оказывается, они в ссоре со всеми своими северными, западными и южными соседями. Наиболее покладистым и терпеливым оказался как раз наш край. Но и тут теперь взбунтовались башкиры. Так что...

Абулхаир негромко кашлянул, словно прочищая горло, и говорливый гость в чалме тотчас осекся, решив, что беседа эта хану явно не по душе.

— Ну, и что сказали, что передали Жанибек и Букенбай?

Вопрос хана действительно прозвучал неожиданно и жестко.

— Что они могут сказать? Сказали: отвези гостя к хану. Пусть своими ушами его выслушает. И пусть, пока переберется на летовку, все обдумает. И мы, дескать, подумаем.

Абулхаир весь подался вперед.

— Что ж... разумно. Однако что же это получается? Выходит, русским нынче не до нас?

Гость в ответ лишь повел плечами. Откуда, дескать, мне о том знать...

— Ладно... — сказал в задумчивости хан. — Обо всем этом мы поговорим при встрече, с глазу на глаз. А пока только скажу, что завтра же направлю нарочных в город на Ори. Пусть, во-первых, проведают моего сына, узнают, как ему живется. Во-вторых, выясняют настроение и намерения русских правителей. А в-третьих, попрошу, чтобы снарядили к нам посольство. Пусть оно приедет и объяснит нам все положение как есть. И если окажется, что русским не до этого, то... — хан сделал паузу, подумал немного и резко заключил: — То, выходит, все сказанное вами — сущая правда.

— Может, хотите что-либо передать батырам?

— Живы будем, надеюсь, скоро свидимся. Было бы разумно, если бы они вместе с моими нарочными направили в Орь и своих людей.

Прислушиваясь к беседе мужчин, Бопай вдруг почувствовала, что с нее спала непомерная тяжесть, что она как-то сразу взбодрилась, будто очнулась от долгого сна. Разговор за дастарханом тотчас обрел для нее очевидный смысл, и она с особым вниманием, с живой заинтересованностью прислушивалась к каждому слову мужа.

Нежданные гости спешно выехали на рассвете следующего дня, довольствуясь чаем и кумысом. Абулхаир проводил их до коновязи. Все это время он вел себя с ними сдержанно и ровно, не выказывал никаких особых знаков внимания, но и не отпугивал излишней суровостью. Гости недоуменно переглядывались, так и не поняв, как хан воспринял их весть.

Бофай всегда удивлялась спокойствию и самообладанию супруга. Недавняя обида и глухое раздражение уступили теперь место жалости и сочувствию к мужу, которому — она это чувствовала — всегда приходится держаться на краю обрыва.

В тот день Абулхаир распорядился дать кочевью передышку. Верблюды были развьючены и отправлены на выпас неподалеку. Хан пригласил к себе расторопного шурина Мырзатая.

— Отправься спешно к Букенбаю. Пусть пошлет своих порученцев к Таймасу или Алдару и узнает, как обстоят ныне дела среди башкир.

Потом хан вызвал Байбека.

— Готовься в путь. Не жди, пока устроится кочевье. Выбери себе человек пять надежных спутников. Не забудь Итжемеса. Съездишь к устью реки Орь. Остальное объясню перед самым отъездом.

Бопай отлично понимала тайный расчет дальновидного супруга. Хан, отправляя своих порученцев в путь, не хотел, чтобы об этом говорили в аулах, поэтому он приурочил их отъезд ко времени кочевки. Это исключало возможные кривотолки. Видела Бопай также, что муж встревожен вчерашним разговором с неожиданными гостями. Был он в последнее время ласков и добродушен, весь какой-то непривычно размягченный, а тут опять как бы напряжился, на переносице вновь обозначились две глубокие складки.

Хан, однако, скрывал свое смятение и тревогу от посторонних глаз и, отдав порученцам необходимые распоряжения, выехал после обеда к отарам, которые

надлежало отправить впереди кочевья. Раньше он этого никогда не делал. И Бопай догадалась: то была уловка. Хану хотелось и самому казаться спокойным, и не давать повода для тревог в аулах. Нельзя было допускать, чтобы поползли какие-либо слухи о неожиданном приезде таинственных гостей. Хотя бы до той поры, пока не выяснится подлинное положение дел. Овец, малость окрепших после стрижки и весеннего расплода, погнали на джайляу тремя днями раньше. Отары обычно бредут неторопливо, с частыми остановками. Вслед за отарами, когда уже развеется и уляжется поднятая ими пыль, тронется в путь само кочевье. А вот многотысячные табуны, под копытами которых гудит земля, сплошным потоком хлынут потом, дней пять спустя, чтобы в облаках пыли, всклубившейся из-под копыт, не задохнулись в пути ни отары, ни кочевье. Табуны сопровождают обычно наиболее сильные и выносливые джигиты, способные при случае отразить вражеский набег. Хан решил проследить за продвижением огромного кочевья. Оно должно было организовано, без происшествий выйти в путь и с подобающим ему торжеством расположиться на тучных выпасах джайляу.

Осмотрев кочевье, табуны и отары, хан в сопровождении многочисленной свиты выехал вперед, предоставив тем самым своей ханше возможность и время тщательно разобраться во всех своих душевных волнениях, сомнениях и смуте.

Хотя в многодневном пути Бопай и пересаживалась то на покладистого, с размеренным ходом верблюда, чтобы отдохнуть, то на легконогого скакуна, чтобы взбодриться, однако от назойливых и надоедливых, как осенний туман, тягостных дум так и не смогла избавиться. Из головы не выходили слова чернобородого говорливого казаха в белой чалме. Взбаламутил он своими рассказами душу. Чутким женским сердцем своим она понимала, что муж ее, хотя и принял подданство русских и укреплял с ними союз, все равно постоянно терзался бесконечными сомнениями и на твердой земле ощущал себя так, будто стоит в зыбкой утлой лодчонке в бескрайнем бушующем море, а теперь вдобавок ко всему очутился еще перед одним трудным и опасным испытанием. Неспроста, надо полагать, зашастал по степи тот турок со смоляной бородой и огненным взором. Что-то недоброе замышляет.

Мало было Абулхаиру казахских дрязг и интриг, теперь начнут его терзать еще и заботы всего мусульманского мира под зеленым знаменем пророка. Червь сомнения и соблазна, уснувший было в душе, вновь проснется, вновь поднимет голову. О, это даже не червь, а змей-искуситель, с которым не так-то просто будет сладить. Вся надежда была на силу и славу русских, но, видно, и их былая мощь пошатнулась. Судя по тому, как взбунтовались вчера еще покорные, смиренные башкирские тарханы, а волжские калмыки погрязли в смутах и раздорах, удача-счастье отвернулось от белой царицы. Сказывают, слава о могуществе Российского государства гремела на весь белый свет в пору правления их грозного царя. А потом на трон взобралась баба с длинными волосами и коротким умом и, должно быть, вскоре все растеряла. И неудивительно: кочевье, возглавляемое бабой, обречено на неудачу. Так говаривали еще предки...

Странно, однако! Неужели цареву войско так обессилело, что не в состоянии даже укротить башкирских мятежников? Или за всем этим что-то кроется? Или еще какие-то силы мутят воду? Неужто новый городок у устья реки Орь очутился в столь трудном положении? Неужто дошло до того, что кормятся степными сурками? Как же в таких условиях живет бедному Ералыжану?..

Эти думы не оставляли Бопай. Неотступная боль разрывала ее грудь. После прошлогодних восторженных рассказов Нуралы она и не предполагала, что на голову ее сына-аманата обрушатся тяжкие испытания, хотя и постоянно тосковала по нему. По словам Нуралы выходило, будто в русском стане на Ори — сплошное веселье и благоденствие. Разве мыслимо было предположить, что там начнется мор? Доводилось слышать и про башкирский мятеж. Но думалось, что это просто шалость, баловство, нечто похожее на каприз упрямяца-сорванца перед добрым старшим братом. Трудно было поверить в то, что это бунт, что все это так серьезно. И не поверила бы, если бы это не касалось ее бедного Ералыжана. Подумала бы, что это обыкновенный слух, треп, до каких охочи склонные ко всякого рода преувеличениям степняки. Уж они-то мастера раздувать любую сплетню. Но Ералыжан... ее сыночек, кровиночка ее!.. Еще недавно сердце ее разрывалось от обиды, от того, что, как она случайно узнала, он заложник, аманат у русских правителей, а те-

перь выяснилось, что несчастный ее сын вынужден на чужбине терпеть еще и нужду и голод. Ханша расчувствовалась, крупные слезы полились из ее глаз. Так, бывает, истекает влагой незаметный степной родник.

И вспомнился ей один давний случай. Муж вернулся после сборища у подножья Найзакескен. Он сидел в седле прямо и спокойно. С тем же видом доехал до юрты. Так же спокойно и сдержанно спешился. Спокойно и уверенно переступил через порог. Дойдя до почетного места в юрте, не оборачиваясь, дал знак, чтобы его немедленно оставили, и когда вся свита, за исключением ханши, бросилась вон и за юртой стихли шаги, хан, точно подкошенный, рухнул на горку пуховых подушек, закатил глаза, страшно оскала зубы. Бопай, цепеная от ужаса, кинулась к мужу. Рука его, вялая, безжизненная, плетью упала ей на колени. Жилы на висках посинели, вздулись. Лицо в одно мгновение осунулось, помертвело. Скулы обострились. Губы почернели, точно обуглились. Дыхание стало тяжелым, прерывистым. Подобный припадок случился с ним и незадолго до этого, когда в юрту неожиданно вошел Туяк, накануне определенный в аманаты. И вот теперь опять... Когда было принято решение, что хан обязан отдавать в аманаты кровного сына-подростка, самообладания его хватило только на то, чтобы добраться до своего дома. И тут опустошающий шок и душу припадок настиг его. О том, каким душевным мукам был подвержен ее внешне непроницаемый, несокрушимый сушрут, знала лишь одна Бопай.

В таких случаях она не прибегала к услугам знахарей. Не пользовалась никакими заговорами. Только или на миг не отлучалась от мужа, сидела рядом и беспрестанно гладила ему немеющие руки, холодные ладони, растирала виски. При этом она никого и близко не подпускала к юрте, приказывала соблюдать в ауде тишину, даже детей отправляла резвиться подальше, за холм. Лишь на второй, на третий день Абулхайр приходил в себя. И держался так, будто ничего не случилось. Вновь принимал людей. Потом приказывал подать коня и отправлялся в путь по своим бесконечным делам и заботам.

Бопай всегда безошибочно знала, что происходит с мужем, что тяготит его, отчего случаются с ним жоль и редкие, но всегда бурные, изнурительные припадки. По последнему его припадку она догадалась, до какой степи-

ни тернист и опасен тот путь, на который ступил ее Ера-лыжан. И стало ей жалко и сына, и мужа. И по обоим пролила немало слез. Отправив сына в Петербург, хан полгода ходил сам не свой. Потом, когда стало известно, что Мамбет-мурза отправил порученцев хана Семеке с полпути назад, осрамив таким образом давнего соперника, Абулхаир сразу встрепенулся и взбодрился. Вслед за этим собрал войско и двинулся на волжских калмыков. С той поры Бопай не замечала в муже никаких признаков подавленности или растерянности. Проводив неожиданных гостей, приехавших от правителей Среднего жуза, хан, направляясь от коновязи в юрту, раза два неловко оступился, казалось, деревенели, заплетались его ноги, и Бопай так и обмерла, опасаясь, что муж вот-вот рухнет и забьется в припадке, но, к счастью, все в этот раз благополучно обошлось. Сердце Бопай, однако, сжалось в предчувствии беды. Значит, за скупыми словами тех ночных пришельцев скрывалась серьезная опасность. Опять, видно, сгущаются тучи над головой Абулхаира. Снова его честь и совесть оказались на зыбких весах роковых испытаний... О, всевышний, всемогущий, не оставляй его, укрепи его дух на его тяжком пути...

Бопай не раз ловила себя на том, что, думая о нелегких испытаниях, выпавших на долю ее мужа, она забывает и про себя, и про своих детей.

Так получилось, что Абулхаир с первого часа их встречи властно вмешался, вернее, как бы ворвался в ее судьбу и всецело подчинил ее себе. Вспоминая те давние события, Бопай и теперь еще вся вспыхивала, покрываясь жгучим румянцем. Давно это было... еще там, далеко за барханами Кызылкумов, в одном из бесчисленных ущелий безлюдной горы, где паслись стада непуганных антилоп...

В детстве Бопай была подвержена странной болезни, которая внушала страх ее родным и близким. Впервые хворь проявилась в возрасте шести-семи лет совершенно неожиданно. Как-то, смастерив куклу из верблюжьей берцовой кости, она как ни в чем не бывало играла в свою девчоночью игру и вдруг почувствовала, как правая ее ножка задергалась в судороге, и, не зная, куда себя деть от все усиливающейся боли и неясной тревоги, она выскочила из юрты, взобралась на отцовского скакуна, стоявшего на привязи, и, точно очумелая, понеслась в степь.

«О, аллах! Что с ней? Не шайтан ли в нее вселился?!» — встревожились домочадцы и кинулись было вдогонку, но тщетно. Долго мчалась она, отпустив поводья, пока скакун сам не остановился. И тут выяснилось, что скакун примчал ее в пески, где у подножья бархана, ползком взбираясь по его зыбучему склону, бился, рыдая в отчаянии, ее старший брат Бугуль. В затуманенном сознании раненого Бугуля вспыхнул ужас. Ему померещилось, будто сестренка выскочила вдруг из-под земли, и, конечно, это была не она, а какая-то нечистая сила в ее обличье. Бугуль в испуге плотно закрыл глаза, замахал обеими руками, и близко не подпуская к себе сестренку.

Девочка не спешила. С жалостью и состраданием посмотрела на брата, весь день ползшего по песку и в кровь ободравшего себе руки и колени, и негромко сказала:

— Коке, подсаживайся! Только не вставай, ухватись за стремя и седло и подтянись на руках.

«Это или добрый дух, или шайтан-оборотень, — промелькнуло в голове измученного Бугуля. — Все равно околеть мне в этой пустыне. Так и быть, послушаюсь...» Не открывая глаза, он пошарил руками, нащупал, ухватился за что-то, ойкнув, резко подтянулся и почувствовал тут же, как страшная боль пронзила все тело, что-то хрустнуло в позвоночнике, и мрак накрыл, захлестнул его.

Очнувшись через некоторое время, увидел сидевшую у изголовья на корточках сестренку, а рядом, волоча поводья, неторопливо топтался караковый конь отца Суюндин, на котором он обычно разъезжал по ближним аулам. Удивленный Бугуль легко вскочил на ноги. Странно: нигде ничего не болело, только горели ободранные в кровь колени. И тут ему все вспомнилось: прошлой ночью он верхом возвращался домой; вдруг услышал за спиной топот; незнакомые подскочили к нему; надвинули ему на лоб шапку; кто-то на полном скаку тюкнул его дубинкой меж лопаток, сшиб с коня; и он только помнил, как при падении щелкнуло, хрястнуло в пояснице. Пришел в себя лишь днем, когда стало припекать солнце. Нестерпимая боль в спине точно сковала его. Ноги не слушались. Смертный страх пронзил его. Неужели ему суждено погибнуть в безлюдной пустыне?.. Надо хоть ползком взобраться на вершину бархана. Может, заметит его здесь случайный путник... Сколько он полз, он не знал. Вокруг

все было испещрено копытами коней – следами ночных разбойников.

Подсадив брата на коня, девочка благополучно доставила его домой.

С тех пор о Бопай стали говорить как о провидице, избраннице аруахов – священных духов. В самом деле, девочка была отмечена особым даром. Временами на нее как бы находила блажь. Непонятная тревога охватывала ее. И тогда ни с того ни с сего будто стягивалась кожа на спине, или немела рука, или ныла нестерпимо голень. И каждый раз выходило, что в этот день кто-то покалечился. И девочка не находила себе покоя, пока не подходила к страждущему, не снимала ему боль, не облегчала страдания. Особенное беспокойство вселялось в нее тогда, когда случалась какая-либо беда с кем-нибудь из близких или родных. И покуда не приезжали за ней, она не находила себе места, мучилась головной болью, не могла ни есть, ни пить.

Таких людей, отмеченных мистическим даром, кочевники издревле и почитали, и побаивались. Бопай выросла, стала девушкой на выданье, но джигиты сторонились ее, сваты обходили ее юрту. Единственная у родителей дочь, любимица трех братьев, она так и не услышала желанных слов от многочисленных посетителей ее аула. «Увечье», «поломы», «ушиб», «вывих» – вот что приходилось ей чаще всего слышать. Скольких добрых джигитов она вылечила, скольких вновь подняла на ноги, но ни один не обмолвился словами признания, никто не решался заслать к ней сватов. И девушка уже смирилась со своей судьбой. Считала, что личного счастья ей изведать не суждено. И действительно, получилось так, что никто ее не сватал. И в дом знатных тюре, можно сказать, она вошла случайно и пришла сама, без обычных традиционных церемоний...

Давняя это история... Ныне обросла разными криво толками. Кто-то, рассказывая о том случае, стремится возвысить ее, Бопай, в глазах людей, возвеличить ее достоинства. Кто-то, наоборот, пытается уязвить ее, задеть ее женскую честь и самолюбие. Сама же Бопай, вспоминая то время, чувствовала себя то окрыленной, то униженной. Как бы там ни было, судьба ее не была похожей на судьбу большинства ее соплеменниц и сверстниц...

Да-а... В том году в роду адай особенно влиятельными

и значительными считались лишь восемь аулов. Потомки Косая почему-то не откочевывали на джайляу ни к низовью реки, ни к верховью гор, а остались на зимовье в песках Кызылкума, неподалеку от Бухарского перевала в безлюдной пустыне, среди увалов Бокентау, похожих на сбившихся в косяк испуганных коней. Почему это так произошло – Бопай не знала и поныне. Видно, и в том году случилась какая-то беда, обрушилась на их род одна из многочисленных напастей, и аул их был лишен возможности откочевать. Помнится только, что в ту памятную пору дома не оказалось ни отца, ни старшего брата Бугуля. И еще помнится, как на нее опять накатило, как она весь день не находила себе места в юрте. Она без конца заставляла братишку Курманкула подниматься на ближний холм и посмотреть, не возвращается ли с охоты Бугуль. И действительно, вскоре донесся крик Курманкула:

– Бопай-апа, брат наш едет!..

В голосе мальчика ей почудилась тревога. Бопай тотчас выскочила из юрты. Отроги Бокентау, окутанные предвечерней хмарью, казались ниже обычного и сливались с горизонтом. А скот и люди на более ближнем расстоянии, наоборот, выделялись в лучах заката особенно крупно и отбрасывали от себя длинную тень. Со склона увала в сторону аула отчетливо пролегли две уродливо вытянувшиеся тени. Одна из них – знакомая фигура долговязого Мырзатай, брата Бопай; другая же – конь, которого он почему-то вел под уздцы. Потом Бопай разглядела, что через седло перекинута что-то громоздкое, тяжелое. Может, туша горного барана или антилопы? Но нет, не похоже... Вроде бы человек. Да, точно... Человек. А на поводу бредет, видно, его конь. Кто же это может быть? Что же могло случиться? Уж не человека ли подстрелил Мырзатай? Не потому ли охватило ее тяжкое предчувствие? Не потому ли сегодня с утра сердце ее не на месте?..

И тут Бопай вдруг почувствовала облегчение, словно неимоверный груз спал с ее плеч. С чего бы это? С каким ее близким человеком случилось несчастье, что у нее уже столько дней ноют все кости?

Пока она стояла в растерянности и недоумении, подошел Мырзатай. Курманкул кинулся навстречу, принял из рук брата повод. Потом они вдвоем, покрывкая от уси-

лия, сняли кого-то с лошади, неловко затащили в юрту. Вслед за братьями вошла Бопай и увидела в правой части юрты на постели для дорогих гостей лежавшего на спине рослого, крупнотелого джигита. Был он бледен, словно выстиранная в щелочи тряпка. На висках вздулись синеватые жилы. На затылок, на шею налипли комки глины, будто его выкопали из земли. Аккуратно подстриженные, блестящие, как шерсть выдры, усики тоже припорошились пылью.

— Кто это?

— Аллах знает... Выехал к Архаровой балке, смотрю, возле речки на лугу, заросшем мятой, саврасый пасется. Под седлом. В узде. Подал было голос — никто не отзывается. Что за дьявольщина, думаю. Конь застриг ушами, шархнул в сторону. Но не ускакал. Стоит, ногами перебирает. Подкрался к ущелью неподалеку от саврасого, гляжу: в тени под шершавым камнем распластался кто-то. Думаю, может, с лошади упал? Но нет, целехонек, ни ушиба, ни царапины. Лежит себе на спине и будто спит. И место хорошее выбрал: подальше от овражной сырости. Опять подаю голос — не шелохнется. Кричу громче: «Эй, кто ты? Очнись!» Ни звука. Может, подумал тогда, змея его ужалила или тарантул какой? Подошел ближе, посмотрел и так, и сяк. Не видать никаких следов. Да и упал не случайно. Нарвал мяты, соорудил лежбище. Знал, значит, что разные жучки-паучки сторонятся запаха луговой мяты. Ну что делать? Склонился к его лицу. Густые ресницы чуть-чуть вздрагивают. Слышу: тихо так, протяжно постанывает. Как я его оставляю в таком состоянии одного на безлюдье? Подвел коня и кое-как забросил обмякшее тело на передок седла. А тут, слышу, и саврасый голос подает. Подошел близко и заржал. Мне удалось поймать конец повода. Вот и привел. И это все, что я знаю... — закончил свой отрывистый рассказ верзила Мырзатай.

Незнакомец лежал в забытьи, являя собой неразрешимую загадку. Немногие мужчины, оставшиеся в ауле, а также женщины и дети попеременно толпились у его изголовья, разглядывали его со всех сторон и недоуменно качали головами. Никто в округе его не признал.

Губы незнакомца от сухости потрескались. Кто-то приложился ухом к груди: сердце слабо билось. Собравшиеся в юрте повернулись к Бопай, дескать, что мы можем,

подойди же, посмотри. А Бопай сидела в сторонке, безучастная к тому, что вокруг происходило. Тяжесть, сковавшая несколько дней ее тело, разом исчезла. И тревоги ее тотчас покинули. «Странно,— думала девушка про себя. — Кто он мне, что я столько дней томилась душой и выходила из себя? Я ведь даже никогда его раньше не видела... А боль его, должно быть, глубокая, внутренняя. И хворь серьезная. Левое плечо вроде как выше правого. И голову склонил именно на эту сторону, как бы ища поддержки...»

Бопай подошла к его постели, опустилась на корточки, приказала снять с него кольчугу, обнажить грудь. Девушка внимательно осмотрела незнакомца. Грудь у него была могучая, бугристая. Тугие мышцы перекатывались под гладкой кожей. Видно, не расставался с луком: на левой ключице обозначилась мозоль шириной в два пальца. Значит, левша. По всему видно, обладает недюжинной силой. Плечи развернуты, широкие. В правом боку, под мышкой, Бопай вдруг обнаружила небольшую, с пуговицу, ранку. Она только-только начала затягиваться: еще виден был бледный след недавней повязки. Девушка ошупала правое плечо незнакомца. Оно тоже было выпуклое, могучее, однако мышцы показались более вялыми, дряблыми. Она провела пальцами по бицепсам: так и есть, опасения ее оправдались. Вытянув обе руки незнакомца, девушка пригляделась к пальцам. На левой руке пальцы оказались крупней и жилистей. Выходит, у него начинает усыхать правая рука?..

Теперь Бопай вгляделась в лицо мужчины. У него был крупный прямой нос. Тонкие, чуткие ноздри. Брови густые, но неширокие. Лицо продолговатое, скулы заметно выделялись. Желваки бугрились. Между бровями пролегли две глубокие складки. Верхний ряд зубов оказался ровен и бел, зубы нижнего ряда слегка изъедены, с щербинкой. Все приметы свидетельствовали о том, что мужчина честолюбив, вспыльчив, решителен и умеет владеть собой.

Ни амулета, ни ритуальной косточки от сглазу при нем не оказалось. Ни метки или родового клейма не было ни на одежде, ни на оружии. Обычно, отправляясь на охоту в безлюдные края, мужчины наряжаются в походные или воинские доспехи. В рукава, в потайной кармашек возле плеч зашивают или амулет, или какой-нибудь

священный предмет с молитвенными словами: на одном — «Сохрани, аллах, мою душу, обереги от всех напастей», на другом — «Сохрани, аллах, мою честь, обереги от позора-сраму». У незнакомца и этого не было. Еще куда ни шло, если бы он был какой-нибудь безродный странник, бродяга, низкородный дервиш, «черная кость». Так нет, седло и сбруя, одежда и оружие говорили о том, что он из рода знатного и могущественного. Кто же он? Однако очевидно: раз не побоялся безлюдья, пустыни, гор и ущелий, где на каждом шагу подстерегает опасность, значит, не из трусливого племени. Нельзя также сказать, что он разбойник с большой дороги, соблазнившийся богатой добычей. Такие благородные черты, осанка, подобная опрятность в одежде, в стати несвойственны разбойникам, обуреваемым жаждой наживы и другими низменными страстями. Нетрудно заметить, что человек он гордый и уверенный в себе. От всего его облика, даже в бессознательном состоянии, веет благородством. Нет, не простого он происхождения. Но как могли его родители отпустить такого недюжинного джигита одного в неведомую даль? Без свиты, без надежных спутников? Куда смотрела его мать, его жена, его сестры? Неужели они не оценили его достоинств? Неужели не пользуется весом в кругу семьи? Неужто не могли зашить в его одежды какой-нибудь амулет, оберегающий его от беды и напасти, от сглазу и недоброго слова? Судя по внешнему облику, ему давно уже перевалило за двадцать. Значит, надо полагать, не холост. Ну а если почему-либо не женат, то наверняка должны быть мать или сестры, или — на худой конец — тетки. Не может же он сам по себе бродить по степи, точно одичавший без пригляду верблюдов. А может — сирота, рано лишившийся матери? Может, обделен лаской? И потому болезненно самолюбив, упрям и замкнут? По предположению Мырзатая, одинокий, самому себе предоставленный, чем-то уязвленный человек. Возможно, он прав. По всему, в семье его неблагополучно. С другой же стороны, опять-таки опрятен, чист, собран; значит, не из тех, кто опускается и дичает без женского присмотра, а чуток, самолюбив, знает себе цену и дорожит своим достоинством. Однако все эти свойства он тщательно оберегает от чужого глаза. И еще один вывод сделала для себя Бопай: не телесная хворь свалила столь сильного и выносливого джигита, и не та ранка в правом

боку причина его беспамятства, а какая-то глубокая, тайная, душевная боль издавна подтачивает его могучую плоть, ввергая его время от времени в изнурительный припадок.

Недавние тревога и смятение, охватившие Бопай, теперь уступили место жалости и состраданию к незнакомцу, лежавшему в глубоком обмороке. Подобные болезни лечат не знахарством, не лекарствами, а вниманием и терпением, искренней лаской, идущей от всего сердца. Только радостное и сильное ощущение, высокий душевный порыв, подобный благодатному весеннему ветру, могут изгнать из сердца давнюю, крепко, точно снежный наст, слежавшуюся печаль и растопить, развеять изнуряющую плоть тоску. Вывих вправляют сильные искусные пальцы, раны на теле рубцуют уход и снадобья; душевную боль излечивают доброе слово и нежная ласка. Хворь этого джигита застарелая, запущенная. Ее, пожалуй, добрым словом не излечить; ее, пожалуй, и нежной лаской не победить. Хворь успела отравить сознание, пустить глубокие корни в сердце. Она — что опасный, ненасытный червь, изо дня в день неотвратимо подтачивающий душу. Такую хворь можно излечить лишь горячим, всепобеждающим чувством, идущим от сердца к сердцу, возбуждающим, воспаляющим пылкую, чистую кровь, в упругих толчках которой задохнется, захлебнется всякая нечисть.

Бопай, поняв это, растерялась. Пришла в смятение, в оторопь. И почувствовала свое бессилие. Она побледнела лицом. Глаза выпучились, как в безумии. Люди, испугавшись ее вида, поспешно двинулись к выходу. «Видно, духи смущаются посторонних, и она бессильна призвать их к себе».

Бопай ничего не видела и не слышала. Ее внимание было всецело поглощено лежавшим в беспамятстве мужчиной. По всем признакам, он еще не скоро придет в себя. Что же делать? Девушка знала, что чудодейственная ее сила заключена в пальцах. Те, что обращались к ней с вывихами и переломами, умоляли прикоснуться к ним хотя бы кончиками пальцев, утверждая и уверяя, что одни только ее нежные мягкие касания уже снимают боль и облегчают им муки. А у этого кости целехоньки; ни вывиха, ни ушиба. Он знал, что ему будет плохо, и потому заранее спешился, выбрал удобное место, обезопасил себя от сырости, от солнца и ядовитых гадов. И пока не свалил-

ся, был в полном, здоровом рассудке. Значит, он подвержен тяжелой душевной болезни. А против нее она бессильна. Нет у нее такого дара, чтобы изгнать из сердца иссушающую дух злую хворь. И вообще, что она понимает в сердечных делах? Из-за того, что с детства прослыла провидицей и искусным костоправом, она даже лишена возможности резвиться, как все дети, со своими сверстниками. Упустила пору невинных забав. И неведомо ей до сих пор, как нужно держаться, как следует обращаться с джигитами. За свою жизнь ей приходилось иметь дело исключительно с изувеченными, ущербными мужчинами. А какой мог быть с ними разговор? Она их жалела, сочувствовала их горю, но ни нежных чувств, ни тем более душевного влечения к ним никогда не испытывала. А хворь этого видного, недюжинного джигита может излечить лишь материнская нежность или беззаветная, пылкая страсть возлюбленной, или восторг и ликование, любовь и обожание многоликой толпы. Пока смятенная душа его не расплавится в огне животворящей любви и не очистится от скверны, этот несчастный так и будет прозябать на белом свете либо душевнобольным, над которым потешается каждый, либо холодным истуканом, у которого в груди вместо живого сердца зачерствевший кусок мертвечины, либо глухим, бесчувственным чурбаном, в дремучее нутро которого не в силах проникнуть даже солнечный луч. Никто из материнского лона не является на свет законченным негодяем, злодеем, дурнем или мерзавцем. Ожесточаются сердцем, омрачаются душой, сбиваются с пути и, отторгнув добро, породняются со злом лишь после того, когда сполна изведуют, познают равнодушие, черствость, несправедливость, насилие, надругательство тех, кого принято называть то родными и близкими, то сородичами и соплеменниками, то толпой, то даже народом. Разве бывало такое, чтобы человек, познавший с малых лет материнскую любовь, отцовскую нежность, доброе внимание близких, уважение сверстников и почет аулчан, становился вдруг потом невоспитанным и бездарным, черствым и пакостным? В своих несчастиях и ничтожестве изначально повинен не сам человек, а его окружение, недоброе влияние чужих. Видно, нечто такое произошло и с этим джигитом. Он красив и могуч, должно быть наделен немалыми достоинствами и благородством, однако не избалован удачей и

не оценен слепой и невежественной толпой. В самом деле, мы, степняки, не столь уж великодушны, чтобы воздавать почести достойным. Возможно, в этом и кроется причина тяжелой хвори самолюбивого джигита. А может, преследует его недобрая людская молва...

Бопай положила к себе на колени бесчувственную правую руку незнакомца и начала ее осторожно ощупывать от мизинчика до ключицы. Потом кончиками пальцев слегка огладила правую грудь и бок, стараясь не задеть розовый рубец заживающей раны. На внутренней части плечевого сгиба девушка нащупала дряблую, омертвевшую мышцу. Видно, следствие раны в боку. Повреждена какая-то жила. Вот отчего начала усыхать правая рука. И через каких-нибудь шесть-семь месяцев, если не рассосется опухоль, джигит может стать калекой. Это будет неожиданный и страшный удар, крах для человека молодого, честолюбивого и чуткого. Хорошо еще, если женат, если есть какая-то опора, есть кому за ним ухаживать... А так, если он холост, считай, пропал, не найти ему, увечному, ущербному, верной спутницы в жизни. И начнет он слоняться по аулам, потерянный и униженный, с ожесточившимся сердцем, с опустошенной душой, наводя на всех тоску и уныние. Не жизнь – маета, жалкое, позорное прозябание. Душевные муки приводят к озлоблению. Злоба рождает ненависть. Ненависть – жестокость. Жестокость обернется неминуемой бедой, которая захлестнет многих. Для того, чтобы обуздать жестокосердие и коварство, поставить им заслон или задушить их в зародыше, мудрая природа распорядилась так, чтобы женщина нуждалась в крохотном и беззащитном ребенке, источнике ее любви и нежности, а мужчина – в преданной и пылкой женщине, предтече его доброты, мужества и благородства. Все в природе задумано и осуществлено разумно и целесообразно: извечно животворящие соки природы передаются в кости через кровь, в кровеносные сосуды – через пищу, а в душу человека проникают они невидимыми, как сам создатель, таинственными путями через светлые, возвышенные порывы и сердечные влечения другого человека. Как-никак, она, Бопай, – женщина, и она могла бы попытаться передать свои исцеляющие токи этому неведомому ей мужчине, прибегнуть к своим чарам, но разве может быть она убеждена в том, что именно к ней он стремился, именно о ней мечтал и только ее одну

жаждал... Скажет ли он потом ей: «Ты и есть богом данная мне супруга»?

И все же не знак ли судьбы то, что тревоги и неясные томления, охватившие ее в последние годы, вдруг разом исчезли, улетучились, едва этот незнакомец появился в ее юрте? Не счастливое ли предзнаменование? И почему, сидя у постели лежащего в глубоком обмороке незнакомого ей человека, она вдруг ощутила такую поразительную ясность в душе? Куда делось недавнее смятение? Каким образом она так сразу избавилась от тягостного состояния? Чего лишилась? И что обрела? Другое дело, если бы он приходился ей братом или хотя бы близким родственником. Тогда ясно: она кровно сочувствует его горю, она рада, что он не погиб там, на безлюдье, что жизнь еще теплится в его груди и, стало быть, она может попытаться спасти его, как та ласточка, что в клюве подносит воды умирающему от жажды, спасти родственную ей душу. Но кто он ей, этот незнакомец? Чего она так близко приняла к сердцу его беду? Чего ради так всполошилась? О, всевышний, милостивый, всеблагий, что с нею происходит?.. Неужели он услышал ее тайные желания? Неужели сама судьба решила так щедро облагодетельствовать ее? Ну почему этот незнакомый ей охотник очутился именно здесь, на крохотном пятачке безлюдных гор? Мало, что ли, ему было нехоженных троп в непролазных тугаях Амударьи и Сырдарьи? И почему, когда он, потеряв сознание, лежал в ущелье один-одинешенек, его обнаружил не зверь, не птица, не случайный путник, а именно ее родной брат — Мырзатай?.. Почему, почему... Странное стечение обстоятельств и случайностей...

Думая обо всем этом, она чувствовала, как сердце ее заколотилось сильнее. Неведомая, не испытанная ею доселе дрожь разливалась по всем жилам, точно невидимые щупальца проникали в самые сокровенные уголки души, ввергая ее в сладостное томление. Голова кружилась, легкий туман застилал глаза, горели ладони, мелко-мелко вздрагивали кончики пальцев, которыми она едва касалась сильного, мускулистого мужского тела. Она явственно ощущала, как никогда его неизведанный, но столь приятный и желанный жар вспыхнул в ее крови, растекался по будто онемевшим жилам и через кончики ее чутких, трепетных пальцев переливался в обмякшее, распластанное у ее ног тело незнакомца мужчины.

По-прежнему иссиня-бледным был лоб больного. Мертвенная кожа обтянула заострившиеся скулы. Губы запеклись. Безжизненно-дряблыми казались мышцы правого предплечья. Только пальцы слегка помягчели и потеплели и под ногтями исчез синюшный цвет... О, аллах, подсоби... Не покидай...

Бопай с еще большей нежностью, охватившей ее вдруг, склонилась над несчастным, как бы желая отогреть его горячим и чистым девичьим дыханием, и все продолжала растирать, гладить безвольно лежавшую на ее коленях руку...

Между тем кончился вечер... прошла ночь... наступило утро. А она ничего этого не замечала. Только догадалась о том, когда в юрту вошла ее женге¹ с чашей молодого кумыса. Девушка поднесла было небольшую расписную чашу к губам и тут же спохватилась, скользнув взглядом по бледному лицу больного. Она попросила подать ложку, попыталась влить в рот джигиту несколько капель, но тщетно. Он не сделал глотательного движения. Тогда она смочила ему губы. Он чуть пошевелил ими и издал слабый стон. В глазах девушки вспыхнула радость. О, какое счастье! Жизнь возвращается к незнакомцу. Бопай передала чашу с кумысом женге и подала знак, чтобы она немедленно удалилась.

В беспорядочных, бессвязных думах о том, о сем прошел еще один день и наступила вторая ночь. И на этот раз просторная юрта старшего брата Бугуля была предоставлена больному джигиту и не покидавшей его все это время Бопай. Изредка к юрте подходили аулчане, чтобы узнать про состояние больного и спросить, не нужно ли что измученной сиделке.

Девушка думала: «Была бы я ему пусть не родственницей, хотя бы знакомой. Тогда могла бы передать ему не только тайный жар моей души, но и словами сочувствия, сострадания утешить его измученное, очерствевшее от одиночества и тоски сердце... Я бы нашла такие слова...»

Больной продолжал лежать в глубоком обмороке. Не стонал, не шевелил губами. Вселяло надежду только то, что потеплела, ожила правая рука и порозовели ногти.

Бопай понемногу привыкла к незнакомому мужчине.

¹ Женге – жена старшего брата.

Начала гладить, растирать не только усыхающую правую руку, но и здоровую, левую, а потом – и затылок, и грудь, и шею, и виски. И почему она не сразу догадалась? Ведь здоровые части тела более чувствительны. Может, так скорее удастся вывести его из обморочного состояния? Может, эти ласковые прикосновения оживят его, приведут в чувство?..

Должно быть, прошла половина ночи. Обе руки Бопай от усталости будто онемели. Но ей подумалось, что как только она перестанет гладить и растирать обмякшее тело джигита, как только ее спасительное тепло перестанет переливаться в его жилы, тотчас оборвется появившаяся недавно слабая надежда. И потому она еще ниже склонилась к нему, прикоснулась подбородком к его лицу и неожиданно для себя задремала. И тут же приснилось ей, будто в юрте Бугуля она разделявала тушу не то овцы, не то жеребенка. Потом, когда сняла шкуру, опешила: то был волк. Огромный, матерый волк с сивым загривком. И из него лилась не кровь, а белое-белое молоко... Она вздрогнула, отшатнулась.

Она не знала, сколько продолжался ее сон. Очнувшись, услышала тихий, слабый голос. Казалось, он доносился из-за юрты. Странно, а где же она?.. Что за голос? Может, померещилось? Ведь уже вторую ночь проводит без сна...

«Пить... пить... пить...»

Кому это понадобилось посреди ночи бегать вокруг юрты и просить пить?.. Вот безумец!.. «Пить... пить...»

О, аллах, голос-то раздается рядом.

Она поспешно вскочила, кинулась к входу, где находилась утварь, нащупала в темноте чашу с водой. Осторожно приподняла больному голову, прошептала: «Ия, бисмилля!» и поднесла край чаши к его губам.

Большой принялся судорожно пить. Он сделал несколько глотков и опять обмяк. Голова, наливаясь тяжестью, откинулась на подушку. Почудилось, будто остановилось дыхание. Бопай похолодела: «Что с ним? Уж не сделал ли он последний глоток перед кончиной?..»

Она схватила его руку, лихорадочно нащупала кровеносный сосуд у основания кисти. Ужас! Ни намек на жизнь... Но тут под пальцами точно проклюнулись толчки. Тук-тук-тук. Значит, бьется-таки сердце. Может, придет в себя больной? Заговорит?

«Ну как?... Не лучше?»

В ответ ни звука. Бопай с нетерпением ждала рассвета.

На следующий день больной заметался в жару. Щеки его пылали. Ресницы еле-еле вздрагивали. Аулчане забеспокоились, все чаще навевались в юрту. Весь день прошел в тревоге. К вечеру он стал стонать все чаще, все протяжней и мучительней. Казалось, его раздражали звуки, перешептывания в юрте; он часто хмурил лоб. Бопай приказала всем немедленно выйти.

Наступила третья ночь, удушливая, тягучая. Над аулом низко нависла черная, всклокоченная туча. Мрак густел, слоился в юрте. Все погрузилось в тишь. Одни цикады звенели на всю округу.

Бопай охватило непонятное возбуждение. Смутное предчувствие томило ее. Она прислушивалась к каждому шороху. Ей казалось, что больной должен заговорить. И тогда и она что-нибудь сказала бы ему в ответ. Может, ей удалось бы выразить и передать словами неясное томление сердца. Говорят, многолика связь между душами, а самый короткий путь находит живое слово.

Больной метался в постели, постанывал. Видно, жизнь возвращалась к нему, но не в силах была пробиться сквозь туман мучительной хвори.

Вдруг он заскрежетал зубами и отчетливо произнес: «Ах, жаль... Такая досада!» Должно быть, начинался бред. А причиной припадка послужило какое-то потрясение, какая-то страшная досада. Что же это могло быть?

Бопай с усилием отогнала от себя всякие назойливые предположения и влажной ваткой смочила больному губы. Он зачмокал в забытии. Она поднесла ему ко рту чашу с водой. Он сделал лишь один глоток и опять нетерпеливо зачмокал губами, будто ловил что-то. У входа брезжил слабый свет плошки. Но даже во мраке выделялось бледное лицо джигита. Она все чаще смачивала ваткой ему губы, и, видно, ему это нравилось. Он поворачивал голову в ее сторону, вытягивал шею, будто искал ее. И девушка обрадовалась, снова принялась гладить его увечную руку, перебирать, мять ему пальцы. Это успокоило больного. Он затих. А на рассвете и Бопай задремала, забылась ненадолго. Очнувшись от настойчивой мольбы. «Где ты?.. Куда исчезла?.. Не уходи! Побудь со мной...» Больной, как в бреду, вновь и вновь твердил эти слова. Чув-

ствуя прикосновение ее нежных пальцев, он затихал на некоторое время, потом снова начинал бредить: «Не обижайся... Найду тебя... Найду!» И говорил так проникновенно, с такой нежностью в голосе, что нельзя было даже допускать, будто слова эти предназначались мужчине. Бопай насторожилась: может, он, бедняга, лишился недавно возлюбленной? Может, это душевное потрясение привело к несчастью?..

У Бопай сердце сжалось от сочувствия к незнакомому. Наконец забрезжил рассвет. И больной уснул и проспал долго и спокойно. И грудь его вздымалась и опускалась ровно, как бы свидетельствуя о том, что самая опасная пора миновала.

К обеду того же дня Бопай почувствовала облегчение. Она уверовала, что ей удастся-таки привести джигита в чувство. Он придет в себя, и тогда, возможно, сам поведаст о причине своей тяжелой хвори. А то какой смысл в ее напрасных догадках? Мысли ее что спутанная лошадь: вытоптала всю окрестность, а на единственную верную дорожку так и не выбралась. До одного додумалась: в несчастье джигита повинна женщина.

После полудня больной вдруг открыл глаза. Взгляд его заблуждал вокруг, обшарил потолочный круг юрты, на миг скользнул по Бопай, застывшей у постели сбоку, потом вновь устался на потолок. Через некоторое время, словно не поверив своим глазам, снова смежил веки и погрузился в сон.

Сердце девушки вновь затрепетало. Неведомая надежда в который раз сменилась сомнением. Она вроде как застыдилась чего-то. Может, ей просто неловко перед лежащим у ее ног незнакомым мужчиной? Или ей стыдно за недавние девичьи грезы? В самом деле, не слишком ли много возомнила она о себе? Что скажет он, когда придет в себя и узнает, кто его вылечил? Что он подумает о ее стараниях и нежной заботе? Не подумает ли, что она, засидевшаяся в девках, с отчаяния вообразила себе черт знает что?..

От этих дум она вздрогнула, будто кто-то выплеснул ей на макушку ушат ледяной воды. Она даже не искала ответа на свои сомнения и вопросы. Сидела растерянная, раздавленная. И странное равнодушие разлилось по всему телу. Лучше уж было бы ничего не знать и ни о чем не догадываться. Лучше уж было терзать себя сомнениями,

изводить догадками. Неизвестность все же утешала. А теперь, когда больной очнется и увидит ее у своей постели, ее, девушку, темной ночью, в полном уединении... о, ужас, о, позор... что он о ней подумает... и какими глазами она посмотрит на него!? О, создатель! Лучше бы он не приходил в себя до рассвета, лучше бы проспал всю ночь... И пусть уж очнется завтра, при свете дня, в присутствии людей. Если же очнется сейчас, посреди ночи, что он скажет ей? А что ответит она? Еще недавно она в мечтах своих девичьих задушевно беседовала с ним и надеялась нежными словами разбудить, всколыхнуть его измученное тоской и хворью сердце. Какая наивность! Какое кощунство даже думать об этом!

Опять послышалась слабая мольба. Уж не подслушала ли кто ее затаенные думы? Она вся сжалась, превратилась в слух.

– Ну, где ты?.. Куда исчезла?.. Пить... дай пить, – внятно и властно потребовал больной.

Она тотчас поднесла ему ко рту чашу с водой. Он сделал несколько глотков и, облизнув губы, пробормотал с усилием:

– Не уходи... Прошу тебя... посиди вот так, рядом. Какие у тебя теплые, мягкие ладони...

Что он говорит? О чем просит?.. Всерьез это, или бред? Голос его помягчел, потеплел. Хрипы исчезли.

– Почему молчишь?.. Ну, прикоснись же ко мне... Погладь... Потри мне лоб...

Бопай в испуге отдернула руку, будто обожглась невзначай. Вся сжалась в комок. Больной беспокойно заворочался, пошарил вокруг рукой.

– Где же ты?.. Почему убрала руку?.. Виски ломит. Ну, погладь же, потри мне лоб... Прошу...

Пальцы Бопай вновь забегали по лбу больного. Он тут же успокоился, затих. Видно, ему были приятны ее прикосновения. Он удовлетворенно, протяжно постонал, как бы говоря: «Хорошо... Еще... еще... вот так... давно бы так...» Казалось, он наконец достиг того, к чему все эти дни так жадно тянулся всем сердцем, будто в подсознании встретился с той, желанной, по которой томилась душа. Он что-то бессвязно лепетал, бредил, но бред, видно, облегчал его страдания, словно тяжкая хворь понемногу отступала, покидала измученное тело...

Ну и хорошо... Пусть будет так... Пусть бредит... Пусть

хоть в бреду почувствует утешение. Бопай гладила ему не только лоб, но и виски, шею, грудь...

И вдруг он весь напрягся, встрепенулся, цепкой горячей рукой схватил ее кисть и поднес ее пальцы к своим губам. «Милая, родная моя... желанная...» – нежно зашептал он. Из глаз Бопай хлынули слезы. Она знала, понимала, что сокровенные, шедшие из души слова эти не ей предназначались, но они ее потрясли, взбудоражили все ее существо, и она ничего не могла поделать с собой. Бопай сама не заметила, как поддалась, подчинилась все более крепнувшим, настойчивым, нетерпеливым объятиям джигита, как покорно приникла головой к его горячей, распаленной груди. Умом она еще понимала, что и нежные слова, и жадные ласки не к ней были обращены, но неведомые, не испытанные ею чувства захлестнули ее, и ей сейчас ни о чем не хотелось думать. Пусть, пусть, твердил в ней чей-то голос, будь что будет, лишь бы ему было хорошо, лишь бы он скорее встал на ноги... Нельзя сейчас его лишить сладкого видения, желанных грез... Она проявит женское терпение и покорность. Разве не радоваться она должна, что в нем ожили желание, неумемная мужская страсть и нетерпеливость – свидетельство тому, что он не поддался злой хвори, что ему еще жить?.. И не она ли тому причиной, что разбудила в нем эти силы?.. Она обмякла, обессилела, лишилась воли и ничуть не сопротивлялась, безропотно подчинилась его порыву. Ей не хотелось разочаровывать его, развеять сладостный обман, лишить его желанной радости, в ней самой вспыхнуло вдруг желание раствориться в нем, забыться, пожертвовать собой, своей честью и гордостью ради его жизни, ради его возвращения к жизни, и, отдаваясь ему с восторженной покорностью, с упоением, она еще успела поблагодарить всевышнего за то, что он сотворил ее женщиной, наделил ее такой колдовской властью и силой, высоким безрассудством, граничащим с животворной жертвенностью. Лишь потом... потом... она поняла и осознала, что подобная решимость редко посещает женщину... Эти безумные, почти не запечатлевшиеся в памяти мгновения потом преследовали ее долго, терзали ее душу, и неутешные слезы не однажды душили ее...

Прошел год, другой... Тайна той ночи так и осталась тайной. Кроме нее, никто о ней не знал, не догадывался. Тайной остался и тот джигит. Он пришел в себя, выздо-

ровел и покинул их аул, так и не раскрывшись. Глядя вслед удалявшемуся хмурому серолицему джигиту, аулчане удивленно качали головами: «Надо же! Везучим оказался. Что бы с ним было, не найди его в ущелье Мырзатай? Значит, милостив к нему всевышний...»

Бопай исполнилось двадцать. Прошла нежная пора девчества. Все явственней стала опасность засидеться в девках. Родные, близкие сокрушались: «И зачем только всевышний отметил ее особым даром? Передал бы лучше его ее братьям». Во всей округе по-прежнему восторгались: «Руки дочери Суюндика из рода адай творят чудо. Только прикоснется – любую хворь снимет». Зрелые бабы шептались по углам: «Ох, и мается иногда бедняжка! Как настигнет ее дурь, места себе не находит. Нашелся бы какой человек, да родила бы ребеночка – вся эта дурь и сошла бы с нее. Что ни говори, а божий дар и бабья доля – достоинства несовместимые».

Отголоски подобных разговоров доходили и до Бопай. Такие думы нередко посещали ее. Но она уже не прельщалась девической мечтой. И ниоткуда сватов не ждала уже. Почему-то упорно казалось, что тот таинственный серолицый джигит непременно к ней вернется. Вряд ли он помнил, что произошло между ними в ту темную ночь. Ведь он был болен. Все происходило в бреду. И в подспудном сознании своем он не ее ласкал, не ее любил. Другую... Душа его утешилась в жарких объятиях другой женщины... желанной возлюбленной. Для него все это был просто сон. Сладкий, дивный сон, к которому дочь Суюндика, прославившаяся своим чудотворным искусством, никакого отношения не имела. Так он считал. Но узнав, что девушка три дня и три ночи неотлучно просидела у его постели, возле него, совершенно беспомощного, сраженного глубоким обмороком, он испытал жгучий стыд, неловкость, ибо догадывался, что она слышала его бред, его лепет в бреду и была свидетельницей его затаенных желаний. И когда очнулся и собрался малость с силами, он, пряча от смущения глаза, зашел в обратный путь. И, аллах свидетель, напрасно он так торопился. Всецело поглощенная его душевной хворью, она все эти дни спасала его душу и совершенно упустила из виду пораженную опасным недугом его правую руку. Воспользовавшись вдохновением, которое в те дни на нее нашло, она должна была прибегнуть к своему дару и попытаться

оживить дряблую мышцу, спасти ее от омертвения, что со временем неминуемо приведет к усыханию руки. Ему не обойтись без ее помощи. Лишь искусные, как у нее, руки и постоянное внимание и забота в состоянии остановить разрушительную хворь. Каждый новый припадок, каждое новое потрясение лишь усугубляет ее. Смущенная тем, что произошло с нею в ту ночь, она не смогла предупредить его об этой угрозе. А может, то был знак судьбы? Может, всевышнему была угодна ее забывчивость? Может, тем самым судьба заранее позаботилась об их новой встрече? Ведь в тот час, когда ему опять будет худо, он непременно вспомнит ее... да, да, вспомнит искусные, чудотворные руки дочери Суюндика из рода адай...

Теперь сама Бопай стала с нетерпением ждать, когда же вновь охватит ее душу тревога и начнет ломать-крутить все ее тело. И вскоре этот день настал. Опять несколько дней томило ее неведомое предчувствие и ходила она сама не своя. Она без конца выходила из юрты и подолгу вглядывалась вдаль. Однако никто не появлялся, не показывался. Однажды, глубокой ночью, ей почудилось, будто кто-то скребется в дверь, тычется в низовую кошму юрты. Бопай вскочила, накинула на плечи чапан и вышла. Неподалеку от аула рос густой тростник. Девушка скрылась в чаще и долго смотрела в сторону складчатых гор, надеясь, что оттуда вынырнет серолицый всадник на саврасом коне. Но он так и не появился. Еле дождавшись рассвета, она оседлала коня и отправилась к отрогам гор, невысоких, но крутосклонных, изрезанных причудливыми ущельями. Ни одной живой души там так и не встретила. Она объехала все горные источники, ручейки, думая, что, может, поблизости пасется саврасый конь, однако тщетно. Она и сама не заметила, как проехала горы и очутилась в неоглядной пустыне. Бурные барханы, горбясь, тянулись до горизонта. Во все стороны простиралась безмолвная ширь. Ни скота. Ни людей. Ни саксаула. Ни кустика жузгена. Ни даже чахлой травинки. Пусто. Голо. Откуда быть здесь зверью? И что в этой пустыне делать охотнику? Пустая блажь привела ее сюда, пустые надежды...

Девушка повернула коня назад. Он брел, по самые щетки увязая в зыбучем песке. И Бопай чувствовала себя вконец усталой и разбитой. Что с ней творится? Откуда и с какой стати тревога? Опять накатила на нее дурь.

Только с чего бы это? С кем из ее близких, дорогих людей могла приключиться беда?

Приближаясь к аулу, она увидела у коновязи возле юрты незнакомых коней. Судя по седлам и сбруе, путники были из знатного, богатого аула. Видно, кто-то покалечился. Кому-то понадобилась ее помощь...

Когда она переступила порог юрты, ей навстречу учтиво повскакивали с мест пятеро или шестеро незнакомых мужчин. Должно быть, понаслышаны были о славе девицы-чудотворицы. Дух таинства манит и пугает.

В самом деле, во всем обличье красивой и статной девушки в мужских штанах, в лисьем малахае, под которым были уложены косы, с короткой плеткой-доиром в руке, в ее больших лучистых глазах, в уверенном, пристальном взгляде было что-то внушительное и притягательное.

Она прошла к родителям, сидевшим ниже почетного места, опустилась между ними, поджав ноги, и лишь тогда шестеро мужчин, покраснев до кончиков ушей, снова плюхнулись на подстилки и одеяльца.

Суюндик-батыр, большеносый, мохнатобровый, чем-то похожий на туркмена, по обыкновению хмыкнул и повернулся к дочери.

— Эти гости из аула тюре, прикочевавших к прибрежью Адам-ата. Приехали за тобой. Зачем — пусть сами скажут!

— Дорогая, — начал один из гостей. — Нас прислал султан Абулхаир.

— А кто болен?

— Сам султан.

— Неужто султан не нашел, к кому обратиться?

— То мы не знаем, милая. Он приказал, мы — приехали. Девушка повела плечами. Кто он для нее, султан? И с какой бы стати из-за него ей мучиться столько дней? Не родственник и даже не знакомый...

— А что с ним? Вывих, ушиб?

— То увидите по приезде.

Ответ прозвучал не как просьба, а, скорее, как наказ. Бопай тотчас собралась в путь. Даже не стала переодеваться. Она постеснялась ехать в окружении шести крепких молодых мужчин, а потому взяла с собой долговязого своенравного брата Мырзатая.

Аул тюре расположился в этом году на расстоянии

одного перегона от родового зимовья на открытой песчаной местности. Видно, решили до наступления холодов побережь зимние выпасы в глубине песков. Хотя аул и принадлежал тюре, то есть знатному феодальному роду, белой кости, однако внешне не отличался от обычного байского аула. На краю песков стояло около тридцати юрт. Далее виднелись юрты более внушительного размера. Их было примерно шесть-десять. А между двумя этими аулами, на широкой, открытой поляне с пожухлой травой, но с еще зеленым и густым жантаком – верблюжьей колючкой, белели особняком шесть нарядных юрт. В них жили султаны. На почтительном расстоянии от этих юрт спутники Бопай спешили. Мырзатай тоже придержал коня. Двое мужчин учтиво сняли Бопай с седла. Их, оказывается, ждали. От белой юрты посередине пошли им навстречу трое.

– Как доехали, бикеш?¹ Не устали?

Бопай не ответила, только покачала головой и вежливо улыбнулась.

Один из встречавших, самый долговязый, с удивлением сказал:

– О, так вы и есть наша сестренка Бопай?!

Девушка приложила руку к груди, поклонилась.

– Ну, пойдём, милая... Тебя ждут.

Только теперь Бопай заволновалась, даже дрожь ударила в коленки: впервые в жизни ей предстояло войти в юрту тюре.

Кто-то из мужчин, откинув полог юрты себе на спину, показал ей вход. Девушка вся посерьезнела, учтиво склонилась и перед тем, как переступить порог, произнесла вслух:

– Бисмилля!..

Никакого особого, богатого убранства в просторной восьмистворчатой юрте султана Бопай не увидела. Напротив входа на видном месте висели батырские доспехи; огромный щит посередине, а вокруг него все пять видов оружия воина-степняка.

С верхних решеток юрты свисали шкуры хищников – матерого волка, барса, рыси, тигра. Справа торчало несколько рогов горных баранов. На них были повешены

¹ Бикеш – обращение к девушке.

богато инкрустированные, серебром отделанные бухарские, кокандские, русские ружья. Юрта султана по своему убранству больше походила на хижину охотника.

На широкой приземистой постели между очагом и почетным местом ковре кто-то лежал навзничь. У изголовья на ворсистом месте ковры и больших пуховых подушках не то сидела, не то возлежала светлолицая грузная, уже в летах, женщина, а ниже, у изножья, на отдельном коврике, сжавшись в комочек, сидела в напряженной позе, на корточках худощавая смуглая молодка.

– А-а, милая... Хорошо, что приехала! – звучным тягучим голосом проговорила светлолицая дородная женщина.

Бопай опять промолчала. Долговязый пожилой мужчина, сопровождавший ее, сказал:

– Да, да... К счастью, прибыла вовремя. – И обратился к смуглой молодке. – Иди уж... А то там Дильмуханбет ревмя ревет.

Молодка тотчас вскочила, выпорхнула из юрты. На ее место опустилась Бопай.

Громкоголосый долговязый мужчина спросил:

– Ну, что?.. Не очнулся?..

– Нет... И глаза не открывает, и даже ресницами не шевелит, – тем же звучным густым голосом ответила светлолицая. – Видать, глубокий обморок, как и в тот раз.

– Надо же! Должно быть, последствие все той раны. А ведь и керейт Аджи, и ходжа Мухамбетжан уверяли, что, дескать, все обойдется, еще повезло, что стрела не задела чуть выше, главное, говорили, чтобы поберег себя год и пику в руки не брал, и из лука не стрелял. И, казалось, их слова оправдывались, здоровье вроде налаживалось. Хоть и участвовал в походах, но сам стычек избегал. И вот опять подстерегла беда. Как вернулся с утра из аула Жомарта, так сразу и свалился. Уже коснувшись головой подушки, успел предупредить: «Тяжко мне. Устал. Если не проснусь вовремя, пошлите за дочерью Суюндика, что обитает возле Архарова распадка». Так вот, как провалился в беспамятство, так мы сразу и отправили людей за тобой, дорогая. Одна надежда теперь на тебя.

Долговязый чернявый мужчина говорил запинаясь, взахлеб, а светлолицая грустная женщина, наоборот, степенно, вращаясь, будто каждое слово с трудом извлекала из неведомых глубин.

– По словам Тайлана, ни в том ауле, ни по дороге не случилось ничего такого, из-за чего он мог бы расстроиться. И вообще, говорит, был весел. Ел и пил то же, что и все.

Долговязый обернулся. Сзади выдвинулся рослый, громоздкий джигит, глухо пробасил:

– Да... Точно так и было. Все эти дни я ни разу не заметил, чтобы султан хотя бы нахмурился.

В юрту набилось много мужчин, все, как на подбор, рослые, могучие. Ни дать ни взять верблюды-нары, сбившиеся в гурт возле степного колодца. Все с жадным любопытством выставились на девушку-знахарку. Всем не терпелось посмотреть, что же она собирается делать, в чем ее колдовская сила.

Бопай негромко сказала долговязому, стоявшему к ней ближе других:

– Нельзя ли приспустить тундук?..¹ Светло очень...

Долговязый обернулся к толпившимся у входа джигитам. Кто-то из них тут же вышел, буркнув на ходу:

– Вот любят же они все в сумраке орудовать...

Спустили тундук – кошму, прикрывающую потолочный круг юрты, оставив небольшую щель. Узкая, как лезвие ножа, полоска света косо падала вовнутрь.

Бопай тихо откашлялась, сказала:

– Больному нужен покой. Хорошо бы, если и в юрте, и за юртой никто бы не толпился. Надо бы, чтобы и дети поблизости не резвились, и собаки не лаяли. Если обеспечим полную тишину, дня через три больной, аллах даст, может очнуться. Понадобится помощь – я дам знать. Пусть кто-нибудь время от времени тихо подходит к юрте, подает голос. При необходимости выйду сама. А промолчу – значит, ничего не надо.

Все послушно и молча разошлись.

– Воля твоя, милая. Уповаем на всевышнего, потом – на тебя, – вышел и долговязый, продолжая громко тараторить.

– А как быть с едой, дорогая? – спросила, тяжело поднимаясь, дородная светлолицая женщина.

¹ Тундук – квадратный кусок кошмы, прикрывающий отверстие в куполе юрты.

– Пусть заглянет разок-другой та сестрица, что сидела до меня на этом месте.

– Хорошо... Хорошо, милая...

Некоторое время Бопай сидела, низко свесив голову и прислушиваясь к удаляющимся шагам. Потом, когда все вокруг затихло, она повернулась к низкой широкой кровати, на которой в байских юртах обычно складывают разноцветные одеяльца и подушки, посмотрела впервые на больного и обомлела, не поверив своим глазам. Даже дыхание перехватило на мгновение. Крупные горячие слезы покатались по ее щекам.

На постели, растянувшись во весь свой рост, лежал тот самый знакомый незнакомец, таинственный охотник.

С того самого дня она и осталась в этом ауле. С той самой поры аул батыра Суюндика, предоставив Архаровый распадок волкам и горным баранам, поселился рядом и стал кочевать бок о бок с аулом султана. И строптивые, дерзкие адайцы, оскорбленные этим поступком своего сородича, отныне говорили о нем с едкой насмешливостью... «Отделился от своего могущественного рода-племени, многочисленного, как деревья в лесу. Всем кланом своим потащился за просватанной девкой своей. И теперь сидит, ничтожный, недостойный, на кочках, куда псы аула тюре прибегают мочиться...» С того времени детей и потомков батыра Суюндика стали в окрестностях называть не иначе, как «ничтожными адайцами», должно быть, в отличие от остальных «ершистых и гордых адайцев».

С той поры и Мырзатай всегда, как говорится, под боком и под рукой своей сестры и своего зятя.

Через два года Бопай понесла. Родила первенца Нуралы. И с этого времени она совершенно забыла о той стародавней блажи и отныне, кроме мучительных родовых схваток, избавилась от всех недугов. С той поры, должно быть, покинул ее и дар искусного костоправа; пальцы ее не прикоснулись ни к чьему увечью; и лишь когда случались у мужа редкие припадки, она растирала ему виски и гладила, мяла его немевшую руку.

Прошло немало лет, но супруги не имели обыкновения копаться в закоулках своего прошлого или подробно обсуждать свои намерения. Они научились понимать друг друга без слов. И за это Бопай прямо-таки боготворит своего мужа. Кто знает, возможно, и он ее за эти свой-

ства ценит. Она готова за своего супруга-благодетеля отдать душу. И он до сих пор не позволял себе ничего такого, что могло бы ее унижить или обидеть. Первая его жена из знатных тюре скончалась во время родов, и он, тяжело переживая ее смерть, вдовствовал года три. Потом попала ему на пути Бопай. За эти годы всякое случалось, и горести, и радости, и по обычаю степи немало было совершенно браков для укрепления уз между знатными и сильными кланами тюре, но сам Абулхаир не позволил себя опутать. И сыновей женил, и дочерей выдал замуж, однако сам не стал брать токал — второй жены, что в его положении, естественно, никак и никем не возбранялось бы, а, скорее, даже поощрялось. Вероятно, чувствовал и опасался, что высокородная младшая жена начнет помыкать низкородной старшей и унижит честь и достоинство байбише. Не позарился он и на красавиц пленниц, не заводил наложниц, а раздавал, уступал их своим батырам-сподвижникам. И лишь один раз, и то уже в последний свой поход на улусы Дорджи и Лобджи, изменил своему правилу: приволок себе из похода юную девственницу калмычку. И Бопай не осудила мужа, ибо отлично понимала, что не джигитовы соблазны, не похоть им руководили, а главным образом честь и уязвленное самолюбие. Давние враги его Дорджи и Лобджи пытались в свое время совратить Мамбета-мурзу, натравить его на Абулхаира, посулив и табун лошадей, и красавиц калмычек, и вот в отместку за те злокозны Абулхаир и отнял силой одну из избранных девиц на выданье. Из того похода пригнал он еще три тысячи отборных лошадей. Две с половиной тысячи голов раздал по аулам, а пятьсот отдал родственникам жены, чьи выпасы граничили с калмыками.

Так он унижил своих давних врагов, так отомстил коварным недругам. А десять месяцев спустя юная калмычка-пленница родила ему сына, которому дали имя Чингиз. Теперь ему уже два года, и он, маленький шалун и забияка, сосет грудь Бопай наравне с ее младшеньким Адилем. Чтобы досадить врагам и постоянно терзать их слух, Абулхаир распорядился называть пленницу-калмычку с испуганными печальными глазами Нунгбике, то есть рабыней, наложницей. Однако после того, как она родила ему сына, сама Бопай настояла, чтобы отныне ее называли Кунбике, что означает Солнцеликая, Солнечная.

Бопай не восприняла юную калмычку своей соперницей. И даже не упрекала мужа. Более того, сама помогла поставить для нее юрту. Сама позаботилась о новом супружеском ложе, об убранстве. Все самое яркое, красочное, свойственное молодости, она перенесла в юрту калмычки, оставив себе лишь то, что более соответствовало ее зрелому возрасту. Люди дивились: старшая жена – байбише заботилась о молодой токал, будто о родной дочери.

Конечно, в жизни Абулхаира не все складывается так, как бы ему хотелось, и не одни лишь удачи выпадают ему на долю. Наверняка есть ему о чем горевать. Ну, а Бопай?.. Нет, она не может жаловаться на судьбу. Наоборот, она поразительно везуча. И все для нее обернулось удачей, благом: и то, что встретился ей неожиданно-негаданно тот одинокий охотник, и даже то, что был он подвержен опасной и тяжелой болезни... Случилось то, о чем она и не мечтала, что и не мерещилось ей в сладостных девичьих грезах. Обрушившееся вмиг неожиданное, непомерное счастье порою даже пугало ее. Она часто и благодарно поминала всевышнего, добрых духов и, опасаясь сглазу, сплевывала через плечо. А ведь боялась, ох как боялась, всерьез, не на шутку, что, видно, прожить ей век в шаманах, в знахарях, знаясь с нечистой силой. Но бог миловал. Иной ей жребий уготовил. А ведь боялась, ох, как боялась, до смятения, до отчаяния, что останется старой девой, что не познать ей материнской радости. И опять судьба сжалилась. Слава всевышнему, пятерых сыновей и одну дочь родила, вскормила. А ведь еще боялась, ох, как боялась, горевала, себя изводила, что приведет хан вторую жену из высокородных тюре, и будет ее удачливая молодая соперница измываться, изголяться над ней, изводить ее денно и нощно, однако все-милостивый создатель наградил ее мужа-властелина столь редким для мужчин качеством – воздержанностью.

Словом, ничто не омрачало ее душу. Лишь раз закрадывались сомнения: а вдруг в честолюбивом муже проснется ревность и он в дурном расположении духа возьмет да и напомнит ей о том, что она пришла к нему не целомудренной девой, ведь тайна той ночи осталась лишь ее тайной, о которой она за все годы супружества так и не осмелилась ему сказать, а он ничего не знал, не помнил... Правда, на случай, если о том зашел бы разговор, у нее

был заготовлен и тщательно обдуман ответ, она могла бы ему напомнить о его страстном порыве, о его томлении в бреду, о его исступленном тайном зове... Но он не позволял себе даже намека. И с какой стати он стал бы вспоминать о том теперь, после стольких лет совместной жизни? А может, он только искусно все скрывает? Может, на самом деле душа его уязвлена? И он просто проявляет к ней жалость? Или благородство и великодушие?.. Но нет... Она верит в справедливость создателя, уверена в своей чистоте и честности и в мудрости мужа. И потому все эти непрошенные сомнения старается зарыть поглубже в остывшую золу прожитых лет.

Неизменно благодаря судьбу за все благодеяния, Бопай, однако, в последнее время все чаще беспокоилась о своем сыне Ералыжане. Казалось, напрасными были ее тревоги: сын благополучно съездил в далекий Петербург, благополучно проделал обратный путь, вот-вот и вовсе должен вернуться в родной аул. И все же отчего-то всполошилось материнское сердце...

В таких случаях Бопай старалась подчинить свои чувства трезвому рассудку, спокойно, в уединении тщательно все обдумать, обозреть былое и настоящее, все еще раз взвесить на весах разума.

В таких случаях она прежде всего думала о своем муже-благодетеле, основе, знамени ее благополучия, вспоминала, перебирала в памяти каждое его слово, каждый жест, каждый его поступок, вновь и вновь допытывала себя: правильно ли его поняла, не допустила ли какую-нибудь оплошность, не унизилась ли до бабьего каприза. В правоте и мудрости мужа она никогда не сомневалась. Она только боялась, что своим непониманием, своей недостаточной прозорливостью может невзначай навредить мужу.

При слове «аманат», так явственно и зловеще прозвучавшем на последнем сборе, вся душа Бопай содрогнулась. Она почувствовала себя волчицей, угодившей в капкан в то время, как ее голодные сосунки-волчата одни остались в логове. Потом все-таки пересилила себя, взяла себя в руки, подчинилась извечной женской доле — терпению.

Но это было потом. А вначале прямо-таки во время кочевки она пересаживалась то на степенного верблюда, то на горячего скакуна, и все равно ей было худо, худо...

Издревле так повелось: во имя спасения души казах,

не задумываясь, жертвует скотом, ради чести своей жертвует жизнью, а ради народа своего поступается личной честью – достоинством. Казашка, помимо всего этого, жертвует еще и вышедшим из ее лона ребенком ради своего мужа-повелителя. И уж кто-кто, а Бопай знает, каково бремя, какова цена такой жертвы для казаха-кочевника, казаха-скотовода. Однако только на этом незыблемом правиле зиждется жизнь кочевого народа. Достоин всеобщего презрения мужчина, предавший народ свой ради спасения жены и детей. Достояна презрения женщина, предающая мужа даже во имя спасения народа.

Бопай поняла, что над ханом вновь сгущаются тучи, видела, как хмурилось его чело накануне тяжкого и опасного испытания, и ей стало стыдно, неловко перед мужем за то, что не сдержалась, выказала свое бабье недовольство, встревоженная словом «аманат». А потом спохватилась и испугалась: вдруг всевышний осудит ее за ропот, вдруг священные духи отвернутся от нее, неблагодарной бабы, осмелившейся хотя бы в думах своих быть недовольной решением мужа? И чтобы задобрить духов, замолвить свой грех, она по всему долговому пути от Кызылкумов до Сары-Арки останавливала кочевье возле каждой безымянной могилы, возле каждого одинокого священного дерева, возле каждого потемневшего от времени камня-стояка у осевшего холмика и поминала аллаха, творила молитвы, совершала жертвоприношения.

И все же непросто утишить взбаламученную душу. Прошлой ночью приснился ей Ералы. Вроде бы всей семьей сидят они в юрте, за дастарханом, лакомятся свежим, золотистым, как топленое масло, загустевшим и дрожащим на деревянном подносе молозивом, а худой, весь какой-то поникший Ералы робко заглядывает в дверь и протягивает, будто нищий, просящий милостыню, ручку. Жалея его, все хотят ему подать, но почему-то никак не могут до него дотянуться. Тогда в отчаянии Ералы опустил на корточки, принялся руками ковыряться в земле и вытащил вдруг из норы не то суслика, не то хорька и начал живьем рвать зубами трепыхающегося в его руках зверька, из которого – какой ужас – струилась не кровь, а белое-белое молоко...

Бопай проснулась в страхе. Голова ее разламывалась. Сердце подкатилось к горлу. По щекам ее текли слезы. Выходит, она плакала во сне... Помянув несколько раз

аллаха, она стала вспоминать все подробности сна. Может, к добру сон-то? Ведь когда Абулхаир впервые переступил порог ее родительского дома, ей тоже приснилось нечто подобное. Она тогда будто разделявала возле порога огромную тушу матерого волка, и из него тоже лилась не кровь, а белое-белое молоко. И сон этот оказался к добру. Все кончилось благом. Может, так случится и на этот раз?.. Дай-то бог...

С тех пор она лишилась сна. Все в ней точно помертвело. И хотя маленький Адиль теребил ручонками ее обмякшие груди, прилежно почмокивал, она чувствовала себя иссякшей, как иссякает однажды степной родничок, и уже не испытывала ни прежней радости, ни прежнего прилива нежности.

Все вокруг лишилось извечной красоты и притягательной силы. Ничто не радовало взор. На привычный красочный мир, простиравшийся вокруг, она взирала безразлично, равнодушно, точно благочестивый отшельник, отрекшийся от всех соблазнов на этом свете.

Все ее внимание было поглощено хмурыми, молчаливыми холмами, за которыми там, в северном краю, уже столько лет томился ее бедный сын, сыночек Ералыжан.

Все ее внимание было поглощено той, восточной стороной, раздольным побережьем Иргиза и Тургая, по родам и аулам которого разъезжал теперь лишенный домашнего тепла и уюта вечно озабоченный ее муж.

Об одном теперь тревожилась душа: откуда первой придет весть — с северной стороны или с восточной, откуда первым прискачет долгожданный вестник на взмыленном коне...

С каждым днем все более и более охватывало Бопай нетерпение. В город у устья реки Орь путники отправились еще весной, когда кочевье тронулось к летним выпасам. В путь собрались спешно. И наказ был не задерживаться. Значит, пора бы уже им и вернуться. «Если охотник задерживается, надейся на удачу», — гласит мудрость. Кто знает, может, возвращаются с доброй вестью. Что-то вроде без причин запаздывает и хан, подавшийся к родоправителям Среднего жуза. Сам же отправил гонцов с приглашением русского посольства. Так с чего бы ему так задерживаться? Вдруг посольство возьмет да и нагрянет нежданно-негаданно? И что же оно будет делать? Может, до хана уже дошла какая-то

весть? Шакшактинцы Жанибек и Букенбай, помнится, тоже собирались направить своих порученцев в город на Ори. Возможно, их порученцы уже успели вернуться и доложить хану, что ничего особенного и срочного на ближайшее время не предвидится... Однако долго задерживаться там хан не может. Ибо не за горами шумные пиры, которые в этом году должны состояться в прибрежьях Иргиза. Должно быть, и Абулхаир из Среднего жуза не один вернется, а с почетными гостями. Ведь в их краю давно уже не бывал, не гостил славный батыр Жанибек, с которым хан особенно близко сошелся и подружился во время совместного похода на башкир. Не исключено, что хан и поехал-то туда, в Средний жуз, не столько для беседы и совета, сколько для того, чтобы лично пригласить Жанибека к себе. На этот раз на ханский совет соберутся представители отнюдь не со всех улусов и родов. Тщательно ознакомившись с вестями из Ори, старейшины решат, в каком составе надлежит выезжать на предстоящие торжества в русской крепости и кого из правителей знатных родов следует пригласить на совет. Но это не значит, что на этот раз ханский совет пройдет менее торжественно и пышно. Наоборот, совет должен продемонстрировать возросшие в последнее время могущество и популярность хана Абулхаира. Бопай это понял из встреч и бесед хана с султаном Ниязом, Мырзатаем, Байбеком, которые он проводил перед откопечкой из аулов на джайляу.

Особенно большое значение Абулхаир придавал тому, где и каким образом расположить ханскую ставку. С той поры, как приезжало в степь русское посольство во главе с Мамбетом-мурзой, Абулхаир ревниво следил за тем, чтобы все события; происходившие в его резиденции, обставлялись на радость друзьям и зависть врагам особенно внушительно и богато. Еще года три-четыре назад его ставка выглядела довольно заурядно и обыденно. Теперь же она раскинулась широко, занимала немалое пространство побережья с открытым долом, с зелеными выпасами, с озерками, с холмами, с урочищами и напоминала город из нарядных юрт.

Место для ханской ставки было выбрано на редкость удачно. Здесь не было так душно, как в песках. В самую знойную пору дул с верховья прохладный степной ветерок. Да и заселена местность была не так плотно. Никто особенно не донимал, не докучал. К тому же и до Уфы и

до строящегося на Ори городка оказалось в какой-то мере ближе. Сама резиденция хана была расположена на видном месте – на вершине пологого увала. Четыре просторные нарядные десятистворчатые юрты были составлены вместе. Вокруг майханы¹ расположилось еще несколько юрт – для жены, для приближенных, для особо почетных гостей, для встреч и уединенных бесед. Известно, что степняки – казахи, башкиры, калмыки – имеют обыкновение приезжать в гости целыми толпами и при этом чаще всего неожиданно, как снег на голову, без какого-либо предупреждения. Для этих целей было выделено несколько юрт. Они находились на расстоянии крика от ханской резиденции. Между юртами для случайных гостей и майханой расположились главные туленгуты и ханские стражники. Для особо почетных гостей – для посланников белой царицы или для личных представителей наместников Хивы и Бухары – каждый раз ставились отдельные, богато убранные юрты, стелились дорогие ковры и навстречу им – на расстояние ягнячьего перегона – высылались свита. На случай, если придет Жанибек, ему должны были воздаваться почести, которых не удостоивались даже прославленные батыры, правители знатных родов и султаны, лишённые власти. Жанибека полагалось встречать как хана. Для его встречи специально отвели место и приготовили несколько юрт с дорогим убранством. Их поставят за полдня, как только получат весть о его приезде. Именно в эту пору, когда все еще пустовал ханский трон Среднего жуза, Абулхайру хотелось особо выделить Жанибека, который не всякого даже султана считал себе ровней и пользовался в своем улусе весом большим, чем иной хан. Ни Абилямбет, ни Барак не должны и не могли быть удостоены такой высокой чести. На столь высокий прием мог претендовать, пожалуй, один лишь Кушик, и то не потому, что он «белая кость», из знатных тюре, а потому, что приходится Абулхайру сватом. Оказывая Жанибеку столь исключительные почести, хан, с одной стороны, надеялся осрамить спесивых потомков Жадика, указать им их место, а, с другой стороны, подчеркнуть тем самым, что из всех претендентов на полную власть среди нынешних правителей Среднего жуза он, Абулхайр, не видит более достойного человека, чем Жанибек.

¹ Майхана – ханская резиденция.

Поняв дальний расчет своего многомудрого супруга, Бопай отправила несколько молодок-аргынок со своими мужьями к сородичам. Им поручалось разведать, разузнать, как ведет себя в быту Жанибек, что он любит из еды, питья, какие у него пристрастия и слабости.

Видные и удобные места на джайляу были предоставлены и аулам младших братьев Абулхаира, которые зимой и летом держались всегда неподалеку, а также аулам родичей Бопай. И эти аулы всегда могли с честью и достоинством встретить любого гостя, а в нужный момент прийти хану на помощь. Однако и расстояние соблюдалось: ни рев их скота, ни шум малышей, ни лай их собак не должны были потревожить тишину и покой ханской ставки. Коновязь для лошадей также находилась на почетительном удалении от нарядной майханы на вершине увала.

Словом, все было взвешено и продумано. Все было готово к приему гостей, к совету, к приезду послов издалека.

Только ниоткуда не было вестей — ни от хана, ни из городка у устья реки Орь. И это тревожило, изводило душу Бопай...

Первая весть пришла с устья реки Орь. Выяснилось, что посольство находится в пути. Сам Байбек решил остаться при гостях, а в ханскую ставку отправил наперед Итжемеса. Тот должен был выяснить, вернулся ли хан из поездки в Средний жуз. Если нет — то надо было его заблаговременно известить о послахе. Пока хан вернется в орду, Байбек займется гостями, не спеша ознакомит их с местностью. Люди они, видать, дотошные, обо всем на свете расспрашивают, а раз так, то он, Байбек, уж как-нибудь сумеет удовлетворить их любопытство.

Простодушный и безалаберный Итжемес, все еще не остепенившийся, хотя и стал отцом троих детей, заполошенно, точно козел, преследуемый собакой, ворвался в юрту ханши, с ходу выпалил слово в слово наказ туленгута и, разинув рот, выставился на байбише Бопай, ожидая ее распоряжения.

Ханша глядела на него молча и с недоумением, будто не расслышала его слов. Казалось, она втайне надеялась, что порученец сообщит ей еще что-нибудь очень важное. Но губошлеп Итжемес молчал, словно враз проглотил язык. Другой на его месте наверняка тараторил бы без умолку,

рассказывая во всех подробностях о том, что видел и слышал. Неужто ему, дуралею, не хватает ума поведать истосковавшейся матери хотя бы о ее сыне, отданном в аманаты? Странно: за какие такие достоинства хан взял его к себе в нарочные? Может, как раз за умение помалкивать? За то, что к сказанному ничего не добавляет и не убавляет?

Как бы там ни было, Итжемеса ныне не узнать. Давно ли слонялся он по аулу в отрепьях и рвани? Да и сам вечно ходил в струпьях, в ссадинах, точно побитый пес. А теперь и приоделся, и рожа лоснится, и глазками туда-сюда шныряет. И все оттого, что повезло ему с женьитьбой. Не бабу аллах ему послал, а сущий клад. Только и шушукуются в ауле: «Рыжуха нашего губошлепа плодови́та, как кошка. Если не будет на нее управы, весь аул вскоре наводнит рыжими ушастиками». Но какая может быть управа на бабу, коль аллах наградил ее столь щедрой утробой? Да и какой казах осуждал когда-либо долгополюю за брюхатость? Вот и ходит Мария опять гора горой, того и гляди разродится двойней. Откуда что только берется! Недавно еще невзрачной девчонкой была, тоненькая, как былинка, с распущенной косой моталась по аулу, а ныне такой крутобедрой, задастой бабищей обернулась, что и не знаешь, с какого к ней боку подступиться. В серых глазищах ее, однако, такие бесенята играют, что аульные остряки, облизываясь, диву даются: «Чего там добился хан Абулхаир, пригласив посольство от царицы, не нам судить. А вот уж кому перепало – так это Итжемесу! Не проторчи русское посольство два года в ханской орде, этому губошлепу век бы не видеть бабы, как своих ушей. Да ее бы наверняка уволок первый встречный ухарь...»

Итжемесу же и дела нет до подобного трепя. Пусть мелют! Язык ведь без костей. Ходит себе Итжемес, ухмыляется, будто дурачок какой. С утра до вечера увивается вокруг туленгута Байбека. Такова воля самого хана, не кого-нибудь. И это-то удивляло Бопай больше всего. В чем тут загвоздка? Что в этом недотепе нашел ее дальновидный супруг? И только теперь, кажется, начала догадываться.

Обычно, задумав что-то важное и срочное, Абулхаир прибегал к услугам Куттумбета, Сейткула, Карабаса, а также шурина Мырзатая, людей опытных и искушенных в

разных переделках. В последнее же время в связях с Уфой хан все охотнее использовал Байбека. Должно быть, чем-то он ему больше подходил. Что удивительно, этот ловкий, пронырливый джигит, до поры до времени ничем особенно не выделявшийся, кроме как в мелких аульных делишках, стал с легкостью необыкновенной проворачивать самые серьезные и ответственные дела. Он запросто находил общий язык и с высокородными правителями, и с пройдошливыми купцами. До него посланниками и доверенными хана служили главным образом его же близкие и дальние родственники. А они, как правило, не лишены спеси и всюду ищут прежде всего особого расположения или почета к своей персоне. Попробуй не воздать им по заслугам, хотя бы и мнимым, они тотчас почувствуют себя ущемленными и униженными, ударятся в амбиции и обвинят во всех грехах, понятно, не столько себя и тех, к кому ездили с поручениями, а самого хана, их же благодетеля. И потому хан предпочитал посылать их по разным делам в мусульманские орды или к калмыкам, с которыми их как-никак связывали единые или схожие обычаи, нравы, манера обхождения, а для деловых связей с русскими, большей частью еще загадочными, непривычными, использовал расторопных, услужливых и лишенных болезненного тщеславия чужеродного Байбека и низкородного Итжемеса. С ними нет никакого горя. Единственная их забота, чтобы дело спорилось да в брюхе не урчалло. Все остальное их не касается. А попробуй пошли с поручением какого-нибудь самодовольного казаха! Упаси аллах, от досужих разговоров уши начнут вянуть. Начнет на каждом углу расписывать, какие лишения он терпел, через какие неудобства прошел, даже, дескать, нужду справить по-людски в русском городке-муравейнике не смог, едва не провалился в поганую яму, и коню его пастись негде было, так и простоял в затхлой конюшне, и кормили его из корыта, точно свиной какую, и что, мол, и уцелел-то он, посол ханский, благодаря лишь своей выносливости и сметливости. И из этих длинных разговоров получается, что хан обязан такому порученцу за столь ничтожную услугу едва ли не до окончания дней своих. А у Байбека и Итжемеса никаких претензий. И никогда ни на что они не жалуются. Наоборот, если им несколько месяцев не светит дальняя дорога, они впадают в уныние и тоску и в родном ауле не

находят себе места. А намеки им только, чтобы седлали коней и готовились завтра же в путь, так сразу встрепенутся, просятся лицами, точь-в-точь пылкий джигит, собирающийся на смотрины невесты.

У Итжемеса и вовсе ни в чем не бывает отказа. Его не надо ни уговаривать, ни упрашивать. Легок на подъем и неприхотлив. То и понятно: не избалован почестями или уходом. Никто не потчует его в ауле жирной кониной, никто не поднесет ему на подносе опаленной головы молодого барашка. Вот почему он спит и видит во сне русский городок, где он по крайней мере всласть напьется ячменной бузы и от пуза наестся солдатской каши.

Не сидится Итжемесу дома. Побыв со своей Мариям месяц-другой, он начинает томиться, маяться и докучать Байбеку:

— Погадай-ка, Байеке, на бобах. Не сулят ли они нам скорой дороги? А то от айрана-шалапа такая напасть на меня обрушилась, что все подворье опоганил. Мочи уж нет...

Туленгут Байбек обычно похохатывает в ответ и подтрунивает над своим постоянным спутником.

— Вот непоседа! Едва ли две ночи за двенадцать месяцев дома ночует, а баба каждый год по рыжему щенку на свет производит. И как это вам только удается?!

Так они беседуют, зубоскалят, насмешничают друг над другом в ожидании возжеленной поездки в Уфу или в крепость у устья Ори.

Ну, хорошо, продолжала размышлять ханша Бопай, положим, Байбек исполнителен и надежен, потому хан и благоволит к нему. Но чем же Итжемес пришелся ему так по нраву? Неужто и в этом шалопае он разглядел какие-то достоинства?

И на этот вопрос ханша Бопай нашла-таки в последнее время ответ. В самом деле, отправляя порученца к русским, никогда заранее не знаешь, что из этого выйдет. Да и о поручении этом чаще всего никому не скажешь. Ведь русских всегда приходится о чем-нибудь просить. А как воспримут они твою просьбу — о том можно только гадать. Пошлешь кичливого казаха, а он вернется с удачей, тогда подхалимы-краснобаи начнут его расхваливать на все лады и возносить до небес: мол, конечно, без такого посланника хану пришлось бы ой как худо, да разве кто-нибудь другой справился бы с таким щекотливым дель-

цем – да ни за что и никогда!.. Так что от таких услуг не возрадуешься. Для таких дел, разумеется, незаменим посланник поскромнее да понезаметнее, который к тому же умеет держать язык за зубами. А если сопровождает его еще и расторопный джигит, с виду придурковатый, а на деле малый не промах и ушлый, то чаще всего можно уповать на удачу. Такие не подведут. И поручение твое исполнят беспрекословно, и тайну твою сберегут. Действительно, перед кем, скажем, выхваляться чужеродному пришельцу – туленгуту Байбеку? Где у него брат или сват, с которыми стал бы он делиться своей тайной? Или возьмем того же Итжемеса. Откуда ему знать, с каким поручением старший туленгут Байбек отправляется в город? И кто станет его, низкородного, посвящать в какие-то тайны? И какому самодовольному казаху охота слушать его бред? А тут еще и баба у него русская. Заявится какой-нибудь правитель, выпучит рыбы глазищи, встопорщит усищи, дескать, откуда здесь русская служанка, не пленница ли, или невольница, а ему и ответят: «Прости, господин хороший. Никакого отношения к этой бабе не имеем. Вот ее богом данный супруг!» И укажут при этом на Итжемеса, которого тот же начальник не раз и не два уже до этого имел возможность лицезреть в городе. И все шито-крыто! Полный порядок!

Таков был немудреный ханский расчет. И именно эти соображения вывели вчерашнего ничтожного слугу, которым помыкал каждый, кому не лень, в путного, нужного человека.

Теперь он, опустившись на колени, привычно балаболит и вконец сбил ханшу с толку.

– Так сколько же, выходит, урусов едет к нам? – уточнила Бопай.

– О, в том городе нам так обрадовались, что все, как один, пожелали поехать с нами. Но всех-то, почтенная ханша, ведь не возьмешь! Вот начальство и отобрало лишь девятерых. Пятеро из них – аскеры.

– А Мамбета-мурзы нет? Из знакомых есть кто-нибудь?

– Есть! Тот самый – помните! – долговязый Сартайлак. Всех он, дьявол, помнит и обо всех расспрашивает. И еще пристал к нему, как репей, матерщинник Балпак. По-казахски сквернословит – хоть уши затыкай. Тычет пальцем мне в одно место ниже пупка и говорит...

– Ладно, – усмехнувшись, оборвала его Бопай. – О том другим расскажешь при случае. Ответь лучше: кто остальные?

– Остальные?.. Еще трое русских. Один, рассказывают, англичанин вроде. Другой – немец, что ли... Еще один – татарин.

– Так сколько же их получается?

– Я же сказал: девять.

– Ну, ладно. А кто из них главный?

– Главный – какой-то вертлявый, суетливый чужеземец. На сорванца-мальца похож.

– Почему так решил?

– А чего тут, ханум, решать? Сразу видно. С казахами, я заметил, разговаривает обычно самый низкий чин. С ними всю дорогу калякал татарин по имени Кулбай. Рассказывают, один из помощников Мамбета-мурзы. То, что мы ему говорим, он толмачит на русский. Каждое его слово тут же подхватывает рыжий юнец по имени то ли Ди-трик, то ли Ди-шрик, шайтан его знает, несурзное какое-то имя – и переводит на немецкий. А англичанин этот вроде по-немецки кумекает. И по тому, как все из кожи лезут, чтобы угодить ему, я и догадался, что он и есть самый главный.

Но, видно, соображения смышленного Итжемеса сейчас меньше всего занимали чем-то озабоченную Бопай. Она нахмурилась.

– Ладно. Сыночка-то моего, Ералыжана, видел?

– Ну как же? Видел! В настоящего джигита вымахал.

– Как же ему, бедному, живется?

– Да неплохо, должно быть. Все меня кашей и хлебом потчевал. «Ты, говорит, поешь любишь. Давай, нажимай!»

В глазах Бопай блеснули слезы.

– А еще что сказал?

– Сказал: «Ныне вы там, в степи, всласть полакомились, видать, молозивом».

– Ах, бедняжка... Спаси его аллах! А ты что ему сказал?

– Что я скажу?.. Говорю: «Да, мой ханзада, белой пищи в степи навалом. Только вот такой каши и такого хлеба там и во сне не увидишь».

Ханша печально, через силу улыбнулась.

Итжемес, исполнив наказ Байбека, подался домой.

Вскоре в Тургай поскакал нарочный. Бопай предалась раздумьям. Странно, однако. С какой стати главным в русском посольстве быть англичанину? До сих пор подобные посольства возглавлял либо русский, либо кто-нибудь из крещеных татар или башкир. Англичане же, насколько ханше известно, обитают где-то за тридевять земель. Что они потеряли в казахской степи? Может, Итжемес что-то напутал?..

Сколько бы ни думала Бопай, а так ни до чего и не додумалась. А тут и весть дошла о том, что хан повернул коня в родной аул.

Каждый день Байбек присылал какого-нибудь вестника, сообщая, в каком ауле остановилось нынче посольство. Сообщения были разноречивыми. По мнению одних, главным в этом посольстве должен быть Кулбай, ибо только он обладает, мол, здравым смыслом. Другие уверяли, что главным в русском посольстве может быть лишь русский, и называли начальником матерщинника по прозвищу Балпак. В отношении же странного англичанина у всех вестников мнения сходились: чудак какой-то, с причудами. Всем интересуется, все спрашивает, точно малец несмышленный. Заметит на ком-нибудь какую-либо побрякушку, тут же допытывается: «Что это?», «Откуда?», «Сколько стоит?» Как-то в одном ауле подали ему кумыс, а в нем плавал разный сор. Заметив, что англичанин явно смущен этим обстоятельством, Байбек поспешно пояснил: «Чтобы кумыс скорее заквасился и стал более терпким и вкусным, казахи добавляют в него конский волос». «Ах, так! — воскликнул доверчивый англичанин и, залпом опустошив чашку, удовлетворенно заметил: — В самом деле, очень вкусно!» Когда вечером, уже в другом ауле, ему подали кумыс без единой соринки, англичанин возмущился: «Почему не добавили конский волос? Невкусно!» И еще рассказывали, что англичанин при всем своем простодушии весьма искусный лекарь. Любую хворь якобы как рукой снимает. У бая Кудеры вечно слезились и наливались кровью глаза, как у бешеного пса, а англичанин связал его, засыпал в глаза белый порошок и вылечил беднягу за одну ночь.

Весть о новом русском посольстве во главе с неким англичанином обрастала причудливыми и нелепыми подробностями, с каждым днем разрасталась, докатываясь, с одной стороны, до Элека, Кобда, с другого края — до

Ишима и Иртыша. Об этом говорили повсюду и все – и случайные путники, и охотники, и зеваки.

«Ну и ну! – говорили. – К Абулхаиру послов шлет не только русская царица, но и правители англичан и немцев».

«Да-а...– изумлялись. – Привалило счастье дьяволу серолицему. Слава его конем по земле скачет!»

«То-то же! – заключали глубокомысленно. – Не случайно, видать, всю зиму шастали к нему гонцы от джунгар, из Бухары, Хивы и Ташкента. Почуяли, значит, куда ветер дует...»

Слухи эти возвеличивали и загадочное посольство, приближавшееся к ханской ставке, и самого хана, в ауле которого предстояло необычное событие.

Сомнения и тревоги не покидали Болай. Что за посольство такое? Ни одного достойного человека в нем. Может, бродяги какие? Как бы не опозориться. А то будут потом злорадствовать по всем углам и шушукаться враги-неприятели: «Ай да посольство пожаловало к Абулхаиру! Стыд и срам!»

Однако сам хан был спокоен. Он не препятствовал распространению слухов и кривотолков. И не торопил неведомых послов, которые, судя по сообщениям вестников, с явным удовольствием путешествовали по степному приволью.

Помнится, когда в ханскую ставку впервые приезжал Мамбет-мурза, волнений и хлопот в аулах было много. Теперь же к приезду нового посольства все отнеслись более спокойно. Подумаешь, чужеземец! Ну и что? Небось такой же смертный, как и все, с руками и ногами. И тоже, надо понимать, от длиннополой бабы родился.

Когда русское посольство добралось до аула батыра Тонаша из рода кете на расстоянии однодневного перехода от ханской ставки, навстречу ему выехали посланники хана – султан Нияз, Мырзатай, Кожахмет и Туяк.

В ауле рода кете, густо расположившемся вдоль длинного увала, было необыкновенно многолюдно, словно на пиру. Сюда же прибыли и соседи – пешие и верховые. Посольская карета, тяжело покачиваясь на ухабах, с трудом пробиралась через густые заросли трав, приближалась к аулу, сопровождаемая шумной ватагой зевак. Над толпой колыхался – верхом на коне – пышноусый крючконосый Байбек в окружении пяти обвешанных оружием

казаков. Впереди на рыжем жеребце важно восседал верзила с сильно обветренным, как бы опаленным лицом. И у него усы были лихо закручены, точно рога у барана.

Рядом с кучером на козлах сидел светловолосый лохматый молодец и щедро улыбался всем издалека.

Карета остановилась неподалеку от белой юрты, возле которой толпились в ожидании важных гостей султан Нияз, Мырзатай, Кожамет, а также местные почтенные аксакалы и карасакалы. Верзила с опаленным лицом ловко спрыгнул с коня и распахнул дверцу кареты. Потом несколько раз кряду потопал ногами, обутыми в громадные сапоги, вздымая пухлую пыль, словно втоптывал в землю невидимую змею, весь странно задергался несуразно длинным телом, щелкнул яростно каблуками и вдруг застыл, замер, будто пронзила его зубная боль.

Первым вышел из кареты серолицый мужчина в черном, со стоячим воротничком сюртуке, в круглой черной шапочке-такие и, улыбнувшись всем собравшимся, приложил правую руку к левой груди.

— Ассалаумагалейкум!

Почтенные ответили сдержанно, не очень дружно:

— Алейкумсалам!

Мужчина в круглой шапочке учтиво посторонился, встал рядом с рыжеусым верзилой.

Вторым из кареты выскочил тонкошей худенький подросток, вспыхнул весь от смущения, неумело и торопливо поклонился старейшинам. Тотчас, словно боясь опоздать, спрыгнул с козлов и лохматый улыбчивый молодец и тоже встал рядом.

Последним выбрался из кареты англичанин.

Да, молва о его странностях, судя по всему, имела основания. Весь его облик казался нелепым и смехотворным. Ковыльного цвета волосы были взлохмачены и космами спускались на плечи. Сзади, меж лопаток, торчала смешная косичка со вплетенной черной лентой. Тесный жилет плотно облегал его торс и был притален, как у девушек. На шее болталась разноцветная тряпка. Но особенно поражали штаны на нем. Таких в степном краю никто еще не видывал. Белые, атласные, короткие, тонкие, в обтяжку! Казалось, они срослись с телом, и было непостижимо, каким образом он умудрялся натягивать их на себя. Особенно неприлично бугрились они спереди и сзади. И, глядя на эти бугры, многие не удержались —

захихикали. Англичанин, однако, ничуть не смутился, легко, быстро перебирал ножками в башмаках на высоких каблуках, словно ступал не по земле, а по раскаленным угольям, и вертелся, кружился на глазах опешившей толпы игривым козликом.

В степи исстари повелось, что порядочный путник прежде всего отвешивает почтительный поклон старейшинам. Но этот потешный с виду чужеземец, видно, о том и представления не имел. Он подошел сперва к чумазым, круглоголовым, черноглазым малышам, которые испуганно жались к родителям, опустился перед ними на корточки, достал из кармана большой чистый платок и принялся вытирать им сопливые носы и слюнявые рты, трепать по щечкам и гладить по бритым головкам. После этого англичанин подошел к дряхлым старухам, стоявшие, опираясь о посохи, в сторонке, и приложился губами к их рукам. У старух от изумления едва не отвалились челюсти. В это время гость заметил, как неподалеку стайка нарядно разодетых девушек и молодок с любопытством взирала на приезжих, и тотчас двинулся к ней, посылая им пылкие воздушные поцелуи и сгибался в смешных позах. Девушки прыснули, прикрыли рты ладошками и еще теснее сгрудились, смущенные нелепыми выходками чужеземца. И только после этого он направился к старейшинам.

Тут-то и началась потеха. Когда круглоглазый, краснотубый гость, белозубо улыбаясь, вплотную подошел к тесному ряду почтенных людей, толпа поневоле отшатнулась:

— Астафиралла! Он баба или мужик?

— А тебе не все равно?

— Тебя ведь не спать с ним укладывают...

Гость, словно желая окончательно сразить и без того обескураженную толпу, вдруг сорвал с головы широченную шляпу с пером, трижды помахал ею у своих ног, изгибаясь в поклоне так, что, того и гляди, голова отвалится, потом взялся выделывать ножками какие-то замысловатые движения, вприпрыжку отступил назад, дергаясь всем телом, точь-в-точь шаман во время камлания, выказывая тем самым, должно быть, особый почет, уважение.

Даже остряки умолкли, глядя на потешные выходки пришельца. И когда толпа совсем уж опешила, не зная,

как быть и что делать, вышел вперед серолицый мужчина в круглой черной шапочке и начал торжественную речь на татарском наречии:

— По высочайшему указу ее императорского величества Анны Иоанн-кызы, а также по заданию правителя всего Оренбургского края его превосходительства статс-советника Ивана Кирил оглы Кирилова и высокочтимых господина полковника Мамбета Кутлык Мамаш оглы и господина атамана города Оренбурга подполковника Якова Федор оглы Чемодурова к вам пожаловать изволил многоуважаемый гость из государства Британского, родом-миллятом из инглизов господин Джон Кестли!

Гость в плотно обтянутых штанишках заплясал, точно строптивый неук, на месте, выписывая правой рукой замысловатые знаки в воздухе.

Серолицый в черной шапочке-такие продолжал:

— Сей юный отрок — толмач Дитрих Юстус! Из государства российского, рода-миллята немецкого.

Тонкошейей подросток, вспыхнув лицом, поклонился.

— Конторский служащий Сергей Костюков!

Рыжий долговязый молодец, который все это время не переставал щерить в улыбке рот, прижал руку к груди и склонил голову.

Толпа загудела.

— Эй, так это же Сартайлак, тот, что приезжал в тот раз с Мамбетом-мурзой?!

— Да, да! Он самый!

— То-то все щерится, будто к родичам жены в гости пожаловал...

Серолицый в черной шапочке, выдержав паузу, объявил:

— Казак города Уфы Сидор Цапаев!

Верзила с обожженным лицом дотронулся до кончика пышных усов.

— А эти — военный конвой!

Четверо казахов, так и не слезших с коней, слегка кивнули головами.

— Я сам буду из города Касимова. Родом-миллятом — татарин, зовут Кулбаем.

В толпе переглянулись. Что же это получается? По виду столь нелепый и несуразный попрыгунчик-чужеземец после торжественных слов татарина-толмача прямо-таки вырос на глазах. Видно, чем вычурнее звания, чем

непонятнее и затейливее должности, которыми облечен человек, тем крупнее и значительнее кажется он толпе. Вот и этот англичанин, если смотреть со стороны, — так себе пустышка, легкомысленный человек, ветер в голове, все поступки-манеры как у егозливового мальчика, а гляди-ка, что за ним стоит, что за ним кроется. То-то же! По тому, что его знает сама русская царица и имя его на устах многих высокородных правителей, сразу видно, что он не простой встречный-поперечный. Наверняка или сват, или зять венценосной повелительницы державы. Ведь известно, у кого власть, у того и благо. И тот, кто однажды взобрался на трон, благодетельствует лишь своих, лишь тех, кто близок по роду и крови. Разумеется, за исключением слуги, который, как говорится, с дровами заходит и с золой выходит.

Так, глядя на посла-англичанина, думал каждый степняк про себя.

Но англичанина, видно, меньше всего занимало то, о чем думали сейчас степняки. Покончив с церемонией встречи, он заметно утомился, взопрел, быстро оглянулся вокруг, выставил грудь степному ветерку, пролопотал на своем языке, должно быть, «Боже, какая жара, какая духота!», и вдруг сорвал с головы, как всем почудилось... разлохматившиеся, ковыльного цвета волосы. Толпа ахнула, увидев на голове чужеземца короткие, прилизанные волосы совсем другого цвета.

— Помилуй, аллах!

— Вот диво! Волосы под волосами!

— Эх, он, может, факир или колдун какой-нибудь?

— А вдруг и другие части его тела разборные?

— Ясное дело: простого смертного, как мы с тобой, русская царица к нам не пришлет.

— Конечно, разве отправился бы он в такую даль, не будь у него в заступниках святые духи-аруахи?!

— Да, да!.. Смотри-ка, как ноги расставил! Видать, и впрямь обладает колдовской силой.

— Поберегись! А то заговором в букашку превратит.

— С него, дьявола, станется!

Англичанин не понимал и не догадывался, о чем галдела толпа. Казалось, он на нее и внимания не обращал. Морщась, покосился на нещадно палившее в зените солнце, потом достал из-за пазухи небольшой предмет, поднес сначала к уху, затем с легким щелчком открыл крышку, взглянул разок и улыбнулся про себя.

Толпа и вовсе опешила. Англичанин поднес блестящую штучку к уху стоявшего рядом Кожакмета. Тот от удивления раскрыл рот, прислушался и вдруг в ужасе закатил глаза. Маленькая железная игрушка четко и грозно выговаривала ему, как бы отчитывала: «Так те-бе! Так тебе! Так тебе!» Потом почудилось, что и вовсе рассвирепела: «Ти-кай! Ти-кай! Ти-кай!» Кожакмет отпрянул. О, аллах! И в самом деле, должно быть, колдун. Даже крохотная железка в его ладони заговорила!

Нашлись и другие охотники послушать чудо-игрушку. Дряхлый старикашка, снедаемый любопытством, тоже вызвался послушать, взял в дрожащие руки крохотную загадочную железку, щебечущую, точно желторотый птенец в гнезде, но от волнения выронил. Толпа, наблюдавшая за ним, затаила дыхание. Члены посольства, сопровождавшие англичанина, недовольно нахмурились. Сам чужеземец, однако, виду не подал. Продолжая снисходительно улыбаться, ловко нагнулся, поднял и поднес к уху говорящую железку и еще что-то при этом сказал.

– Смотрите, а он, похоже, и не сердится. Только щерится во весь рот.

– Добрый, значит, человек.

Вечером в честь гостей зарезали жирненького барашка раннего расплода. Нежные, как молозиво, жиром истекавшие куски мяса дымились горой на деревянном подносе, но англичанин ел сдержанно, осторожно, много смеялся, много рассказывал, много расспрашивал, и любопытные степняки до глубокой ночи толпились, слонялись вокруг просторной восьмистворчатой белой юрты, ловя обрывки фраз и довольствуясь тем, что слышат хотя бы голос чудаковатого иноземца.

А уже на другой день поползли-потекли во все стороны разноречивые слухи, сотканые из отдельных слов и обрывков фраз, прозвучавших накануне вечером за обильным дастарханом.

– Слышали? Говорит, до осени новый город построим.

– А базар в том городе, говорит, будет невиданный.

Понаедут купцы со всего света, товаров навезут – тьму!

– Если выделите, говорит, подводу и караванщиков, завалим даровой мукой и сахаром.

– Как город достроят, сама царица, говорит, припожалует благословлять его, а в честь Абулхаира и знатных родоприврателей закатит пир.

– Самая пора готовить скакунов и борцов-палуанов для байги и состязаний.

– Эх, побыть бы на том пиру!..

– Да, да... Как раз тебя, шелудивого, там не хватало.

– А дьявол этот волосатый, оказывается, искушен в казахских делах. Про аул Букенбая, Есета, Туле бия расспрашивал.

– И учтивому обращению уже научился. Байбека уважительно называет «Баке», а к Шагирбаю обращается не иначе как «Шаке»...

– Смышленный, видать, тертый...

В ауле хотя и потешались, подтрунивали слегка над посольством, однако в общем-то пришлось оно всем по душе.

– Ведь серьезное начальство, не нам чета, а держится как скромно и просто!

– Да, да... Поразительно! Шелком носы вытирает, сукном ноги обматывает, а с чабанами-слугами ведет себя запросто, как с ровней.

– А у нас не только высокородное, но и безродный какой-нибудь туленгут разговаривать с черным человеком брезгует.

– Да что про туленгута говорить! Последний ханский холоуй, и тот норовит над тобой поизголяться. Знаете этого придурка-есаула, что вестником при хане? Как его кличут-то? То ли Калбек, то ли Калбай. Так вот, прискакал этот дурень ко мне, как заполошенный. А я как раз верблюдицу свою на случку привел. Ну, и нарушил поганец случку. «Что ты наделал?!» – говорю. А он как заорет: «Заткнись! Не то бабу твою под верблюда-самца подложу. Пусть потешится!» Да еще и огрел разок плетью.

– Да... Он такой. Горлодер! Охальник!

– А у этих, послов-то, сколько подарков! Чуть что – то пахучее мыло, то гребешок, то зеркальце тебе в руки суют.

– Иные бессовестные и пользуются их щедростью. По пять раз на глаза им лезут, попрошайки!

Многие в аулах старались, однако, не оставаться в долгу, платили добром за добро и тоже одаривали пришельцев всякой всячиной.

– Странные все же люди эти русские! Не такие жадные и ненасытные, как наши правители, – поговаривали в аулах. – Нашим хоть верблюда дари – с шерстью про-

глотят и не подавятся. А этим скотину какую подведешь – руками и ногами отбрыкиваются. Зато пастушьей свистульке, или свинцом залитой бабке, или девичьей вышивке, или плетеному из сыромяти ремешку радуются как дети. Чудаки!

Особенно посмешил народ некий Сагалбай – простодыра из аула Тонаши. Он побежал вслед за отъезжающими гостями и отчаянно совал в руки англичанину небольшой черный продолговатый футляр, умоляя: «Ничего подходящего у меня больше нет. Возьми хотя бы это. Не возьмешь – смертельно обижусь!» Англичанин – делать нечего! – принял подарок, открыл футляр и покачал головой, закатил глаза, изображая крайнюю степень удивления. «Бог ты мой! Откуда это у тебя?» – спросил он. И простодушный малый принялся подробно рассказывать. «Когда в эти края приезжал Мамбет-мурза, я подвизался у султана Барака и отправился к туркменам. Там в песках Асмантай-Матая мы натолкнулись на караван русской царицы, направлявшийся в Хиву. Видя, что каждый хватает все, что попадет под руку, я тоже цепился в кожаный чехол, болтавшийся на шее бородача-уруса. Чехол я, понятно, распорол. Кожу пустил на задники сапожек для своей бабы. А вот эта штука за ненадобностью так и валялась дома. Если тебе пригодится – буду рад. Возьми ради аллаха!» Бог знает, о чем бы еще поведал растяпа Сагалбай, не останови его осторожные старики. «Ты что мелешь?! Какой караван? Какие туркмены! Смотри, наступишь невзначай на спящую змею, кто тебя за язык-то тянет? Скажи просто: «Когда-то пас верблюдов из одного бухарского каравана. И караван-баши за мои труды подарил эту штуку». Вот и все». Джигит-недогепа спохватился. «Да, да... Совсем запомнил... Так и было. Именно так и было...» Толмач-татарин, смекнув, что дело тут нечисто, перевел англичанину лишь слова стариков. Тот повеселел лицом, просветлел, похлопал Сагалбая по плечу: «Молодец! Хороший подарок!» Собравшиеся начали допытывать толмача: «Неужели ценная вещь?» «Прибор для черчения», – не очень ясно ответил татарин. Сагалбай раздосадованно хлопнул себя по ляжкам. «Вот-те раз! Выходит, султан Батыр сам ничего не знает. Мне он сказал, что это длинная вилка, которой русские вытаскивают куски мяса из котла».

Чего только ни говорили в степи о вновь прибывшем

посольстве... Слухи-сплетни, естественно, не миновали и аул Абулхаира. Хан и так, и сяк раскладывал их, точно гадалые бобы, и предавался глубоким раздумьям.

Когда из Среднего жуза пожаловал к нему тот хитроглазый бродяга-лазутчик в сопровождении Асана Абыза и Жаукайтара, Жанибекова сына, Абулхаир принял твердое решение. Он понимал: времена смутные, сложные, степняки склонны верить самым невероятным слухам, и потому сбить их сейчас с толку проще простого. Достаточно объявиться откуда-нибудь какому-то смутьяну, наподобие его ночного гостя, и затеять поджигательские речи о том, что, мол, русские никак не могут сладить с мятежными башкирами и что ничего доброго от них многочисленным казахам не перепадет, что, дескать, строящийся городок-крепость завтра же развалится и рассыплется в прах, как доверчивые казахи мигом отвернутся от него, Абулхаира. Потом попробуй переубеди их и обрати вновь в свою веру! Сколько понадобится времени и усилий! Значит, надобно опередить события, не допустить ослабления своей власти и популярности в степи. Решив так, Абулхаир на другой же день пригласил Байбека на уединенную беседу и долго, обстоятельно внушал ему:

— Отправься немедленно к русским. Передай им: в степи объявился тайный посланник турецкого султана. Он настойчиво мутит народ. Говорит, что русские покинули Оренбург, никак не могут усмирить бунтующих башкир, поэтому самое время подняться и вам против русских и выставить срочно двадцать тысяч конных воинов. О том же долдонят день и ночь и лазутчики Калмака Абыза. Пусть русские знают об этом и примут срочные меры. Лучше всего, если они пришлют послов. Это заставило бы казахов одуматься и удержало бы их от дурных намерений.

Абулхаир наказал это строго. Говорил убедительно. То была, с одной стороны, сущая правда, а с другой — хитрость, уловка, тайный расчет. Если не говорить обо всем всерьез и при этом не преувеличивать немного опасность, русские могут не придать всему этому должного значения и отмахнутся, дескать, оставьте, не до вас, и так хлопот полон рот, а вы еще о каком-то посольстве просите. Расчет его удался. Русские вняли его просьбе. Не сегодня завтра прибудет в его ставку желанное посоль-

низко согнувшись, покорно переступил через порог, тут же грохнулся на колени и трижды коснулся лбом паласа под ногами.

Англичанин озабоченно заметил:

— Да, очень сложный ритуал. Хорошо, если научусь исполнять его до завтрашнего утра.

Все его слова, поступки и манеры свидетельствовали о том, что человек он добрый, искренний и доверчивый. И Абулхаиру, которому обо всем исправно докладывали, не терпелось скорее увидеть чудаковатого посла.

На другое утро в сопровождении многочисленной толпы тщательно разодетый на иноземный лад англичанин направился в майхану, составленную из нескольких юрт. Посла торжественно вели под руки Байбек и Шигирай. По тому, как они намертво держали его под локоток, можно было подумать, что вели не посла, а особенно опасного вора, пойманного на месте преступления. Когда до входа в майхану осталось шагов десять, Байбек выступил вперед, чтобы доложить хану. Через некоторое время вышли навстречу двое джигитов и, отделив от толпы посла и двух толмачей, повели их в ставку.

На почетном месте напротив входа сидел в пестром чапане хан. Слева от него расположился знакомый послу султан Нияз. Между ними пустовало место для одного человека. Юного улыбающегося джигита по правую руку хана посол также узнал сразу. То был султан Нуралы, который прошлой осенью приезжал в строящуюся крепость. Вслед за ним сидел младший султан Кожамет — тот самый, который при встрече так сильно испугался тиканья карманных часов. Далее по обе стороны чинно восседали почтенные аксакалы и карасакалы. Все точь-в-точь, было так, как объяснял англичанину при отправлении в степь султан Ералы и батыр Котыр. Только вот восточные поклоны, которым его учил вчера Байбек, как назло, напрочь вылетели из его головы. «Ах, какая досада! — подумал про себя англичанин. — Можно было рассмешить честную компанию. Достаточно этих людей один раз рассмешить, как найти общий язык с ними уже нетрудно. Пока их не рассмешишь, они никому не верят и никого не замечают. Чудной народ, простодушный. Точно дети. Впрочем, таких людей на свете немало. Чем нелепей и смешней ты покажешься им, тем легче и проще войти к ним в доверие...»

ство. Но тут опять может возникнуть опасность с двух сторон. Ненадежные, переменчивые казахи при виде куцега посольства завтра же скривят рожи. Дескать, тоже мне посольство, сброд какой-то, ничуть не лучше наших же Байбека и Итжемеса. И послы, глядя на самодовольных казахов, разжиревших от кумыса и мяса, могут и засомневаться: видно, обманул нас хан, хитрит что-то, никакой опасности и в помине нет. Так как же быть? Где же выход? Прикинув все возможные последствия, хан решил ничего не сообщать родоправителям до тех пор, пока он сам не переговорит основательно обо всем с русским посланником. Вызнав все, он подробно осведомит его о положении в степи. Было ведь обговорено с русскими, что как только город будет построен (а намечалось это на лето), его, хана, пригласят и устроят в его честь пир, а от всех старейшин родов будут взяты аманаты. О том было объявлено всенародно, между тем время проходит, а русские упорно молчат. И если так будет продолжаться, то, несомненно, поводыя подданства ослабнут и только-только налаживающиеся отношения могут пойти на убыль, а то и сведены на нет. Надо, чтобы прежде всего в этом убедился сам легковесный посол-чужеземец, который своими чудачествами и выходками лишь забавляет простодушный аульный люд. И до тех пор, пока тот не созреет для такой мысли и не укрепит в ней, хан не выпустит его отсюда и никого из родоправителей не известит о его приезде.

На следующий день Абулхаир отправил вестника в аул Тонаши, приказав привести посольство в ханскую ставку. На исходе полуденного намаза на вершине холма за аулом показалась одинокая карета в сопровождении многочисленных верховых. Белесая пыль, вздымаясь, покрыла белокошомные юрты, поставленные для гостей на отшибе от ставки на расстоянии скачек стригунков. В тот день в этих юртах провели «еру» – пир по случаю приезда. Ханские туленгуты угостили посольство на славу, доставив ему несколько бурдюков кумыса и громадные куски вареного мяса на деревянных подносах – табаках.

Во время угощения англичанин все допытывался:

– Какие по вашему обычаю почести оказывает гость при первом посещении хана?

Байбек решил показать это наглядно. Он, не поленившись, встал, вышел из юрты и некоторое время спустя,

Джон Кестли снял шляпу с пером и изобразил тройной реверанс на французский лад.

Абулхаир поднялся, пожал ему руку и подвел к свободному месту рядом с собой. Потом вежливо поинтересовался, как доехали, как их встретили, как самочувствие. Хан внимательно выслушал ответы гостя и сказал:

– Господин посол, я весь внимание... рассказывайте. Джон Кестли, оглянувшись, заметил, что все вокруг сидели в головных уборах, и потому тоже надел шляпу. Потом чуть поерзал, расправил плечи, встрепенулся и, озираясь налево и направо, словно любимый внук в гостях у бабушки, приступил к рассказу. Говорил, однако, спокойно, степенно. Первым делом передал досточтимому хану, всей родне, округе, аулу сердечный, проникновенный привет от принца Ералы.

– Спасибо! Пусть здравие и ясный дух не покинут его!
– ответил хан.

– Доброго ему здравия! – откликнулись остальные и тотчас умолкли.

Посол сообщил, что с принцем Ералы он давно знаком и близок, что они так дружны, словно кровные братья. Сидевшие в юрте многозначительно переглянулись, оживились. Один хан оставался непроницаем. Далее посол, нарочито не называя имени коменданта крепости Чемодурова, обстоятельно заговорил о поручении статс-советника Кирилова, находящегося в далекой Самаре. По словам англичанина выходило, что начальник Оренбургской экспедиции весьма сожалеет о том, что не смог сдержать обещания, данного им год назад через султана Нияза, за что просит у хана извинения. И еще просит передать, что до осени крепость будет непременно достроена и на пир по поводу завершения строительства хан будет приглашен с большой свитой.

Хан с подчеркнутым вниманием выслушал сообщение и в знак благодарности приложил руку к груди и при этом легка склонил голову.

– Прошу вас передать его высокопревосходительству Ивану Кириловичу мою искреннюю признательность за его заботы и добрые намерения, а также мою готовность при встрече, которая – аллах даст – скоро состоится, выразить ему личное свое соблаговоление.

Аксакалы и карасакалы, сидевшие по обе стороны, с почтительным блеском в глазах уставились на собеседников.



У наскального храма Шакпак-Ата. Абиш Кекильбаев, Президент Нурсултан Назарбаев, Имангали Тасмагамбетов. 1994 г.



Нагашбай Шайкенов (второй слева), Тохтар Аубакиров, Мараг Оспанов, Абиш Кекильбаев среди парламентариев. 1995 г.



Абиш Кекильбаев и Куаныш Султанов.



Госсекретарь А. Кекильбаев дает интервью редактору журнала «Парасат», писателю Баккоже Мукаю. 1996 г.

Среди
работников
аппарата. 1997 г.





Абиш Кекильбаев и Кабиболла Жакупов на месте захоронения Бопай-ханум - героини романа «Плеяды - созвездие надежды». Оренбуржье. 2000 г.



Абиш и Клара Кекильбаевы (слева второй, третья), Жабайхан Абдильдин, Минура и Мухтар Алиевы, Боровое. 1998 г.



Саулет Абишевна, Абиш Кекильбаев и Оралбай Абдыкаримов среди читателей. Каркаралы. 2000 г.



Ляззат Киынов, Омирбек Байгелды, Абиш Кекильбаев.
Актауский порт. 2000 г.



Дед и внуки. 2001 г.



Клара и Абиш Кекильбаевы. 2001 г.

– Досточтимый хан, – продолжал далее Джон Кестли, – господин Кирилов приказал мне сообщить вам, что он весьма надеется и уверен, что вы вкупе с другими почтенными родоправителями прекрасно понимаете всю бессмысленность и бесплодность черных намерений разных разбойников и башибузуков, замышляющих бунт против доброй воли и протекции ее императорского величества, за что они, несомненно, понесут заслуженное и суровое наказание, и, сознавая все это, ни в коей мере не поддадитесь подстрекательским речам и действиям мятежников под предводительством Калмака Абыза.

Абулхаир снова приложил руку к груди.

– Мы рады и искренне тронуты столь высоким доверием его высокопревосходительства господина Кирилова к нам.

– Воистину так! – дружно отозвались тотчас и аксакалы.

В это время в юрту вошли джигиты – слуги с медными тазами и кумганами с теплой водой и предложили гостям ополоснуть руки перед угощением. Вслед за тем внесли на деревянных подносах дымящееся мясо. Во время еды хан собственноручно подал послу чашу с кумысом и спросил:

– Каковы отношения Российской империи с другими соседями? Нет ли где еще кровопролитных войн, кроме как с башкирами?

Англичанин с готовностью ответил:

– Внутренние и внешние отношения великой русской империи сейчас превосходны. То, что вы, досточтимый хан, назвали войной с башкирами, – вовсе никакая не война. Это так, мелкое, незначительное недоразумение, непослушание озорников, воспользовавшихся дальностью расстояния и необычно суровыми нынче морозами. Непослушного мальчика порядочный отец подвергает наказанию. То есть спускает с него портки и всыпает парую другую горячих для его же пользы. Не так ли?

В глазах-щелочках аксакалов вспыхнули озорные искорки. Все с удовлетворением принялись цедить-отхлебывать кумыс из деревянных чаш.

Хан, довольный, дважды хлопнул посла по правому его плечу. Это, с одной стороны, означало, что он одобряет находчивый ответ гостя, а с другой, что пора заканчивать первую встречу.

Все разом поднялись с места. И все посчитали нужным выказать свое доброе расположение и одобрение двумя увесистыми хлопками по правому его плечу. Человек двадцать столпилось за юртой, поджидая посла-чужеземца. Они также наградили его тычками, каждый раз при этом щедро улыбаясь. Пока посол добрался до отведенной для него юрты, правое плечо его заныло от боли. Стягивая с себя сюртук, он с ужасом увидел, что правое плечо потемнело и лоснилось от жира.

Абулхаир, оставшись в опустевшей майхане, про себя подумал: «Нет, этот чужеземец не такой уж и простак, как его все представляют. Бывалый, хитрый бестия! Себе на уме. Сметлив и понятлив. Все взвешивает на весах здравого рассудка. А простачком прикидывается лишь для того, чтобы половчее обвести вокруг пальца доверчивый черный люд».

На следующий день вместе с Мырзатаем и еще несколькими заядыми охотниками хан отправился с гостем в аул адайца Табылды. Проезжая мимо Мугоджарских гор, поохотились с ловчими птицами, постреляли куланов, демонстрируя послу степные забавы. Хан показал послу несколько мест в складчатых горах, где, по утверждению казахов, находились залежи полезных ископаемых. Англичанин спешился, походил по ущельям, набрал полный мешок каких-то камней. Кое-кто из сопровождавших посмеялся над этой причудой посла, но хан оказался сдержанным и понятливым. Поступки гостя не вызвали у него даже усмешки.

В ханскую ставку вернулись поздно вечером. Дожидались их двое: один загорелый, большелобый, рыжеватый, с шальными глазами, другой — серолицый, крепко сколоченный верзила. Первый назвался главным бием рода жаппас Баймуратом, а второй — батыром Тулеком, родственником батыра Жанибека из Среднего жуза.

— Если царский посол не станет возражать, я мог бы доставить в новую строящуюся крепость одну тысячу овец, — предложил бий-жаппасец.

— Да, вчера с таким же пожеланием обратился ко мне и машкарец Жадик. Готов, говорит, хоть сейчас отправить две тысячи баранов, — сообщил хан как бы между прочим. Посол ответил:

— Хорошо. Приеду — доложу и тотчас дам знать.

Батыр Тулек, оказалось, приехал пригласить посла в

свой аул. Готов был встретить царского посла со всем радушием и аул шакшактинца Букенбая.

Посольство прогостевало в тех аулах еще четыре дня. И лишь на восьмой день приезда почетных гостей в эти края их пригласили отведать угощения за ханским дастарханом.

Послу-чужеземцу особенно понравилась Бопай-ханум. Ее круглое нежное лицо, какие редко встречаются среди обветренных загорелых степняков, ровный, в меру смугло-матовый цвет кожи, легкий румянец на щеках, большие, как плоски, с блестящими черными зрачками глаза, аккуратный, точеный нос, пухлые розовые губы, весь ее полный достоинства облик, сочетавший в себе женственность и мудрость, тотчас привлекли внимание опытного, зоркоглазого рисовальщика. Когда он преподнес ханше написанный им портрет ее сына Ералы, из глаз Бопай покатались крупные, как градинки, слезы, и это особенно растрогало, разволновало посла. Он подметил в этой сдержанной, величавой женщине чистоту и непосредственность ребенка. Заметив на среднем пальце хана бородавку, англичанин вызвался ее убрать, туго обмотал ее у самого основания тоненькой шелковой ниткой, потом выковырял иглой корешок, помазал какой-то жидкостью, и пока он был занят этой несложной операцией, ханша, вся замерев, то и дело покусывая губы и хватаясь за сердце, пристально наблюдала со стороны. Должно быть, обрадовавшись, что все кончилось благополучно, она мгновенно повеселела и неожиданно обратилась к послу:

— Будьте любезны, вы не смогли бы исполнить для нас какой-нибудь зажигательный русский танец? В тот раз, когда нас навестил Мамбет-мурза, я была в восторге от того, как лихо плясали его спутники.

Англичанин был явно озадачен.

— Я не умею плясать, как русские. Я мог бы показать немецкий танец. Но для этого мне нужна партнерша.

— Что это? — не поняла ханша.

— Ну, дама. Грациозная, вроде вас. Ханша густо покраснела. И, скрывая смущение, поспешно поинтересовалась:

— А есть ли у господина посла жена, дети?

— Нет, я холост, — последовал ответ.

Ханша, однако, решила, что посол шутит, и на всякий случай снисходительно улыбнулась.

– Что так? Или у вас за девушку слишком большой калым требуют?

– Что это? – не понял посол.

– Ну, выкуп, значит... Плата за невесту. У нас, имея двадцать – тридцать кобыл, можно любую красотку выкупать.

Только теперь англичанин догадался о значении снисходительной улыбки ханши и серьезно ответил:

– Нет. У нас никто выкуп не требует и не дает. У меня и невеста есть. Только жениться все некогда. На этот раз вернусь на родину – женюсь.

«Некогда жениться» – такого в степи еще никто не слышивал. И потому все, кто набился в юрту, обескураженно переглянулись, решив, что словоохотливый гость и на этот раз разыгрывает их.

В наступившей тишине вдруг щелкнул выстрел. Конь посла, стреноженный за юртой, рухнул и, дико заржав, забился в судорогах.

В первое мгновение никто ничего не понял. Все повернулись туда, откуда раздался выстрел. За спиной посла стоял смертельно бледный Кожакмет и, онемев от страха, еще сильнее стиснул в руке заморский пистолет.

Первым пришел в себя англичанин. Выхватил из рук мальчика-султана пистолет, глянул в открытый тундук, увидел кружившегося над юртой стервятника и, не целясь, пальнул в него. Ястреб, роняя перья, шлепнулся оземь. Взрослые ахнули от изумления, застыли с разинутыми ртами.

Только теперь к озорнику Кожакмету вернулся дар речи. Дрожа всем телом так, что зуб на зуб не попадал, он завопил:

– Дяденька-а-а!.. Агатай! Ради аллаха, не браните... не сердитесь! Я не знал... я нечаянно... Просто подержать хотел.

Посол ничего ему не сказал. Вложил пистолет в кожаную кобуру на пояском ремне. Потом достал из плоской кожаной сумки плотный белый лист бумаги, открутил крышку флакончика с чернилами и, то и дело макая в него пером, принялся как ни в чем не бывало рисовать портрет Абулхаира, время от времени мельком взглядывая на него.

– Ну надо же! – воскликнул кто-то. – Все спорится в руках нечестивца.

Ханша блеснула глазами.

— И в самом деле! — восхитилась, покосившись на бумагу, на которой под быстрыми пальцами чужеземца ожидали знакомые черты ее супруга.

Вечером того же дня были срочно направлены гонцы во все аулы. Было объявлено: «Через два дня, в удачный день среды, в ханской орде состоится пир в честь прибытия русского посольства».

А за день до пира в ханской орде состоялся суд, на который отправился и любопытный англичанин. Оказалось, что двумя днями раньше Калыбек, верный страж хана, поймал на месте преступления конокрада, который средь бела дня напал на пасшийся в песках табун шомекейцев и пытался угнать четыре десятка отменных лошадей. Потом выяснилось, что лихой конокрад — из захудалой ветви рода жагалбайлы. По его словам, он приехал к шомекейцам, чтобы проведать старшую сестру, которая якобы год назад, примерно в это же время, была просватана. И вот какие-то негодяи позарились на его резвого скакуна и увели ночью с привязи. «От отчаяния кровь кинулась мне в голову» — уверял конокрад. — И на табун я напал, чтобы отомстить шомекейцам». С тех пор как шомекейцы перекочевали на летовку, у них и до этого случая исчезали лошади. И многие тогда полагали, что угоном коней промышляют втихомолку соседи-башкиры. И вот теперь Калыбек со своими джигитами, возвращаясь из аула шакшактинца Букенбая, неожиданно-негаданно приоткрыл завесу этого загадочного воровства. Время было послеполуденное. Вдруг у горизонта всклубилась и начала стремительно удаляться тучка пыли. Путники вначале подумали, что поднялся степной смерч, и не придали этому значения. Однако заметив, что клубок пыли резко свернул в сторону гор Текше и удаляется в определенном направлении, Калыбек и его люди заподозрили неладное и бросились в погоню.

Пойманный конокрад утверждал, что он намеревался скрыться у родственников по материнской линии в роду шакшак. Но среди шакшактинцев такого человека, кого он называл, не оказалось. Вот тут-то и зародилось подозрение: «А не этот ли дерзкий джигит все это время сплавляет краденых у шомекейцев коней мятежным башкирам?»

Абулхаир решил придать этому событию особенное

значение, докопаться до истины непременно в присутствии русского посланника. Пусть не думает, что в казахской степи тишь да благодать, что хан напрасно отправляет гонцов на Орь, тревожась и предупреждая об опасности и что на самом деле между казахами и мятежными башкирами не существует никаких – ни тайных, ни явных – отношений. Пусть посол воочию убедится, что тревоги хана имели серьезное основание.

Однако посла менее всего интересовала подоплека случившегося. Внимание его главным образом привлекал сам конокрад, крупнотелый, сильный джигит, сидевший на коленях перед строгими судьями-казиями. Он залюбовался его броской внешностью: широкий открытый лоб, прямой нос, спокойный, горделивый взгляд, полная достоинства осанка. Ничего похожего на заурядного вора. Да одним своим видом он украсит любое общество, любое почетное место. Такого видного, колоритного молодца любая красotka не прочь заключить в свои жаркие объятия. Он внимательно вслушивался в каждый вопрос, отвечал сдержанно, с невозмутимым спокойствием. Казалось, будто он не обвиняемый, а обвинитель. И не его допрашивали, а он допрашивал судей-старичков с подергивающимися белыми бородами. Ни суеты, ни растерянности, ни тени боязни.

«Любопытный, однако, народец, – подумал про себя посол-чужеземец. – Даже вор у него – гордец. Держится так, будто не преступление совершил, а геройский поступок. Подчинить таких своей воле, стремиться делать из них послушных рабов – должно быть, напрасная затея. Видно, прав Сергей Костюков, всю дорогу толковавший о дерзости и вольности степняков. Действительно, они – дети дикой природы и потому такие же вольные, строптивые и необузданные, как она сама...»

Между тем один из судей убежденно говорил:

– Издревле, от дедов и прадедов наших, так повелось: нет прощенья душе, нет оправдания чести и совести того, кто посягнул на скот единокровника своего не во имя высоких помыслов о чести-достоинстве или нанесенной кровной обиде и кровомщении, а ради одной лишь низкой корысти и жадности.

Старец-судья сказал это громко, растягивая слова, с большой внутренней силой, и посол-чужеземец был потрясен глубоким, затаенным смыслом этой сентенции,

выверенной народным опытом. Особенно поразило его то, что эти простодушные, непосредственные степняки с такой четкостью и точностью определяют границы между отвлеченными понятиями «душа», «честь», «совесть», «достоинство», «низменная корысть».

Теперь уже не конокрад, а старцы-судьи завладели вниманием изумленного посла. Он с раскрытым ртом уставился на них. Неужели они сами додумались до только что изреченной одним из них истины? Неужели эти семеро белобородых, морщинистых, согбенных старичков способны вынести такой мудрый приговор? Может, некая невидимая могущественная сила, исполненная вековой мудрости, вложила им в уста подобное решение? Как бы там ни было, трудно поверить в то, что эта разновеликая, разношерстная толпа номадов, собравшаяся на грубое зрелище, в состоянии воспринять столь значительную, основополагающую для цивилизованного человеческого рода истину.

— Спроси, какое же последует наказание? Байбек, сидевший рядом, равнодушно ответил:

— Ясно какое! Мучительная и позорная смерть! Накнут на шею воруги волосяную петлю, привяжут к хвосту коня и пустят его вскачь. И поволочет его конь по степи, по камням, по колючкам, пока подлый вор не испустит дух. И в том месте, где околет, там и зароят, будто пса. Лицом не в сторону священной Мекки, как правоверного, а наоборот. Сровняют могилу с землей, притопчут, чтобы и следа не осталось. И ни одна живая душа отныне к тому месту не подойдет. Вот и все!

Рассказывая, рослый, могучий туленгут нетерпеливо поерзал, грозно поводил плечами и с остервенением потер ладони о лоснящиеся штанины заскорузлых, из шкуры сшитых штанов, словно не в силах унять нестерпимый зуд.

Теперь посол с удивлением уставился на Байбека. Его обветренное, загорелое лицо необычайно оживилось, и сам он весь воодушевился, будто входил в азарт и испытывал редчайшее наслаждение. Глаза его хищно взблескивали, щеки пылали, и чем-то он смахивал сейчас на беркута в тот момент, когда охотник срывает с него кожаный колпачок и отпускает в полет на добычу. От всего облика и слов его повеяло непонятным, непостижимым злорадством и жестокостью. Посол не узнавал своего

давнего спутника. «Что это с ним? Отчего он так возбудился? Ведь мудрая мысль, только что изреченная старцем-судьей, взывала к светлым человеческим чувствам, к благородству и к высокому порыву. А этот своей свирепостью вроде все это напрочь отвергает и отрицает. Как такое понять? Может, эти люди вообще живут и действуют не по разуму, а исключительно по наитию? Может, они не отдают отчета в своих поступках? И тот конокрад, идя на преступление, судя по всему, вовсе не испытывал особых душевных мук. И старцы-судьи, придя к мудрому заключению, тоже, кажется, не очень-то сомневались и терзались духом. А ведь какое духовное напряжение, какое усилие духа необходимы и какие муки следует пережить, чтобы прийти в своем развитии от воровства к героизму, от злодейства к высшей справедливости?! Сложный и долгий тернистый путь... У этих же кайсаков все получается как-то само собой, так просто и неожиданно. Странно... непонятно...»

Байбек, видно, решил, что посол, судя по его обескураженному виду, не поверил ему, а потому в знак своей правоты указал рукой вперед и воскликнул:

– Вон, вон, смотрите! А что я вам говорил?!

В самом деле, к обвиняемому подскочили четверо джигитов. Один из них нахлобучил на несчастного по самый нос колпак из черного войлока, другой накинул ошейник с длинными, развевающимися во все стороны тесемками-полосками, третий с треском сорвал с него ветхую одежду, обнажив по пояс.

Все это делалось по распоряжению грозного ханского стража Калыбека, который возбужденно и победоносно вышагивал вокруг, хлюпая большими, с загнутыми носками сапожищами. Ханскому стражу явно нравилась его роль, и он, упиваясь своей властью, звонко покрикивал:

– Эй, придурок! Остолоп! Еще и в крашенные охрой замшевые штаны вырядился. К теще, что ли, в гости собрался?! Давай скидывай!

Толпа заколыхалась, загорелась глазами, разинула рты в предвкушении редкого зрелища.

Хан был невозмутим. Лишь время от времени незаметно косился в сторону русского посольства. Казалось, что ему не было дела до того, что здесь происходило. Он наблюдал за послом-чужеземцем. А посол, волнуясь, не спускал глаз с вороного коня, возле которого суетились

люди. Вот несколько сильных рук резким рывком поставили конокрада на ноги. Потом двое ловко стянули с него замшевые штаны и швырнули их стоявшему рядом, подбоченясь, Калыбеку. Кое-кто в толпе, глядя на конокрада, оставшегося в нелепых, с болтающейся мотней, бязевых грязных подштанниках, принялся хихикать.

Теперь за дело взялся сам Калыбек. Он набросил на руку пестрый волосяной моток, ловко связал петлю, проверил ее на крепость, словно намеревался заарканить строптивного неука, потом накинул петлю на шею конокрада, а другой конец мотка подал чернолицему верзиле, спокойно, с сознанием своей значимости восседавшему на низкорослом, но крепком гривастом вороном коне. Верзила схватил конец пестрого волосяного аркана, громко, чтобы все слышали, произнес: «Ия, бисмилля!», намотал его на руку, всем корпусом прилег на луку седла, подтянул штаны.

Посол вновь вытащил платок и начал им яростно обмахиваться. «Да-а... — думал он про себя. — Эти степняки, видно, не только дики и необузданны, как природа, но так же бесчувственны и жестоки».

Словно догадавшись в этот миг, о чем подумал уважаемый гость, Абулхаир во всеуслышание обратился к судьям-старцам:

— Почтенные! Как вы знаете, у нашего народа издревле существует обычай обращаться в подобных случаях к гостю-иноземцу с вопросом, не желает ли он заступиться за обвиняемого. И если иноземный гость попросит снисхождения или пощады, то, бывало, преступнику прощали его грехи и смягчали приговор. Среди нас сегодня присутствует гость издалека. Может, спросим, не будет ли у него особого пожелания?

Один толмач, татарин Кулбай, тотчас перевел слова хана другому толмачу, юноше-немцу Дитриху Юстусу, а тот, в свой черед, передал все слово в слово послу-англичанину. Для него такой обычай оказался неожиданностью. Поняв, что сейчас только укрепившееся было в нем заключение о жестокости номадов вследствие такого обычая является совершенно не основательным, посол удивленно покачал головой и пробормотал: «Поразительный обычай!.. Интересный народ!» Он порывисто вскочил и со всех ног понесся к вороному коню. Приговоренный к мучительной смерти конокрад, почувствовав оживление

в толпе, склонил голову в сторону подбежавшего человека и весь напрягся, стараясь расслышать его слова. Руки его были связаны, а на глаза по-прежнему низко надвинут черный войлочный колпак.

Посол не сразу собрался с мыслями. Заговорил лишь после небольшой паузы:

– Высокочитимый хан! Почтенные господа судьи! Согласно обычаю вашего народа, по праву, любезно представленному вами как гостю, я прошу вас о милости: сохраните жизнь этому несчастному, спасите его заблудшую душу. Познав людскую милость и сострадание, он, полагаю, никогда больше не ступит на стезю бесчестия. А коли еще раз оступится, пусть уж тогда пеняет на себя.

Толпа одобрительно загудела. Чтобы успокоить ее, судья-казий резко вскинул камчу.

– Сердечная просьба царского посланника о помиловании преступника воспринята и удовлетворена нами с искренним щедродушием. Обвиняемому даруется жизнь!

Толпа вновь заколыхалась, зашумела, но коротким взмахом камчи судья-казий тотчас усмирил ее.

– Жизнь ему даруется, но позор за содеянное – на нем. И за это ему прощения нет! На глазах присутствующих здесь презренный вор должен переступить порог сорока юрт и вымазать себе рожу сажей и копотью сорока казанов!

И опять гул прокатился над толпой. Решение судей многих обрадовало и позабавило. Кто-то из посольства весело воскликнул:

– Вот будет потеха!..

Джигиты сорвали с головы осужденного войлочный колпак, сняли с шеи петлю, заломили руки назад и связали их, нахлобучили на голову задом наперед старую шапку-ушанку, завязали тесемку, разорвали обе штанины до самого срамного места, чтобы при каждом шаге виднелось голое тело.

Потом, размахивая над его головой камчами, погнали беднягу перед собой двое пожилых всадников. Его загоняли попеременно в каждую юрту, из которых он выходил густо измазанный жирной сажей. Только зубы белели да глаза поблескивали лихорадочным огнем. Подстегиваемый плетью двух верховых, осужденный рысцей пробежал семь кругов вокруг улюлюкавшей толпы, после чего

его вновь подвели к длинногривому вороному коню и развязали руки, тут же накоротке связав их впереди. Один конец пестрой волосяной веревки сунули ему в рот, заставив его стиснуть зубами, другой конец подали чернолицему верзиле, продолжавшему восседать на вороном. По условиям наказания осужденный не имеет права выпустить изо рта конец аркана до тех пор, пока тот, кто его водит на поводу, не зашвырнет высоко вверх его второй конец. В противном случае будет считаться, что осужденный бросает вызов справедливому приговору почтенных судей-старцев. А это страшный грех, кощунство, такое непослушание приравнивается к святотатству, к осквернению Корана, что уже никогда и никем не прощается. На том месте, где поводырь выбросит аркан позора, осужденный должен закрыть голову связанными руками и уходить куда глаза глядят. Вернется ли он после всего пережитого в родной край или проживет остаток дней на чужбине — его воля. Тот, кто сжалится над беднягой, должен собственноручно снять с него драный, с полосками, прелый войлочный ошейник, доставить его судье-казию и сполна оплатить долг. Лишь таким образом можно заслужить прощение.

Пока послу-иноземцу объяснили все условия необычного наказания, применяемого в степи к ворам, чернолицый верзила рысью пустил вороного одра. Осужденный, заплетаясь ногами и держа в зубах конец аркана, бежал вслед. И пока он бежал так мимо толпы, каждый норовил его разок-другой огреть короткой плетью.

Отъехав на приличное расстояние, чернолицый верзила отшвырнул от себя вверх волосяной аркан и с чувством исполненного долга завернул вороного гривастого одра назад.

Крупнотелый незадачливый конокрад на бегу рухнул лицом в пыль и некоторое время пролежал не шелохнувшись. Потом медленно поднял голову, встал на колени, быстро оглянулся, блеснув зубами. Потом поднялся на ноги. Положил связанные руки на темя и, шатаясь, побрел неведомо куда. Вскоре он перешел на трусцу. Возбужденная толпа, колыхаясь, гудя, долго глядела вслед все уменьшающейся, все стремительней удалявшейся одинокой фигуре.

Ошарашенный событиями сегодняшнего дня, не в состоянии все увиденное осмыслить, посол-англичанин, вре-

мя от времени покачивая головой, поднялся с места. Обступившим его спутникам он не сказал ни слова.

Всю неделю в ханской ставке было шумно и многолюдно. Пешие и конные стекались сюда со всех сторон. В окрестностях с каждым днем ставилось все больше и больше юрт для съезжающихся на пир гостей.

И когда все почтенные и знатные родоправители, бии и батыры были в сборе, со всех гостевых аулов выехало к ханской ставке пятьсот верховых. Они спешили на расстоянии крика от нее, поставили коней на привязь. Из пятисот человек выделилось пятьдесят — самые достойные и именитые. Они направились к майхане — ханской резиденции. Здесь они познакомились с посланником русской царицы, отдали ему почтительный салем, представились, обменялись словами вежливости, посидели за одним дастарханом, угощаясь мясом и кумысом. Остальным приезжим угощение было приготовлено в специально отведенных юртах.

К обеду богато разодетая казахская знать выбралась из майханы. Тесной гурьбой, степенно ступая, направились к коновязи, уселись на коней. Возле майханы в ожидании выхода хана остались коневоды, державшие под уздцы аргамака, укрытого пестрой, с яркими аппликациями попоной, под инкрустированным дорогим седлом, а также принцы-ханзады и султаны. Наконец показался и Абулхаир — в атласном чапане и в раздвоенном войлочном колпаке, вышитом золотом. К нему подвели сивого аргамака, и в тот момент, когда он вдел левую ногу в стремя, взметнулся воинственный клич. Знатная часть гостей, белая кость — тюре — кричала: «Архар! Архар!», а низкородные надрывались: «Алдияр! Алдияр!»

Сопровождавшие Абулхаира султаны, прихватив державшееся особняком посольство, большой группой, не спеша, двинулись в сторону долины, окруженной со всех сторон пологими холмами и крутыми увалами. Там было черным-черно от собравшегося люда.

Туда же направили коней и пятьдесят биев со своими нукерами.

Вслед за ними плотной гурьбой потянулись и остальные всадники.

Внизу, в долине, приветствуя хана, родоправителей и русское посольство, надрывали глотки воины родов и восторженно размахивали высоко поднятыми пиками.

Большой отряд всадников во главе с ханом подъехал вплотную.

Долина ревела. Над холмами и увалами раскатывалось эхо.

Абулхаир, зажав шенкеля, выехал на несколько шагов вперед. Вскинул пику с хвостатым знаменем.

— Уа, жамагат! Народ правоверный! К тишине взываю! Воинов и толпу окружила ханская стража на вороных конях, с воздетыми над головами пиками, на древках которых развевались конские хвосты. После слов хана все стражники разом взмахнули короткими толстыми плетками-доирами, мелькнувшими над толпой пестрой змеей. И раздался зычный многоголосый окрик:

— Ти-и-и-ихо! Хан-алдияр будет говорить!!

От грозного окрика стражников, взметнувшегося одновременно с разных сторон, вздрогнули и затихли не только воины и чернь в узкой долине, но, казалось, и сами холмы и увалы вокруг. И птицы с испугу, должно быть, сразу смолкли и разлетелись.

— Уа, жамагат! — напряг голос хан. — Всемиловитейшая и всепресветлейшая самодержица российская, а также государыня множества народов и племен, в том числе и нашего, казахского, народа, благодетельница и покровительница наша императрица Анна Иоанн-кызы в знак щедродушия и особого расположения прислала к нам своего верного и надежного посланника господина Жона. Он прибыл к нам с подтверждением, что наша присяга верности российскому трону, учиненная нами по воле аллаха и от всего нашего сердца четыре года назад, в чем мы поклялись на священном Коране, а также наша искренняя и добросердечная просьба о добровольном нашем вступлении отныне и во веки веков в российское подданство, восприняты ее императорским величеством, чье милосердие и великодушие безгранично, весьма одобрительно и благосклонно.

Первыми одобрительно загудели ханские приближенные:

— Барекельде!

Их возглас тотчас подхватили стражники, снова разом взмахнувшие короткими плетями-доирами:

— Барекельде!

Вслед за ними, не жалея глоток, заревела толпа в долине:

– Барекельде! Барекельде!

Когда гул, отзываясь многократным эхом, умолк в увалах и ущельях, хан выкрикнул:

– А теперь послушаем господина посланника!

И слова его в том же порядке докатились до всех, кто собрался сейчас в тупиковой долине между холмами и увалами.

Джон Кестли, ударив пятками коня, подъехал и встал рядом с ханом. Голосом он обладал тонким и слабым, и услышали его только те, что находились вблизи. Он коротко поведал то, о чем только что рассказал в майхане при встрече с биями-родоправителями. Но когда он окончил свою речь, которую один толмач пересказал второму, а тот уже в свой черед – толпе, ханское окружение также завопило:

– Барекельде!

И этот возглас одобрения тут же подхватили сначала стражники, затем все воины и разношерстный люд, запрудивший тесную долину между холмами.

И тут случилось то, что посол-англичанин никак уж не ожидал. Первым слез с сивого аргмака Абулхаир. За ним спешилась вся его свита. Все, накинув поводья на руки, тут же опустили на корточки. Их примеру последовали и стар и млад по всей долине. Обратившись лицом в сторону солнца, все застыли в благоговейном молчании. Все разом прикрыли глаза и приняли отрешенный вид. Казалось, все по чьей-то воле отключились в одно мгновение от всего мирского и суетного и внимали сейчас таинственному гортанному бормотанию чалмоносца, опустившегося на колени по правую руку Абулхаира. Все шевелили губами и глухо бормотали вслед за ним непонятные слова арабской молитвы. Горстка людей из русского посольства, не слезая с коней, обескураженно и недоуменно глядела на эту необычную сцену. Невольно подумалось: господи, чем отличается эта покорная, послушная неведомой силе и воле, отрешенная серая толпа, невнятно бормочущая вряд ли кому понятные слова, от той многочисленной овечьей отары, что, не поднимая морды, пасется сейчас понуро по пологим склонам холмов и увалов, простирающихся за этой долиной? И в чем отличие горстки всадников из русского посольства от тех же крикливых чабанов, которые, день-деньской размахивая посохами, с окриком «Айт!» выгоняют овец на

выпас, а с криком «Шайт!» вновь стоняют их в гурт?! Поразительно!

Неужели этой послушной толпой так же просто управлять, как отарой покладистых овец? Неужели они покорно потрусят перед тобой, точно овцы, низко-низко опустив головы и подставляя бока под хворостину? Что еще можно увидеть в этой долине, запруженной покорной и безголосой толпой, в этих однообразных холмах и увалах, по склонам которых тихо пасутся тысячи и тысячи овец, в этой бурой степи, беспредельно простирающейся под голубым небосводом, кроме сонной тишины, вечной покорности и смирения? Все одно и то же с самого сотворения мира: тусклое, терпеливое прозябание под мерным цокотом копыт, понурая трусца в ту сторону, куда погонит шальной степной ветер, безропотная покорность судьбе, ничтожные усилия ради низменного животного существования. Неужто не дано степи встрепенуться? Неужто ей неведомы дерзость, вызов, решительные действия? Ах, как бы обрадовался, как восторжествовал неисправимый мечтатель Иван Кирилов при виде этой смиренной, коленопреклоненной, рабски покорной толпы! Ах, если бы это увидела сама императрица, самодержица российская! Уму непостижимо: такая покорность, такое благочестие и раболепие во имя какого-то чужеземца, бродяги-путешественника, полукупца, полухудожника Джона Кестли! А если бы не он, англичанин Джон Кестли, а начальник Оренбургской экспедиции статс-советник Иван Кирилов, или ее императорское величество вдруг предстали бы перед этими номадами, о, тогда бы, пожалуй, не только все живое в этой степи, но даже и холмы и горы превратились бы в прах. Не потому ли так низки и пологи их горы? Не потому ли так мелки и сонны их озера? Не потому ли так мелководны и излучисты их реки и ручьи? Не потому ли они так извиваются по плоской степи, точно хвост побитой собаки? Почему в этой неоглядной дали все так монотонно и однообразно? Почему ничего не бьет в глаза? Почему ничто не устремляется дерзко ввысь? Отчего все такое мелкое, неприглядное, неказистое? Отчего все живое и неживое трусливо жметя к земле? Неужели нет большей красоты, чем то, что при обзоре с высоты кажется малым и ничтожным, боязливым и робким, что готово от первого дуновения ветерка, от малейшего ды-

хания рухнуть и рассыпаться в прах? И не потому ли только тот, кто взобрался на трон, что назвался однажды господином, кажется неимоверно высоким и всевластным, словно сам всевышний творец? Выходит, на этом свете нет большей силы, чем власть, и большего рабства, чем зависимость? Разве эти номады еще только вчера не были вольными и строптивыми, точно неукротенные не-уки? Так что же с ними случилось сегодня? Неужели одно лишь слово «подданство» повергло их в такое рабское состояние?!

Необычайная картина точно заворожила всех членов посольства. Пятеро казаков, поправляя на себе все виды оружия, важно приосанились. Не шелохнулся толмач Кулбай. Он, ушлый татарин, привыкший быть тише воды, ниже травы, хорошо сознавал, что ему в подобных случаях совершенно ни к чему напускать на себя важный вид. Ведь завтра же, едва он проедет городок на Ори, ему ведь все равно предстоит лебезить перед всяким начальством. Так что нет смысла ради нескольких вольных дней в этой вольной степи выпрямлять привыкшую быть согнутой спину. И только один отрок Дитрих Юстус, по малой опытности своей еще представления не имевший о власти и покорности, не знал, как отнестись к тому, что творилось на его глазах, а потому с любопытством озирался вокруг. В обрушившейся вдруг оглушительной тишине нервно перебирал ногами конь под лохматым Сергеем Костюковым. Всегда в добром расположении духа, улыбчивый, он сейчас почему-то насупился, досадливо морщился, будто перегрелся на солнце, и ему теперь не по себе. С нескрываемой жалостью и состраданием глядел он сейчас на кочевников, о которых всю дорогу восторженно, явно преувеличивая малейшие их достоинства, рассказывал путешественнику-британцу. Он даже вздыхал украдкой. И был сильно подавлен. И уж кто-кто, а Джон Кестли отлично понимал его состояние.

Он, британец Джон Кестли, хоть и воспринимается многими как случайный встречный-поперечный, однако, милый Сергей Костюков, успел подметить и понять многое. Это такие, как ты, наивные ротозои склонны преувеличивать все неизвестное и восхищаться тем, что видят впервые в жизни, воспринимая все как нечто невероятное и необыкновенное, как какое-то чудо. А ведь никакого чуда-то и нет. Это твое узколобое начальство привыкло

считать все, что не похоже на него, все, что непривычно и недоступно его пониманию, — отсталым, невежественным, диким и низменным. И по своей недальновидности полагает, что если всех строптивых укротить, а все, что не согласуется с его представлением, задавить на корню, то тем самым и восстановятся мир да благодать. Какое страшное заблуждение! Прежде всего следует руководствоваться здравым рассудком, постараться все увидеть, постичь и осознать. А потому явился к номадам с улыбкой на устах. Беседуй, улыбаясь. Приди он, Джон Кестли, сюда с надменным лицом, кто бы подошел к нему? Эти кочевники, если приглядеться, скорее всего, добродушны или даже простодушны, а не лукавы и двуличны, может, пылки и вздорны, но никак не строптивы.

Вчерашний суд над конокрадом, сегодняшнее безропотное поклонение высшей воле на небесах и могущественной власти на земле свидетельствуют о многом, приоткрывая завесу множества тайн и загадок обитателей степи. Выходит, и они, кочевники, подчиняются разуму и порядку. Выходит, и они соблюдают какие-то законы. Следовательно, они такие же, как и мы... Но нам необходимо не выказывать им этого. Нам надобно казаться в их глазах умнее, хитрее, сильнее. Потому что, судя по всему, они не особенно склонны признавать и почитать тех, кто похож на них самих. Только та власть, что способна понять эту истину, может и быстро подчинить своей воле, и легко ими управлять.

Вот такие предварительные заключения вынес англичанин Джон Кестли из этого своего путешествия в кайсацкую степь.

Святой хазрет в высокой белоснежной чалме, заканчивая свое гнусавое бормотание, сделал паузу и громко объявил:

— Да примет и благословит всевышний доброе желание нашего народа пребывать отныне в мире и дружбе с Российским государством. Аллауакбар!

И кончиками пальцев благоговейно огладил щеки и бороду.

— Аллауакбар! — глухо и многоголосо отозвалась за ним вся долина.

В этот же день все многочисленные гости разъехались по отведенным для них юртам, долго лакомились мясом и опустошили не один бурдюк настоящего кумыса.

На другой день начались традиционные игры – конные скачки, борьба силачей-палуанов, состязания певцов и музыкантов. Шумное веселье в ханской ставке, то разгораясь, то утихая, продолжалось еще трое суток.

На четвертый день именитые правители родов шакшак, керей, уак, канжыгалы, кипчак, найман, шекты, тама, табын, тлеу, шомекей во главе многочисленной свиты, получив дорогие призы, добытые в честных состязаниях, довольные и умиротворенные, разъехались кто в сторону Тургая, кто – в сторону Челкара, кто – к приречью Елека, кто – к побережью Иргиза. Остались только организаторы пира – представители родов алаша и кете, которые взяли на себя обязанность проводить посольство в обратный путь.

После того как большинство гостей разъехались, окрестность ханской ставки опустела и приуныла. Густые заросли вокруг и травы были вытоптаны. Земляные печки, на которые устанавливались котлы, зияли чернотой, точно свежие вырытые могилы. Ближние аулы, пугаясь этой заброшенности и запущенности, спешно откочевали на новые пастбища. И в ханской орде понемногу готовились к откочевке, уже укладывали вещи и связывали тюки, ожидая, когда посольство тронется в путь.

Посол-англичанин с утра любовался красочными кочевьями в степи. Султана Нуралы, подъезжавшего к нему на гладком иноходце, он узнал издали. Оказалось, на прощание Абулхаир приглашал посла к себе.

В уютной юрте, в которой хан принимал почетных гостей, находился сам Абулхаир, его старшая жена Бопай и беки, правители улусов Жанибек и Дербисалы. Когда вошли посол и султан Нуралы, хан указал им место справа от себя. Был хан не таким радушным и веселым, как тогда, во время поездок по аулам, не таким спокойным и сдержанным, как в тот раз, когда его сынишка, сорванец Кожамет, невзначай убил из пистолета лошадь посла на привязи, и не таким грозным и величественным, как вчера на сборе родоправителей. Он казался явно удрученным и озабоченным. Под глазами заметно обозначились темные мешки – следы многодневных застолий, хлопот и волнений. И голос его прозвучал тихо, подавленно:

– Как самочувствие, господин посол? Собираетесь в путь?

– Да. Как говорится, пора и честь знать, – так же сдержанно и коротко ответил посол.

— И, позвольте спросить, куда? К устью Ори или в Самару?

— Прежде, думаю, в Самару, чтобы доложить господину Кирилову о здешнем положении. Потом, видно, в Оренбург.

У ханши Бопай, внимательно прислушивавшейся к беседе, при этом ответе посла мгновенно погас живой блеск в черных глазах. Хан, наоборот, оживился, расправил плечи.

— В таком случае, я попрошу вас доложить господину Кирилову все точь-в-точь, как есть. Каково положение в степи — вы увидели своими глазами. Сегодня кочевники беспечны и довольны, ликуют по любому поводу, а завтра ни за что ни про что могут всколыхнуться, прийти в негодование, в неистовство, как свирепый лев. Что надо, чтобы наш народ стал покладистым и не шарахался из крайности в крайность? Крепкая узда и надежная опора! А их пока у меня нет. Вся моя надежда — новый город, что возводится милостью царицы. Дай аллах, чтобы его скорее достроили. Когда я, будучи ханом, обоснуюсь в той надежной крепости и стану держать при себе в аманатах по одному сыну каждого родоправителя, и еще буду к тому же иметь грозное оружие, которым могу безжалостно наказывать всякого ослушника или строптивца, тогда этот дикий, распущенный, неуправляемый народ сразу окажется покорным и покладистым, точно косяк кобылиц, ведомый сильным и властным жеребцом. А попробуй народ удержать в узде сейчас! Не те силы! Не так-то просто управлять одичавшим, вольным табунном, если он в году, может, один лишь раз видит курук в руках одинокого табунщика! А ведь сколько еще вокруг тайных недоброжелателей и врагов, котрые исподтишка сеют смуту и подзуживают, будоражат темный люд?! Не счастье! Полагаю, часть смутьянов затаилась в Бухаре и Хиве, до которых, как вам известно, рукой подать. Так вот, если бы еще и их прибрать к нашим рукам да время от времени показывать им кулак, думаю, другие сразу поджали бы хвосты и не осмелились бы не то что соваться к нам, но даже издали на нас тявкать. Если вы, почтенный посол, задержались бы в наших краях еще на полмесяца и, взяв сколько пожелаете нукеров, объехали под видом моего и белой царицы посланника южные улусы, тогда б можно было упредить всякие поползновения

к бунту и несогласию. Уж против российской самодержицы никто бы не осмелился выступать.

Джон Кестли внимательно выслушал напористую речь хана и про себя усмехнулся: «Далеко, однако, метит кайсацкий хан! Ишь, как размахнулся! Пользуясь протекцией российской императрицы, не прочь с моей помощью и южных соседей пристегнуть к своей тороке...»

Джон Кестли ответил, что сейчас он не располагает для этого ни возможностью, ни временем. Господин Кирилов давно уже дожидается его в Самаре.

Абулхаир едва заметно вздохнул:

– Тогда должен предупредить, что подстрекательства со стороны турецкого султана и башкирских тарханов только усилятся. Они обнаглеют вконец. Вы же сами видели того джигита-конокрада. Его отпустили по вашей просьбе. А он будет мстить. В том можете не сомневаться. На днях опять угнали табуны у родов шомекей, шакшак, жаппас, кипчак. Конечно, это дело рук не того конокрада, за которого вы заступились. Это его последователи, его вдохновители. И я уверен, что это – башкиры!

Абулхаир испытующе посмотрел на посла. Тот, однако, промолчал.

– Может, если не сейчас, то в будущем возобновите ваши поездки? Не угодно ли вам посоветоваться об этом с господином Кириловым?

– Что ж... Довести до его сведения могу. Уклончивый ответ посла не удовлетворил Абулхаира. Однако он постарался скрыть досаду.

– Господин посол! Если есть у вас какая-либо просьба или упрек какой – говорите.

Посол недоуменно повел плечами.

– Может, я напрасно привлек вас к разбирательству по делу того конокрада? Может, это я способствовал тому, что вы так пылко заступились за преступника, который, конечно же, заслуживал суровой кары, определенной судьями-казиями? Ведь совершенно очевидно, что он башкирский приспешник.

Абулхаир опять сделал паузу и пытливо скопился на посла.

Вопрос хана и в самом деле несколько озадачил англичанина.

«С какой целью он так настойчиво о том спрашивает?»

Или он хочет подчеркнуть, что я допустил серьезную оплошность, попросив пощады разбойнику, выступающему против царицы? Ведь получается так. И, выходит, лукавый подстроил все это нарочно? А теперь злорадствует? Но чего он этим добивается? Заманивает в силки? Подмачивает мою репутацию? Значит, кочевники не только придерживаются порядка и закона, но при случае ловко обходят их, или умело пользуются ими, подставляя незаметно подножку? Значит, они умеют быть и благоразумными, и коварными? А ведь это и есть политика! Да, да! Туземец-политик... дикарь-политик... невежда-политик... Как смешно, как неестественно это звучит! Э, нет... Там, у нас, еще, по-видимому, очень плохо знают туземцев, своих подданных. Сам господин Кирилов в недавней беседе со мной убежденно заявил: «Мы сначала этих дикарей немного просветим. Обучим грамоте. И научим уважать законы». Какая наивность! Вот этот лукавый степной лис, что буравит меня сейчас глазами, сам скорее преподаст урок политики любому самонадеянному, самоуверенному вояке... Как ловко прикидывался добряком столько дней, пиры закатывал, беседами завлекал, зрелищами отвлекал, а под конец подкрался, подкатился незаметно и перед самым отъездом расставил силок, который и не разглядишь сразу, и все последствия не разгадаешь. Ох, хитер! Ловкач!..»

Серолицый властный хан чуть заметно, усмехнулся. И эта ухмылка, казалось, ввергла посла-чужеземца в еще большую растерянность.

— Я, само собой, прежде всего пекусь о личном покое. В этой степи, как говорится, никто с неба не свалился. Все мы не святые. Попробуй угадай, у кого что на душе. В каждом смертном, говорят, сорок рвов и закоулков. И пока в них не заглянешь, о человеке наверняка судить невозможно.

Хан опять выдержал паузу. И посланник не спускал с него глаз.

«А ведь верно говоришь, досточтимый хан! Не берусь судить о других твоих изречениях, но то, что ты сейчас сказал, — истинная правда. И эти сорок рвов и закоулков находятся прежде всего в тебе самом...»

— К тому же каждым человеком руководит долг перед сородичами и соплеменниками. Чьи интересы ставить выше? Кому, когда и в каких случаях отдавать предпочте-

ние? Это надо уметь взвешивать на безмене разума. Сегодня я нужен, и со мною как-то считаются, но откуда мне знать, как со мною поступят завтра, если я не угрожу кому-либо из могущественных правителей? И еще. В дни торжеств в честь посланников я преднамеренно не хотел допустить смертоубийства. Народ ведь и без того напуган, и не хотелось мне, чтобы о нас подумали как о людях жестоких, не знающих жалости и никому никогда не прощающих никаких прегрешений. Потому я и позволил вам заступиться за преступника и попросить по обычаям нашим пощады. Я старался, чтобы кочевники поняли: и великая царица способна к сочувствию и состраданию, к милосердию и прощению.

Джон Кестли не знал, что сказать хану в ответ. Он был изумлен. Как прозорлив, однако, этот немногословный хан! Ведь об этом тогда как-то мельком подумалось и ему, чужестранцу. Только не так четко и ясно.

— Так-то, значит, господин посланник! Что еще в моем положении остается делать, как не внимательно присматриваться к каждому, от которого зависит моя судьба? А зависит она от многих, от слишком многих. И скажу вам откровенно: пока бразды правления этим народом не передадут в руки одного сильного и надежного человека, которому доверяют веецело, управлять туземцами будет очень не просто даже царским правителям. В противном случае они разделят мой жребий: будут боязливо озираться по сторонам и постоянно ждать подвоха, опасности отовсюду...

При этих словах хан в упор уставился на посланника.

Джон Кестли стойко выдержал его взгляд.

— Надеюсь, вы, досточтимый хан, не сомневаетесь в том, что у великой императрицы найдется достаточно ума и силы, чтобы удержать в руках своих подданных.

Хан рассмеялся.

— Конечно! Ничуть в том не сомневаюсь. Особенно по части ума. А вот что касается силы... Впрочем, и сил предостаточно. Однако казахи разбросаны повсюду за каждым холмом, в каждом овраге, под каждым кустом беспредельной степи. Вот и трудно мне поверить в то, что славное войско императрицы разбредется по верховьям и низовьям, волоча за собой свои пушки.

Джон Кестли опять удивился: какая горькая усмешка и убежденность в своей правоте сквозили в этих вежливых, простых словах!

Хан продолжал:

— Ладно, господин Жон. Ваш приезд был весьма кстати. На некоторое время вы успокоили неустойчивых степняков. Только надолго ли? Времена, сами видите, смутные. Еще раз скажу, не обессудьте за назойливость: пока российская самодержица и благодетельница наша не решится передать все бразды правления казахами в одни крепкие и властные руки, желанной благодати и спокойствия в степи никогда не будет. Лишь в таком случае можно кочевникам раз и навсегда отделаться от притязаний Хивы и Бухары.

— Понимаю, высокочтимый хан.

Абулхаир немного помолчал.

— Тогда, господин посол, постарайтесь, где возможно, внушить это и другим.

Хан смотрел на посла спокойно и долго. Большие глаза его подернулись грустью. Лицо его смягчилось, подобрело. Вдруг он приветливо улыбнулся.

— Господин Жон! Самое надежное сокровище нашего народа — его пословицы и поговорки. Одна из них гласит: «Того, с кем один раз разделил трапезу, почитай сорок дней». Мы же с вами несколько дней были неразлучны. И в добрую память о них я дарю чистокровного скакуна.

Они вышли из юрты. К ним подвели легконогого, поджарого скакуна светло-рыжей масти, на котором ездил в тот раз на охоту с ловчими птицами султан Нуралы. Абулхаир отрезал пучок волос от гривы, вытер им влажный храп скакуна, потом снял с него серебряную уздечку и надел недоуздок с серебряными колечками и передал конец чамбура послу.

— По нашему обычаю коня вместе с уздечкой не дарят, — улыбнулся хан. — Берите! Да будет резвым и неутомимым ваш скакун!

Посланник приложил руку к сердцу и поклонился.

— Для господина Кирилова у меня на этот раз нет подарка. Бог даст, прихватчу, когда пригласят меня в Оренбург. А вот это — подарок вашей невесте.

Посланнику вынесли шесть лисьих и тридцать корсачьих шкур. Их, связав, уложили на задок кареты. Не обошли подарками и двух толмачей: каждому дали по шесть корсачьих шкурок.

После этого была сотворена короткая благодарствен-

ная молитва, и путники сели на коней. Перед самым отъездом Цапаев, поманив пальцем, подозвал к себе дурашливо улыбавшегося в сторонке Итжемеса.

– Я-то все думал, что этот губошлеп кособрюхий в наш городок зачистил? А он, оказывается, зятьком приходится! Взял себе в жены нашу сестрицу и помалкивает, хоть и рот до ушей. И пусть забыла она родной язык, но что русская – ведь не скроешь. Да поглядите хотя бы на рожицу этого сорванца!

И Цапаев привлек к себе прижимавшегося к отцу светлолицего, рыжеволосого, с широкими скулами мальчика и погладил его по головке.

– Что этот урус-увалень говорит?

– Племянника своего признал.

– О, аллах! Неужели?!

– Да, да! Сказано ведь: кровь тянет, породу не скроешь!

– Смотри-ка! Может, со временем и этот рыжий сопливец правителем станет?

– А что? Тогда с Итжемесом придется поласковее обходиться уже сейчас, пока не поздно...

Цапаев рукоятью плетки шуточно надвинул замасленную шапку Итжемеса на глаза и хохотнул:

– Смотри, зятек! Приедешь в город – не забудь ко мне заглянуть, гостинцев взять для племяшей моих.

Русские из посольства дружно рассмеялись. Кулбай тотчас перевел шутку на казахский язык, и тут уже рассмеялся хан, а за ним и все остальные.

Аульные бабы оживленно зашушукались:

– Ай да Итжемес! Родню нашел...

– Теперь его рыжуха будет дуть городской чай наравне с Бопай-ханум.

– Сказано ведь: и на чужбине займей родню.

– Не зря Балпак пропадал в последнее время в лачужке Итжемеса...

Путники тронули коней.

За каретой длинной вереницей потянулись верховые. Шакшактинцы Суюндик и Акмалай, адаевец Курмантай, Лака и Мамбет из рода тлеу, Алтай из рода кете решили под водительством туленгута Гайбека добраться до Самары и представиться господину Кирилову. Нарочный султана Жанибека и туленгут, Шагирай должны были сопроводить посольство до брода на реке Орь, Шагираю

вменялось в обязанность снабжать путников по дороге необходимым продовольствием. Бесцеремонный, драчливый, скорый на расправу, он еще вчера оповестил многие аулы по пути; чтобы они подготовились к встрече посольства и его сопровождающих заблаговременно. Султаны Нияз и Нуралы вызвались проводить царского посланника.

На несколько верст от ханской ставки проводили посольство сам Абулхаир и некоторые приближенные к нему бии. Потом они молча глядели вслед, пока путники не исчезли за перевалом.

Едва заметный белесый клубок пыли, похожий на ка-
тающийся по степи одинокий куст устели-поля, все далее уплывал к горизонту, и там то ли растворился в призрачном мареве, то ли враз провалился в невидимую пучину.

Бии, сопровождающие хана, попрощались с ним и тоже отправились в путь в свои улусы.

Абулхаир загрустил. Опять проводы... Сколько их было в его жизни! Опять расставание... Сколько их еще предстоит! Ничего устойчивого, постоянного в этом мире нет. Вот и приезд посольства стал теперь достоянием прошлого. Все прошло-ушло, будто и не было ничего. И почему-то пусто на душе. Нет ни удовлетворения, ни успокоения. Вот уже столько лет многие надежды, взлелеянные в душе, никак не оправдывались, а если и осуществлялись, то не в той мере, как хотелось, как мечталось, и потому казалось, что растворяются и угасают они каждый раз где-нибудь за горизонтом вместе с клубком белесой степной пыли, поднятым уезжавшей от хана горсткой путников. Когда, наконец, осуществится его заветная мечта?.. Когда наступит – и наступит ли? – желанный для него день?!

Провожая посланника, мурзу Жона, хан еще раз пристально взглянул на него и заметил про себя, что и он не был столь оживлен и безмятежен, как в первые дни приезда. И он, англичанин Джон Кестли, уезжал отсюда в глубоком раздумье, многое, должно быть, поняв, а обо многом лишь догадываясь. Видно, что и его впечатления от радужных первых встреч, от всех забав и застолий в краю кайсаков улетучивались, истаявали понемногу, как всклубившаяся из-под колес его кареты невесомая пыль, что неизменно рассеивается и исчезает бесследно в неоглядной шири.

Абулхаир поднял голову, устремил взгляд вдаль. Глубокие морщины, как еще не заросшие следы былых кочевий, избороздили его чело. Ему вдруг ясно, отчетливо подумалось, что пыль, только что осевшая на густой, щедрый покров степи, — лишь первый признак, предзнаменование, предвестник предстоящих на земле его предков больших перемен, неизбежных и непредсказуемых.

Перевод Г. Бельгера

ДРАМА

АБЛАЙ ХАН

Героический эпос

*Драма в четырех действиях***ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:**

- АБЛАЙ,**
САБАЛАК, АБИЛЬМАНСУР – казахские ханы
СВЯТОЙ КОМЕЙ,
КЕЙУАНА, (БУХАР) – поэт, народный
сказитель
- ДИУАНА (ОРАЗ АТАЛЫК)** – дервиш
КАЛДАН ШЕРИН – контайши, верховный
правитель джунгар
- ЛАМА ДОРЖИ,**
СЫБАН ДОРЖИ,
ДАУАШИ,
АМИР САНА – джунгарские принцы,
члены семьи контайши
ТОПЫШ СЛУ – дочь Калдана Шерина
КУЛЬПАШ СЛУ – младшая жена
Калдана Шерина
- ДАУЛЕТБАЙ**
КАБАНБАЙ, ЕДИГЕ,
ШОТАНА, ОЛЖАБАЙ,
ТУРСУНБАЙ,
МАЛАЙСАРЫ – влиятельные казахские
вельможи, бии и
батыры

БЕКБОЛАТ,
БОТАХАН,
ЖАКАЙ,
ЖАНАК,
БИЙКШЕ,
АБИЛЬМАМЕТ,
ШИГАЙ
ШАРЫШ

– казахские султаны
– джунгарский батыр,
брат контайши
Калдана Шерина

ВОИНЫ,
ПОСЛЫ,
ГОНЦЫ,
СТРАЖНИКИ

Действие происходит в XVIII веке.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ПОЕДИНОК

Окрестности Кокшетау. Начало лета. На правой стороне сцены, подставив грудь утренней свежести, стоит Святой Комай.

КЕЙУАНА:

Мои величественные степи!
Горы спят высоки на них,
В истоме млеют холмы,
Сверкают светлые озера.
Собирая ягоды в логу,
Выпасая скот на взгорье,
Нашел отраду мой народ,
В сиянии полного лета.
Вытопив горечь из груди,
Оградив души от кручины,
Приумножать бы нам добро.

Озираясь по сторонам, появляется Диуана. Останавливается на противоположной стороне сцены.

ДИУАНА:

Ишь ты, посмотри на этот мир!
Как он весь разомлел,
Как беззаботно принарядился,
Как изнеженно глядит, –
Завтра бурьяном зарастет.

Ишь ты, взгляните на людей!
Благостью все полны,
Распирает их веселье,
Лица стали у всех светлы, —
Завтра их растопчет враг.
Наступило лето, говорят,
Сказали бы лучше, нагрянет враг.

Неожиданно доносится шум, топот, голоса.

Вот оно, сказал ведь я!
Слышен топот!
Гул и гуд!
Стук и грохот!
Треск и звон!
Сейчас станут бить в набат,
И мир будет всполошен,
Падет небо навзничь,
Пыль взлетит к небесам,
Заснуют туда-сюда,
Кинутся друг на друга,
Схватятся, сойдутся,
Вцепятся, закружат,
Изойдутся в драке,
Издерут друг друга,
Истребляя взаимно.
Запоздало очнутя,
Ошарашено все.
Заохают горестно,
Зарыдают горько,
Проклиная жизнь.
Ах! Ух!
Пай-пай!

(Недоуменно оглянувшись за сцену)

Эй, что это?
Если это враг, где его знамена?
Где гиканье и свист?
Где частокол копий длинных
И сабель острых сверканье?
Где военачальников зычный крик
И воинских доспехов бряцанье?

Что за шествие? Не понять.
И одежда – буйство красок...
Это калмыки уносят ноги,
Иль казахи бредут вразброд?
О Аллах!

КЕЙУАНА:

Упаси Аллах! Одеты все в цветных нарядах,
Девушки кучей, джигиты группой,
Соблюдая все приличия,
Едут чинно, не бросаясь вскачь,
Почти все на иноходцах, –
То остановятся, то снова в путь.
Люди едут так на пир.

ДИУАНА:

Субхан Алла! Субхан Алла!
В Туркестане Ходжа Ахмед,
В Бухаре Бахуадин пророк!
С ума казахи посходили?
Не изгнан враг с земли родной,
А они, оружие отстегнув,
На пир веселый собрались.
Безрассудству волю дали
В родах Атыгай и Караул.

КЕЙУАНА:

Если Создатель благосклонен,
Щедлости его предела нет.
Не обретя себя в отчизне,
Муками истерзан донельзя,
Уйти стараясь из тьмы кромешной,
К Толе бию я пришел.
Джигит со лбом широко-ясным,
С глазами, будто звезды яркие,
Наделенный силой тигра,
Взял коня под уздцы,
Воду на руки мне лил,
Будто приставленный служка,
Ни на шаг на отходил.
Перед отъездом он взмолился:

«Сарыарка – мой родимый край,
Хоть в коневоды, но возьмите!»
С трудом расстался с ним Толе:
«Был он мне как сын родной!»
По дороге я завернул
В аул Атыгай-Караул,
Даулетбай тут взмолился:
«В каждой битве терял по сыну,
Кто продолжит мое дело?
Уж сколько брал я юных дев –
Счастья не было ни с одной,
Коневода, друг, отдай,
Будет мне как сын родной».
Я сказал тогда батыру:
«Справься сам у джигита,
Пусть ответит за себя»,
Тот с трудом, но согласился.
И эти люди тут не спроста...

ДИУАНА (*сам себе*):

Не жизнь, а суета сует!
Хоть давно это было,
А из памяти не уходит.
На безлюдье мыкал жизнь,
Святым творя молитвы,
И набрел на разоренье:
Одни разбухшие трупы,
Скот порублен, скарб вразброс,
Стяг сиротливо лежит.
Еще один султан казахов,
Видно, был жестоко бит.
Чтоб в беду не угодить,
Уйти я оттуда поспешил...
Наутро ишак, что подо мной,
Ушами встревоженно застриг.
Боясь, что беду он чувствует,
Собрался было я уехать,
Как услышал чей-то плач.
Не остановиться – грех на душу,
Подъехал я к кустам –
Женщина в одежде рваной,
Слезы из глаз в три ручья –

Мне поведала о несчастье:
Отца убили на поле брани,
Мать ее взяли в полон,
А ей неожиданно удалось
Сына укрыть от вражьих глаз.
«Враг тут рыскает повсюду, –
Сказал я. – Спасем дитя».
Спрятал я дитя в коржуне,
Саму усадил на ишака,
И целый месяц добирались
До города глиняного Шаш.
И, отдав ее в служанки сарту,
Жанис Карабаю я довел
Дитя, спрятанное в коржуне.
«Нашла тебя удача.
Держи, он отныне твой» –
Молвил я и ему вручил
То, что прятал в дорожной суме.
Дервиша неизведан путь,
Без конца и края он,
А развел я родные души,
Чтоб каждой жизнь сохранить.
С той поры ношу я тайну,
Желал бы всяк о ней узнать.
В неведеньи до сей поры
Султан Абиляммет и Толе би.
Об истории этой всей
Мальчик знал, мной спасенный
И выпасавший чужой скот.
Через дервишей себе подобных
Я часто слал ему привет,
Да и сам не уходил далеко,
Глаз с него не спускал.
А услышал, святой Комей
Везти его собрался в Сарыарку,
Сел и я на ишака,
Вслед за всеми поспешил.
И вот она казахов радость –
Нежданно сына обрели!
На праздник люди собрались.

КЕЙУАНА:

Дают пир — идти надо к людям,
Поздравить с радостным событием.

ДИУАНА:

Неподвижна правая бровь,
Но что-то тянет левую,
Знаю я цену примете,
На душе моей неуютно,
Как бы кровь не пролилась.
Что за пыль там поднялась?

ГОЛОС ИЗДАЛЕКА:

Враг! Враг напал!

ДЖИГИТ:

На нас напали? О напасть!
Поддержи нас, создатель!

(Незнакомый джигит вскакивает с места).

Враг напал!
Где воинское снаряжение?
Где кони боевые, отец?

ДАУЛЕТБАЙ:

Враг не виден, пока не ясно.
Держи себя в руках, мой сын.

ДИУАНА:

В боевой бьют барабан,
Прекращайте веселье!
Разберитесь по местам!

КЕЙУАНА:

Снова потерян покой,
Снова ход нарушен жизни,
И опять сгустился мрак.

На сцене темнеет. Со всех сторон появляются люди с горящими лучинками в руках. Слышатся испуганные крики: «Враг! Враг!» Плотные ряды вооруженных людей с факелами в руках, проходят по сцене и на другом ее конце становятся в ряды. Другая беспорядоч-

ная группа людей, тоже с факелами в руках, как-то неуклюже выстраивается в ряды на противоположной стороне сцены. Факелов все больше. На сцену подается больше света. Становится ясно – по одну сторону стоят джунгары, по другую – казахи. Джунгарских воинов возглавляет батыр Шарыш, перед казахами стоит султан Абиляммет.

ШАРЫШ:

Я – известный всем батыр Шарыш,
 В шесть сажений мой острый клык.
 Врага, что станет передо мной,
 Бросать под ноги я привык.
 Казахов шумливая толпа,
 Ты – верблюжонок на поводу.
 Видишь, огнем навис над тобой
 Я, как неистовый бура.
 Переломаю позвонок,
 Перемелю я твой таз,
 Посадить я готов тебя,
 Подбив колени сорок раз,
 Пригнуть намерен я тебя
 И поставить на попа,
 Вольно мне гонять тебя,
 Словно обгрызанный мосол.
 Конец твоей воли наступил,
 Твоего позора час пробил!
 Аха-хай,
 Оха-хай,
 Пай-пай!

ВОИНЫ-ДЖУНГАРЫ:

Ха-хай!
 Оха-хай!
 Пришли мы к вам!
 И говорим это вам!

Диуана смешивается с толпой.

ДИУАНА:

О создатель! Эти слова
 Горько слышать наяву.
 С землею нас смешал,

В могилу всех загнал...
Эй, казахов сыны!
Ожидали вы такое –
Игру судьбы иль сатаны?

АБИЛЬМАМЕТ:

Народ мой!
Враг унизил нас!
Жизнь одна
И смерть одна.
Чего стоим мы?
Ждем свой смертный час?

ШАРЬШ:

Ха-ха-ха!
Мышиный бура!
Ты еще голос подаешь,
Ты пытаешься рычать?
Пора бы голову склонить,
Не слоняться по степи,
У чурдженей и у русов
Искать защиты перестать.
Пора запомнить навсегда –
Лишь джунгар твой старший брат:
Запомнишь – будешь жив,
Не запомнишь – вот аркан,
Кто сидел на троне – раскорячу,
Кто с оружием – раскрошу,
Молвишь слово – заплачешь,
Всем я головы сниму,
И, нанизав как бусинки,
Золототронному Калдану
Как дар бесценный поднесу.
Что ты выберешь, казах?

ВОИНЫ-ДЖУНГАРЫ:

Аха-ха-ха!
Ехе-хе-хе!
Что ты выберешь, казах?
Не тяни, скорей решай!

АБИЛЬМАМЕТ:

В речах не знающий поражений,

Святой Комей несравненный,
Что ты скажешь ему в ответ?

КЕЙУАНА:

О бренный этот мир!
Твои ухищрения всем известны,
Вместе следуют повсюду
У тебя добро и зло,
С ног на голову все ставишь.
В этом мире все вверх дном.
Но враг становится наглей,
Когда отпора он не видит.
У казахов уран – «Алаш»,
У потомственных – «Архар»,
Поднял враг нас на смех.
Смирится ль с этим святой аруах?

ХОР:

Нет!
Не смирится дух – аруах!
Не склонится народ – казах!

КЕЙУАНА:

Живущий на райской земле,
Словно олени резвые в горах,
Не привыкший голову склонять,
Каким бы грозным ни был враг,
Словно лось, привыкший пить
Воду из горного родника,
Слову согласия верны,
Будто тесаный гранит,
Подобный барсу мой Уйсун,
От слов зарвавшегося врага,
Не хрустят ли ребра твои?

ХОР:

Хрустят ребра от слов врага,
Но единству мы верны.
Услышим слово «газават»,
«Алаша» станем в ряд сыны.

КЕЙУАНА:

Как небо, беспредельный мой Аргын,
Как сонм звезд, народ Кипчак,
Что без износа войлок, мой Керей,
Неодолимый ни в чем, Найман,
Словно сель, неукротимый Таракты,
Несравнимый ни с кем Уак,
Юрт неисчислимых Конрат –
Оплот на южной стороне!
Потерявший рассудок враг
Пришел войной в наш общий дом,
Его вы слышали угрозу,
Сколько можем мы страдать?

ХОР:

Пришел терпению конец,
Плевков в лицо, в бок – копье
И от беспутного Шарыша
Не оставим ничего.

КЕЙУАНА:

Вольно живущий на Едиле,
Поднявший знамя на Жайке,
Орду сложивший на Урале,
Неостановимый в пути Алшин,
Должна бы весть дойти до вас:
Войной пришел батыр Шарыш,
Подними свой бунчук-тугра,
Грозный брось свой клич «Тулпар»,
Ураганный твой удар
Был бы кстати для врага.

ХОР:

Шесть «Алашей», если вместе, –
Не устоит, отступит враг.
Пусть числом он поболе,
Но в бою жестоком слаб.

КЕЙУАНА:

Алаша имя дано Аллахом,
Чем идти с саблей на казахов,

Пойти против бога своего
Легче было бы джунгарам.

ХОР:

От слов бранных с поля брани
Не бабы мы, чтоб бежать.
Пришли с войной? Что ж, ответим,
Но пора соседям знать:
Там, где глупый сеет смуту,
Умный мир найдет всегда.

ШАРЬШ:

Не пускайте вы дым в глаза
И не выпячивайте грудь.
Видно, тут в степи одни
Своевольно привыкли жить.
Покрупнее птица тут –
Сжать когтями может крепко
И вас надвое разорвать.
Чем ответите вы мне?
Готов я сам выйти на поединок,
Не уважаю болтовню,
Снесут голову – святым предстану.
Без меня джунгары проживут.
Готов сейчас без промедленья
Силу я показать свою.

ВОИНЫ-ДЖУНГАРЫ:

Да, да! Вызов брошен.
Кто его примет, говори!

КЕЙУАНА:

Каракерей Кабанбай,
Канжыгалы Богембай,
Шакшакулы Джанибек,
Чернее ночи Тлеуке,
Сатан из Текеса, Ер Болек,
Шапырашты Наурызбай,
Каумен, Даулет. Сенкибай,
Молдабай из Каскарау, –
Перечислил я не всех,
Всех батыров не перечеть.

Решайте сами – кто из вас
Готов в открытом поединке
Пса паршивого унять.

ГОЛОСА:

Я готов! Я готов!

ШАРЫШ:

Одни жиденские бородки,
Ни одного джигита – старики.
Козлы в очереди на поединок.
Я – батыр, а не мясник!
Найдется ль тут кто помоложе,
С кем не стыдно в бой вступить?

ДИУАНА:

Гривастого нет меж коней,
Свирепого нет среди собак –
Вот они казахи. И рад бы помочь,
Да от стариков нет отбоя.
Ха-ха-ха!
Убил Шарыш всех до боя.

ХОР:

Так мы сраму не оберемся.
Кто из джигитов готов у нас
Выйти в круг, с врагом сразиться,
В ком дух отваги не погас?

Вперед выходит незнакомый джигит.

ДЖИГИТ:

Если нужен молодой,
Я готов с ним сразиться.

ГОЛОСА В ТОЛПЕ:

- Эй, а кто этот крепыш?
- Раньше не видел я его...
- Это же Даулетбая приемыш!..
- Бедолата, похоже, смерти себе ищет...

ШАРЬШ:

Схвачу за шиворот и встряхну,
Что останется от тебя?

ДЖИГИТ:

Сперва попробуй сразиться,
Испытаю и я тебя.

ХОР:

Молодцом, молодцом!
Да поддержит тебя аруах,
Не ударил в грязь лицом.
Да поможет тебе Аллах.

ШАРЬШ:

О духи, поддержите и меня!
Прадед мой Калдаман
Джангирхана сокрушил,
Дед мой славный Ер Кодек
Уалибека гнал и бил.
Отец мой, что меч, Алдаспан
Петлю на Абылае затянул.
Их оружие – все пять видов –
Унаследовал я достойно,
Уалихана я нашел,
Хоть пытался он трусливо
Укрыться на краю земли.
Если от страха не согнулся,
Мальш, поближе подойди,
Дай за шиворот схватить.
Ну-ка!

ДЖИГИТ:

Я готов. О аруах!

Шарьш и незнакомый джигит выходят на середину круга. Люди с двух сторон начинают их подбадривать. Поет хор.

ДИУАНА (*поет, кружась вокруг единоборцев*).

Стук, треск! Замах, бей!
Тяни, рви! Не жалеи!
Поднимай, вали!

Бросай, круши!
Встряхни его! Сам держись!
Взмах, еще взмах!
Бейся яростно, как лев,
Изворачивайся, как тигр,
Нападай, как ловкий барс...
Не сдавайся, не сгибайся,
Не отступай, иди вперед!
Отбей удар, оттолкни!
Подомни его под себя!
Ломай его, не жалей,
Распори живот,
Целься в грудь,
Мни, как глину!
Наседай же на него,
Пяткой упрись, грудь сдави!
Теперь дерни за тебеньки,
А сейчас дерни за полы!
Мотай на кулак!
Рви за прорезь,
Сорви кольчугу,
Мни его, вынь душу!
Еще раз дерни и швыряй!
Чтоб вылезли из орбит глаза,
Чтоб вывалился изо рта язык.
Заставь реветь его, как львицу,
Заставь мекать, как козла!
Мотай туда, кидай сюда!
Вот-вот, молодцом!
Не оставил тебя Аллах!
Поддержал тебя аруах!...

Джигит, подняв Шарыша над головой, уносит его со сцены. Люди на одной стороне ликуют от радости, на другой плачут.

На сцене появляется Диуана, держа за косы отрубленную голову Шарыша. За ним следует джигит.

ДИУАНА:

Вот она – наша радость,
Победы долгожданной сладость!

Сложил голову Шарыш,
Буду волочь, кидать ее,
Будет нужно, спалю ее.
Улыбнись, батыр!
Встряхнись, народ!

ВОИНЫ-КАЗАХИ:

«Алаш», «Алаш»!
Аруах, аруах!
Улыбнись, батыр,
Встряхнись, народ!

КЕЙУАНА:

Кто ты будешь, светоч мой?

ДЖИГИТ:

Абильмансуром нарекли меня,
Судьбой был уготован мне мед и яд,
Со дня рожденья я познал гоненье,
Тревога стала колыбельной.
Бежал от гибели и искал
Волю призрачную на чужбине,
Соболя на рубище променяв,
Но вдали об отчизне тосковал.
Теперь обрел я родину опять,
Заботу о ней не сочту за труд,
Как мох, что на камни налип,
Как мух, облепивших ее всю,
Врагов смешаю я с песком.
В поединке верх я взял,
Но поединок лишь начало,
Пусть враг растерян и бежит,
Других немало. Из-за них,
Пока хоть один в живых,
Мне покоя не видать.
Лишь бы благословил меня народ,
Не отстранясь, пошел за мной, -
Не из тех я, кто ниоткуда,
Поверьте, как сыну, я - ваш сын.
Мне в печали Аллах опора,
Мне защита Абылая дух,

Народ, я верю, будет помнить,
Коли в битве голову сложу.
Теперь вы знаете обо мне...
Но пора вдогон за врагом,
Кто рожден с отважным сердцем,
Тот последует за мной.
Аллах на небе, в земле Аблай,
Клич-уран мне грозный давший.
Аблай! Аблай!..

Батыр Абильмансур срывается с места.

АБИЛЬМАМЕТ:

Аблай?

Так сказал молодой батыр?

ГОЛОС В ТОЛПЕ:

Какой Аблай?

Он ведь давно уже погиб!

КЕЙУАНА:

Сон или явь? Загадку нам загадал.

Но обрел я, что долго так искал.

Слова точны, душа живая в нем живет,

С ним Аллах, с ним святые, за ним народ.

ХОР:

Веди, батыр, за собой.

Пойдем на битву мы с тобой!

Аблай! Аблай!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СХВАТКА

Темница. Кромешная тьма. В темнице сидит батыр Абильмансур, победивший Шарыша в поединке.

АБИЛЬМАНСУР:

Держа достойно пестрый стяг Алашей,
Джунгаров я отбросил за Алтай.

Бывало, ссоры мигом затихали,
Когда я клич свой произносил – Аблай.
На голову мне, видно, птица счастья
Рано села – не оценил я это.
Она слетела. И на голову враз
Коварный обрушился враг.
Наивный, себя вытолкать из жизни
Позволил я. И нет мне прощения.
Снова мир мой сжался донельзя;
И я в темнице, и народ беззащитен,
Вернулось все на круги своя.

В темноте слышится чей-то злорадный смех.

ГОЛОС:

Ну что, строптивец, угодил в беду?
Дошло, что и тебе досталось
Дедов горькую пройти судьбу
Хо-хо-хо... Ха-ха... Ехе-ехе!

АБИЛЬМАНСУР

Кто тут?

ГОЛОС:

Пращур твой хан Джангир
Неугомонным воином слыл.
Из битвы в битву,
За схваткой схватка, –
Без начала и конца.
Смерть он сеял и сам нашел
Ее от рук сопливого юнца.
Хо-хо-хо... Ехе-ехе!

АБИЛЬМАНСУР:

Что он болтает?

ГОЛОС:

От Джангира остался Уалибак,
Он погиб, находясь в бегах,
Власть и трон забрал Тауке.
Хо-хо... Ха-ха... Ехе-ехе!

АБИЛЬМАНСУР

Вот прицепился!

ГОЛОС:

Прадед твой – хан Аблай,
Где пройдет – там шум и гам,
Любитель вешать и стрелять
Ловил кого-то,
За кем-то гнался,
В гневе противника топтал.
Ловушки ставить любил до смерти,
Лежит в могиле, как всякий смертный.
Ха-ха-ха... Хо-хо!.. Ехе-ехе!..

АБИЛЬМАНСУР:

На предков моих возвел навет,
Переломить бы тебе хребет!

ГОЛОС:

Его отпрыск Уали
В безлюдье голову сложил.
Абильпеис себе присвоил
Его трон, его богатство,
Его красавицу жену.
Теперь дошло до тебя.
Что счастья миг короток?
Добро – по ветру,
Трон – врагу...
Хо-хо... Ха-ха!.. Ехе-ехе!..

АБИЛЬМАНСУР:

Кем бы ты ни был, покажись!

С противоположной стороны слышится другой голос.

ВТОРОЙ ГОЛОС:

Не теряй выдержки, батыр,
Ищи выход из западни, батыр,
Знай, у правды суровое лицо,
Держи себя в руках, батыр.
Помнишь, как к казахам спешил,
О неоплатном долге говорил?

Хоть о матери все знали,
Неизвестным отец твой был.
А происхождение много значит.
Ты служкой у порога жил,
Выпасал у бая веблюдов,
Подрос, водил на Сырдарью
Заезжих биев коней поить.
Носил ты кличку Сабалак,
Вознес, джигит, тебя Аллах.

АБИЛЬМАНСУР:

Как будто мало одного,
Заверещал другой.

ВТОРОЙ ГОЛОС:

Снявши голову Шарыша,
В походах дни ты проводил,
И сам по горло очутился
В море крови, что пролил.
Чужим ты головы снимал,
Советы близких отвергал,
Со смертью привык играть.
Джунгары шли с повиновением,
Казахи ждали примирения,
Но ты закусил удила.

АБИЛЬМАНСУР:

И у этого язык не слаще.

ВТОРОЙ ГОЛОС:

Калдан умно расставил силки,
Казахи добавили интриги.
Решив поспать беззаботно,
На Улытау, на охоте,
В западню ты глупо угодил.
Забавой стал в руках сатаны,
А врагу – посмешищем,
И все оттого, что позабыл,
Как погиб пращур твой,
Как дед голову сложил,
Как отца ты лишился.

АБИЛЬМАНСУР:

Эти невидимые голоса
Меня замучают сегодня.

ГОЛОС:

Да вот он я. Рядом стою.
Хочешь – стреляй, хочешь – руби!

Словно из небытия появляется Диуана.

АБИЛЬМАНСУР (*растерянно*):

Итак душа кровоточит.
Откуда ты, злой пророк?
Зачем раскапывать все это?

ДИУАНА:

Вошел с тобой,
Живу в тебе.
Загордишься –
Как уголь буду жечь.
Обидишься – пламенем обдам.
Живешь в сомненье –
Рядом я.
Нет сомнения – нет меня.
Хо-хо... Ха-ха...
Ехе-хе... Ке-ке...

Из тьмы выступает Кейуана.

КЕЙУАНА:

Не теряй выдержки, батыр.
Загривок волчий стал как прут,
Не скатилась бы голова.
На то и враг, чтоб измываться,
На то ты воин, чтоб все стерпеть.
Стан врага, что поле битвы,
Обрети свой дух и война стать.

Тьма сгущается. Кейуана в Диуана растворяются в ней. Слышатся звуки шагов, они усиливаются. Видно, что идут вооруженные люди. Первые двое одеты в белое, лица под забралом. Двое за ним

несут большие блюда. Вооруженная охрана одета во все черное, на лицах людей черные маски.

ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ ОДЕЯНИИ:

Семь дней долгих ты не ел.
 Вот еда – контайши ее послал,
 На цвет, что янтарный мед она,
 Из плода жеребой кобылы,
 Что была на привязи в саду.
 А это – обыкновенная вода,
 Кипяток из тюремного котла
 С кусочком жира на плаву,
 Вряд ли он твой голод утолит.
 Попробуй, выбери по вкусу,
 В жизни место есть искусу.

Двое с блюдами в руках останавливаются перед заключенным.

АБИЛЬМАНСУР:

Угощенье я поем
 У контайши во дворце,
 Но увольте от объедков
 В этой каменной дыре.
 И кипяток, бывает, силу
 Человеку придает,
 А мед оборачивается ядом.
 Со мной Аллах... День грядет.

Берет блюдо и залпом пьет воду. Смотрит на кусочек жира, оставшегося на дне посуды.

В кипятке кусочек жира
 От дыхания взлетал,
 То появлялся на минуту,
 То вновь куда-то исчезал.
 Взял, что судьба послала,
 А другого мне не надо.

Кидает посудину вверх. Двое в белых одеяниях предосудительно качают в ответ головами.

ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ ОДЕЯНИИ:

Не остыл еще гнев,

И дерзость не сошла.
Но остынет скоро гнев,
Растает гордость без следа.
Горько будешь ты жалеть...

Все удаляются. Во тьме слышится плеск воды. Через узкий лаз в глубине темницы видны озерцо, стебли камыша. Огромный пятнистый тигр, нагнувшись, лакает воду.

АБИЛЬМАНСУР:

Где я нахожусь в самом деле?
Но спасибо, судьба, тебе!
Чем быть пленником, не лучше ль,
С царем зверей схватиться мне?
Ну, иди ко мне, что стоишь,
Ты — кошка, а я — мышь.

Тигр стоит неподвижно. Доносится стук. Зверь прижимает уши и неожиданно исчезает.

О небо!
Кровожадный зверь стоял
И исчез в одно мгновенье.
Бог его к себе забрал
Иль было это наваждением?

Сцена погружается в полутьму. Снова появляются двое в белых одеяниях. С ними идут сорок палачей, одетые в полосатую одежду. И у них лица забраны, но черным. Махая острыми мечами, они останавливаются перед пленником.

ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ ОДЕЯНИИ:

От контайши пришел приказ,
Черный саван тебе шит,
Наступил твой последний час.
Пришли сорок палачей,
В руках сорок держа мечей,
От одного смерть твоя.
Слово последнее за тобой,
Говорить можешь не таясь.

АБИЛЬМАНСУР:

Палачи — не ровня мне, в спор не вхожу,

Всегда лишь с друзьями беседу я веду.
Есть что сказать мне трусу Калдану,
Видно, на том свете я его найду.

ДРУГОЙ В БЕЛОМ ОДЕЯНИИ:

Велел узнать, есть ли просьба.
Воспользуйся милостью, говори.

АБИЛЬМАНСУР:

Не вижу здесь я человека,
Кому доверил бы просьбу свою.

ПЕРВЫЙ В БЕЛОМ ОДЕЯНИИ (палачам):

Ну что ж, приступайте.

Сорок палачей, угрожающе взмахивая мечами, кружат вокруг Абильмансура. То один, то другой подскакивает и тычет острием меча в горло пленнику. Абильмансур словно не замечает их.

ПЕРВЫЙ В БЕЛОМ ОДЕЯНИИ:

Будто в стаде козел-вожак,
Рыжий с лысиной во лбу
Уперся взглядом, не моргнет.
Из кости вырезано иль
Из камня сердце у него?
Если из кости, размягчим,
Если из камня, расплавим.

(Обращается к палачам)

Ну, хватит! Пошли!

Все уходят. Сцена снова погружается во тьму.

АБИЛЬМАНСУР:

Поглядим, что еще надумают.
Муки не тяжелы,
А издевательство — мука.

Из глубины сцены, кокетливо ступая, выходят группой юные красавицы и становятся полукругом. Впереди — красивая девушка с золотыми перьями на голове.

КРАСАВИЦА С ЗОЛОТЫМИ ПЕРЬЯМИ:

В прохладе степных просторов
Ветерок ты обнимал.
Обольстительниц я привела,
Любую можешь выбрать ты
И в объятия заключить.
На том свете их не будет,
Страсть пред смертью утоли.

С вызывающим смехом кружит вокруг Абельмансура. Ей следуют другие девушки. Сперва они танцуют в одежде, но постепенно снимают ее с себя всю. В развязном, соблазняющем танце то одна, то другая девушка льнет к Абельмансуру, обнимает его со страстным вздохом или с кокетливой нарочитостью отстраняется от него. Абельмансур стоит неподвижно, бесстрастно глядя на танцующих девушек.

КРАСАВИЦА С ЗОЛОТЫМИ ПЕРЬЯМИ:

Что же ты не обнимешь, глупый,
Белогрудую девицу?
Что же ты жадно не прильнешь
К груди высокой, как дитя,
Как когда-то к материнской?
Что ты медлишь, чего ты ждешь,
Тупо уставившись на небо?
Вот она — стая лебедей,
Ринься, как сокол быстрокрылый.

Абельмансур стоит все так же неподвижно.

Похоже, тебя я поняла,
От стаи сук и кобель бежит.
Подите прочь! Не надо тут
Бестолково всем кружить.
С волкодавом-молчуном
Сама останусь я одна.

Девушки, хватая одежду с пола, убегают прочь.

На меня, молодец, погляди —
На жемчужное колье, —
Одна я такая на земле,
Красу другую не найти.

Прими как сон, но знай один.
Свою любовь дарю тебе.
Примешь – окажешься в раю,
Отвергнешь – гореть тебе в аду.

Она бросается к Абилямансуру с объятиями, но джигит брезгливо отталкивает ее. Девушка отшатывается, падает на каменный пол. Поднимается на ноги.

Проклятый жеребчик!..
Поддался бы – сына родила
На погибель вам, казахам.
Плотью поганой дорожишь?
На помосте завтра смертном
Суку бродячую напущу,
Чтоб искромсала плоть твою.

Сердито ступая, уходит. Абилямансур стоит все так же неподвижно, словно истукан. Теперь на сцену выходят девушки в белых платьях, похожие на беззащитных птенцов белых лебедей. Возглавляет их – красавица с серебряными перьями на голове.

ДЕВУШКИ В БЕЛЫХ ПЛАТЬЯХ:

Росли все мы в родной степи,
Словно вольные косули,
Вместе со своей госпожой
Оказались на чужбине.
Из мест родных ловили слух,
Вестей мы ждали, но напрасно,
От безутешных слез глаза
Стали мертвенно печальны.
Детей надруганных своих
Забыли, видно, все давно.
Мы смирились было с этим,
Но вот новая беда –
Надежда наша от врага,
Что лелеяли мы в сердце, –
Лев угодил в тенета.
Нам и ласточками не стать,
Чтоб на крылышках по капле,
Из воли воду приносить
И воину рану окропить.

КРАСАВИЦА С СЕРЕБРЯНЫМИ ПЕРЬЯМИ:

Довольно! Развели плач.
Отойдите подальше!

Девушки, неохотно ступая, уходят.

Мой брат, выслушайте меня,
Из рубина на мне колье.
На свете их два. Вот одно.
Догадайтесь, зачем оно на мне?
Дед был чурджен,
Бабушка – казашка,
Служанок видели вы сами.
Душа нестерпимо тянет в степь.
Живу девичьи года.
Свободна я. И чиста.
Но – сегодня.
Моя свобода – день один,
За ним туман, за ним неволя.
А как вы сами, мой брат?
Вы оставили за собой
След достойный на земле?
От достойного – сын, говорят,
От тулпара – потомство.
Не совершаете вы ошибки?
О, стыд какой? Что я мелю?
Простите, я не в себе...

Девушка падает в ноги Абиьмансуру. Он как бы приходит в себя, тянется, дотрагивается рукой до лба девушки. Серебристая завеса, заполняя сцену, укрывает их. Потом медленно светлеет. Абиьмансур стоит один. Он в недоуменье. Глядит на двух людей, идущих к нему.

ВТОРОЙ ИЗ ДВУХ В БЕЛОМ ОДЕЯНИИ:

Ты не должен бы достаться смерти,
Но к уговорам ты был глух,
К мольбе остался равнодушен...

ПЕРВЫЙ:

Не в темнице, а в битве жаркой,
Встретить бы мне тебя.
Не пред казнью, а на троне ханском...

Оба поворачиваются и уходят. С двух сторон появляются Диуана и Кейуана, собираются что-то сказать Абилямансуру, но тот предупреждающе зажимает пальцем губы.

АБИЛЬМАНСУР:

Подступы к трону – та же темница,
Свои мысли таи в себе.
Мир власти – мир загадок,
Держи разгадку при себе.

Диуана и Кейуана понимающе кивают ему и удаляются. На сцене темнеет. Потом дается освещение. Виден сверкающий тронный зал. На троне – контайши Калдан. Рядом приближенные, вооруженная охрана.

КАЛДАН:

Ушел Шарьш в мир теней,
Не вернется он теперь.
Кто повинен в его смерти?
Простолюдин иль батыр?
Если это простолюдин,
Тогда нам лучше сквозь землю
Провалиться от стыда.
А если муж он достойный,
Нам джунгарам в этом мире
Не дожидаться век добра.
Вы его видели, говорите!

ВОИНЫ:

Воду выпил всю до дна
И вместе с жиром
Чашу бросил ввысь.

КАЛДАН:

На жир бы бросился сперва
Был бы простолюдин.
Что скажешь. Лама Доржи?

ЛАМА ДОРЖИ (первый в белом одеянии):

Тигра не испугался,
Пред мечами не оробел.

ДАУАШИ (второй в белом одеянии):
 В смелости нет сомненья,
 Но и в гордыне преуспел.

ТОПЫШ СЛУ (красавица с золотыми перьями):
 Лоб покат, как склон горы,
 Свысока на всех глядит.

КУЛЬПАШ СЛУ (красавица с серебряными перьями):
 Но более честью дорожит.

КАЛДАН:
 Русы чуть ли не каждый день
 Его просят отпустить.
 И чурджены-хитрецы
 Умоляют отпустить
 А что казахам по душе,
 Понять мы можем без труда.
 Кто же он? Пуп земли?
 Что так молятся на него?
 Приведите его ко мне.
 А я присяду среди вас.
 Простолюдину все равно.
 На троне есть кто или нет,
 На колени станет, не дойдя.
 А если муж достойный он,
 Сразу выдаст себя.

Калдан встает с трона и садится в кругу приближенных. Стражники вводят Абельмансура. У входа он задерживается, оглядывает зал и решительно направляется к трону. Два стражника тотчас преграждают ему путь.

АБИЛЬМАНСУР:
 Трон не должен пустовать,
 Потерять он силу может.
 Кто займет трон пустой,
 Тот народом будет понят.

Калдан поднимается с места и идет к трону.

КАЛДАН:
 Где твое приветствие, где поклон?

И страну поднять не сможет,
Хоть о возвышении мечтает,
Подобно кляче пастуха,
Что мнит себя скачущей на байге.

АБИЛЬМАНСУР:

С трона низкого высота
Недостижимой кажется.

КАЛДАН:

Не взошедшему на холм,
По силам на гору подняться?

АБИЛЬМАНСУР:

Лишь дерзновенному судьба
Предоставляет тулпара.

КАЛДАН:

Пойдут резвиться среди скал
Серый волк иль овца?

АБИЛЬМАНСУР:

Пойдут. Волк – по глупости,
По недоумению – овца.

КАЛДАН:

Решится гордый тау теке
В тесноте на смертный бой?

АБИЛЬМАНСУР:

Пойдет козел – не теке.

КАЛДАН:

И что тогда произойдет?

АБИЛЬМАНСУР:

На зуб волку попадет.

КАЛДАН:

Множество становится малым,
Иль малое становится большим?

Слабый становится сильным,
Иль сильный слабеет потом?

АБИЛЬМАНСУР:

Песчинки спекаются в камень,
Камень рассыпается в пыль.

КАЛДАН:

Как становятся народом,
Многочисленным и сильным?
Как получается потом,
Что он слаб и малочислен?

АБИЛЬМАНСУР:

Причина тут одна:
Непрекращающаяся борьба.

КАЛДАН:

Как поступишь, поведай мне,
Если за горой стоит гора,
За одним врагом – другой?

АБИЛЬМАНСУР:

Взойду на первую вершину,
Познаю ближнего врага.

КАЛДАН:

Какую носишь в себе печаль?

АБИЛЬМАНСУР:

Неудачно разбил привал.
В плен по глупости попал.
Беспечен был в пути.

КАЛДАН:

Не смог кочевья свои
К земле ты привязать.
Вся печаль – что в плен попал,
Что Аллах к тебе не милостив.
Скажи теперь, что дороже:
Уговор или учтивость?

АБИЛЬМАНСУР:

Уговор душит, как аркан,
Учтивость стелется, как шелк.

КАЛДАН:

С чем бы нам сравнить согласие,
И в чем тайна продолженья?

АБИЛЬМАНСУР:

Сравню согласие с пищей общей.
А продолженье... Поклонюсь я пуповине.

КАЛДАН:

Несите нам пищу! Угощение!

Входят Топыш Слу с золотой пиалой и Кульпаш Слу с серебряной пиалой в руках. За ними входят Сыбан Доржи, Лама Доржи и Дауаши, неся длинное стелющееся полотенце, расшитое дорогами камнями.

Пища священна,
Бери, что пожелаешь.

Абильмансур бросает взгляд на девушек. Обе они улыбаются: Топаш Слу отстраненно, а Кульпаш Слу смущенно. Абильмансур молча берет пиалу из рук Кульпаш, едва прикасается к пище и вежливо возвращает пиалу хозяйке, затем берет пиалу из рук Топыш и выпивает ее содержимое до конца. Все вокруг в недоумении. Калдан с минуту сидит молча, прежде чем обратиться к Абильмансурсу.

Пусть будет благом...
Гостеприимство уважил,
Вкусив от серебряной пиалы;
Пищу со мною разделил,
Из золотой вкусив пиалы.
Тебе воздастся в обоих мирах...
В мир пришло трое нас,
Теперь остался я один,
Самый младший был Шарыш,
Тебе известно одному,
Как богу душу он отдал.
И я три дерева взрастил,

От жены старшей – Сыбан Доржи,
От младшей – Лама Доржи
И дочь единственная Топыш.
А Кульпаш – хана Ежена дочь.
Свадебный ее караван
Был казахами разграблен,
И потому поневоле
Зиму прожила в степи.
Сыграем вскоре мы свадьбу.
От брата старшего дома
Остались дети. Их немало.
Лишь от Шарыша никого,
И оттого мне горько.
Словно без руки я остался,
Словно ослеп на правый глаз.

АБИЛЬМАНСУР:

Не знал я об этом, прости.
Одинокество и мне знакомо.
Готов наказание понести.

КАЛДАН:

Можешь идти.

Никто, кроме самого Калдана, не понимает происходящее.

СЫБАН ДОРЖИ:

Какое же ваше решение?

КАЛДАН:

Если не терпится узнать, скажу сейчас.
Наберетесь терпения, узнаете позже.

Все уходят. Контайши Калдан остается один.

О, бренного мира
Настигающий топот...

(Поглаживает рукой себя по горлу, запинаясь).

Будет горько в суете
Закончить путь и уйти.

В войнах пролетела жизнь,
В войнах, в которых нет
Ни побед, ни поражений.
И никак нам не разойтись,
Накопилось много мести,
И не сойтись нам никак,
Не родился примиритель.
И, может, я нашел его?
Если дам ему свободу,
Придет ли желанный мир?
Поспешит мне на помощь
Иль с тыла набросится вмиг?
Ну что ж, пойду на риск...

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ВЕРДИКТ

Всенародный сбор казахов. Торжества.

ХОР:

Запевайте, братья, песни,
Звонких песен день настал!
День, когда за слезы наши,
Нам Аллах сполна воздал,
День, когда тревоги наши,
Все остались позади,
День, когда наш ясный сокол,
Возвратился в дом родной,
День, когда надежды луч,
Возгорелся вновь огнем.

В тесном окружении людей стоит радостный Даулетбай.

ДАУЛЕТБАЙ:

Благодаренье Всевышнему,
Обрел я жизнь.
Вернулся мой единственный.
Был сыном моим,
Стал всеобщим любимцем.

ГЛАШАТАЙ:

Слушайте все!

Хан наш Абиляммет
Скажет слово!

АБИЛЬМАМЕТ:

Народ мой, всех вам благ!
К нам прислушался Аллах,
Добрый молодец, наш заступник,
Вновь с победой возвратился,
Не посрамив свой клич «Аблай».
Ханство поровну поделив,
Земли поровну разделив,
Обосновав ему Орду,
Хочу его в ханы предложить.
Что скажет мой народ?

НАРОД:

Верно! Верное решение!

АБИЛЬМАМЕТ:

Коль одобрили решение,
Кошму белую постелим.
Ступай, Аблай, на нее
С ноги правой,
А мы тебя поднимем.

Аблай ступает на кошму. Избранники народа поднимают Аблая на кошме над головой, провозглашая его ханом.

АБЛАЙ:

Благодарю вас, мои братья!
Пока не оставит меня жизнь
Даю клятву, клянусь я,
Вам без усталости служить.

ХОР:

Пусть не оставит удача хана,
Пусть народ познает мир,
И стране прибудет благо.
Ауминь! Ауминь!

ГЛАШАТАЙ:

Эй, люди!
По празднику – угощение!
Узнаем хана нового щедрость!

ХОР:

Будет пир, не зевай,
На угощенье налетай!

Избранники народа, самые достойные, подняв нового хана на руки, направляются в ханскую ставку. Люди разрывают кошму на части, разбирают ее по кусочкам на память. Круг сцены вращается. Картина Сарыарки. Высокий холм, овеваемый прохладным ветерком.

КЕЙУАНА:

Прошумел Аблая пир,
Сколько лет уже прошло?
Ушли набеги в небытье,
Им на смену заступили
Застолья, празднества, пиры.
Получилось, будто сами
Поднимали мы галдеж,
Пыль завидев на горизонте,
Полагая, враг пришел.
А теперь идут послы,
К нам съезжаются купцы,
Их встречают все радушно.
Были бы радости долги...

На другой стороне сцены появляется Диуана.

ДИУАНА:

Народов братство землю красит,
И знамен не перечеть,
И разноязычье чудно слышат,
Не выезжая из Орды.
Всяко произносят имя бога,
Но имя славное – Аблай
Все произносят без запинки.
Вон клубы пыли! И вон там...
Не сайгаков стадо. Караван...

КЕЙУАНА:

Лишь бы не были гонцами,
Что несут плохую весть.
Пусть окажутся послами,

Но лучше было бы увидеть
Купцов богатый караван.

ДИУАНА:

Меч висит над изголовьем,
Копьем свод юрты подпер,
Сам с послами дни и ночи,
Полагает, что хитер.
Переженился, столько жен...
Полагает, что силен.
Шесть красавиц дали роды
Атыгай и Караул,
И хан Нуралы подоспел,
Предлагая в жены дочь.
Заспешили вслед джунгары,
И получилось хану ближе
Красавица юная Топыш –
Сорок кос и гибкий стан,
И жемчужное колье.
Как бы нас скопом всех
Не приставили ей служить...

КЕЙУАНА:

Причин не вижу для грусти.

ДИУАНА:

Как знать... И хан Абиляммет
Вначале был – сама душа,
Все казахи ему – братья.
Но у Калдана побывал
Как-то разом изменился,
Орда стояла за холмом,
А хана мало кто видел.
Потом погиб Абулхаир,
За ним ушел хан Барак.
Теперь Калдан всем говорит:
«Туркестан тебе отдам,
Тюрков родина ведь он!»
Барака тезке – Бараку,
Нурали, что на Урале,
Сеиту в том же Туркестане
Обещал священный трон.
Но и Аблай хитер. Неспроста

Задир к одним он послал,
Увещавателей к другим,
И потихоньку разрушил
Контайши заумный ход.
Теперь устремились все в Орду,
Кто с дарами наперед,
А кто скорых шлет гонцов,
Как будто враг на них напал...

КЕЙУАНА:

Но все лучше, чем войны и склоки,
Нет огня и не надо споров.
Посмотрим, выдержит ли Аблай,
Пройдя испытанье в бою,
Испытанье счастьем.

Вращается круг сцены, Кейуана и Диуана исчезают. В середине – парадный шатер Аблая. В центре шатра – золоченый трон хана. Полутемно, будто все маревом затянуто. Появляется Кульпаш Слу в серебряном платье из дорогой материи.

КУЛЬПАШ:

Лев мой, царь миров, здоров ли ты?

АБЛАЙ:

Кульпаш? Как давно тебя не видел!

КУЛЬПАШ:

Тоска изъела всю душу.
Рискнула я. Пришла к тебе.

АБЛАЙ:

И нашла. Что ж остановилась?
Порог – что лезвие ножа.

КУЛЬПАШ:

Что-то я переступила
Пострашней. Вся дрожу.

АБЛАЙ:

Ты дрожишь? А вспомни,
В темнице тесной и сырой

Чувством мир был раздвинут,
Как океанской волной.

КУЛЬПАШ:

На разных берегах очутились,
Ты ведь в лодку сел с другой.

АБЛАЙ:

Трон и власть,
Счастье и богатство –
Та же короткая узда.
Не с любимой, а с нелюбимой
Жить – ханов многих судьба.

КУЛЬПАШ:

И я обневолена уздой,
И у меня путы на ногах.

АБЛАЙ:

Ну что путы? Ты однажды
Ведь и оковы развела.
В могильном чреве темницы
Было... Нет, сон видел я.

КУЛЬПАШ:

Не сон тогда был, а явь,
Любви моей короткий миг.
Сейчас похожий на тебя
На радость всем растет джигит.

АБЛАЙ:

Что ты говоришь, Кульпаш?
А Калдану что известно?

КУЛЬПАШ:

Не знаю, неведомо мне...
Но имя мальчику дал сам.

АБЛАЙ:

И как он его назвал?

КУЛЬПАШ:

Назвал его Амир Сана

И мечтою одержим,
Что сын наш в Сарыарке
Установит долгий мир.

АБЛАЙ:

Залогом мира он может стать?
Подожди, побудь еще!..

Кульпаш уходит, как бы исчезает. Аблай оглядывается вокруг, словно во сне. На месте, где стояла Кульпаш, видит жену Топыш.

ТОПЫШ:

Ваш услышала крик,
Заспешила из покоев.
Что-то видели во сне?
Крик был странный, будто всхлип.

АБЛАЙ:

То ли было все во сне
Или привиделось мне.

ТОПЫШ:

Принесла благую весть.

АБЛАЙ:

Откуда тут ей взяться?
В лесах русы точат топоры,
Чурдженов на холмах дозоры,
В низинах воины джунгаров,
Бдит на юге Надир-шах,
Прыжок готовый совершить.

ТОПЫШ:

Не издалека весть пришла.

АБЛАЙ:

И от своих не дождаться.
Батыры ходят, будто пьяны,
Бии слова сквозь зубы cedят,
А торе – вельможи эти
На голове моей готовы
В свое удовольствие плясать.

ТОПЫШ:

И чего они хотят?

АБЛАЙ:

Бедняков, нищих и сырых
Накормил, нашел им дело.
А этим скучно стало жить.

ТОПЫШ:

Забавы ищут? Не лучше ль
Делом нужным себя занять?

АБЛАЙ:

Как я понял, их занять
Должен хан, не кто-нибудь.
Ведь работать не хотят,
И к торговле не привлечь –
За унижение считают.
Полноводные Есиль, Иртыш,
А потом Нуру и Торгай
Вернул народу своему, –
Землепашеством бы заняться.
Озер Коргалджина и Кокшетау,
На Баянтау прозрачный Сабынды,
А рядом светлый Шоинколь,
На востоке есть Зайсан,
На юге плещется Балхаш, –
Рыболовством бы заняться.
А они: «Хан наш хочет,
Чтоб лягушек мы пасли!»

ТОПЫШ:

Чего же они желают?

АБЛАЙ:

Врага ищут и вражду.
Долгий мир им надоел,
От хозяйства нос воротят.
Пировать горазды, но жены
Не рожают каждый день.

ТОПЫШ:

На курицах бы женились –
Каждый день по яйцу.

АБЛАЙ:

А знаешь, что они тогда
Мне бы бросили в лицо?

ТОПЫШ:

Нет, не знаю.

АБЛАЙ:

«Если не знаешь ты всего,
Чего не знаем мы,
Если ты не делаешь того,
Чего не умеем мы,
Зачем на троне ты сидишь?
Шапку ханскую сними,
Был изгой, стань снова им!»
Вот что скажут мне они.

ТОПЫШ:

А нельзя их ублажить?

АБЛАЙ:

Как? Войну затеять?
Проклятиями по горло сыт,
Матерей, что сынов теряли,
Без мужей живущих вдов.

ТОПЫШ:

И что ты предпримешь?

АБЛАЙ:

Умелых к делу приставлю.
Умных в ставку приглашу.
Объединить всех намерен.

ТОПЫШ:

Недругам и без того вдоволь.

АБЛАЙ:

Врагов силой подавлю,
Недоброжелателей рассею.
Иначе жизни не видать.

ТОПЫШ:

А если будешь ты отвергнут?

АБЛАЙ:

Ради блага общего готов
Стать я жертвенной овцой.
Боюсь не смерти.
Успеть бы, успеть достичь,
Чтоб народ наивный мой
Жертвой глупости не стал.
Молюсь об этом.
Не успею? Просить Аллаха
О достойном сыне буду я,
Кому по силам завершить
Благое дело.

ТОПЫШ:

О последователе речь?
Теперь могу я сказать,
Принесла об этом весть,
Не могу я пищи есть.

АБЛАЙ:

Тяжела ты на ногах?
В чем же прихоть, говори.

ТОПЫШ:

Сама не знаю. Но позыв:
Мяса невиданного зверя
Поджарить бы и поесть.

АБЛАЙ:

Яснее можешь ты сказать?

ТОПЫШ:

Не зверя даже, а существа...
К мясу человеческому позыв.

АБЛАЙ:

Замолчи! Дикаркой стала!

ТОПЫШ:

Прихоть женщины с ношей
Инстинкта зверя посильней.
Ты не понял. Долг верни.
Отцу, когда он погибал,
Ты помочь не поспешил.
Я – дочь его!

АБЛАЙ:

Хоть и не был рядом с ним,
Слову верен я остался.

ТОПЫШ:

Но тебя он не дождался.

АБЛАЙ:

Слову верен я остался,
Не ударил со спины,
Не позарился на знамя,
Когда грозный хан кокандский
Разгромить его решил.
Сколько было уговоров,
Пожеланий и обид,
Ведь пришли единоверцы,
Одной мы с ханом были веры!
Честь свою я сохранил.
Но готов с врагом сразиться,
Если выступит против нас –
И казахов, и джунгаров.
Тут раздумывать бы не стал.

ТОПЫШ:

Хоть отца уже не стало,
Этот час уже пробил.
Трон отца – предмет раздора.
И детьми отца от младших жен
Брат родной мой окружен.
Заполучить я их желаю,
И, поджарив, сердце съесть!

Вот тогда бы разрешилась,
И опорой двух народов
Стал бы истинно наш сын.

АБЛАЙ:

А кто дети младших жен?

ТОПЫШ:

Наследник трона – Сыбан Доржи,
Мать одна вскормила нас.
Противостоит Лама Доржи –
Тупой наложницы сын.
Враг другой – сын Кульпаш Слу,
То ли казах, то ли чурджен.
Ее видел ты в темнице,
Да и потом во дворце,
Когда отец нас знакомил.
Ты глазами ее ел. Хотя
Уже решил на мне жениться.

АБЛАЙ:

Пред Богом и отцом твоим
Черту не переступал.
А эти сплетни... Не стоит
Эту грязь в себе держать.

ТОПЫШ:

Я о долге говорю!
Но зашла речь о Кульпаш,
И ты весь переменялся.
Чему не рад ты сейчас?

АБЛАЙ:

Я пред Аллахом поклялся,
Не рыть яму никому,
Лишь с врагами сражаться.
Двумя клятвами своими
Больше жизни дорожу.

ТОПЫШ:

Но ведь я тебя прошу?!
Дочь родная Калдана.

Плоть от плоти того,
С кем дружить ты поклялся.

АБЛАЙ:

Ты – казахов лишь ханша,
За джунгаров решать не вольна.
Есть контайши, есть вельможи,
Подождем, что скажут сами.
И мне вмешиваться, пойми,
Нельзя в жизнь другой страны.

ТОПЫШ:

Тебе просто все равно,
Что с джунгарами станет.

В шатер входит глава стражи.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Великий хан! Прибыл
Принц джунгарский Дауаши.

АБЛАЙ:

Дауаши, говоришь?
Что ему здесь надо?
Но скажу однако,
Легок на помине он.
Ну раз прибыл,пусти!

Глава стражи удаляется. Входит тайши Дауаши.

ДАУАШИ:

Великий хан! Мы встречались
В дни нелегкие для вас.
Не поставите, надеюсь,
Мое достоинство и честь
И вы на весы сейчас.

ТОПЫШ:

Ты что приехал, Дауаши,
Подаяния здесь просить?!
Твой хозяин контайши.
И не смей так себя вести.

ДАУАШИ:

Я ждал эти слова...
О смерти отца твоего
Мне сообщать приходилось.
Будьте мужественны. Сестра,
Почил и брат твой Сыбан Доржи.
Сообщить печальную весть
Вновь выбрали меня.

ТОПЫШ:

Как такое могло случиться?
Он что, ранен был в бою?

ДАУАШИ:

Нет, не в бою, моя сестра,
В своем доме, на ложе своем
Ушел из жизни он.

ТОПЫШ:

Вот оно! Как опасалась,
Так и вышло на поверку.
Что с моим народом стало?
Потокает всем смутьянам.
А ты, отца – душа родная,
Что предпринял, видя это?

ДАУАШИ:

Волчата наши ведь давно
Не признают уже родства.
Не люди, а нелюди все они,
Лишь бы власть, а советы не нужны.
Ты не знаешь, но твой брат,
Взойдя на трон, спесивым стал,
Отвернулся от большинства,
Мнение близких принимал
Как интригу и обман.
«Пусть земля ему будет пухом», –
Так все решили во дворце,
И Ламу Доржи предпочли.

ТОПЫШ:

Что скажешь в ответ, мой хан?

Тебе ведь жизнь однажды
Спас мой отец Калдан.

АБЛАЙ:

Тебя народ прислал с наказом,
Иль спасаешь голову свою?

ДАУАШИ:

А что — народ, хотел бы знать?
Галдящая толпа?
Она рада всегда всему.
Но если за народ принять
Людей умных островок,
Жалеющих о случившемся,
То от их имени как раз
Я приехал к вам сюда.
Бьется на подступах к трону
Горе-соперников тьма.
Вся надежда людей сейчас
На принца Амира Сана.

АБЛАЙ:

Говоришь, на Амира Сана?

ДАУАШИ:

Самый младший сын Калдана
От красавицы Кульпаш-Слу,
Джигит умный и горячий.

ТОПЫШ:

Младшей жены ублюдок!
Потеряли все рассудок.

ДАУАШИ:

Беду от народа отвести
Из всех он один поклялся.
Не будь он с нами сейчас,
То все нытики и трусы
Нового приняли бы контайши,
Предали б забвению слова
И дела славного Калдана.

ТОПЫШ:

Богом проклятый народ!
Отца память осквернил
И от брата отвернулся,
Унизил трон, отдав рабу.
Пусть же сгинет он, как гля,
Не стоит тратить сил нам зря...

С громким плачем выходит из шатра.

АБЛАЙ:

В чем же просьба твоя,
Что достойные сказали?

ДАУАШИ:

Послать войско просят они,
Чтоб помочь Амиру Сана.
Или самому к нам прийти.

АБЛАЙ:

Пойду сам – скажут, пришел за куном,
Пошлю войско – в чужие влез дела.
Посоветуй сам, чтоб не втуне,
Помощь моя вам была.

ДАУАШИ:

Пойдешь сам – за спиной будут русы,
Впереди – чурджены,
Зашевелятся они.
Пошлешь войско –
Сегодня-вскинется часть джунгаров,
Но завтра все будем благодарны мы.

АБЛАЙ:

Кого тогда к вам послать?
Сыну Барака султану Шигаю
И Малайсары сказать?

ДАУАШИ:

Батыры Шигай и Малайсары
Давно с джунгарами близки,
Неизвестно, кого поддержат,

На кого обрушатся они.
Выбери Каипа из Уак, Керя,
Соседа, сверстника Амира Сана;
Скажи аргыну Олжабаю,
Орда для льва не преграда,
А контайши покинет сон;
Скажи батыру Кабанбаю,
Со времен монголов об Алтае
Найманы все мечтой живут,
Пообещай им родные земли,
Не останутся в долгу.

АБЛАЙ:

Возвращайся обратно
И жди вестей.
Придут они следом.

ДАУАШИ:

Прости, великий хан!
Кульпаш Слу передает поклон:
«Согласится Аблай стать защитой,
Амир Сана ему сыном станет,
Согласится Аблай быть опорой,
Джунгары будут ему как братья».

АБЛАЙ:

Ну ладно, не задерживайся.

Дауаши уходит. Аблай сидит на троне. На противоположных концах сцены появляются неясные силуэты и слышатся голоса Топыш Слу и Кульпаш Слу.

ТОПЫШ:

Богом проклятый народ!
Так и надо, поделом.
Пусть же сгинет он, как тля,
Не стоит тратить сил нам зря.

КУЛЬПАШ:

Если согласен стать защитой,
Амир Сана сыном станет,
Если согласен быть опорой,
Джунгары будут тебе, как братья.

Входит глава стражи. Силуэты и голоса исчезают.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Великий хан! Посол из Коканда.

АБЛАЙ:

Пусть входит.

Входит посол Кокандского ханства.

ПОСОЛ КОКАНДА:

Неустршимый бек Коканда
Ердене бей передать велел:
Аблай не послушался бея Акботу,
Не внял совету бея Абдукарима,
Не последовал за ханом Абдрахманом.
Но если не примкнет к нам сейчас,
Все мусульмане посчитают:
Аблай с джунгарами заодно,
И навсегда отвернутся от него.

АБЛАЙ:

Ну что ж, передай и мои слова:
Перенесли мы немало бед
И не видели ни разу, чтобы
Протянул руку помощи Коканд,
Лицом к нам обернулась Бухара,
Обещанья б сдержала Хива.
На границах наших беспокойно,
И будущее пока неясно,
Дайте нам прийти в себя.
Не страшны нам сейчас джунгары,
Вокруг врагов немало посильней
И многочисленней джунгаров.
Вот когда они пойдут на нас,
Единоверцам мы будем рады.

ПОСОЛ КОКАНДА:

Я понял вас, великий хан!

Посол Коканда выходит.

АБЛАЙ:

Размахивать все горазды
Зеленым знаменем вовсю.
Когда трудно, их не видно,
Обретешь силу – тут как тут.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Посол киргизов ждет приема.

АБЛАЙ:

Проведи. Я жду его.

Входит посол киргизов.

ПОСОЛ КИРГИЗОВ:

Мое почтение, великий хан!
От братьев, живущих на Алатау,
Под самым солнцем, по-над землей,
Что от предка одного
И от груди матери одной,
От народа, из двойни одной,
С казахами по крови –
Принес сердечный вам привет!
Происхождение у нас одно,
И враг заклятый у нас один.
Воздал Аллах вам сегодня,
И радость победы разделить
Могли б мы, как родные братья,
Если на джунгаров нападём,
Объединив силы, с двух сторон.
Джунгаров мы терпели долго,
Но отвернулось от них счастье,
И звезда закатилась в ночь.
Нельзя сейчас давать им время,
Нельзя, чтоб с силой собрались,
Нельзя, чтоб духом вновь окрепли
И знамя воины подняли ввысь.

АБЛАЙ:

Не спеши, брат, еще не время.
Передай манапам мой наказ,
Пусть сами в односилу
Не садятся на коней:
Не упустить бы победы час.

ПОСОЛ:

Понял ваш замысел, мой хан,
Передам все беку, манапам.
Благословите в путь меня
И довольный выеду обратно.

АБЛАЙ:

Да удачен будет твой путь,
И счастлив будет твой народ!

Аблай, благословляя посла, проводит ладонями по лицу. Посол выходит. Тут же входит глава стражи.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Уйсун Толе би
Прислал скорого гонца.

АБЛАЙ:

Приведи его.

Торопливо входит гонец Толе бия.

ГОНЕЦ:

Великий хан! Из Шаша прибыл,
От уйсуну Толе бия
Доставил неотложную весть.
Упросил бия Лама Доржи
Побывать у него в гостях.
По словам бия, у них в Урге
Тревога и паника царят,
Союзников ищут повсюду.
И может статья в степи опять
Пойдут с севера и с юга
Войска союзников контайши.
Как бы казахам меж двух огней
Не оказаться в одночасье.
Бии предлагает созвать совет,
И решение на нем принять.

АБЛАЙ:

Толе всегда по делу говорит.
И меня тревога гложет.
Что ж, решим мы, как поступить,
Весть пришем мы бию вскоре.

ГОНЕЦ:

Я понял, мой хан!

Гонец с поклоном выходит наружу. С другого конца сцены появляется Топыш Слу. В руках держит прикрытый материей небольшой поднос.

ТОПЫШ:

Мой повелитель,
С вас причитается подарок!

АБЛАЙ:

Светишься, словно орлица,
Удачно взявшая добычу.
Утолила свою прихоть?

ТОПЫШ:

Еще как! Вот, смотри!

Срывает материю с подноса.

АБЛАЙ:

Это еще что?

ТОПЫШ:

Не видишь? Сердце это!
Человечье сердце!
Злодея Ламы Доржи,
Кровью омытое жадной,
Готовое разорваться
Еще вчера от зависти.

АБЛАЙ:

Как же все оно случилось?

ТОПЫШ:

Дауаши я подстерегла
В тот раз в пути и наказала:
Претендовать на трон ты можешь,
Потомок батыра контайши.
Убери всех, кто будет против,
Смотри, удачу не упусти.

АБЛАЙ:

И что он тебе ответил?

ТОПЫШ:

Отделался молчком.
Вот его ответ.
Слову дело предпочел.

АБЛАЙ:

Трон у наследников отняла.
Чему же ты так рада?

ТОПЫШ:

Отомстила!
С одним покончено навсегда.
И другой долго не протянет.
Еще жив Амир Сана,
Говорят, сбежал
И неизвестно, где укрылся.
Осталось его поймать.

АБЛАЙ:

И что станет с твоей страной?

ТОПЫШ:

Страны своей ты мне дороже.
Дитя, которое я рожу,
Народы наши осчастливит,
Собрав их под руку одну.

С довольным смехом, горделиво ступая, уходит.

АБЛАЙ (*потрясенный*):

Что эта ведунья говорит?
С ума сошла? О чем ее речь?
Как казахов и джунгаров
Намеревается она
Подвести под один венец?
Казахи на это не пойдут,
И вовек джунгаров не склонить.
Но пока биться друг с другом будут,
И жить, как привык каждый жить,
Вдруг у каждого из нас родится
Властолюбивый воин, тиран,
Тогда гадать не надо долго:

Оба народа исчезнут вмиг.
Об этом подумал кто-нибудь?

У входа появляется глава стражи.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Посол царя России, великий хан!

АБЛАЙ:

Проведи его!

Входит посол русского царя.

ПОСОЛ:

Великий хан!
Просил царь наш передать:
Слышали мы, среди кайсаков,
После смерти Калдан Шерина,
Часть калмыков обитает,
И с ними сын Калдана –
Наследный принц Амир Сана.
Желаем и мы, великий хан,
Знать, что вы ведаете о нем.

АБЛАЙ:

Амира Сана я еще и сам не видел.

ПОСОЛ:

Если даст знать он о себе,
Соблаговолите в известность
Поставить нас.
Еще лучше б сопроводить
Его в нашу ближнюю крепость.
Царь обеспокоен делами
Не только джунгар одних,
Но и кайсаков – соседей наших.

АБЛАЙ:

Со всем вниманием отнесусь
К вашей просьбе.
Передайте царю
О нашем к нему уважении.

ПОСОЛ:
Непреренно передам.

Посол выходит из шатра.

АБЛАЙ:
Неспроста, конечно, русский царь
Печется об Амуре Сана.
Видно, к выводу пришел,
Что только Амур Сана
Достоин трона контайши.
Тогда дни Дауаши сочтены,
Он всего лишь – калиф на час.
Развязки событий, по всему,
Нам будет лучше подождать.

Появляется глава стражи.

ГЛАВА СТРАЖИ:
Великий хан!
Посол богдыхана из Китая.

АБЛАЙ:
Пусть войдет.

Входит китайский посол.

ПОСОЛ:
Великий хан казахов!
Владыка Поднебесной империи
Несравненный богдыхан,
Выказывая особое почтение,
Присвоил звание вам –
Героя Поднебесной империи.
И поручил от его имени
Мне сообщить об этом вам.

АБЛАЙ:
Тысячу раз спасибо
Несравненному богдыхану!
Честь невиданную оказал,
И столь значительно поднял
Он заслуги наши.

За уважение отвечать уважением,
За угощение – угощением, –
В традиции казахов.
Соседом мирным, быть в дружбе верным,
Богдыхана заверяю.

ПОСОЛ:

Мы не сомневаемся в вас,
Но предупредить нужным считаем:
Свой час враги выжидают,
И опасней всех джунгары,
Вам бы их нужно упредить.
Смутяи главный – Амир Сана,
С него нельзя нам глаз спускать.
Даст он знать – сообщите нам,
Решим, что делать, мы сообщу.

АБЛАЙ:

Джунгары и у нас давно
Беспокойство вызывают.
Но где сейчас Амир Сана,
И чего он хочет – мы не знаем.
Передай богдыхану,
Мы искренне его
Все тревоги разделяем.

ПОСОЛ:

Я все передам, великий хан!

Посол с поклоном выходит.

АБЛАЙ:

И у этих в уме одно.
Растет цена Амира Сана.
А может, его, на закланье,
Предназначена голова?
Похоже, пора настала,
Нам слово веское сказать.

Входит глава стражи.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Прибыл гонец
От хана Абельмамента и султана Шигая.

АБЛАЙ:

Пусть войдет.
И этим неймайся...
Не сидится им спокойно.

Входит гонец.

ГОНЕЦ:

Великий хан!
Свой поклон и приветствия шлют
Хан Абильмамет и султан Шигай!
Просят настоятельно они
В джунгаров не вмешиваться дела,
Иначе выйдет и у нас разлад.
Что ни говори, а джунгары были
В войнах искусными всегда.

АБЛАЙ:

Спасибо им за совет,
Без них я не приму решенья.

ГОНЕЦ:

Я передам им ваш ответ.

Гонец уходит. Входит глава стражи.

АБЛАЙ:

Всем есть дело до всего.
И у этих замысел свой.
Кто там у нас еще?

ГЛАВА СТРАЖИ:

Контайши посланник ждет.

АБЛАЙ:

Введи его.

Входит посланник контайши Дауаши.

ПОСЛАННИК:

Досточтимый хан!
Четырех улусов джунгаров
Контайши Дауаши прислал
И просил, чтоб я передал:
«Воле следуя народа,

Бразды правления в руки взял
И подтвердить снова хочу,
Если поддержит хан Аблай,
Помощь окажет мне сполна,
Не останусь я в долгу.
Но если он мне откажет,
Буду вынужден я искать
У других себе защиту.
Чтоб сохранить свой народ,
Чтоб продолжил он свой род,
На все условия пойду.
Пусть Аблай не принимает
Тех, кто ушел от нас в бега,
Таковых мне вернуть я прошу.
Убедится он всегда,
Я получше Амира Сана
И доказать это я смогу».

АБЛАЙ:

Я ему клятвы не давал,
Но обещал помочь всегда
Не ему, а всем джунгарам.
Обещал держаться рядом,
Когда постигнет их беда.
И Дауаши был беглецом,
Приют здесь был он рад найти.
Если кто, как сам однажды,
Найдет приют у нас, казахов,
Будем рады. Таков закон.
Не я приму, а мой народ
Знайте об этом наперед.

ПОСЛАНИК:

Я понял, великий хан.

Посланник уходит.

АБЛАЙ:

Хитер, как тигр, Дауаши,
Плетет интригу за спиной.
Послы, похоже, все эти
Побывали и у него.
У богдыхана и царя

Аппетит, конечно, больше,
Дауаши им не та птица.
Но Абильмамет и Шигай
По наущенью контайши
Уж точно, гонца прислали.
Хитер! Заставил их двоих
Хлопотать рьяно за себя.
И не только их, похоже...
Но вот за дверью голоса,
Кто-то еще ждет приема.
Кого Дауаши в этот раз
Пустил по кругу хитро...

Входит глава стражи.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Великий хан!
Из кочевьев Уак, Керей
Вместе прибыли два гонца.
Султан Ерали и бии Каип
Побывали на Алтае
И с охоты возвратились
С добычей славной, говорят.
И вам марала целиком,
По обычаю, в подарок
Решили тут же передать.
Гонцы хотят самолично
Подарок в руки вам отдать.

АБЛАЙ:

Подарок должен я принять.
Просьбу выслушать обязан.
Узнаем, что они хотят.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Приведу я их сейчас.

Входят двое джигитов, волоком таща с двух сторон тушу крупного пятнистого марала.

1-Й ГОНЕЦ:

Великий хан!
Меня Кереев и Уаков
Султан Керей прислал.

АБЛАЙ:

Что же передал султан?

1-Й ГОНЕЦ:

Сказал он коротко:
Настал момент, и его
Никак нельзя нам упускать.

2-Й ГОНЕЦ:

Меня Кереев и Уаков
Бии Каип в путь послал,
Тоже был наказ короток:
Бери подарок и к хану
Лети, как птица, но доставь.

АБЛАЙ:

Вроде вышло все удачно.

1-Й ГОНЕЦ:

Запретил султан в пути
Вести беседу с кем-нибудь.
Больше нечего сказать.

2-Й ГОНЕЦ:

Бии подарок вручить велел
И уйти. Передал еще:
«Пусть сам разделает тушу,
Хан своей собственной рукой,
И будет пусть осторожен:
Подарок прислан дорогой».

АБЛАЙ:

Хорошо. Вы свободны.

Гонцы тотчас выходят. Хан стоит задумчиво. Потом вынимает из ножен кинжал, наклоняется над распростершейся на полу тушей марала.

Неожиданно из прореза на шее животного высовывается голова незнакомого человека.

НЕЗНАКОМЕЦ:

Мой хан!
Я — человек, а не марал.
Отведите свой кинжал.

Быстро скинув с себя шкуру марала, пред ханом предстает молодой джигит.

НЕЗНАКОМЕЦ:

Мечтал давно вас увидеть
И мечта, похоже, сбылась.
Мать все время говорила:
«Как тянулся к моей груди,
Положись так же на него».

АБЛАЙ:

Ты – Амир Сана?

НЕЗНАКОМЕЦ:

Да.

Аблай пристально вглядывается в него.

АМИР САНА:

Хан, вы не верите мне?
Я – Калдана Шерина сын,
Кульпаш Слу мать зовут мою,
Что, как молитву, твердила:
«К нам с Аблаем мир пришел –
И казахам, и джунгарам.
Когда слабый со слабым вместе,
Сильный может не устоять,
Когда в ссоре слабый с слабым,
Станут жертвой они глупцы.
Эту истину ценили
Твой отец и казах Аблай».
И еще она сказала:
«Когда наступит тяжкий час,
Найди Аблая, лишь он один
Тебе поможет устоять».

АБЛАЙ:

Кульпаш...
Видела мало, знает много,
Не обделил ее бог умом.
Она жива?

АМИР САНА:

Недавно ее не стало.
В темнице Лама Доржи...

АБЛАЙ:

Вот как?
Видно, вспоминала,
Когда приснилась мне она.
Просила тогда о сыне,
А не о себе речь вела.
Как жаль, что был в неведенье!
Кровью своей захлебнуться
Контайши бы я заставил!

На другом конце сцены появляется Топыш, слушает мужа. Аблай ее не видит.

И еще,
Мечтой одной она жила,
От беды всех нас сберечь.
Мечта ее — залог любви.
Как я жалею горько,
Что сберечь ее не смог!
Хорошо, что ты здесь, в Орде.
Подойди ко мне поближе
Сын двух воинов, двух отцов.

Обнимает Амира Сана, вдыхает запах его волос.

ТОПЫШ:

Как мы прозевали его приезд?
Встретили бы с угощением!

АБЛАЙ:

Топыш, ты здесь?

ТОПЫШ:

Говорить своей супруге:
«Ты здесь?», когда она рядом!
Как прикажете вас понять?
Крепко спали, видели сон,
И не пришли еще в себя?
Я помню, осоловело
На днях смотрели вы вокруг,
Недалеко так до беды.
Послы часты, как ваши сны,
Гонцам давно потерян счет.

АБЛАЙ:

Гонцы предпочтительней врагов.

ТОПЫШ:

Гонцы умножают ссоры.
Ссоры приводят врага,
А вы обнимать готовы
Того, кто внес в наш мир разлад.

АБЛАЙ:

Он и тебе не чужой,
Отца последний сын.

ТОПЫШ:

Весть о смерти его отца
Вас не огорчила сильно,
Как известие, что сейчас,
Его матери кончина.
На вас ведь просто нет лица!

Амир Сана подходит к сестре и преклоняет перед ней колени.

АМИР САНА:

Вот вы какая – моя сестра!
Я ваш брат – Амир Сана.

ТОПЫШ:

После смерти отца
И гибели родного брата,
В Джунгарии нет у меня родных.
Кто остался – чужды мне.

Резко повернувшись, уходит.

АМИР САНА:

Не обернулась моя сестра,
Меня как брата не приняла.

АБЛАЙ:

Не расстраивайся,
Мир жесток, и облик его суров.
Расскажи мне, из-за чего
Ты с Дауаши не поладил?
Он сказал – за тебя горой,

Обещал быть всегда с тобой,
Потому и войско дал я.
Из-за трона вышла ссора?

АМИР САНА:

Выходит так.
Выезжал сюда – мы были вместе,
А вернулся – сам черт ему не брат.
И Ламу Доржи убил он скрытно,
И с богдыханом сошелся тихо.
Но стал он жестоко всех нас терзать,
Когда китайцев сорок тысяч
Подошли и стали на границе.

АБЛАЙ:

Сорок тысяч, ты сказал?

АМИР САНА:

Подошел, считайте, авангара.
Войско в сто тысяч, в три колонны
Ждут приказа идти на нас.

АБЛАЙ:

Дауаши сошел с ума?
Ведь и трона может он лишиться,
И народ свой свергнет он в беду!

АМИР САНА:

Он игру и с русами ведет.
Земли к северу от Алтая
Он задумал выставить на торг.
А земли к югу от Алтая,
Богдыхану лакомый кусок.
Оперевшись на них, на сильных,
Посулив им чужие земли,
Сам на запад хочет он идти,
Держась вдоль священных Улытау,
На раздолье и на просторы,
В мир невинных детей природы,
Которых нетрудно обмануть.

АБЛАЙ:

А поддержат его джунгары?

АМИР САНА:

Им неизвестны планы Дауаши.
Ублажать он джунгар будет,
Что живут за бурным Иртышом:
Там казахов земли, за нее
Они биться не перестанут.
Но на запад... Не все поддержат,
Разве что из-за пастбищ пойдут...

АБЛАЙ:

Ну, а ты противишься зачем?
За казахов болит душа?
Или многочисленный сосед
Нагнал страху на тебя?

АМИР САНА:

Три века казахи и джунгары
Безуспешно бьются меж собой.
Волков красных жертвой станем скоро,
Если силы не сведем в одно.
Дауаши себе погибель ищет,
Земли наши поставив на кон.
Уповает на соседа силы, —
Тому дай ухватиться за палец,
Оторвет он всю руку целиком.

АБЛАЙ:

Слова умные я слышу.
Сперва сохранить тебя
Мне надо.
Разговор продолжим мы потом.

Подзывает главу стражи.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Слушаюсь, мой повелитель!

АБЛАЙ:

Гостю шатер поставить надо,
И в три ряда строгий караул.
И без моего на то позволения —
Ни одной души живой к нему!

Глава стражи уводит с собой Амира Сана.

Провести дадим себя врагу —
Век нам счастья не видать.
Не найдем мы выхода сейчас —
Уйдем, как вода, в песок.
Чтоб спокойствие обрести,
Не на год, и не на два,
Дауаши следует убрать
И поборника своего
Посадить успеть на трон.
Не успею — перейду Иртыш
И затею битву там,
Джунгар поставлю часть одну
Под свою, Аблая, власть.
Разделю, как нож, их пополам —
Пусть живут в тоске за трон.
Но как бы ни было, обращусь
К давней мысли я своей:
Не устоять в мире нам одним,
Мусульман сплотиться призову,
Свести силы вместе предложу —
Равновесье держит мир.
Клич подхватят — беды нам не знать,
Не подхватят — в горе жить опять.
Мысли эти, что ношу в себе,
На ближайший вынесу совет!

Торопливо входит глава стражи.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Мой хан! Тут пришли...
Собрались люди, толпятся,
Лица темны, все шумят,
В ставку рвутся они скопом,
Бить готовы все подряд.

АБЛАЙ:

Я вижу, обнаглели вконец!
Ну что ж, встретим их сейчас.
Кто там в главарях? Впусти ко мне!

ГЛАВА СТРАЖИ:

Слушаюсь, мой хан!

С холодным, решительным выражением на лицах входят Ботакан и Жакай.

БОТАХАН:

Великий хан!
Не сердись, прислушайся к словам,
Не прислушаешься – заставим.
Нас тут много!
Льнет волна к высоким берегам,
Обрушится берег, и с волной,
Подумай, что станет.
Ты – волна, народ – высокий берег.
И народ твой требует без слов
Ему выдать Амира Сана,
И с джунгарами биться он готов.

ЖАКАЙ:

Хан, прислушайся к совету!
На коней все шесть готовы,
В ополчение идти.
Отвернешься – все остынут,
Не поднимешь на джунгар.
За изгоя не держись,
За своих держись ты воинов.

АБЛАЙ:

Вот народ и скажет сам на совете,
А вам тут не стоит горло драть.
Обещал вернуть Дауаши вам сопки
Да булано-пегих коней,
А вы рады шум поднять?

БОТАХАН:

Осторожней, хан, не зарывайся!
Счастье ведь не больше, чем палка,
И тому она опорой станет,
Кто подвижник и духом крепок.
Скажи, что ты сделал для казахов,
Одарил каким его ты благом,
Чтобы нос свой так задирать?
Что же ты не стал ханом раньше,
Там, в Ургенче, где много сартов?

Не хватило духа?
 Не ударил час?
 Нет, тебя казахи ввысь подняли,
 Дали трон, дали власть, ханство дали.
 Не возгордился часом ты,
 Из Ургенча бедный голоштанник?
 Может, в Сарыарке тебе тесно стало,
 Тогда вмиг с тебя штаны мы стащим,
 И народ на дерево сам вздернет,
 Которое плачет по тебе
 Со дня рождения.

ЖАКАЙ:

Ах, Ботакан!
 Настоящий златоуст
 Способен так сказать.
 Медку тебе в уста!
 Настоящая женщина
 Способна родить
 Такого удальца!
 Чреву ее хвала!

АБЛАЙ (*сам себе*):

Сразу был ясно виден
 Их тайный, злой умысел.
 Чтоб смуты огонь разжечь,
 Ищут они слабинку.
 Соглашусь – сядут на шею,
 Ступить шагу не дадут.
 Откажусь, копьем играя,
 Поднимут вселенский шум.
 Уклониться от шума –
 То же, что им волю дать.
 Тайное стало явным!
 Эй, стража! И не один,
 А все ко мне зайдите!

Шатер заполняют вооруженные стражники. Аблай показывает на стоящих перед ним Ботакана и Жакая.

Этого закуйте в цепи,
 И глаз с него не спускать!
 А другого на круп коня!

И пусть катит в свой аул,
Пусть припадет он к чреву
Бабы, что хвалил сейчас!
Уведите их!

БОТАХАН:

По оковам, видно, ты тоскуешь —
Джунгары готовят их тебе.
По аркану висельному плачешь —
Народ скоро на шею
Накинёт его на твою.

ЖАКАЙ:

Не то, что оковы на нас,
А из шелка бечевку
Посчитал бы народ позором.
Не простит он это хану!

Стражники уводят Ботахана и Жакая.

АБЛАЙ:

Из двух зол одно!
Этот запутанный узел
Лишь саблей можно разрубить.

Сцена делает круг. Хан в это же время удаляется в одну из комнат. На одном конце сцены стоит Диуана, на другом — Кейуана.

ДИУАНА:

Снова всполошился мир.
Знамена — там,
Знамена — тут.
Знамя на знамени.
Там — гуд,
Здесь — шум.
Гул да гуд.
И все крепнет шум, крепнет,
Теснятся знамена.
Говор и шепот,
И сопенье.
Угляд, впригляд,
И шипение.
Вельможи ходят,

Как кочки важны.
Батыры громыхают,
Как верблюды-самцы.
Умники ступают,
Считая каждый шаг.
Там наедятся
До отвала.
Здесь наговорятся
Всласть.

КЕЙУАНА:

Как бы вражда на клочья
Не разнесла привычный мир.
Слово рождает ссору,
Ссора вызывает боль.

Ставка хана. На почетном месте Даулетбай беседует с сыном.

ДАУЛЕТБАЙ:

Какая напасть нашла на нас, светоч мой?
Злятся все, досадуют, о мести их речь.
Хоть и хан, зря может употребил ты власть?
Своевольны мы, для нас окрик что плеть.

АБЛАЙ:

Пожар гасят встречным палом,
Надоел мне смрадный дым.
Пошел я на риск, признаюсь,
Конец выдался таким.
Что, казахи хану предпочтут
Смутьянов, сеющих раздор?

ДАУЛЕТБАЙ:

Ах, мой сын...
Казахи испокон,
Как рабом повелевают ханом.
Не пытайся ты стать им отцом,
С тебя хватит, если станешь сыном.
Да, да!..
Полно у нас глупых и тупых,
И смутьянов всегда хватало,
Но знай,
Есть народ, который балует их.

АБЛАЙ:

Отец, ваш страх напрасен, не так все плохо.
Иль у этих двух сторонников много?

ДАУЛЕТБАЙ:

Очень много. И поднимут всех —
Все в степи придет в волнение.
Если бы ни были так сильны,
Не позволили бы вольностей.
Как же мне не бояться их?
За спиной у них кочевья,
Сродни целым странам на земле,
Не скажу о Всевышнем и пророках,
Но все лучшее, сынок, у них:
Кто тверд и стоек, искрометен в слове,
И батыров вдоволь неустрашимых,
Биев, что непобедимы в спорах?
Если вздумают подняться,
Если вдруг решат сюда прийти,
Жди огромной для всех беды.

АБЛАЙ:

Тогда крайности избегну,
Войско грозное не возьму,
Поднимать знамя не стану,
В свои мысли их посвящу.
И послушаю, что скажут,
Эти ваши горе-мудрецы!

ДАУЛЕТБАЙ:

Так оно получше будет.
Да поддержит тебя Аллах!

Сцена полна возбужденных людей. Все вооружены. Выражения лиц суровы. Видно, что они настроены решительно.

ПРЕДВОДИТЕЛЬ:

Это — речка Жолды.
Подождем здесь остальных,
И когда все соединимся,
Коней остановим мы,
Лишь достигнув Орды.

ПЕРВЫЙ:

Вон те, кто они такие?
Бредут еле, будто слепые.
Из каких аулов джигиты?
И что их так мало вышло?

ВТОРОЙ:

Двое к нам идут.
Остальные остановились.
Чего-то ждут.

ПЕРВЫЙ:

Вон тот, что в раскачку идет,
Вроде Турсунбай из кереев.
А кто рядом с ним?

ВТОРОЙ:

Почему пешком идут?

ПЕРВЫЙ:

А шайтан их знает!
Ну и вымахал этот Турсунбай,
На ногах за всадника сойдет.
Но все же, кто рядом с ним?

ВТОРОЙ:

Да ведь это Сабалак!
То есть хан.

ПЕРВЫЙ:

Что на хана нашло,
Бродить по степи пешком!

ВТОРОЙ:

Он! Да, да, это он!
Вот и угодил ты мне в руки.
Брата моего в оковы
Додумался заковать!
За такое оскорбление
Сейчас ответишь ты сполна!

Снимает с плеча винтовку и целится в Аблая. Из-за его спины выскакивает какой-то джигит и заслоняет собой хана.

ЖАНАК:

Постой, Бийкше!

День светлый не для убийства.
Брат твой жив,
Не бери греха на душу!

ВТОРОЙ:

В душу плюнул он мою.
Не мешай мне, отойди!

ЖАНАК:

Ты обиду выскажи ему.
Для чего нам дан язык?
Человека, не объяснившись,
Нечестивец лишь готов убить.

Подходят Аблай и Турсунбай.

АБЛАЙ:

Бийкше меня на мушку взял,
Стрелок меткий из козганов?
Что, зверей осталось мало,
Иль врагов в степи не стало,
И остался я один?
Чтоб не совершал он больше зла,
Милость хан ему окажет.
Эй! Приведите верблюда,
Бийкше его владетель!
А кто меня грудью заслонил?

КТО-ТО ИЗ ТОЛПЫ:

Батыр Жанак,
Сын бия Жанке.

АБЛАЙ:

Жанке мудро ссоры избегал,
И огонь вражды гасить умел.
Видно, сын пошел в отца.
Милость хана – девять видов скота
Ему во главе с верблюдом.
Не должны устраиваться пиры,
Не к месту, если бы нашел Жанке.
Не должно коней пускать на байгу,
Если б неуместным нашел Жанке.
Пусть Жанак на тризне через год,
Переломит сам копьё печали.

ШОТАНА БИЙ:

Хан, оставь свои повеления,
И перед людом ответ держи!

АБЛАЙ:

Шел сюда, гадал, когда же здесь,
Горный кряж успел возникнуть?
Оказалось, Олжабай батыр!
Ба, тут собрались, я вижу,
Все достойные, какие есть!
Кто-то остался в аулах наших,
Иль страну доверили судьбе?
Верил вам, считал - нас много,
Ну что же, приму я все как есть.

ШОТАНА БИЙ:

Не с нас спрос,
А с тебя, хан.

АБЛАЙ:

Преступления не совершал.
Винить хотите - я пред вами,
Казнить хотите - ваша воля,
Но лишать меня вы не вправе слова.

ЕДИГЕ БАТЫР:

Хан у черни прав не просит.

АБЛАЙ:

Я не с чернью говорю, а с народом.
Трон доверил, должен дать и право.

ЕДИГЕ БАТЫР:

Тогда говори.

АБЛАЙ:

Ну, коль так - мое условие:
И вы спешивайтесь,
Образуем круг.

Вращается сцена. В безлюдной степи у реки Жолды идет жаркий спор степного воинства.

АБЛАЙ:

Ничего не скрыл от вас, все сказал.

Если дело в том, что я смутьяна,
Который жаждал крови хана,
На место поставил и наказал,
Вы отвергнуть вправе мои слова.
Я сказал, решайте сами.

БЕКБОЛАТ БАТЫР:

Все понятно, если волк волчонка
Бросит в трудный час, не волк он больше.
Как же люди бросят своего
Щенка, что в цепях лежит в темнице.
Свой дорожке, свой всех лучше,
Свой святой ведь!
Его ради
И народ родной предать не грех.

ТУРСУНБАЙ:

А тебе дай лишь клин вбивать,
Ты в разладе лад бы поискал!

ШИГАЙ:

Что он? Всяк правду ищет.
Не он, а хан разлад привнес.

АБЛАЙ:

Ты словно подвой корявый
Из осинового пня,
За полы горазд цепляться.
Ведь блажь и злой язык
Завели нас всех в тупик.
Пора бы вам всем уняться.

ШИГАЙ:

Не тебе бы этим заниматься –
Кто, как и откуда он возник,
Ты не допустил бы безрассудства,
Себя бы спокойно мы вели.
Известно, черных дней и ночи темны,
А в темнице и того черней,
Из-за бабы, чей подол податлив,
Готов поступиться страной своей.
Сказать прямо, ты случайно
На вершину жизни вознесен,

И случайность та в тебе осталась,
Блудный сын пришел – размяк ты тут же,
И, укрыв его в Орде бездумно,
Джунгарам дал повод для вражды.
Брать в расчет не хочешь русов,
И тех, кто, как Бога, чтят дракона,
Ведь с лица земли они сотрут,
С двух сторон на нас нагрянув.
Ты спросить у себя хоть догадался:
Такого ли блага ждал народ?

АБЛАЙ:

С тобой трудно говорить.
Врагов прогнал – оставил втуне,
Вражду унял – ты не увидел,
Во всем подвох и козни зрил.
И еще какого роду буду,
И как бы свалить меня с престола.
На стезю дурную ты вступил.

МАЛАЙСАРЫ:

Не зазорно никому
Знать – каких же он кровей.
Только хану не к лицу,
В ущерб подданным другим
Ценить лишь свою родню.
Хочешь честь спасти свою?
Отошли домой скорей,
Ты Амира Сана,
Из-за блудного сына
Не бросай в огонь войны
Все двенадцать народов –
Всех Алаша сыновей.

АБЛАЙ:

Будет ли честь Алашам,
Если откажут в приюте
Изгнаннику судьбы?

ЕДИГЕ БИЙ:

Не будет счастлив тот народ,
Который хана сам гнетет,
Вдвойне несчастна та страна,

Чей хан не глуп, но жесток.
Если не ценит хан народ,
Он хана должен наказать,
Когда же хан не оценен,
Народ себя сам наказал.

ТУРСУНБАЙ:

Если бы благоденствовал народ,
Который на куски хана рвет,
Счастливы были бы джунгары.
Чтоб показал свое уменье,
Тебе свободу нам надо дать.
Иначе в будущем, как знать,
Судьба изгоя тебя достигнет.
Мы хана должны принять слова!

АБЛАЙ:

Тогда еще одно условие:
Даете трон – не вяжите руки,
Даете власть – мой суд терпите,
Будет нужно – совет держите,
Не раб я, как сына примите,
Кому вы сами вручили власть.
Иначе не стоит толку ждать,
Плясать на мне захочет каждый,
И склочник, в аулах всем известный,
И смутьян, к насилию привычный,
Все, кто меня считает пришлым,
Оттого, что я наслушался вас.
По правде, нечего мне терять,
Мне честь своя дороже трона,
Свою пройду я в жизни долю,
Как был, останусь человеком.
Свои условия я вам сказал,
Решенье вам принять осталось.

Вокруг устанавливается тишина.

ОЛЖАБАЙ БАТЫР:

Смел ты, хан, и для атаки
Выбрал точный ты момент.
Умен ты, но собирал ли
Нас однажды на совет?

А теперь нужны мы стали,
Когда времени в обрез?

АБЛАЙ:

Ах, батыр, ходили вместе
Мы в походы дальние не раз,
Был один торсук от жажды,
Из одной мы ели чаши.
Но, похоже, верно говорят,
Что следует съесть пуд соли,
Чтобы человека познать,
То, что мы страдали за страну,
И кровь проливали за народ,
Оказалось, стоит меньше
Положения и почета
Всех тех, кто мнение создает.
Если я батыров потерял,
Отдаю и трон обратно.
Видно, нам друг друга не понять.

ДИУАНА:

Я знал, что дело боком выйдет,
Что не сойдутся все равно.
Жир, он на пользу баранам,
А люди бесятся с него.
Будь, как колдун, что сводит счеты,
Чтоб потеряли речи дар,
Чтоб навсегда изжить пороки,
Будь беспощаден с ними, хан.
Пусть превратятся в бабьи сказки,
Что говорят они сейчас,
Иначе бабой станешь сам.

КЕЙУАНА:

Аблай, мой хан, что с тобой?
Недовольство заглуши,
Желчь оставь при себе,
Не дает трон золотой,
И корона не дает
Тебе прав желать врага
На беду стране родной.
Тебе нельзя уж сказать
И слова наперекор,

На дыбы тут же встаешь,
Когда о матери речь,
И об отце речь идет.
Что же зазорного в том?
Таинством окружены
Согласие и любовь,
Ведь тесна, как мир, постель,
На ней зачаты были все,
Рожая, страдает мать,
Живет надеждой отец,
Ждут, как ангела, дитя
Все, будь он хан или раб,
Ждет спасителя страна.
Судьба свела нас в одно,
Из Ургенча ты пришел,
Из Коканда я успел,
И с народом заодно
Отстоял ты его честь,
А будешь сам по себе,
Сурово спросят они,
Тут уж, хан, себя вини.

АБЛАЙ:

Несравненный святой Комей,
Мысль твоя быстрее ветра,
И бесспорны твои слова.
Говори, чтоб не осталось
У нас ни тени сомненья.

КЕЙУАНА:

Девяносто три года мне.
И придется ли еще
Говорить когда-нибудь,
Но раз просите, скажу:
Каждым движет его рок,
И короток счастья срок,
И не вечен хана трон,
Зная это, почему
Нам о распрях не забыть?
И заботой жить одной,
Что дано судьбой, сберечь.
Врагов много, сил не счесть,
Добра, хан, от них не жди,

Но и вслепую на врага
Было бы смешно идти.
Если ж головы в кустах,
Если смолкнут голоса,
Иль, как талая вода,
Мы исчезнем на земле,
Вряд ли вспомнит кто о нас.
Есть хан, дайте ему власть,
И, обиду заглушив,
Зарекитесь говорить
Ему слово наперекор,
Бросьте сокола в полет,
Сняв с его глаз колпачок,
Коня пустите на байгу,
Сняв все путы с его ног.
Вы хотите испытать,
На что ваш способен хан?
Положитесь на него,
Час испытанья настал.

КАБАНБАЙ БАТЫР:

Молодец! Не зря пришли.
Кто бы умно так сказал?
Уши, хан, держи востро,
Мы хотим, чтоб ты понял!

АБЛАЙ:

На то и Комей, чтоб учить,
На то я хан, чтобы слушать,
И готов упреки снести
Как бы ни было мне трудно.
Начал, так бей, не в бровь, а в глаз,
Чтоб, кто здесь, всем стыдно стало.
Пусть запомнят – правда горька,
И чтоб с глаз пелена спала.

КОМЕЙ:

Лучше правде смотреть в глаза,
Я сказал, ты смирился.
Хочешь выслушать до конца?
С четырьмя сторонами света
Схожи все четыре крыла
Твоего в степи народа –

Одинаково всех цени.
Своих подданных всех выше
Родного сына не цени.
Кто страдал в походах вместе,
Кто с тобой мечтал нередко,
Кто воздержан, но духом крепок —
За них крепко, хан, держись.
У них проси ты совета
В будни дома и на войне,
Когда тяжкий час наступит,
Когда в западню заманят,
Иль в веселье все забыто, —
Друзей верных ты помни всех.
У народа своя примета,
Найти трудно, легко потерять,
Как бы не распалось воинство.
А страна на станы многих,
Мор не пал в разгаре лета, —
Беда ведь глупости сестра.
Трон и власть — не счастье в жизни,
Они и сила, и мираж.
Приближай людей ты ясных,
Лучше тех, кто судит прямо,
Бескорыстных и бесстрашных —
Опорой станут навсегда.
Благородство ты покажешь,
Если воли родне не дашь,
А с народом близок будешь,
Если тяготы поднимешь,
И терпением все осилишь, —
Больше мне нечего желать.
Примешь, хан, советы — ты высок,
Принять нас заставишь — мы сильны.
И на этом я б закончил
Слова долгие тут свои.

АБЛАЙ:

Ночами думаю и днем,
Как бы стране, земле родной,
Казаху каждому и всем
Без устали творить добро.
Поверьте, жизнь отдать готов,

А если мне доверья нет,
На плаху голову кладу,
Творите надо мною суд.
Сокрытый тайной путь тернист,
Не размышлений долгий час,
Но и бездумно не пойду,
Кладите груз, пред вами хан,
На полпути не упаду.

КЕЙУАНА:

Пусть будет так.
А остальное хан решит.
Разойдемся с миром.

ВОИНЫ:

Правильно! Пусть будет так!

Люди поднимаются с мест. Сцена вращается.
Хан Аблай в одиночестве сидит в ставке.

АБЛАЙ:

Святой Комей, прозорливый акын,
Камня на камне не оставил,
Смутьяны прикусили все язык.
Остался пусть в душе осадок,
-И тлеют под золой уголья,
Но лук натянут, и стрела звенит.
Что б ни случилось,
Пойду вперед!
Назад уж нет теперь пути.

Недовольная, в шатер входит Топыш.

ТОПЫШ:

Своего добился
И на троне сидишь
Ты в радости предвкушенья,
Что Кульпаш ублюдка,
Дитя блудной ночи
Ты в объятья заключишь?
Но джунгары снова
Требуют беглеца!
Как же, бедный, ты поступишь?

АБЛАЙ:

Замолчи! Пусть хоть собака,
Но одной с тобою крови,
И стоит он над обрывом.
Будь добра, угомонись!

ТОПЫШ:

Возьми себя в руки, хан!
Не злись!
Как бы из волчонка на свою
Беду ты не вырастил
Волка.
Уак, Керей из-за него
Султанат создать свой готовы.
Амиру Сана ведь никогда
Не быть наследником
Калдана,
Ибо делом займусь я сама.
Мой сын станет ханом джунгар!
Прогони изгоя из Орды,
Не ищи соперника сыну!
Если не желаешь, чтоб сама,
Занялась я этим делом.

Сердито ступая, выходит из шатра.

АБЛАЙ:

Вокруг — гиены, дома — змея,
Канитель смуты, клубок зла.
Ступаешь — хватают за ноги,
А станешь, дергают за полы.
Живут желанием одним —
Развеять мысль, с ума свести,
Висеть на шее наловчились,
Но все старанья их пусты.
Меня уж не свернуть с пути,
Пусть будет на земле потоп,
Пусть затхлой все зальет водой.
Не оскудей, разум мой,
Не исходи, моя мощь,
Не кручинься, голова,
Как ни сложилась бы судьба.

Входит глава стражи.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Пришел Амир Сана.
Покорнейше просит вас
Принять его на два слова.

АБЛАЙ:

Пусть скажет. Впусти.

Входит Амир Сана.

АМИР САНА:

Приветствую вас, великий хан!
Боюсь из-за моей головы
И у вас головная боль,
Не понаслышке, но знаю,
Как бурно ваш совет прошел.
Мне некуда теперь бежать,
И оставаться здесь нельзя,
Нынче каждый ваш сосед
Заполучить меня бы рад.
Сюда враги все поспешат:
И русы – с условием наперед,
Чурджены с лстивым поклоном,
Джунгары – любители угроз,
Сделать вам выбор предстоит.
Джунгарам грешно отдавать,
Чурджены скоры на расправу,
Отдайте русам вы меня,
Они все взвесят на весах,
И с вами будут считаться,
И с контайши разберутся.
Живым останусь, весть подам,
Со мной пребудет надежда.
Молиться буду я за вас.

АБЛАЙ:

Отцу зарок дал когда-то,
И мать просила за тебя.
Чужим отдать тебя не в силах,
Как жеребенка-сироту.
Решили на совете все,
Чтоб оставался ты в Орде.

АМИР САНА:

Решение совета, что мираж,
Хоть был в полдень, и к вечеру уж нет,
Не стоит и надежды питать,
Да и сестра, что солнце в хмурый день,
Меня она бранит, когда не лень,
Кому-то скажет, и я исчезну,
И все на вас накинутся опять.
Поскольку русы просят меня,
Прошу, без долгих слов им отдайте,
И иногда у них справляйтесь,
Как там живу, как мои дела.

АБЛАЙ:

Я считал себя защитой всего народа,
А спасти тебя возможность не нашел.
Что ж, просить Аллаха
Буду о защите,
Пусть тебя поддержит, а нас простит.

Они, прощаясь, обнимаются. Входит глава стражи.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Великий хан!
Посол из Оренбурга
Принять вас просит.

АБЛАЙ:

Легок он на помине.

АМИР САНА:

Не тревожьтесь, досточтимый хан,
Русы многочисленный народ,
И среди них найдется светлый ум,
И тот, кто добрей всех остальных,
И пророк, наверное, свой есть.
Им терять джунгаров не с руки,
Потому и нужен я царю,
Должен будет он меня беречь.

АБЛАЙ:

Провидением кажется
Пожелание Кульпаш.

Мне слова твои по сердцу,
Все, что слышу я сейчас.

АМИР САНА:

Было матери пожелание?

АБЛАЙ:

Да, однажды.
Если я согласен стать защитой,
Амир Сана станет мне сыном,
Если я согласен быть опорой,
Джунгары будут мне как братья.

АМИР САНА:

В вас давно нашел себе защиту,
Буду жив, надеюсь, стану сыном,
И вдвоем усилия направим,
Чтоб с лица земли
Мои джунгары не исчезли.

АБЛАЙ:

Да будет так.

Они долго стоят, обнявшись. И лишь спустя некоторое время
Аблай обращается к главе стражи.

Приведи русского посла.

ПОСОЛ РОССИИ:

Великий хан!
Царь наш соизволил вам передать,
Что Великая Россия взять решила
Под свою защиту Амира Сана.
Царь считает, лишь принц законный
Калдана Шерина наследник.

АБЛАЙ:

Пусть Амир Сана сам решит.

АМИР САНА:

От добра добра не ищут.
С благодарностью соглашусь,
Если буду под защитой.

АБЛАЙ:

В благополучии Амира Сана
Не только соплеменники его,
Но заинтересованы и мы.
Царю нижайший от нас поклон.
Надеюсь, что останемся мы все
Довольны решением своим.

Аблай и Амир Сана обмениваются рукопожатием.

РУССКИЙ ПОСОЛ:

Все в точности передам.
Позвольте нам теперь идти.

АБЛАЙ:

Идите.

Посол выходит вместе с Амиром Сана. Аблай стоит словно потерянный. Непонимающе смотрит на осторожно вошедшего главу стражи.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Великий хан!
Контайши Дауаши снова
Прислал посланника своего.

АБЛАЙ:

Покоя не стало от него!
Ну что ж, впусти.

Входит посланник контайши.

ПОСЛАННИК:

Досточтимый хан!
Четырех улусов джунгаров
Контайши Дауаши вам
Передает просьбу снова
Нам Амира Сана отдать.
Хочет он закончить все миром,
Дабы нас не развела вражда,
Иначе потеряют силу
Наши клятвы и договора.

АБЛАЙ:

Народ решенье такое принял:

Вам Амира Сана не выдавать.
Если же джунгары что-то предпримут,
Мы ответим тотчас.
Понятно вам?

ПОСЛАННИК:

Понятно.

Посланник контайши уходит. С довольной улыбкой к Аблау подходит Топыш Слук.

ТОПЫШ:

Вы верно поступили, мой хан!
И если Бог поддержит нас,
Владея тронем у казахов,
Возьмете над джунгарами власть.
Устанете – на смену наш сын
Придет. Родится он скоро.
А сейчас пора седлать коней,
Врага не ждут ведь, сидя дома.

АБЛАЙ:

Ну что ж, быть посему.
Где ты, глава стражи?

Осторожно ступая, входит глава стражи.

ГЛАВА СТРАЖИ:

Я здесь, мой хан.

АБЛАЙ:

Объяви, чтоб не расходился народ.
Волю я желаю огласить свою.

Глава стражи выходит. Вращается сцена. На ней тесный круг влиятельных степных мужей, бии и батыры, много людей. На середину выходит Аблай.

АБЛАЙ:

Народ многочисленный мой!
На Алатау – Акарыс,
На Сарыарке – Жанарыс,
На Едиге и Жаике
Улус наш третий Бекарыс,
Три улуса – три народа,

Что вместе везде и всюду,
Все как есть мы сыновья
Шести Алашей могучих,
К вам обращаюсь ныне я!
Не стала на ноги страна,
Наш скот — приманка для врага,
Из-за земли всегда война,
Восприимчивы к обидам
Растут в аулах сыновья,
Твои дочери, что юны,
Добычей могут стать врага,
Хоть прочным кажется твой дом,
Но прерваться вдруг может род.
Видишь ли это, мой народ?

ГОЛОСА:

Видим! Еще как видим, хан!

АБЛАЙ:

Но есть, кто видит лучше всех,
И просчитал все наперед,
И умно сети он плетет,
Считая, голыми руками
Все, что захочет, он возьмет.
О вражде нашей говорю,
О том враге, что в нас сидит.
Берет за ворот этот враг,
От него кругом голова,
Как пепел все твои слова,
О склоках наших говорю,
О том враге, что в нас сидит.
Знает ли об этом мой народ?

ГОЛОСА:

Знаем! Как не знать, великий хан.

АБЛАЙ:

И если распри не уйдем,
Подпруг враз не подтянем,
Глупцов с пути не уберем,
Дорогу умным не дадим,
Мечты все не сведем в одно,
Нам в ряд с достойными не стать,
Нам чашу зла испить до дна,

Как ветошь на земле лежать,
И не подняться нам опять.
О чем я с вами речь веду,
Ты понимаешь, мой народ?

ГОЛОСА:

Понимаем! Как не понять, наш хан!

АБЛАЙ:

К равноправию долог путь,
И вольной жизни час не близок,
К благодати приводит труд,
В состязанье – счастье ищут.
Суверенность – жертвы плод.
Сможет ли выдержать народ?

ГОЛОСА:

Выдержим! Как иначе жить, наш хан!

АБЛАЙ:

Ну, если все согласны с этим,
Тогда насилие запретим,
И согласию путь откроем,
Должное чести воздадим,
И про унижение забудем.
Надежда двигает людьми,
А мы, как все, суеверны,
Чтоб нам достоинство сохранить,
И вражью силу отвадить,
Пока сетями не оплели
И рвом нас не оцепили,
Пока свободой дорожим,
В свое завтра мы верим,
Благою целью движим –
Поход великий объявляю!
Вернуть ни с чем – моя вина,
Не пойдете вместе – вы виновны,
Но превращу родную степь
Я в сад, в край изобилия,
И босоногих наших детей
Поставлю в ряд просвещенных,
Чтобы все ценности земли
Могли познать нам на счастье.

Тогда восполнить бы смогли
Прошедших дней мы все издержки.
Если согласны — я иду!
Сломаюсь я — моя вина,
Остановитесь в пути — вы виновны.
Последуешь ли ты за мной
На битву вместе, мой народ?

ГОЛОСА:

Пойдем! Все мы пойдем!
И в этом клятву мы даем!

АБЛАЙ:

Тогда народ мой — на коней!
Знамена взвейте! И вперед!
Пусть нас Аллах ведет на бой,
Мечта высокая нас зовет!

ГОЛОСА:

Да поддержит нас Аллах!
Все садимся на коней!
Мы готовы, хан! Аминь.

Вооруженные воины до отказа заполняют сцену, появляются в зале, смешиваются со зрителями.

ДИУАНА:

Вы посмотрите на это чудо!
Что творится с народом?
Все кругом вооружены!

КЕЙУАНА:

Дай Аллах,
Чтоб людей не убыло,
Готовых отозваться на уран.

ГОЛОСА

Мы готовы, великий хан!

Аблай поднимается с трона и, энергично ступая, подходит вплотную к собравшимся.

АБЛАЙ:

Подождите немного,
Придержите коней!

ДИУАНА:

Что на хана вдруг нашло?
На коней еще не сели,
А он просит придержать узду.

КЕЙУАНА:

Поспешность любит сатана,
А людям лучше не спешить.
Посмотрим, что задумал хан.
Наберись терпения и ты...

АБЛАЙ:

Мой народ,
Со мной в поход опасный
Вы собрались идти без слов,
Но куда сподручней все ж направить
Нам коней – на запад иль на восток?

ДИУАНА:

Кто битвы жаждет – найдет врага,
Любитель козни найдет зацепку.
Стоит ли голову ломать?

КЕЙУАНА:

В склоках разум теряют,
В схватках головы летят,
От вражды лишаются люди
Мирной жизни и добра.
Местью жить – своих всех потомков
На несчастье обрекать.
Хан не хочет промашку дать,
Что дурного в том искать?

АБЛАЙ:

Мы живем в кольце народов,
Шевельнемся – поднимут крик.
И внутри самих хватает
Споров, распрей и обид.
Вам решать – с кем мне сразиться,
Вам решать – мне с чем схватиться,
Куда ни кинь, тут всюду клин.

Наступает тишина. Все молчат.

ДИУАНА:

Все права тебе мы дали,
Сам решай, великий хан!

АБЛАЙ:

Тогда выслушайте вы меня,
Может быть, в последний раз.
Мысль одна меня давно терзает.

ГОЛОСА:

Тут и спора быть не может.
Говори!

АБЛАЙ:

Земля народы возвышает,
Народы землю украшают.
Природа была к нам щедра.
В ряду достойных народов
Увидеть сможем ль мы себя?

ГОЛОСА:

Почему мы не сможем? Сможем!

МАЛАЙСАРЫ:

Нас матери вскормили,
Чтоб стали мы людьми.
Иначе в мире этом
Не стоило бы и жить.

ОЛЖАБАЙ:

Лучше в землю сырую лечь,
Чем лишиться ее, родной.
Для того и сели на коней,
Для того и копыя на руках.

АБЛАЙ:

Достойные слова я слышу.
Земля, как черная аруана,
Она к тем благоволит
Кто заботится о ней.
А если требуешь, не зная,
Скупой ее называя,

Она плоды другим отдаст.
А что касается копья...
Земля кетмень ведь любит,
Не тот таран, что бьет ее,
А мотыгу.
Не тех, кто кровь на ней
Проливает.
Не тех, кто бьет с плеча,
А тех, кто ходит по земле
С лопатой.
Нам бы не остаться в стороне.

ГОЛОСА:

Говори, не тяни за душу,
Как ты скажешь, тому и быть.

АБЛАЙ:

Поделиться с вами я хотел
С мыслью, что давно меня мучит.
«Кто битвы жаждет – найдет врага»,
Дауаши нам подсказал.
Почему о мире речи нет?
Почему, познав самих себя,
У других бы не поучиться,
Как нам лучше обустроить жизнь?
Ведь тому не чинят обиды,
Кто живет в достатке и силен.

ДИУАНА:

Что ему ответят, хотел бы знать.

КЕЙУАНА:

Народ ведь дал свой ответ.

ГОЛОСА:

Подумай, хан, и нам скажи!
Дали мы слово за тобой идти!

АБЛАЙ:

Добьется многого народ,
Поставив цель себе большую.
Учиться нам надо,
Чтобы открыть тайны земли родной.

Ее богатство употребить,
Чтоб жизнь богаче стала.
Есть много способов защититься,
Не прибегая к силе копыя.
Плечо к плечу – одно ведь дело,
А ум к уму – совсем другое,
Но лучше, когда выступают вместе
Мощь силы и сила ума.
Идем в поход не просто сразиться,
И ошибиться нынче нельзя.
Вот здесь, вот это единомушье
Желал бы видеть я у нас.

ГОЛОСА:

Мы готовы в огонь и в воду!
Как ты скажешь, так и будет!

В зале становится все больше людей, которые выдают свое единомушье со словами Аблая. На сцене Диуана подходит к Кейуана.

ДИУАНА:

Улыбаешься, как блаженный,
Рот до ушей, и весь цветешь.
А я думал, разучился
Смеяться весело Комей.

КЕЙУАНА:

На людях я был Кейуана,
Наедине с собой – дервиш.
С ума чуть не сошел я, Диуана,
Казалось мне делом сложным
Найти народу путь из тупика.
Кому, как не мне, быть счастливым?
А сам чего слезы льешь?
Я думал, ты – не из плаксивых.

ДИУАНА:

На людях я звался Диуана,
Наедине с собой был святым.
Не выйдем, думал, из тупика,
И оттого ходил вечно злым.
Но, к счастью, есть теперь предводитель,
И есть народ, что за него стеной.

Ты хочешь знать, с чего я счастлив?
Я, знаешь, просто счастлив сам собой.

ГОЛОСА:

Мы едины, как никогда!
За тобой лишь слово, великий хан!

АБЛАЙ:

Ну что ж, так тому и быть!
Мы – вместе! И идем в поход!
В поход!

Аблай возглавляет всенародное ополчение.
Хор и оркестр исполняют торжественный гимн.

ХОР:

Мы, казахи, испытали все муки,
Все прошли мы, не пали духом,
Наши степи – обитель воли,
В сердце нашем живет свобода.
Так уж созданы изначально –
Мы упрямы, мы крепче стали,
Непреклонны, жестоки в битвах,
Когда речь идет о защите.
Молоком одним материнским
Вскормлены, оттого едины,
Дорожим родством мы кровным,
Потому и непобедимы.
За мечтой идем, как дети,
Значит в помыслах беспорочны,
Жертвы, знаем, тогда священны,
Когда мы народом дорожим.
Мы – народ!
Мы в дороге вечной!
Мечтою светлой мы осияны,
И благословлены мы Аллахом.
Пусть же всегда в мире этом
Будет путь наш прямым и ясным!

ЗАНАВЕС.

Перевод С. Санбаева

ПУТЕВОЙ ОЧЕРК

ЖУРАВЛИ, ЖУРАВЛИ...

На белоснежном самолете с красной полоской написано «ДЖАЛ» (эмблема фирмы «Джапан Эйрлайнз») и изображен взмывающий ввысь журавль. На этом лайнере мы перелетели с юга на север Японии — из Хиросимы в Токио.

Ночной Токио — не скопище небоскребов и машин, а словно нанесенные в небесную темень белые, красные, синие, желтые, зеленые письма рекламных огней. Сплошное шествие латинских букв, идущих гуськом одна за другой. Японские иероглифы, яркими ночными бабочками падающие сверху вниз...

Только что мы сошли на землю и вот вновь взмываем ввысь. Мигающее колдовскими чарами множество надписей осталось внизу и навстречу нам понеслось несметное богатство новых надписей, будто таившихся днем в закоуках мириад ярких звезд.

Под нами — несущийся подобно кометам пламень огней...

Над нами — тоже огненные волны...

Со всех сторон — огненное море букв...

То, что мы на земле, а не в небе, можно понять лишь по врывающимся иногда в открытое окно машины воздушной прохладе вперемешку с бензиновой гарью.

Огни... огни... огни... Такое ощущение, будто твое тело охвачено пламенем.

Кто-то взял меня под руку, откуда-то вытащил нечто похожее на телефон и начал говорить...

Меня измучила жажда. Такое чувство, будто стою на горячем бархане и словно зной обжигает мои ступни. Все тело как будто побито. Ощущение такое, будто кто-то устроил вселенский пожар в только что переливавшемся яркими красками мире. Меня окутал горячий сумрак...

Чей-то низкий голос, словно бубнящий молитву, как ножом разрубил туманный занавес, за которым я находился. Открыл глаза. За прозрачно-тонкой занавеской окон предстал не муэдзин мечети, а телевизионная вышка. Я только после этого вспомнил, где нахожусь: как раз напротив гостиницы «Тоси сентер», где мы разместились, находилась башня какой-то частной телестудии.

Стол ломится от лекарств. Выяснилось, что я прилетел из Хиросимы больным. С улицы вновь послышался высокий бархатный голос, разбудивший меня. Вылитый голос муэдзина. В Японии множество церквей различного толка, но мусульманской мечети там не было. А голос тот принадлежал торговцу, который, разъезжая на велосипеде, торговал картошкой и кричал: «Покупайте горячую картошку!» У него очень мелодичный, хорошо поставленный голос. В Японии круглый год продают горячую картошку. Она там очень вкусная, словно приправлена медом. Стоило продавцу умолкнуть на какой-то миг, словно ожидая этого момента, раздался телефонный звонок.

— Алло?

— Как Ваше самочувствие?

— Терпимое...

— Это из советского посольства. Только что позвонил наш врач. Хорошо, что у Вас спала температура. Иначе японцы хотели, чтобы Вы лежали еще с недельку. Таким образом, Вы завтра возвращаетесь на родину, не так ли?

— Да, конечно.

Две недели промчались незаметно. Завтра — на Родину. И все было будто только вчера.

...«ИЛ-62» в мгновение ока нырнул в белый пух лежащих внизу облаков и уже в следующий миг воспарил над поверхностью бескрайнего океана. Спокойное море. Чистое небо. Словно собираясь сесть прямо на морскую гладь, самолет величаво распростер свои крылья. Море будто манило в свои объятия. Лазурные кудри морских волн тянулись к иллюминаторам. В какой-то момент самолет коснулся земли, слегка подпрыгнул, качнулся.

Посадочная бетонная площадка международного аэропорта Хонэдэ вклинена в море. Переполненный лайнерами разных стран и авиакомпаний аэропорт напоминает собой огромный цветочный газон.

Едва мы вошли в таможню, как с противоположной двери появился смуглый худощавый мужчина в очках, с желтым портфелем и, остановившись в двух шагах от нас, несколько раз поклонился, прижав руку к груди. Это был представитель японско-советского бюро туристов. В таможне нас держали недолго. Служащие не искали какого-то подвоха, не демонстрировали повышенную настороженность, едва взглянув на наши паспорта, с поклонами пропустили во внутренний зал.

Там нас ожидала группа людей. Симпатичная, среднего роста, хрупкая черноглазая девушка вручила нам цветы. Каждому из нас досталось по два цветка гвоздики — один белый, другой красный. Затем последовало японское приветствие с повторяющимися поклонами в пояс.

Встречать нас пришли активисты общества Япония-СССР, работники японо-советского бюро туристов, представители японского Института художественного воспитания, гостями которого мы являлись.

Автострада из аэропорта Хонэдэ в центр города считается самой высокоскоростной. Но мы тянулись по ней как волю, потому что попали в Токио в субботу. А внизу и наверху двухъярусной автострады теснились машины. Грузовые машины, накрытые разноцветными тентами, крытые машины всевозможных окрасок, легковой транспорт мешали друг другу и больше стояли, чем двигались. И само движение по улицам Японии было непривычно для нас. Переходя улицу, сначала нужно посмотреть направо, затем, на середине, оглянуться налево. Руль на японских машинах находится с правой стороны. Владельцы легковых автомашин носят белые воротники, одеты в безукоризненно черные костюмы, черные галстуки, на руках — белоснежные тонкие перчатки.

Только через два часа вместо обычных сорока минут мы кое-как добрались до гостиницы «Тоси сентер». В стране три вида гостиниц: в чисто японском стиле, европейские, смешанные. В гостиницах японского стиля мебель отсутствует, имеются татами, низкий столик и спать нужно на полу, постелив мягкий тюфяк. Комнаты обозначаются не цифрами, а изображением растений или

животных: отличаете свою комнату по нарисованной картине на дверях. А в гостиницах смешанного типа часть комнат сохраняет японский стиль, а другая часть обставлена по-европейски.

В чисто европейской гостинице, где мы остановились, без слов было видно, в какой стране находимся. Аккуратная комната, низкая мебель, занавески на окнах наподобие тюля и складывающаяся штора из белых железных прутиков. Окна не открываются настежь, подобно европейским, а являются раздвижными, как и двери. Как и в японских домах, нет ничего выше человеческого роста. Нет ничего, что может упасть на голову или обо что-то можно стукнуться лбом. Цвета мебели, постельных принадлежностей и всех вещей не блеклые, не тусклые, не яркие, а однотонные, подчеркивающие уют.

И ресторан гостиницы состоит из маленьких залов — это для того, чтобы каждая обедающая группа чувствовала себя уединенно, как у родного очага; стены, отделяющие эти залы, раздвижные, поэтому по числу гостей комнаты можно сделать больше или меньше. Нас угощали блюдами европейской кухни, но и при этом чувствовалось влияние японского вкуса. В блюда добавлялись традиционные японские продукты: бобовые, морская трава, морская живность.

Пища не готовится в самом ресторане. Предостаточно специальных кухонь, специализирующихся на приготовлении отдельных блюд. После вашего заказа обслуживающий персонал ресторана идет туда и берет нужный ассортимент блюд.

Когда мы после трапезы вышли побродить по городу, увидели поджарых парней, которые одной рукой виртуозно управляли велосипедом, на другой держали поставленные друг на друга двадцать-тридцать чаш и мчались при этом словно птицы в полете. Оказалось, что это не циркачи, а работники ресторана, торопящиеся за заказом посетителей.

Затем мы отправились осматривать императорский дворец. Проехали мимо здания парламента. Кругом полицейские. Подъехали к императорскому дворцу. И опять тесная толпа полицейских.

Дворец расположен в крепости, где некогда вершила власть феодальная военная верхушка — сегуны. Крепость огорожена глубоким рвом, до краев заполненным водой.

С двух сторон рва растет скользкая короткая трава, по которой невозможно подняться вверх или же спуститься вниз. Со стороны улицы вдоль рва проходит широкий тротуар. Если кому-нибудь случится сойти с тротуара и наступить на траву, то он прямиком окажется в глубокой воде. На воде плавают лебеди. С внутренней стороны рва высится недоступный откос и высокая каменная ограда. А внутри этой ограды — дворец императора и императорский сад. Имеется несколько ворот, через которые можно пройти в императорский дворец. Мы осмотрели дворец, войдя через парадные ворота, у которых встречаются глав правительств и послов других стран.

За площадкой, где росли кедры, стоит длинная железная раздвижная ограда. У этой ограды стоят молодые полицейские в железных масках, в черной униформе, перед собой они держат продолговатые четырехугольные сверкающие на солнце щиты, в руках — две палки, похожие на копье, с пояса у них свисают дубинки. Пройдя мимо них на изрядное расстояние, снова упираешься в следующую раздвижную железную ограду, рядом с которой также множество полицейских. Подойдя к воротам дворца, можно увидеть вооруженных железными щитами и стоящих неподвижно стражников. Чуть поодаль, буквально, у входа под навесом стоит украшенный позументами офицер особой части охраны императора. Во дворец для простого люда доступ открыт два раза в год: в дни новогодних праздников и 24 апреля — в день рождения императора.

Вскоре мы поняли секрет того, почему возле императорского дворца и здания парламента толпится столько полицейских. В дни нашего пребывания в Японии — и в Токио, и в Киото, и в Хиросиме ежедневно проходили массовые демонстрации. Вечером, заглушая обычный уличный шум, вдруг раздаются оглушительные крики, свист, гомон. Вскоре показывается море разноцветных знамен. За этими знаменами идут шеренги одетых в железные каски людей, которые что-то кричат, крепко обняв друг друга за плечи. Это — демонстранты. В то время, когда мы находились там, японский парламент обсуждал условия договора между японским правительством и американцами относительно острова Окинавы. Остров Окинава на юге Японии длительное время находится под управлением США, там размещены несколько американских во-

енных баз и хранится ядерное оружие. В результате многолетней политической борьбы демократических сил Японии, правительства США и Японии договорились вернуть Окинаву его хозяевам. Но хотя Окинава и будет возвращена Японии, похоже, что военные базы и ядерное оружие останутся там. Поэтому возмущенные этим решением силы демократии в течение месяца ежедневно устраивали в городах демонстрации. Прибыв из разных уголков страны, демонстранты окружали императорский дворец, резиденцию наследника, здание парламента, американское посольство и требовали от американцев ликвидировать военные базы, ядерное оружие, распустить нынешний кабинет, отставки премьер-министра Сато.

В Японии достаточно много ультралевых сил, которые стараются использовать ради своих целей забастовочный дух народных масс. Они стараются навязать экстремистские столкновения, беспорядки. На площадке перед императорским дворцом ходили длинноволосые парни с красными повязками на руках. Это – троцкисты. Говорят, что многие беспорядки устраивают именно они. Похоже, что самодельных бомб этих юнцов боятся и служители порядка – полицейские, и простые люди: они избегают встреч с этими парнями и обходят их стороной.

Мы обошли крепость с императорским дворцом, пошли в парк, где была построена олимпийская деревня и осмотрели стадионы, где проходили соревнования. Одних этих сооружений было достаточно, чтобы убедиться – каких высот достигло архитектурное искусство японцев. Создается впечатление, будто попав в руки японских архитекторов и инженеров, бетон и стекло становятся податливыми словно сырая глина и делаются мягкими как шелк.

Они свели на нет консервативную идею о том, что этими строительными материалами можно манипулировать лишь в ограниченных пределах геометрических фигур. Я бы лично поверил, если бы мне сказали, что архитекторы, возведшие чудотворные олимпийские стадионы, могут творить из бетона нежно пахнущий тюльпан.

Но это вовсе не значит, что японская столица сплошь состоит из архитектурных шедевров. Токийские улицы разные. Рельеф города подобен колдобинам и буграм. В этом можно легко убедиться, поднявшись на знаменитую

и самую высокую в мире башню Токио. Под вами будет лежать огромный город, где иголке негде упасть. Большинство строений неказисты, низкоэтажны, высотные же дома выделяются обособленно вызывающим видом.

Токио состоит из двадцати трех городских районов и граничащих с ними префектур Тиба, Какагава, Саитим. Каждый район имеет собственное лицо. В районе Осакаса, где стоит отель, в котором мы остановились, в основном сосредоточены административные предприятия. А «Бродвей» Токио – Гиндза – вобрала в себя богатые универмаги, места увеселений и зрелищ. К вечеру со всех районов города толпами стекаются в Гиндзу молодежь, обитатели гостиниц и иностранцы. После ужина мы тоже направились туда. Нас встретила сияющая разноцветными огнями, праздником неоновых реклам прямая улица – это и есть Гиндза. От радуги реклам известных фирм, трестов, корпораций рябит в глазах. По обеим сторонам улицы теснятся магазины, стоит вам войти в один из них и независимо от того, купите что-нибудь или нет, служащие магазина встретят вас с поклонами, поблагодарят за посещение и с поклонами проводят. Там не принято торговаться, стоимость каждой вещи написана на ценнике. Японские универмаги бывают не менее семи-девяти этажей, в них можно купить все – от транзисторных радиоприемников до живых рыб. Вещи не имеют одинаковую цену. Иногда можно увидеть, как продающуюся по дорогой цене на нижнем этаже вещь можно приобрести на верхнем этаже гораздо дешевле. Цены в каждом районе города тоже разные. Магазины вдоль Гиндзы предназначены только для толстосумов.

Широко пропагандируются эротические фильмы, фильмы ужасов, авантюристические фильмы с пальбой, созданные киностудиями США, Италии, Японии. Воротит душу старых и молодых кадры интимной близости секс-бомб с силиконовыми грудями и гренадеров с мощными торсами. Это – американские и итальянские фильмы. А вот бритоголовые красотки, утопая в нежных ласках черноусых парней, вонзают острый кинжал им прямо в сердце. Это уже продукция японского киноискусства, которое вывернуло наизнанку и переложило на современный лад старые истории из жизни самураев. Фильмы последних лет, где постельные сцены показываются без ширм и намеков, а буквально, натурально, заполонили экраны ки-

нозалов. Подобное новшество в капиталистическом киноискусстве оказало свое негативное влияние и на порнографическую литературу, издающуюся многомиллионными тиражами. Сейчас уже не найти потребителей ранних «стыдливых» цветных изображений голых людей, на которых черной бумагой заклеивались места, название которых не принято употреблять в литературе. Такие фотографии сохранились лишь в респектабельных иллюстрированных изданиях. Если на одних страницах таких журналов печатаются фотографии высших руководителей государств, то на других страницах на вас улыбочиво пялятся бесстыдно позирующие голые красотки. Похоже, что в том мире ничто не продается и не покупается без изображения голой женщины. И на тюбике зубной пасты то же самое... И на рекламе знаменитой автомобильной фирмы то же... И носки, и политику «проталкивают» с помощью изображения голой женщины.

Но и обходится все это недешево. Цены на билеты в кинотеатрах очень дорогие. Поэтому редко встретишь вечером возле кинотеатров людей среднего достатка и молодежь. Они коротают вечера дома за игрой в карты или домино. Японские карты не четырехмастные как у нас, а мастей в них намного больше. В японских городах самая большая массовая игра «патинко». Она напоминает нашу детскую игру в бильярд. В Гиндзе множество салонов игры в патинко. Во всех залах играет оглушительная музыка, непрерывно входят и выходят люди, стоят в ряд автоматы, перед каждым из которых сидит человек, держа по рулетке в руках, и непрерывно нажимает на педаль. За экраном автомата снуют шары по лабиринтам. Кто наберет наибольшее количество очков, загоняя эти шары в лузу, тот и выигрывает. Выигрыш дается не деньгами, а в основном в виде шоколада, пластинок и прочей мелочи.

После десяти часов вечера улицы города заметно пустеют. Богатые магазины Гиндзы закрываются. Гаснут огни кинотеатров. Только продолжают гореть красочные неоновые рекламы, принимая разные формы и очертания. Веселье перемещается с главной улицы в узкие закоулки. От Гиндзы в обе стороны идут короткие, очень извилистые улочки. Стоит повернуть на любую из них, как в ноздри ударяют резкие неприятные запахи. Как и в Париже уличные рисовальщики хватают вас за рукав, предла-

гая воспроизвести ваше лицо. Тут же находятся ночные клубы и кафе разного толка. Много молодых людей, жеманно приглашающих куда-то. В Японии проституция официально запрещена. Между тем разные частные бани, ночные клубы и другие увеселительные заведения дают знать, что страна вовсе не отрекается от подобных услуг.

В ночных заведениях есть люди и других профессий, оказывающие разные услуги гостям. Опытные гейши мило беседуют с гостями, танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах. Молодых начинающих гейш называют «майко». А девушек, которые проводят вечера с гостем, готовят стол, предлагают яства, беседуют с ним, называют «хостесса». Ради заработка этой работой в основном заняты студентки. Они занимаются этим не только в ночных заведениях, но оказывают услуги и в частных домах, на разных приемах. Гейши и майко гордятся своей профессией. Об уровне частных приемов и вечеров свидетельствует то, какая гейша, какая майко была приглашена для обслуживания гостей.

Дома на японских улицах в основном делятся на три группы. Многоэтажные дома европейского типа — это учреждения. Двухэтажные дома вдоль магистральных улиц, сохранившие особенности японской архитектуры, относятся ко второй группе, хотя чисто внешне в них и заметно некоторое европейское влияние, но внутренний интерьер сделан в чисто японском стиле. Такие дома в основном принадлежат богатым. На нижнем этаже размещается магазин, на верхнем живут хозяева. На японских улицах нередко можно встретить многоэтажные дома, построенные в японском стиле из современных строительных материалов. Их называют «апато». Апато имеют два вида: «маншон» типа отдельного коттеджа и дома «данти», представляющие собой целый район и напоминающие наши микрорайоны.

В маншоне квартплата составляет тысячу иен, в них живут в основном писатели, артисты. А дома данти предоставляются представителям технической интеллигенции, служащим контор и высокооплачиваемым рабочим. Квартплата в них доходит от пяти до пятнадцати тысяч иен. Дома данти в большинстве случаев строятся на городских окраинах. В японских городах дома в чисто национальном стиле строятся в основном не вдоль улиц, а во дворах больших зданий.

Еще одна из особенностей японских городов по сравнению с европейскими — их улицы не имеют названий. Многие дома не имеют номеров. Да и имеющиеся номера ставятся не по порядку домов, а в них указывается дата постройки. Поэтому японец никогда не удивится, увидев рядом с домом № 1 дом, скажем, № 500. Почитайте записи любого путешественника в Японию, и вы обязательно встретите в них рассказ о том, как он заблудился в Токио. И мы не смогли отказать себе в удовольствии соблюсти эту традицию. И тоже заблудились в первый же день пребывания в Токио.

Направляясь в Гиндзу пешком и засветло, мы старались-таки отчетливо запомнить все дорожные приметы. Но на обратном пути все равно заблудились. Поворот возле здания парламента до нашего возвращения загородили ремонтники дорог и заполонили его техникой. Рабочие в бело-красных железных касках собирались за одну ночь построить подземный тоннель через улицу.

Мы не знали в какую сторону повернуть. Когда много людей и каждый из них лезет со своими советами, то это верный путь для блуждания. Направление, принятое нами после всеобщего обсуждения и якобы точного выбора, привело нас бог весть куда. Ко всему прочему, своим маяком мы определили телевышку и оказалось, что чего-чего, а таких вышек в Токио предостаточно. На ночной улице нет никого праздного. Два японца, увидев нас — огромных, бредущих шумно среди ночи (на японских улицах таких, как мы — высоких ростом и широких телом, редко встретишь), изрядно испугались. На наш зов о помощи они дали стрекача.

Блуждая, мы очутились перед большими воротами. Рядом с ними стояла группа полицейских в касках, с железными щитами, дубинками. Употребив свои «знания» английского, французского, немецкого и японского языков, мы попытались было выяснить, где наш отель, но как оказалось, они были уроженцами других островов и не лучше нас знали свою столицу. К тому же и коренные токийцы имели довольно расплывчатое представление о своем городе. Все же полиция есть полиция, они минут десять поговорили по рации с городским управлением полиции и из наших слов кажется наконец поняли, что такое «Тоси сентер». Сержант, говоривший по рации, начал часто повторять «хай», «хай», что весьма обрадовало

нас. Но хоть сержант и понял со слов представителей управления направление отеля, но никак не мог втолковать нам, куда следует направить стопы. Самый старший среди нас – известный эстонский художник Марк Бормейстер был симпатичным и покладистым человеком. Ему стало жаль бедного сержанта и через некоторое время он сделал вид, что понял полицейского. Мы последовали за ним. Побродили порядком, еще раз наткнулись на полицейского, охраняющего еще одни ворота высокой ограды. В итоге оказалось, что мы всю ночь кружили вокруг дворца и сада принца Акихито – старшего сына императора. Таким образом, мы невольно устроили своеобразную проверку постов охраны ворот правого крыла крепости принца и добрались до последнего поста. Начали расспрашивать и его, и тут проходившая мимо девушка, знавшая наш отель, гуськом повела нас за собой...

Мы все попадали в постель усталые, но оказалось, что никто не спал в ту ночь. Большая разница во времени между Москвой и Токио помешала сомкнуть глаза.

Назавтра в конференц-зале отеля открылся «IV японо-советский симпозиум по эстетическому воспитанию молодого поколения». На эмблеме симпозиума была изображена группа детей, выбежавшая навстречу отцу, идущему с работы. Один ребенок приткнулся к отцу, другие цеплялись за его руку и колени. А самый старший сидел у отца на шее...

В соседних салонах была устроена выставка рисунков советских и японских детей.

Перед открытием симпозиума японка средних лет и среднего роста в красно-белом кимоно показала вместе со своими ученицами искусство икебаны – искусство гармоничного расположения цветов. Это очень редкое искусство, встречающееся только у японцев и присущее только им. Оно совершенно не похоже на европейскую традицию составления букета. При составлении букета цветы подбираются у нас по сочетанию красок, а японцы стремятся подчеркнуть их природный первоначальный вид.

Как известно, в природе разные цветы не растут в одном месте, как в букете. Искусство икебаны ставит своей целью точно передать природную гармонию. В букете, составленном японской женщиной, не бывает более одного-двух цветков и не встречается более двух-трех расцветок. В икебаны используются не только цветы, но

и естественные травы, ветки деревьев. Этому искусству японские девушки обучаются в специальных школах в течение одного-двух лет.

Женщина сначала положила в глиняную вазу с длинным горлышком извивающуюся словно змея сухую веточку, приладила к ней в трех местах один алый и два белых цветка и перед нами появилось цветущее вишневое дерево. А в другую вазу поставила три стебелька трав, перед ними — три красных цветка и добавила туда длинный красный цветок и получились цветы, растущие в поле среди трав. Затем в плоскую чашу налила воду, бросила в нее белые цветы и, пожалуйста, перед нами лилии, цветущие на берегу водоема.

В таком порядке она в пятнадцати вазах собрала пятнадцать букетов и ни один из них не был похож на другой. До чего японские женщины приспособлены делать все незаметно, не отвлекая других. Того, чем занимались три женщины возле стола, стоящего перед президиумом, не заметил никто. Мы узнали об этом лишь тогда, когда перед нами разом появились пятнадцать букетов один краше другого.

В составе советской делегации было пятнадцать человек. Глава делегации — заведующий отделом советской культуры Союза обществ культурных и дружеских связей СССР, опытный работник, многие годы проработавший за рубежом, Виктор Петерсон; наш научный руководитель — член-корреспондент Академии педагогики РСФСР, министр просвещения Татарской АССР Мирза Махмудов; в составе делегации также были редактор журнала «Детская литература», писатель Сергей Алексеев; ответственный секретарь журнала «Костер», поэт Владимир Торопыгин; заведующие отделами Института эстетического воспитания, кандидаты педагогических наук Тамара Полозова и Тамара Комарова; заведующая кафедрой педагогики Казанского университета Тамара Шуртакова; заведующий кафедрой музыки педагогического института имени В. И. Ленина Эдуард Абдуллин; профессор таллинского Института изобразительного искусства Марк Бормейстер; московские художники Тамара Михайлова и Олег Зотов; тбилисский театровед Вахтанг Лоладзе; армянский исследователь Генрих Игитян; дубновский хормейстер Ольга Ионова и я.

Оказалось, что пятнадцать букетов, составленных жен-

щиной в красном кимоно и ее ученицами, были адресованы нам.

Симпозиум открыли директор японского Института художественного воспитания господин Годо и директор Института воспитания по изобразительному искусству господин Ото. От советской делегации с поздравительным словом выступил профессор Когай.

На пленарных заседаниях и в трех секциях за три дня симпозиума было прослушано более тридцати докладов. Я сделал доклад в секции по литературе, театру и кино на тему: «Место кино в эстетическом воспитании молодежи». Он явился единственным докладом, посвященным искусству театра и кино. В работе симпозиума в основном принимали участие литераторы, художники, музыканты, искусствоведы и педагоги. Японские специалисты, считавшие, что кино и телевидение не играют особой роли в воспитании молодежи кроме ее развращения, были весьма удивлены тем, что я держал более чем получасовую речь о воспитательном значении экрана на молодежь. Для них явилось полной неожиданностью, что человек, выступающий от имени такого развратного искусства как кино, говорит вполне правильные мысли. Некоторые ораторы, выступившие на следующий день, удивлялись тому, что в советской стране кино активно помогает воспитанию подрастающего поколения, что и служителей кино глубоко волнует проблема эстетического воспитания детей и сказали немало лестных слов в мой адрес.

Причину того, почему они так заинтересовались моим выступлением, разъяснила редактор журнала по детской литературе мадам Исайго Отака. Кто бы мог подумать, что эта молодая, красивая женщина является редактором журнала. Она на протяжении всего заседания сидела, глядя прямо перед собой, не выражая никаких эмоций. И вдруг взяла слово и подробно рассказала о том, что в такой стране развитой культуры, как Япония, нет ни единого театра для детей, нет детских библиотек, поэтому основная тяжесть внешкольного эстетического воспитания ложится на матерей, что женщины, живущие в одном квартале, вынуждены собирать книжки для чтения детей своего квартала.

Супруг мадам Отаки был старше ее на двадцать пять лет. В прошлой войне был у нас в плену более семи лет,

дружески относится к СССР, руководит объединением детской литературы, кроме литераторов в работе его объединения активное участие принимают школьные учителя. К сожалению, он заболел и не смог принять участие в симпозиуме.

Японские специалисты оказали нам большое гостеприимство. Не было излишних споров, ненужных реплик. В день окончания симпозиума в отеле «Тоси сентер» нам был дан дружеский обед, на который японские участники пришли даже с маленькими девочками. Наверное хотели, чтобы их дети увидели советских людей.

Во время заседания японские мужчины выглядели очень солидными, ненавязчивыми, держались весьма сдержанно, а женщины постоянно ходили с застенчивой улыбкой на устах. А за дружеским столом все они развеселились. Особенно радостными были девушки и юноши, пришедшие с родителями: они свободно разговаривали, пели, танцевали. Мы и раньше, гуляя по городу, замечали, что японская молодежь открытая, добродушная. Мы особо любовались юными японками, которые пели красивые песни под аккомпанемент гитары по двое-трое на стадионах, в парках, малоллюдных аллеях.

Приятно было ездить и в метро Токио. Многие его пассажиры молодые и они не обходятся без улыбок. Просто удивительно, как эти веселые и добродушные юноши и девушки через некоторое время превращаются в вежливых, застенчивых жен и солидных мужчин, не говорящих ни одного лишнего слова. Еще много загадок у японцев, не раскрытых для жителей другого мира. Это заметно и в японской литературе и искусстве.

Одно из особо таинственных направлений японского искусства — театр. На второй вечер мы были приглашены в театр «Кабуки». На улице Гиндза стоит очень красивый дом, построенный в чисто японском стиле, с красными фонариками у входа. Девушка лет семнадцати-шестнадцати, сидящая за столом у входа, поднимаясь с места, отвешивала поклоны всем, кто заходил или выходил из театра. После сдачи в гардероб верхней одежды начинается прогулка по фойе, состоящего из головокружительных салонов. Поражают магазины по продаже сувениров, рестораны, бары и коктейль-холлы. Великолепен зрительный зал. Старое деревянное здание театра было разрушено после войны при сильном землетрясе-

нии и его отстроили заново. Раньше зрители смотрели спектакли сидя на полу. Сейчас по подобию европейских театров здесь имеются партер, балкон в три ряда, два яруса лож. Зрительный зал оформлен в красноватый цвет. В зале нет ни одного свободного места. На спектакле были и детишки. Для японцев посещение театра «Кабуки» — большой праздник. Билеты очень дорогие. Многие японцы имеют возможность бывать в нем лишь один раз в жизни. Поэтому они приходят сюда всей семьей и только в национальной одежде. Группами устраиваются в партере, во время спектакля угощают друг друга сакэ — алкогольным напитком из риса. Иностранцы располагаются в ложах и на балконе.

В «Кабуки» в течение дня показывают один спектакль и через каждые два часа меняется состав исполнителей. Зритель может посмотреть спектакль от начала до конца или проводить время в баре или ресторане, время от времени заходя в зрительный зал — посмотреть часть спектакля или сцену, в которой играет любимый актер. Мы побывали на вечернем спектакле, перед началом которого посмотрели два японских танца. Показ танцев перед спектаклем — традиция театра.

...На сцене стоит одинокое цветущее дерево. Из-за него выходит танцовщица. В левом углу авансцены сидят семь барабанщиков, а в правом — семь музыкантов, играющих на японских инструментах, а другие семеро сидят, разложив перед собой на пюпитре нотные бумаги, это — певцы. Все они сидят на коленях на полу. Одеты во все черное. Звучит японский мотив. Если европейцам нравится гармония звуков, то японцы предпочитают, чтобы один нотный звук длился продолжительное время. Они получают от этого истинное наслаждение. Такому восприятию прекрасного они научились у природы, в которой и гул ветра, и шум волны проистекают однотонно. Японцы не ищут музыкального колорита, подобно европейцам, в изменчивом переливе разных звуков в разных тонах, они находят его в гармонии жесткой вибрации «юри» определенного звука с нежной, мягкой вибрацией «сори». Семь певцов поочередно поют соло и, когда танец набирает быстрый ритм, певцы уже поют хором.

В режиссуре и актерском исполнении явно заметна тяга к элементам психологической драмы театра реализма. Заметны они и в декорациях. По лицам-маскам акте-

язык во всем заметны и во внутреннем убранстве японского жилья. Обстановка дома состоит в основном из недорогих и легко обновляемых предметов из дерева и бумаги, облицованных с сохранением натурального цвета использованного материала. Татами плетется из рисовой соломы или полосок бамбука. Размер комнаты не превышает 20-25 квадратных метров. Три стены дома раздвижные, легко открываются и закрываются, потому что страна окружена со всех сторон морями, воздух влажный, душный и такие раздвижные стены – очень удачный способ естественного проветривания и охлаждения помещения. А на четвертой неподвижной стене приделываются шкафы для хранения одежды, посуды, постели. Лицевая сторона этой стены отделана гладкой древесиной и что за ней скрыто знают только хозяева. В одном углу стены находится алтарь – маленькое углубление для богослужения – камидана. Там вешают образ камибога, которому поклоняются члены семьи, или помещают изображение покойного дорогого человека. Вошедший в дом родственник или близкий друг первым делом идет поклониться камидане: перед молением он хлопанием ладони обращает на себя внимание ками или изображения покойного.

Хозяйский двор японца состоит из трех зон: зона грязи – дворик перед входом в дом, паркетный коридор и тротуар; зона относительной чистоты – пол в доме и ковер на полу; зона чистоты – татами на полу комнаты. Обувь оставляется в грязной зоне, в ней ни в коем случае нельзя входить в комнату.

В комнате вас усадят на небольшом кусочке ткани, постеленном у длинного и узкого столика на татами. Чтобы не попасть в неудобное положение, садясь не вытягивайте ноги впереди себя или же сбоку от себя, а садьте обязательно на корточки. Потерпите в таком положении немного: японцы не будут томить иностранного гостя и после взаимного приветствия попросят вас сесть как вам будет удобнее.

Японцы не любят особо приглашать гостей, да в столь крохотный комнатке и гости будут чувствовать себя весьма стесненно. Постельные принадлежности и посуда закреплены за каждым членом семьи: каждый должен спать только в своей постели и есть только из своей посуды. На случай, если ненароком заглянут в дом посторонние,

то для них держат три-четыре штуки лишней посуды. Поэтому, если японец пригласит вас в свой дом, то не следует брать с собой двух-трех человек.

Есть всего два способа побывать в жилище японца. Если вы ближайший родственник, то можете переночевать в доме с разрешения хозяина. Перед сном вам необходимо тщательно помыться, затем принять японскую баню – сесть в бочку с горячей водой, под которой имеется печь с дымоходной трубой. После вас в ту же воду окунается глава семьи, затем другие мужчины семьи и самыми последними – жена и дочери хозяина. После бани вы надеваете на голое тело юката – легкий вид кимоно, с открытой грудью и с поясом – у женщин цветастая, у мужчин из красноватого ситца и укладываетесь в постель, которая застелена рядом с постелями хозяина дома и его жены.

Заметное влияние психологии, порожденной теснотой помещения, необязательностью обращать особое внимание на половое различие, встречается и в современных общественных местах. К примеру, общественная баня японцев – просторный зал с бассейном посередине для купания. Вокруг бассейна расположены душевые для мытья стоя. Душевые кабины огорожены заборчиками не выше колен и в них нет отделений для мужчин и женщин. Рядом с душем, где моется мужчина, совершенно спокойно может мыться женщина. После душа мужчины и женщины вместе купаются в бассейне. И никто из них не стесняется голый близости. Даже в современных учреждениях нет туалетных комнат, предназначенных для особ разного пола. Конечно, такое неудобство в общественных местах является анахронизмом и данью привычной психологии. Но в ближайшее время японцы вряд ли смогут избавиться от тесноты. В жилых комнатах данти, построенных из современных строительных материалов, даже негде повернуться. Возле домов нет площадок для детских игр и сушки белья. Поэтому на балконах всех домов виднеются разноцветные и разноцелевые продукты стирки, подобно флагом святош. Разумеется это не столько следствие нехватки «жизненного пространства», о котором любят поговорить японские политики, а сколько приверженность устоявшейся национальной психологии, связанной с сейсмическими явлениями.

Редко кто может воспользоваться японским гостеп-

ров трудно судить об их психологической игре. Например, мизансцена лирического свидания влюбленных внешне лишена всяких эмоций и европейскому зрителю покажется, что два молодых героя спектакля просто сидят вместе, причем слишком долго. Между тем, состояние их души передается через песню, исполняемую трио певцов, находящихся в углу сцены.

Многие японцы сами с трудом воспринимают сложную систему происходящего на сцене театра. Это доступно лишь считанным зрителям. Они выражают всплеск своих эмоций восклицанием «биа». Такой восторг выражается не хором, а слышатся один или два голоса, но очень сильных, способных заставить вздрогнуть весь зрительный зал.

Театр «Кабуки» основан в начале XVII века. Его основательницей была танцовщица по имени Онуки. В начале вся труппа состояла только из женщин, затем играли одни дети, а теперь роли мужчин и женщин исполняют только мужчины. По причине однородного состава труппы театр до сих пор не избавился от символической условности и не ступил на путь реализма. Театр «Кабуки» действует лишь в двух-трех крупных городах Японии, куда зрители приезжают из разных уголков страны. Поэтому, несмотря на сложность восприятия постановок и на дороговизну входного билета, не так просто попасть на спектакли «Кабуки».

В Японии кроме «Кабуки» имеются еще театры «Но» и «Есэ». «Но» родился на основе возрождения традиций древних национальных игр на улице. Язык восприятия спектаклей театра «Но» более сложен, чем «Кабуки» и потому поклонников у него гораздо меньше. В театре «Но» играют всего два актера, действия которых сопровождает хор, поющий в двух составах. Репертуар «Но» состоит из фольклорных произведений древности.

«Есэ» является театром одного актера с маленьким зрительным залом. Актер должен держать зрителей в напряжении своим искусством два-три часа. Он сам решает: будет ли читать стихи; просто балагурить или вступит в прямую дискуссию со зрительным залом.

В Японии предостаточно кукольных театров. Размер кукол равен росту человека. Их водят по сцене два-три человека. Кукловоды не прячутся от зрителей, они передвигаются по сцене или садятся на маленькие стулья на колесах и по сцене передвигаются на них.

Какой бы японский город мы ни посещали, нас непременно приглашали в местный театр кукол. И все представления нравились нам.

Симпозиум закончился и мы отправились в поездку по стране. Вновь Хонэдэ. Снова самолет. Две стюардессы, напоминающие схожестью двойняшек, едва поднялся самолет, принесли нам на тарелках влажные и горячие салфетки для лица и рук, следом предложили сметану и кофе.

Промелькнувшая в иллюминаторе бетонная посадочная дорожка сменилась сверкающим и переливающимся под ярким солнцем сине-бархатным островом. С западной стороны виднелась знаменитая гора Фудзияма, схожая с перевернутой пиалой на синей бархатной скатерти. Ее высота 3777 метров. Япония – страна гор. Низины гор окаймлены лесами. В стране 192 вулкана и 58 из них действующие. Частые землетрясения не могли не оказать естественного влияния на традиции, быт, психологию, мировоззрение жителей японских островов. Переступив порог любого японского дома, вы невольно обратите внимание на то обстоятельство, что в нем находится лишь минимум вещей. Куда ни взглянешь – прежде всего в глаза бросается идеальная чистота.

И в архитектурной основе японских жилищ не просматривается расчетливость, свидетельствующая о намерении хозяев жить в них долго. Японское жилище не выделяется из окружающей природной среды, оно гармонично вписывается в окружающий его ландшафт. И ворота «торий» в виде буквы «П», имеющие по синтоистскому верованию священный смысл, и лампы на низком плоском постаменте не обособляют строение, наоборот, служат нахождению гармонии с живой природой. Возле каждого дома непременно имеется маленький садик и кажется, что его создала сама природа без вмешательства человека: маленький бугор в нем кажется горой, серебристо-звенящий ручеек – рекой, маленькая лужа – морем, а неказистые кустарники – лесом.

Сидя вечерами в таком крохотном саду хозяева получают истинное удовольствие, будто находясь среди первозданной природы. Ни у одного дома мы не увидели изгородь: действие природы на японцев настолько сильное, что они не желают уединяться от окружающей среды.

Любовь к природе, стремление находить с ней общий

риимством и остаться ночевать в японском доме. Особенно лишены такой возможности иностранцы. Приведенные выше сведения, мы осторожно выудили у своих новых знакомых японцев, которые к тому же были скупы на беседу. Они особенно избегали разговоров, касающихся их личной жизни, жития-бытия их семей. Мы встречались и с советскими специалистами, которые давно работают в Японии и от них успели в достаточной степени понять обычаи этой страны.

Но в корне неправильно было бы принимать японцев за черствых людей, которые близко не подпустят иностранцев к своему дому. Я уже объяснил, что у них просто нет условий, чтобы днем и ночью держать двери открытыми настежь и принимать гостей. Но тем не менее они пускают к себе и других кроме своих родственников. Ближайшие друзья заходят друг к другу в дни праздников. А такие обстоятельства случаются не часто — раза два в год. Поэтому при встрече на улице знакомые радуются от души. Мне показалось, что непревзойденными мастерами справляться о здоровье и по длине приветствия после казахов являются японцы. Секрет того, что казахи до сих пор при встречах справляются о здоровье домашних, родичей, сватов, кумовьев, не оставляя при этом без внимания даже домашних животных, кроется в том, что в былые времена наши предки, кочуя по бескрайней степи, были напрочь лишены частых встреч и встречались друг с другом случайно на редких праздниках, в дальних поездках или во время поиска пропавшего скота. А растянутость приветствия японцев заключена, по-моему, в тесноте жилищ. Хотя они и живут рядом друг с другом, но лишены практической возможности частых встреч в домашней обстановке, поэтому душевное расположение стараются проявить при случайных встречах, особенно при прощании — они продолжительное время совершают поклоны и долго не отпускают друг друга.

Японцы придают исключительное значение одариванию друзей и родственников подарками во время праздников. Подарки делаются ценные. Преподношение денег в виде подарка считается явным признаком невоспитанности. Официанты в японских ресторанах считают большим позором для себя брать чаевые. Учреждения не премируют деньгами отличившихся служащих, а вместо этого дарят красиво оформленный чек, который вы можете заменить на нужную вам вещь в любом магазине.

По японской этике вручение подарков является большим социальным институтом. Младший не вправе дарить подарки старшему. А старший, наоборот, может подарить младшему что угодно. И младший из-за этого попадает в этический долг перед старшим, после чего он не может перечить старшему, не может его послушаться, таким образом традиция этического долга (онгаэси) ставит молодого в моральную зависимость перед старшим.

Наведываясь в дома близких родственников или друзей, японцы остаются там недолго. Гостей угощают чаем и легкой закуской. В этой стране почет проявляют не обилием угощения. Если новый знакомый покажет вам свой дом, это значит, что он проявил к вам исключительно большое уважение и доброе расположение.

Такую расположенность японцы проявляют и к иностранцам.

Пользуясь благосклонностью к нам хозяев, мы тоже побывали в паре японских домов. Хозяева демонстрировали свое гостеприимство задушевной беседой, угощали национальными кондитерскими изделиями, цитрусами, фруктами, давали согретый чай сакэ. Если вы больше не хотите пить сакэ, ставите рюмку вверх дном и никто не станет упрашивать вас пить наравне с другими.

Такие встречи оставляют неизгладимое впечатление не тем, что вас угощали, а искренностью приема и знакомством с традицией, бытом другого народа.

Если японец пожелает собрать родственников и друзей на угощение, то он приглашает их в ресторан. Такой праздник считается большим событием и надолго запоминается в памяти целого поколения.

Несмотря на тесноту, многочисленность семьи, редкость встреч, японцы очень трепетно относятся к своим родственникам. Корень таких отношений лежит в феодальных традициях, все еще имеющих сильное влияние на население. Эти традиции формировались суровой природой, властвующей над жизнью японцев.

Патриархальный строй, при котором все члены рода держались вместе, был в основном присущ кочевникам, потому что у них была общая земля, скромная ежегодная прибыль и поэтому отдельно взятая семья не могла прожить сама по себе подобно оседлым. Кочевому народу, невыгодно было распылять свой род. Отдельная малая семья не могла противостоять трудностям ведения жи-

вотноводческого хозяйства, которое напрямую зависело от капризов природы. Поэтому десятки семей одного родового колена кочевали вместе; сотни семей с дальним родством имели общие пастбища и зимовки. Экономическая закономерность кочевого быта заставляла номадов беспрекословно соблюдать морально-этический кодекс степи — «род выпил яд — пей и ты!»

Тенденция, схожая с этой, пустила крепкие корни и в японском обществе, считавшимся оседлым. Принуждает их на такую патриархальную солидарность не джут — падеж скота, который может нагряться стихийно, а другие, но не менее страшные бедствия, которым не сможет противостать отдельная семья. Поэтому японские деревни состоят из «бураку» — выходцев из одного рода или племени. Каждый бураку имеет собственный храм, каждый род имеет свой талисман — ками. Несколько бураку одного рода объединяются в одну административную единицу «мура», схожую с дореволюционной казахской волостью. Жители города также живут, группируясь по родовым признакам. В Японии населенный пункт, число жителей которого превышает тридцать тысяч человек, становится городом. И родовые кварталы такого города содержат свой родовой храм, где они совершают молебны. Такой порядок проживания постепенно исчезает в крупных индустриальных городах, но в мелких префектурах и небольших городах положение остается прежним.

Синтоизм, которого придерживается большинство японцев, до недавнего времени считался государственной религией, состоит из постулатов преклонения перед природой и молитвы перед духами предков. Нередко талисманом — ками родовых храмов синтоистов является один из предков, который в свое время своими деяниями прославил данный род.

По синтоизму японский народ берет свое начало от Бога и потому народ — это единое целое, одно неделимое племя. По синтоизму главным и прямым представителем Бога на земле является император, поэтому его надо обожествлять. В стране в целом соблюдается патронимическая иерархия, по которой народ прежде всего подчиняется императору, затем его вассалам — священному роду крупных феодалов, потом — мелким феодалам и в последнюю очередь — каждая семья подчиняется своему главе. Основой такой иерархической ступенчатости служит широко

распространенная в стране корпорационная традиция «оябун – кобун». Оябун – предводитель союза, кобун – его подчиненные. В средние века на основе таких зависимых отношений между сеньорами и вассалами была выработана система моральных институтов – «бусидо». Затем монархические шовинисты превратили его в течение «додзоку» – идеологическое оружие фашизма: «мы священный народ, возглавляемый императором – потомком самого Бога, мы станем управлять миром».

Поражение во Второй мировой войне положило конец этой идее. Император был вынужден отказаться от своей духовной власти и признать свое земное, а не божественное происхождение. Главная причина того, что синтоизм перестал быть государственной религией, кроется именно в этом.

Но психология зависимости между сеньорами и вассалами, веками впитавшаяся в народную кровь, мастерски используется в современных капиталистических отношениях. Понятие, которое принимает любая фирма или любое предприятие как объединение, подобное семье, дает возможность максимально использовать не только физическую силу рабочих и служащих, но и выгодно эксплуатировать их моральный и духовный потенциал. Японец ничуть не обидится, если вы назовете его не по имени или же по его специальности, а названием фирмы где он служит. Например, к японцу вы должны будете обратиться не как к казаку – «Такой-еке, Сякой-еке» или не как к русскому – «Такой Сякоевич», а просто добавляете к его имени слово «сан»: Акиро-сан, Акутагава-сан. Если не знаете его фамилию, можете добавить то же слово к его профессии: продавец-сан, редактор-сан, учитель-сан. А если вы не знаете ни того, ни другого, а знаете, что он служащий фирмы «Атахи», то можете смело обратиться Атахи-сан, и это ничуть его не обидит.

Но как бы капитализм ловко и мастерски не использовал национальную психологию, резкое увеличение крупных городов в связи с быстрыми темпами развития индустрии, ежегодное уменьшение земель, нужных для сельского хозяйства, оказывает большее влияние на духовную жизнь японской семьи, чем на материальную сторону жизни.

Японская семья – «из» никогда не остается без главы семьи. Обычно им бывает отец детей. Если он умрет –

его место занимает старший сын — «тенан». Дом отца, и все хозяйство остается за ним. У японцев из семьи с положенной им долей отделяются сыновья. Их называют «дзиесаннан». Дома, куда переселяются дзиесаннаны называются «хонкэ», а главный дом, где проживает старший сын, называется «додзаку». Хонкэ подчиняются додзаку: по обычаю они живут рядом и что бы ни предпринимали, обязательно советуются с большим домом.

Но клочок крестьянской земли не подлежит дележу — он остается за старшим сыном, и поэтому дети вынуждены уезжать в города в поисках работы. До сих пор хозяйства японских сел поддерживают старшие сыновья — тенаны. А большинство жителей городов — покинувшие отчий дом младшие дети — дзиесаннаны. Это они сноровисто втаскивают ваши вещи в гостиницу, работают вежливыми до умопомрачительности официантами ресторанов, являются конторскими чиновниками; журналистами, сыплющими на вас град вопросов; инженерами, конструирующими современные электронные машины; все они — дзиесаннаны, способные пройти сквозь игольное ушко. Составу японской буржуазии и японского пролетариата составляют те же дзиесаннаны: они же за считанные годы вывели на второе место в капиталистическом мире дышавшую на ладан экономику разбитой во Второй мировой войне страны.

Один из этих дзиесаннанов сидит за штурвалом самолета американского производства и направляется вместе с нами на юг страны, пролетая над холмами родной ему Японии...

* * *

Синие холмы, омывающие со всех сторон остров заливы куда-то исчезли и снова в иллюминаторе появилась серая каменная площадка, разного типа самолеты, снующие между ними люди в синей форме. Длинная стеклянная галерея, начинающаяся прямо с трапа самолета, вывела нас в просторный зал аэропорта. Нас встретила группа японцев и советский консул.

Красно-белый автобус поднялся наверх автострады по горбатуму мосту, тянувшемуся вверх среди высотных бетонных домов. Многие из длинных зданий, стоящих плечом к плечу, остались под нами. Мы парим над каменным лесом. Между каменными столбами домов, подобно муравейнику, копошатся тысячи машин.

По цифрам на табло у входа мы поняли, что темно-серый дом, окруженный относительным пространством и стоящий в середине города, является городским полицейским управлением.

В Японии сводки об уличных происшествиях пишутся на световом табло перед зданием полицейского управления. Впервые мы увидели их в Токио. Над входом полицейского управления Токио значилась цифра 1.182. В день нашего приезда в городе погиб один человек, а 182 ранены. Лишь в одном Токио за первые десять месяцев того года в авариях погибли 12 тысяч человек. Японцы придумали термин «транспортная война». В самом деле – среди азиатских стран после воевавшего тогда Вьетнама второе место по непредвиденной смертности занимала Япония.

А в самой Японии второе место по числу автоаварий после Токио занимает город Осака, куда мы прибыли. Город с трехмиллионным населением, крупный центр индустрии и торговли. Состоит в основном из многоэтажных домов, построенных из современных стройматериалов. У японцев бытует поговорка: «жители Осаки умирают от обжорства», потому что горожане прославились тем, что уделяли большое внимание сервировке стола и приготовлению пищи. В современном Осаке люди больше страдают от транспорта нежели от обжорства. Особенно невозможно выйти на улицу 5, 15, 25 числа каждого месяца. В эти дни всевозможные фирмы и банки, заполонившие город, собирают вклады от частных лиц, разъезжая на машинах. Хотя 28 ноября, когда мы оказались там, был не таким суетным днем, тем не менее в городе случилось 128 аварий.

Автомобиль, на котором мы ехали, выкарабкался из тисков высотных домов и направился к городской окраине. По обеим сторонам улицы чаще стали встречаться четырех-пятиэтажные данти, а затем крохотные, словно воробьиные гнезда, двухэтажные дома. И еще через некоторое время на нас надвинулись громады фантастических строений разных окрасок и форм – блестящие серебром, шарообразные, причудливые здания из железа и стекла – предел человеческой фантазии. Это были павильоны международной выставки «ЭКСПО-70», спроектированные архитекторами разных стран из большого желания перещеголять друг друга.

Зеркальная лента дороги время от времени проходит через тоннели двух-трехкилометровой длины.

Скрывшиеся с глаз на некоторое время синие холмы вновь начали подступать к нам. В ноябре японская природа переливается растительным разноцветьем подобно подножиям нашего Алатау. Город Киото, куда мы ехали, окружен подковой гор. На пяти горных вершинах, подступающих к городу, написаны пять букв. Во время празднеств на них жгут костры и тогда эти пять букв на пяти холмах загораются словом «Киото».

Кио-то... То-кио... Оба слога, составляющие названия этих городов, одинаковы, только поменялись местами. Но главный смысл заключается в том, что Кио – означает столица, а «то» имеет два значения - «город» и «восток». И потому получается, что «Киото» означает «столичный город», а «Токио» – «столица на востоке».

За этим хитроумным ходом скрывается не только и не столько лингвистическое значение, сколько большое историческое содержание.

Киото – древняя столица японцев. Построена около 794 года. До 1868 года здесь находилась резиденция императора. После известной революции Мейдзи император переехал в крепость сегунов в городе Эйдо, с тех пор его переименовали в город Токио и он стал новой столицей страны. Хотя политический центр государства и переместился в Токио, но до сих пор Киото считается духовной столицей страны.

Здесь же находятся самые древние культурные памятники страны. Самые знаменитые, самые красивые храмы синтоизма и буддизма в Японии расположены тоже здесь.

Крупные предприятия «не осмелились» нагреть в тишину и чистый воздух древней столицы и обосновались в соседнем Осаке.

Киото – центр отдыха и туризма. Не говоря о храмах-музеях, храмах, где население совершает молебны, насчитывается более двух тысяч.

Спросите у любого японца, где самые красивые архитектурные памятники – вам назовут Киото. Спросите, где готовят самые вкусные национальные блюда, назовут Киото. Самый красивый город – Киото. Никакая другая гейша не может поспорить в своем искусстве с гейшей Киото. Не найти и майко в другом месте, которая была бы лучше, чем майко Киото. Потому что самые красивые

девушки в Японии – это девушки Киото. Горная река, текущая по середине Киото, самая чистая, самая прозрачная река во всей стране. Красотой девочек, искупавшихся в ее водах, не можешь налюбоваться. Всех новорожденных девочек Киото перед первым пеленанием обязательно купают в этой реке.

Попад из Осаки в Киото, вы впадаете в такое блаженство, словно вырвались из ада и оказались в земном раю. Здесь царство тишины. Поражают красотой огромные парки храмов, деревья вдоль улиц. Добавьте к этому ароматный воздух дремучих лесов, растущих у подножья подковообразных гор...

В первый день мы осмотрели дворец культуры, построенный городским муниципалитетом по желанию жителей города. Во дворе его имеются салоны, в которых устраиваются выставки местных художников; клуб, где собирается местная творческая интеллигенция; зрительный зал в европейском стиле, где выступают художественные коллективы и национальный зал в японском стиле, где зрители располагаются на полу. Такие учреждения редко встретишь в японских городах.

После осмотра дворца мы пошли на встречу, организованную местным отделением общества Япония – СССР и беседовали с представителями интеллигенции Киото. Пришли преподаватели университетов, педагоги, литераторы, художники, музыканты. На встрече в основном говорили мы и подробно рассказывали о нашей жизни, культуре, системе народного просвещения.

Знакомство с культурными памятниками Киото мы начали на следующий день. Сначала осмотрели буддийский храм Мьехоин, построенный в 1164 году. Во дворе его взгляд привлекают низенькие деревья с белоснежными цветами. Но это не настоящие пушистые цветы, а мягкая японская бумага наподобие наших салфеток, сложенных вчетверо.

Люди, посещающие храм, трясут специальный деревянный ларец и глядя на цифру, которая выпала из этого ларца на его ладони, дают себе погадать. Служители храма пишут на белых бумажках предсказания и прочтут их человеку, которому гадали, затем бумагу сложат вчетверо и вешают на деревья растущие во дворе, вот и набирается много таких бумаг и кажется, что деревья распускают нежные бутоны белых цветов. Мьехоин по-

строен из крепкого кедра, называемого железным деревом. Стены храма, пережившего столько веков, потемнели, внутри него сумрачно, и потому зажигают свечи.

В Японии очень много буддийских храмов, потому что буддизм одна из наиболее распространенных в этой стране религий. Буддизм пришел сюда из Китая. Но в японском буддизме можно увидеть сильное влияние синтоизма. Здесь будда довольствуется вторым местом, а на первом месте находится властитель рая Амида. Среди буддийских богов японцы чаще всего преклоняются перед богом счастья Дзидо и богом милосердия и доброты Кванноном. В домах японских буддистов оставляют место наравне с буддистским и синтоистскому алтарю. Японцы веруют в обе религии и посещают храмы и той, и другой религий.

Мъехоин — один из самых знаменитых и крупных храмов. Рядом с ним разбит сад в тридцать тысяч квадратных метров. Субтропические деревья и кустарники растут вдоль берегов озера. Узкие тропинки в саду, каменные мосты вселяют в человека чувство красоты, будят воображение.

Японец не оставляет без внимания ни одного значительного события в своей жизни и семьи. Все они обязательно отмечаются в храме. Каждые десять лет муж дарит своей жене кольцо или ожерелье, обязательно с драгоценными камнями. Все японцы знают народную традицию, по которой известно — в какое десятилетие дарится тот или иной камень. И что удивительно: чем взрослее супруги, тем дорожает вид камня. Хотя японцы и предпочитают вежливость и скромность в быту, но в то же время они весьма далеко не равнодушны к радостям и наслаждениям жизни. Они расходуют заработок не на вещи и домашнюю обстановку, а устраивают праздники, которые пришлось бы по душе родственникам, друзьям и домочадцам.

Рождение ребенка, исполнение ему годиков жизни — тоже праздники. В Японии день и месяц рождения не празднуются: отмечают только год рождения. Поэтому в Японии есть два национальных праздника, посвященных детям: ежегодно 3 марта вся страна отмечает день рождения девочек, а день рождения всех мальчиков по стране отмечается 5 мая.

На празднике девочек во всех домах, в которых есть девочки, устанавливают ступенчатую лесенку и устраива-

ют выставку кукол. На выставку ставятся не те куклы, которыми каждый день играют девочки, а куклы, специально купленные для праздника, и после праздника этих кукол кидают в реку или еще куда-нибудь, чтобы вместе с ними ушли все невзгоды и неприятности девочек.

А на «празднике мальчиков» над ними совершают разные обряды, им дают подарки, имеющие символический смысл.

Новорожденному имя дается через семь дней, а через месяц его впервые несут в храм синтоистов, оставляют на макушке две косички и сбывают первые волосы. В этот день на ребенка надевают самое дорогое кимоно. Ребенка в храм несет бабушка.

Для японской семьи женитьба сына и выдanie замуж дочери являются особым праздником. Девушка и парень женятся только с согласия родителей после официального сватовства. На свадьбу приглашаются родственники с обеих сторон. В недавнем прошлом невеста, давая понять, что она не желает нравиться никому кроме мужа, на второй день после свадьбы сбывала брови и красила зубы в черное. Теперь же этот обычай изживает себя. Через три дня после свадьбы жених с невестой идут к ее родителям. Обряд называется «сатоказэри». После этого молодая становится собственностью нового дома и оказывается в полном подчинении свекра и свекровки.

Любой японец тратит собственные сбережения на эти праздники, ничего не жалея. В такой и другие праздники японцы посещают в обязательном порядке синтоистский храм.

Праздники обычно проводятся в ресторанах. В настоящее время храмы тоже открыли собственные залы, где проводятся свадьбы.

Мы, осматривая храмы, видели тех, кто совершал в них акт бракосочетания: человек сто, одетые исключительно в черное. Только невеста одевается в белое кимоно и белый головной убор, напоминающий высокую шляпу. Со стороны ее правой руки находится жених, одетый в европейский черный костюм.

Фотографирование семейств после официального бракосочетания превратилось в неприменную традицию современной японской свадьбы.

Но это вовсе не означает, что японские праздники ограничиваются лишь семейными торжествами. Каждый

храм имеет свой праздник. В дни таких праздников божество храма – ками торжественно выносятся на улицу на покрытом богатым убранством балдахине, за ним важно следуют храмовые жрецы, затем следуют местные богачи и знаменитости, а далее следует простой люд.

Актеры и акробаты демонстрируют свое искусство. Такие праздники особенно нравятся молодым.

Самый респектабельный праздник японцев – Новый год. Под Новый год все храмы бьют в колокола сто восемь раз.

За священным божеством в балдахине с бахромой и жрецами вы не увидите мужчин в коротких шортах и женщин в современном открытом платье. В праздничные дни и в будни японцы приходят в храм только в национальной одежде. Европейской одеждой он пользуются лишь в служебное время.

Когда речь заходит о японской национальной одежде, первым делом вспоминается кимоно. На самом же деле полный ансамбль национальной одежды называется «рэйфуку», основным элементом которой действительно является кимоно, закрывающее тело от шеи до пят. Кроме верхней части кимоно шьется довольно просторным. Особенной шириной выделяются подол и рукава. У любого народа процесс одевания довольно утомителен, а процесс одевания японской женщины с соблюдением всех правил «рэйфуку» способен окончательно измотать нервы мужчин. Если две японки не помогут друг другу одеться, одна японка вовсе не способна одеть самое себя. Поэтому кимоно современных японок немного упрощено. А настоящее «рэйфуку» сегодня можно увидеть только на праздниках и в храмах. Торжественная одежда японок в большинстве случаев шьется из черного материала или под черный цвет. Внизу подола делается разноцветная вышивка, изображающая цветы и растения.

При ношении кимоно с ним не смешивают никакие детали европейской одежды и не берут в руки портфель или сумку. Принадлежности своего туалета женщина в кимоно завязывает в маленький платок. А детей привязывают на спину. В смысле косметики японские женщины не уступают первенства никому в мире: нам рассказывали, что они на косметический процесс времени тратят в два-три раза больше чем европейки.

Похоже, что народ, привыкший поклоняться природе

и берущий у нее уроки, любую традицию соблюдает основательно.

Истинно то, что архитектурные шедевры проектируют архитекторы, а строят их для власть имущих. Архитекторы стараются выразить эстетические взгляды своего народа и своего времени, а богачи норовят соответствовать политическому облику своей эпохи.

Осматривая дворцы сегунов в Киото, мы еще раз убедились в истинности этого.

Прежде чем войдем в мир феодальной Японии — дворец сегуна — давайте бросим беглый взгляд в историю. Пока японцы ограничивают свою историю последним двухтысячелетием. Нет установленного факта о том, откуда вышли предки этого народа, вообще откуда японцы появились здесь.

Большинство историков склоняется к мнению о том, что японцы образовались из племен островов Восточной Азии и юга Тихого океана. Сами японцы считают, что они потомки племени Ямото, которое господствовало в этих краях в III-IV веках. Предки японских императоров вышли из вождей племени Ямото, а не сыновей бога. В IV-VI веках упрочиваются отношения с такими соседними государствами, как Китай, Корея. Прядильный станок, кораблестроение, медицина, буддизм появились в стране примерно в те же времена.

Первоначально столица Японии с 710 до 784 года находилась в городе Нара, а в 794 году переехала в Киото. В промежуточные десять лет в стране не было постоянного императора и похоже, что и столица не имела определенного места.

Киото, где в течение тысячи лет пребывала императорская резиденция, был построен по образцу китайских столиц. С первых дней своего основания новая столица покровительственно относилась к искусству. Эпоха Хейан, заложившая основу японской национальной культуры, начинается со дня переезда столицы в Киото и кончается 1192 годом.

Пока аристократы Киото увлекались искусством и утопали в празднествах, военная аристократия остальных местностей резалась в междоусобице, сражаясь за власть. Особо рьяно воевали потомки бывших императорских домов Минамото и Таира, и наконец в 1185 году на острове Данноура во Внутреннем Японском море по-

беду одерживает Минамото. После этого император становится во главе религиозной власти, а политическая власть переходит в руки военной аристократии – сегунов. Предводитель рода Минамото Йоритомо в 1192 году образует военное правительство в той местности, где ныне стоит Токио. Это правительство взяло в свои руки всю административную власть и проповедовало идеологию самураев бусидо – преклонение перед аскетизмом и воинственностью. Наверное именно в ту эпоху установились сдержанность и простота в искусстве и жизни японцев. Начиная с той поры, поколения военной аристократии поочередно брали власть в руки и в течение семисот лет не выпускали из рук узды правления страной. После господства сегунов в течение следующих 265 лет власть находилась в руках потомков Токугава. Чтобы изолировать народ от влияния извне, в 1639 году Япония прекращает всякие связи с внешним миром. И в стране категорически запрещается христианская религия, начавшая было распространяться среди японцев. Но верховодившая два с половиной столетия политика «закрытых дверей» потерпела полное поражение в 1967 году в результате массовых волнений среди населения. Император Мейдзи (1867-1912) отстранил от власти потомков Токугава и в 1868 году перенес столицу в Токио, принял новую Конституцию. Император был объявлен единоличным правителем. Власть сегунов была уничтожена. Японская буржуазия боготворит Мейдзи. После его смерти 14 лет страной управлял наследник Таишо, а в 1926 году на трон вззошел нынешний император Хирохито. Конституция Мейдзи потеряла силу после Второй мировой войны, и в 1946 году была принята новая Конституция.

По новой Конституции император является символом единства государства и народа, а власть по управлению страной осуществляет кабинет министров, назначаемый парламентом и утверждаемый императором. Кабинет состоит из 16 министров. Нынешний премьер-министр является шестьдесят четвертым, а Хирохито – сто двадцать четвертым императором японского трона. У японских императоров не бывает своей фамилии, все они потомки одного рода. Японские монархи, считающие себя избранниками бога, никогда не поднимали друг на друга руку. Перевоороты в японской истории в основном совершались независимыми друг от друга выходцами из семей военной аристократии – сегунами.

Нынешнему императору Хирахито семьдесят один год. У него двое сыновей. Наследнику престола – старшему сыну Акихито тридцать девять лет. А младший сын Хитаги живет с отцом. Император в свободное время занимается исследованием морской биологии. Увидели свет несколько его книг на эту тему. В Японии никому кроме членов императорской семьи не дается аристократическое звание. А девушки императорской семьи после выхода замуж теряют аристократический титул.

Многие сохранившиеся до наших дней крепости построены потомками последней династии сегунов – Токугава.

Дворцы сегунов в Киото построены в 1602 году, а в 1624 году вокруг них были вырыты рвы, заполненные водой, и обнесены каменной стеной.

Потомки Токугава жили в Эйдодо (крепости в Токио, где ныне стоит дворец императора), а крепость, которую мы видели в Киото, была резиденцией главы военного правительства, где он останавливался, когда приезжал в столицу для встречи с императором.

Обычно крепости в европейских странах высятся грозно и видны издали, от них веет силой оружия и былой властью, а дворцы же японских феодалов, подобно храмам, притягивают людей, нисколько не отталкивая их от себя. Секрет этого кроется в том, что одинаковые факты и явления истории могут проистекать по-разному. Феодализм в Европе и феодализм в Азии – одинаковые явления, присущие определенной эпохе, как форма эксплуатации человека человеком. Но каждый из них шел к своей цели разными способами: европейский сеньор держал своего вассала в страхе, а японский оябун как можно ближе притягивал к себе своего кобуна, называя его единокровным братом, и в то же время делал зависимым от себя. Оружием первого была угроза, второго – учтивость...

Даже дворец, построенный Токугава в период, когда японский феодализм опирался на оружие и славился мощью, начисто лишен черт, присущих власти. Пока не войдете вовнутрь него у вас не сложится впечатление, что идете во дворец правителя страны. И здесь стоит ступенька, как и у всех японских домов, где снимаете обувь. Перед входом стоит единственный охранник. Во дворе могут поместиться всего три-четыре воина.

Как только вы, сняв обувь, шагнете в большую залу, тут же раздастся пение сотен соловьев. Сколько ни оглядывайтесь, все равно не увидите живых птиц. Тайну этого явления вы поймете потом.

Здесь нет, подобно европейским дворцам или ставкам азиатских правителей, коридоров, лестничных пролетов, парадных ворот, ведущих из зала в зал. Простота и сдержанность, скромная красота, присущие жилищам рядовых японцев, характерны и для дворцов сегуна. В них — вытянутая в длину просторная галерея: на одной ее стороне ряды обособленных друг от друга и не связанных между собой залов. Первый из них — зал, где посетители ждали аудиенции сегуна. По нашим понятиям это пустое пространство. Зал оформлен художником Кано Баэми. На стене изображены японский кедр и два льва. Художник воочию не видел льва, рисовал по воображению и, несмотря на небольшое отклонение от чисто внешнего сходства с царем зверей, он сумел точно передать повадки льва и его взгляд. Особенно поражают взгляды львов — с какой бы стороны вы ни подошли к изображению зверей, кажется что они неотрывно смотрят на вас, повернув к вам голову.

Затем, с правой стороны увидите склад, где хранилось оружие сегунов; склад конского снаряжения; хозяйственные комнаты. А коль пойдете по левой галерее к югу, то увидите второй зал — приемную сегуна, где он виделся с феодалами. Зал состоит из двух неогороженных частей, лишь пол одной части выше другой на вершок. На самом почетном месте сидит сегун Токугава XV, изваянный из парафина, слева от него на один шаг ниже и боком к правителю сидит его сын с мечом. На верхнюю часть зала кроме них двоих никто не смел ступить, потому что никто не имел права близко подходить к правителю и здороваться с ним за руку.

В нижней части приемной, ближе к правителю, по обеим сторонам, друг против друга сидят восковые фигуры четырех министров: двое из них с бородой — пожилые, другие двое — молодые.

На один шаг ниже министров, лицом к правителю, в каждом ряду по пять человек в несколько рядов сидят на корточках на полу восковые фигуры феодалов, прибывших на прием.

Порядок приема сегунами феодалов был точно таким.

Глядя на неподвижную фигуру последнего сегуна Токугава, видишь его задумчивость, не позволяющую разуму и ярости победить друг друга.

После залов приема галерея делает поворот направо и через несколько шагов приводит к поперечной галерее, протянувшейся с севера на юг. В северном крыле находится зал, где сегуны принимали представителей императора. Он также состоит из двух частей – подобно залу, где проходил прием феодалов. В верхней части зала сидел представитель императора, а в нижней – сегун, потому как представитель императора являлся членом императорской семьи и по рангу считался выше сегуна. Они беседовали в зале вдвоем.

А южное крыло галереи состоит из комнат, где жили члены семьи сегуна. Украшения комнат намного скромней приемных залов. Первый зал этого крыла являлся комнатой отдыха правителя. Там изображены сам правитель и девушки-служанки: прямо перед правителем, боком к нему, сидела старшая служанка; сидящие за ней две девушки – служанки второго ранга; во второй части этого зала размещались молодые служанки.

Соловьи, поющие во время осмотра приемных комнат, сразу же умолкают, когда вы входите в крыло, где обитали члены семьи сегуна. Секрет в том, что голоса птиц издает пол. Если внимательно присмотреться к полу крыла, где расположены приемные залы, то видно, что доски не подогнаны вплотную, между ними имеется едва различимая щель. Доски под тяжестью человеческого веса прогибаются и при этом издают звуки, напоминающие соловьиные трели. Если идет много людей, звуки раздаются сильнее. То ли под пол специально ввели нечто, что издает соловьиные трели, то ли доски, настеленные на пол, имеют какое-то особое свойство – никто не объясняет технологическую тайну акустической хитрости. Но не составляет большого труда понять политическую подоплеку этой музыкальной уловки. Клан Токугава правил в эпоху, когда в стране было неспокойно из-за гражданских, междоусобных войн. Среди феодалов было немало претендентов, метивших на военно-политическую власть сегуна. Правители не особенно доверяли феодалам, прибывшим на аудиенцию. Чтобы те, кто замыслил покушение, не могли застать правителя врасплох, и была придумана такая акустическая уловка. По этим звукам

сегун оповещался о том, что в сторону его покоев идут посторонние люди.

Особенно красивы сады сегунских дворцов. Под окнами дворца имеется пруд с тремя островками. Окрестности пруда и острова украшены валунами разных форм и декоративными деревьями, подаренными феодалами разных областей. Все три островка имеют своеобразный вид, присущий только каждому из них. Самый маленький островок, лежащий справа, имеет очертания ползущей черепахи. Наверно поэтому и назвали его Черепашиным островом. Большой остров на середине – Рай, средний островок слева – Журавль. Японцы считают священными журавля, живущего тысячу лет, и черепаху, живущую десять тысяч лет.

За прудом имеется внутренний ров, заполненный водой, через который по подвесному мосту можно пройти во внутреннюю крепость, в которой сегуны защищались во время военных действий.

Перед зданием дворца сегунов нас встречали два заместителя мэра и заведующий отделом культуры муниципалитета. Заместители после взаимных приветствий проводили ко входу во дворец, попрощались и ушли.

А заведующий отделом культуры ходил вместе с нами. Он был представительным и сравнительно неплохо изъяснялся по-русски. Оказалось, что до войны он жил в Харбине, закончил там университет. Русскому языку научился там же.

Он повел нас в один из чайных домов. Это – обычный японский дом. Перед входом имеется маленькая площадка для обуви. В комнате лежат татами. В одном углу – камидана, еще стоял букет и висела гравюра. Со стороны этого священного алтаря села женщина разливать чай, а мы – почетные гости – устроились вдоль раздвижной стены, через которую только что вошли. В этом домике некогда пили чай феодалы, приезжавшие к сегуну. Церемония чаепития длится более часа. Самураи очень любили чай. Они входили сюда без оружия. Во время чаепития никто не вправе говорить или смеяться. На долгое чаепитие, сидя на корточках, наверное, хватало терпения лишь у тех давних самураев.

В этом домике чаепития представитель муниципалитета вручил нам сувенирные подарки в пакетах, присланные мэром Киото, знавшем о нашем приезде. В пакете

были альбом о Киото, миниатюрный ключик города и приветственное письмо на русском языке с благодарностью за посещение древнего города.

Оказалось, что недавно мэр Киото и сопровождавший нас его представитель побывали в Киеве. Судя по тому, что мэр направил к нам трех своих представителей и вручил подарки, надо полагать, что он возвратился из той поездки очень довольным.

Ежегодно Киото посещают более трехсот тысяч иностранцев. Рассказывали, что все они без исключения изумленно расхваливают этот парк, и мы тоже изумлялись его красоте.

Представитель муниципалитета предложил нам попробовать национальные блюда японцев. Ресторан национальных блюд «Минокихи», где должны были пообедать, был расположен в окраинном квартале города у подножия гор с северной стороны.

Это чисто японский квартал. Дома построены в чисто японском архитектурном стиле в первозданном виде. Большинство гейш и майко проживают здесь. И во время религиозных праздников торжественное шествие начинается именно отсюда.

Мы поднялись на третий этаж. На середину небольшой комнаты, где могли поместиться человек двадцать, были поставлены вплотную друг к другу четырехугольные низенькие столики. По обеим сторонам столов положены маленькие пуховые подушечки для сидения, за каждой из них пристроены деревянные спинки, подобные спинкам наших кресел. Наверно их специально ставят для того, чтобы человек временами мог откинуться и дать отдых спине. Судя по этому, комната была специально приспособлена для угощения европейцев, желающих отведать японские блюда. Но в ней кроме этих спинок и поставленных на стол на определенном расстоянии газовых плиточек нет ничего европейского. В верхней части комнаты имеется японский стеллаж из тонких деревянных прутьев, на одном его углу — такаmano: в нем вместо изображения kami висит натюрморт в японском стиле.

Мы облюбовали по одному тюфяку и устроились на полу. Спинки пришлось очень кстати моим землякам, не привыкшим сидеть на полу. Они вытянули ноги под стол и откинулись на спинку. Кажется не только мы, но и все

иностранцы, посещающие этот зал, делают то же самое: при виде такой картины на благообразных личиках девушек из персонала обслуживания, которые до сих пор только сгибались в поклонах, появилась невольная улыбка.

Перед каждым из нас стояли салфетка, глиняная чаша, маленькая глиняная чашечка для кофе, и еще меньшая с наперсток чашечка для сакэ. Кроме хаши – двух палочек, которыми пользовались вместо ложек, и едзи – зубочистки, сделанной из твердого кедра, наподобие арчи, и упакованной в бумажном мешочке, все было из керамики.

Между каждыми двумя гостями садилась одна обслуживающая девушка – «хэстесса» и на наших глазах начала готовить пищу на круглых газовых плитах. Пока они были заняты этим, нам предложили зеленый чай. Сначала девушки на плоскую сковородку на плите налили растительное масло, нарезали салат, капусту и лук, сверху положили сырое рыхлое как брынза тесто из соевой муки и японскую лапшу, подобно нашему лагману, только намного тоньше и очень прозрачную из-за того, что она была приготовлена из чистого крахмала. Прошло каких-то десять-пятнадцать минут и перед нами стояло по чашке японского блюда «сукиаки». Рядом с ним поставили по пиалке белого риса, сваренного на пустой воде. Сначала надо скушать сукиаки, затем рис.

Японцы раньше ели сукиаки только на улице. Употребление в пищу мяса домашних животных считалось непростительным грехом. Им казалось, что если такой грех будет совершен у родного очага, то в доме станут водиться дьяволы.

Мясные блюда до сих пор большая редкость в японских домах. Завтрак «асамэси», обед «хирумэси», ужин «баммэси» состоят в основном из рыбы и морских даров, овощей и риса. Завтрак и ужин бывают плотнее обеда, горячие блюда подаются утром и вечером, а в обед пьют зеленый чай и едят сухой рис. В японской пище много белков, встречающихся в крахмале и растениях, а белков и жиров животноводческих продуктов очень мало. Все блюда готовятся на растительном масле, суп тоже готовится из рыбы и овощей. До прихода европейцев в стране не было молочных продуктов. Для утоления жажды пьют пиво, соки фруктов, чай. И зеленый, и черный чай у японцев вкусные.

Страна богата минеральными водами, но они не упот-

ребляют их. Прежде чем пить японское сакэ из риса его подогревают.

По сравнению с другими восточными народами японцы не злоупотребляют перцем, солью и другими специями. Поэтому в их пище мясо чувствуется мясом, зелень — зеленью. Их блюда показались нам непривычными, особенно страдали наши двое — грузин и армянин: в какой бы ресторан мы не ходили, они первым делом просили у официантов что-нибудь острое. В ресторанах же кроме итальянского «Тобаго» не было ничего острого. Японские официанты присвоили им шутовское прозвище «Тобаго-сан».

Письму японцы научились у китайцев. Но, по уверениям лингвистов, японские иероглифы намного облегчены.

Систему письма по иероглифам японцы называют «катакана». Позже, в связи с увеличением числа иностранных слов, возникла необходимость введения в японское письмо некоторых новшеств. И в итоге в стране родилась новая письменность «хирагана», состоящая из пятидесяти двух букв.

Японцев обучают и «катакане» и «хирагане». В повседневной жизни, издательских делах японские слова пишутся в стиле «катакана», а при употреблении иностранных слов — «хирагана».

Учиться иероглифам непросто. Они оказали решающее влияние на широкое распространение среди японцев искусства каллиграфии и рисования, потому что основа иероглифа — художественный образ, передача понятия в рисунках.

При внимательном взгляде на иероглифы можно приблизительно понять их значение, хотя можно слегка и отклониться от основного смысла.

Некоторые абстрактные понятия иероглиф передает посредством философского обобщения мыслей или поэтической символикой. Например, символическое изображение женщины с ребенком на спине дает толкование «хорошо».

Японцы на самом деле беспредельно почитают маленьких детей. Иногда можно увидеть, как ребенок в белоснежной одежде валяется в свое удовольствие на грязном асфальте. Казалось бы, нужно дать ему по попке и поднять на ноги. Нет. Родители не ругают малыша и не рукоприкладствуют, а беспомощно уговаривают его под-

няться. Они не ругают детей дома, мы и на улице не видели никого, кто бы прикрикнул на детей. И в школе дети чувствуют себя свободно. Не было города, где мы бы не посетили школу. В любом из них видели детей, которые шумят, хохочут, бегают, боксуются... Гонясь друг за другом они могут пересечь твою дорогу, задеть, но никто не считает это за невежливость. Мы бывали и на уроках. И там не увидели глухую тишину, во время занятий дети ходили друг к другу, вели себя шумно, хохотали, а учителя не возражали им. Оказалось, если дети не портят школьное имущество, не оскорбляют товарища, не бьют, то никто не вправе делать замечания детям, даже если они случайно заденут учителя. Единственный способ воспитания – нравоучение, убеждение ребенка в не-правильности его поступков.

Японские учителя уделяют большое внимание тому, чтобы ребенок с детских лет не пугался, не отчуждался, открыто излагал свое мнение, смело защищал свои взгляды. Поэтому они считают: какой вред может нанести телу ребенка рукоприкладство, такой же вред, если не больший, нанесут ему окрики и оскорбления.

Интересен и метод определения уровня знаний ученика в японских школах. У них, как и у нас, пятибалльная система. Но нет общей для всех школ системы оценок. Десяти процентам учеников каждого класса ставится оценка «пятерка», двадцати процентам «четверка», а число учеников получающих «двойки» в каждом классе не должно превышать двадцати процентов, число тех, кто получает «единицу» – десять процентов.

Если ряд учителей считает, что такая шкала мешает определить истинный уровень знаний детей, то другая группа педагогов вообще против всяких оценок в школах. По их мнению оценки за успеваемость порождают среди детей психологию зависти и соперничества, способствуют распространению эгоизма. Поэтому японские учителя совершенно не пользуются практикой восхваления хорошо успевающего ученика и выражения недовольства теми, кто учится слабо. Главной обязанностью считается определить способности каждого ученика и помочь найти ему свое место в жизни. К примеру, на уроке рисования дети, не умеющие рисовать, спокойно занимаются прикладным искусством.

Общеобразовательная школа Японии состоит из трех

ступеней: шестилетняя начальная школа, трехлетняя нижняя средняя школа, трехлетняя старшая средняя школа. Дети идут в школу с шести лет. Классный порядок трехступенчатой школы в каждой ступени делится по отдельности так: «ученик первого класса начальной школы», «ученик первого класса нижней средней школы», «ученик первого класса старшей средней школы» и так далее.

После окончания учеником каждой ступени проверяется уровень его знаний для перевода его на следующую ступень. Уровень определяется по ответам на тесты, которые раздаются всем ученикам.

После оглашения результатов проверки одним детям даются путевки для обучения на следующей ступени, а некоторым из них выносится суровый приговор о неспособности к дальнейшему продолжению обучения.

Японские дети учатся в нижней средней школе, внося ежемесячную плату в 2 000 иен, а в старшей средней школе платят больше. Несмотря на такие большие расходы, японцы делают все возможное, чтобы их дети получили среднее образование. Поступить в высшее учебное заведение и пополнить свои знания может далеко не каждый. Любой из сотен частных университетов требует от поступающего плату в миллион иен.

Свое основное внимание мы уделяли практике японских школ в передаче детям эстетических знаний.

По словам специалистов, участвовавших в симпозиуме, и учителей школ, где мы бывали, до окончания Второй мировой войны в Японии уделялось большое внимание передаче молодежи технических знаний и в то время в школьных программах основное время отводилось математике, физике, естествознанию. Проблема эстетического воспитания возникла после Второй мировой войны. Милитаристские силы бросили японский народ в пекло самой ужасной войны в истории человечества и страна испытала не только огромные материальные потери, но и понесла большой духовной ущерб.

Теперь в школах большое внимание уделяется изучению истории национального искусства и обучению национальным эстетическим традициям. На уроках рисования вместо образцов импрессионизма и современных течений преподается национальное изобразительное искусство, а в обучении музыкальным знаниям вместо немецкой системы, используемой со времен эпохи Мейдзи, введена

новая система, основанная на особенностях национальной музыки.

В японских школах в целях эстетического воспитания особая роль отводится искусству рисования. В стране широко распространено изучение древней традиции каллиграфии, рисования, керамики, прикладного искусства. Предмет рисования состоит из трех составных частей: обучение умению отличать цвета и краски, обучение пониманию произведений изобразительного искусства и обучение детей самостоятельному рисованию. Исполнилось восемьдесят лет как в японских школах была упорядочена система воспитания детей через мир красок и цветов. Сорок лет назад был организован институт, занимающийся проблемами именно этой стороны эстетического воспитания. Предмет рисования имеет специальные программы для каждого класса. В шести классах начальной школы ребенок усваивает такие навыки, как умение отличить цвета, знание названий разных красок природы, сочетаемость красок между собой, отличие колорита, передача определенной мысли или настроения, используя контрастность и гармонию красок. А в двух других ступенях средней школы дети овладевают еще более сложными закономерностями в мире красок.

Имеются специальные классы-мастерские, где проводятся занятия по рисованию. Там дети в основном занимаются графикой. Уже в начальных классах ученики сравнительно хорошо осваивают технику гравюры. Придите в любую школу и вы непременно наткнетесь на большую выставку гравюр детей. Самые лучшие произведения посылаются на общеяпонские и международные выставки.

Учителя по рисованию обучают детей не только тайнам графики или технике гравюр, но обращают их внимание и на общественную сторону жизни. Особое значение они придают тематическим занятиям. На них ученики класса рисуют не одну общую тему.

Уроки рисования в японских школах ценны своими смелыми шагами, направленными на осмысление общественной и социальной жизни. Тематические уроки рисования «Вы хотите отнять у нас природу!», проводимые во всех школах страны, протестуют против загрязнения и разрушения естественной природы. Уроки-исследования быта и жизни рабочих и крестьян посред-

ством рисования проясняют детям многие стороны социальной жизни.

Стремление распознавать социальную жизнь свойственно и предмету литературы. Учителя по литературе считают, что их уроки служат углублению взглядов и пониманию молодым поколением жизни, воспитанию высоких качеств человечности, они уверены, что эмоциональное влияние литературного произведения ни с чем несравнимо в постижении социальных истин. При обсуждении любого произведения они связывают его содержание с конкретной общественной ситуацией в жизни японцев. Мы присутствовали на уроке учителя Асадиро Кидсэнэя в начальной школе, где он объяснял детям сказку Л. Толстого «Три медвежонка» и пришли в изумление. Учитель два часа объяснял детям сказку, которая уместается на двух страницах. Урок с интересом прослушали не только дети, но и мы сами.

Но нам показалось, что японские учителя при обсуждении художественной литературы слишком большое внимание уделяют идейно-социальным аспектам произведения и пренебрегают его художественными достоинствами.

* * *

На следующий день мы собрались в город Нагоя. Железнодорожный вокзал Юлото. На перроне указаны точки с номерами, где останавливается тот или иной вагон. Иначе трудно успеть сесть в экспресс, останавливающийся на одну-две минуты. Вот невесть откуда появился скользящий словно змея светло-белый состав и остановился. Не успели мы как следует усесться в мягкие кресла, как он уже двинулся. Еще не успев отъехать от перрона, он помчался стрелой. Мы были удивлены тем, как быстро он останавливается и тут же развивает огромную скорость.

Мчимся со скоростью 200-250 километров в час. Словно летим. Мимо окон мелькает осенний пейзаж. Рисовые чеки чисто пострижены. На полях, подобно юртам, стоят стога рисовой соломы. Поля чисты — на них нет ничего кроме стогов. Иногда тянутся клубы дыма: жгут скирды соломы.

На стремительной скорости мы очутились у вокзала Нагоя. Ожидавшие молодые люди провели нас к автобусу.

В прошлой войне Нагоя сильно пострадала от многочисленных бомбежек, но сейчас она уже залечила раны.

Если Киото центр религии и искусства, то Нагоя центр промышленности и научно-технической мысли. Начиная с залов с игровыми автоматами «патинко», в которых с наступлением вечера не протолкнуться, и кончая экспрессом, на котором мы сюда прибыли, этот город вложил свою долю в любую из отраслей технического прогресса японской жизни.

На окраине города мы натолкнулись на реку, где вместо воды текло молоко. Горы этих краев состоят из белой глины и реки, берущие свое начало оттуда, текут с этой молочной глиной. Эта глина – ни с чем несравнимый редкий материал для керамики и фарфорового производства, и потому в том краю эти ремесла получили широкое распространение. Край является родиной знаменитых на весь мир японского фарфора и фаянса, о которых мечтают почтенные дамы и домохозяйки.

Мы поехали в направлении городов Тадими и Токи, где живут мастера керамики. В Японии трудно различить границу между городами: куда бы вы ни шли, постоянно оказываетесь вдоль какой-нибудь улицы. По какому же городу все-таки проезжаете, вы можете узнать лишь по зданиям городского муниципалитета.

Тадими и Токи соседние города. Мы побывали в ниже-средней школе Тадими. Японские школы, где мы бывали доньше, воспитывали своих учеников, предпочитая рисование, особенно графику. А эта школа учила своих воспитанников керамическому искусству. Горожане всю жизнь занимаются выпуском керамики и они желают, чтобы и их дети не нарушали дедовскую традицию. Рядом с многоэтажным зданием школы находится мастерская по изготовлению керамических изделий.

...У входа в мастерскую в деревянном чане лежит глина. Два мальчика лет одиннадцати-двенадцати взяли мастерком глину, положили ее на доску и начали мять ее, бить маленькими кулачками, словно месили тесто, то и дело давили глину и вертели во все стороны, пока она не дошла до нужной кондиции. Учитель положил приготовленную массу в чашку, стоящую на крутящемся гончарном станке. На наших глазах глина начала менять свою форму. Наверху мастер сделал отверстие большим пальцем руки, затем с помощью большого и указательного пальцев придавал глине форму желаемого сосуда, а одну руку беспрерывно опускал в ведро с водой и постоянно

смачивал крутящуюся фигуру. Добившись нужной формы, он срезал ее тонкой ниточкой. Затем украсил ее снаружи орнаментом с помощью линий и черточек, после чего вынес на солнце. Когда предмет немного просох, обжег его в печи. Если на приготовленную вещьцу хотят нанести узоры краской, то ее обжигают наполовину, вытаскивают, наносят краску и снова обжигают.

Печь похожа на обычную печь, где жгут уголь. Внутри нее стоят глиняные формовки, будущую вещь обжигают, поместив в эту формовку. Температура в печи 1 250 градусов. Предмет должен постоять в такой жаре 35 часов.

Печь, которую мы увидели в школе, топили нефтью. Получивший национальную премию керамики Раккава являлся питомцем этой школы.

После школы мы перебрались через гору и попали в миниатюрный красивый городок, светлые дома которого украшали собой дно тесного ущелья и его стены. Это — город Токи. По извилистой и тесной горной дороге объехали ущелье и остановились возле кладбища на холме, которое поразило нас своей чистотой. Кругом памятники, как две капли похожие друг на друга.

Кладбище и могилы ничем не огорожены. На могилу кладут четырехугольную толстую плиту, и на ней устанавливают ничем не украшенный мемориальный камень. Некоторых умерших предают земле, а некоторых жгут в специальных печах.

Перед любимым домом по обеим сторонам дороги высятся ящики, сложенные табелями. Внутри них уложены изделия из керамики, фарфора, фаянса.

Поднимаемся наверх по извилистой дороге. Перед нами из-за мыса показалась красивая трехэтажная вилла. Это — вилла знаменитого гончарных дел мастера Раккава-сана. Двухэтажный дом, расположенный недалеко от нее, — музей. На другой стороне у ручья находится дом для чаепития. И арык с журчащей водой, и ступенчатая дорожка, карабкающаяся в горы, окаймлены природной галькой, а дорожки оформлены плоскими камнями без предварительной обработки. Дно арыка забетонировано.

Крайняя комната на западной стороне верхнего этажа виллы — просторный зал для приема гостей. В середине зала стоит длинный-предлинный стол. На нем стояли мандарины в глиняных чашах и глиняные чашечки для чая и рюмочки для сакэ.

Раккава-сана дома не оказалось. Уехал по делам в другой город. Нас встретили его жена и друзья-коллеги, проживающие в Тадами и Токи.

Вдоль стен просторной комнаты выставлены глиняные поделки, сделанные детьми.

Здесь, рядом с виллой, несколько лет назад археологи нашли много памятников японского керамического искусства. В музее хранилось многое из тех находок. Посуда, которой пользовались люди, жившие четыре века назад, сохранилась так, словно вышла из-под рук современных мастеров. Узоров на посуде мало. Краска и цвет схожи с цветом естественных камней. И формой она очень естественна. В природе ведь не встретишь строго квадратных, круглых, овальных, конусообразных камней. Поэтому правильные формы не встретишь и в глиняных изделиях японских мастеров. Хранитель музея – молодой парень с огромной бородой – оказался отличным мастером. На наших глазах он сделал много посуды, используемой японцами.

На следующий день мы вернулись в Осаку. Снова бесчисленные тонкие полоски островов и мысов, похожие на рукав чапана, разодранного собаками. Вода, омывающая острова со всех сторон...

Перед моими глазами предстала одна картина моего детства, которую чуть было не забыл.

...Год окончания войны. Кругом пустырь. С одной стороны мягкая пыль, с другой – скрипучие скользящие пески. А посередине – до сих пор не пойму, откуда взялась влага – находился проток соленой воды с обрывистыми берегами. Мы опускали ноги в эту воду и через некоторое время видели, как на ногах появлялся белый налет, а наутро трескалась кожа на ногах. В воде кое-где лежали редкие камни, по которым люди перепрыгивали. Но эти камни были пригодны лишь для длинноногих взрослых, а нам – малышне – до таких прыжков было ой как далеко. Поэтому три-четыре голопузых пацана из уединенного аула, состоящего из пяти-шести изношенных юрт, число которых не увеличивалось из-за войны, весь день проводили у обрывистого берега этого соленого русла, вперив свои полные надежд глаза на ту сторону. А там – в той стороне – в десятке домов с белой крышей обитали шахтеры. Взрослые нашего аула с раннего утра переходили на тот берег. В полуденный зной возвращались оттуда

наши усталые старшие братья и сестры, простоявшие до полудня в длинной очереди за хлебом.

Какая была радость от ломтика хлеба, съеденного после полудня! Но немного спустя, это счастье радости улетучивалось. У старших не хватало смелости отломить нам еще по кусочку. К вечеру мы снова собираемся у обрыва соленой речушки. В вечерних сумерках с той стороны на нас двигаются некие страшилища, способные кого угодно обратить в бегство. Но мы несколько не боимся их. Это — наши матери, возвращающиеся с работы на шахтах. Чем быстрее преодолевают усталые от работы люди в вечерней темноте скользкие камни соленой реки, тем чаще бьется наше сердце, по-детски радуемся, убедившись, что они пока целы и невредимы, сидим, ожидая их с нетерпением, пока они не доберутся до нас. Как только они приближаются к нам, кидаемся к ним и прячем свои головы в их груди, черные от угля. Тут же забываем о голоде и о том, как до слез глядели на дорогу с утра с неумемной тоской в груди и мы оказываемся в объятии настоящего счастья. Наши лица ласкают мозолистые ладони, мы молча слушаем глухое бормотание, смешанное с печалью древнейших народных мелодий, которые могут исходить лишь из сердца, изнуренного работой и горем человека, идем радостные и веселые и лишь нутром чувствуя, а не умом, что в этом пестром мире могут быть такие мгновения ликования души.

Новости и изменения в том большом мире, который лежит за соленой рекой, приходят в наш глухой аул вместе с ними. Мы не понимаем многого из вестей, о которых они рассказывают при свете вечернего дрожащего огня, и не хотим слушать страшные рассказы, которые окутывают страхом нашу пугливую душу. Стоит вечером начать кому-то из старших рассказывать что-то, как мы умоляем их не говорить ничего, потому что «мы боимся».

Но рассказы наших матерей у вечернего огня далеко не были похожи на сказки. Хотя мы не понимали их, но слушали, то и дело доверчиво поглядывая на матерей. И что мы впервые поняли из их бесед, так это слово «победа».

И о ней они сообщили однажды, вернувшись с работы вечером. На следующий день, чуть забрезжил рассвет, все взрослые перешли на ту сторону посмотреть на по-

беду. Мы, дети, остались на этой стороне, так как не могли перейти с ними на тот берег. Поэтому мы долгое время не могли понять настоящую радость, принесенную победой. Только долго помнили, как в тот день каждого из нас взрослые гладили по голове и говорили: «О, родненькие наши, какие вы счастливые!» До сих пор, когда расстраиваюсь некоторыми обстоятельствами суетливой жизни, сказанные тогда эти слова служат поддержкой души... То, что у нас есть счастье в то время сильно радовало нас. Но мы не представляли себе, какое оно это счастье? Взрослые братья и сестры копались в сундуках, доставали оттуда прокопченные дымом очага пожелтевшие фотографии и говорили: «Вот твой коке-отец, запомни, какой он, смотри, ты не узнаешь его, когда он придет!» Сколько бы мы ни смотрели на фотографии, все же сомневались, неуверенные в себе, что сможем узнать их сразу, потому что нам казалось, что мужчины – это сплошь и рядом старики. При мыслях о коке нам снились старики с длинной бородой. В те годы все мужчины, которых мы видели в ауле, были одни старики... Теперь мы взяли себе за правило выбегать навстречу мужчине, если таковой появлялся на той стороне соляной реки, надеясь – не наш ли это коке...

Мы давно уже истоптали обрывистый берег соленой реки, но наши коке почему-то не появлялись, хотя уже была середина июля...

Однажды в наш аул приехали двое незнакомых всадников. Побрызгали каким-то лекарством вокруг домов. Поговорили со взрослыми. Стоя за порогом мы тоже слушали их. Оказывается в один город некоей далекой страны была сброшена доселе невиданная большая бомба. Тот город был испепелен полностью и не осталось никого в живых. На месте города лежал лишь горячий пепел...

В то время мы не понимали многого, но хорошо знали, что такое бомба. Два года назад бомба падала рядом с нами. Стоял туманный день. Утром раздался такой мощный грохот, которого в нашем краю не слышали никогда. Мы, игравшие возле дома, отлетели на порядочное расстояние. Несколько стариков и старух, оставшиеся в ауле, собрали всех нас в одном доме и целый день от ужаса хватались за воротники и молились богу. К вечеру явились люди из милиции, пошли по домам, прикрыли двери, окна и не разрешили зажечь лампы и огонь. Те, кто по-

шли за хлебом в магазин, вернувшись, рассказали, что на ровной местности возле кирпичного завода стоит грязный и темный самолет, нагоняющий страх своим видом. Уже повзрослев, мы узнали, что чужой самолет, посеявший страх среди детей и стариков, был немецким самолетом-разведчиком. А в то время, после того ужасного взрыва, мы не знали, куда себя девать, едва заведя на небе самолет. Только заметив на его крыльях красную звезду, мы приходили в себя.

Людей нашего аула, которые своими глазами впервые среди казахских аулов видели, что такое взрыв бомбы, еще сильнее напугала тяжелая и страшная новость. Мы снова услышали стоны и плач женщин, которые перестали было слышать после радостного сообщения, что мы победили.

Они гладили нас по голове и снова заговорили огнем жгущие наши детские сердца пугающие слова: «Ох, мой цыпленок, какие дни ожидают вас впереди...»

Наступила осень. Козы, которые своим молоком подерживали нас, перестали доиться. Мы снова перешли в каменные дома. От отцов все еще не было вестей. Уже больше года наша семья не получала писем с фронта. Но надежду не теряли.

Пришла зима. Все еще нет никаких вестей. Это особенно сильно подействовало на моего друга. Он к осени превратился в угрюмого и исхудавший до впалости щек, а с наступлением зимы умер от кори.

Мой маленький добрый друг ушел с неисполненной мечтой, не повидав своего отца. Оставшийся в живых, я тоже не увидел своего коке. Твой коке остался лежать там, не вернувшись с Дальневосточного фронта, а я зря проглядывал себе глаза, всматриваясь во всех прохожих, устроившись вместе с тобой на обрывистом берегу соленой реки. Оказалось, что мой отец давно погиб на Сталинградском фронте. Извещение о его смерти, присланное во время войны, залежалось под канцелярскими бумагами и только в пятидесятые годы попало к нам в руки. Все это уже пережито. Народ стал жить в достатке, когда говорят: «Прошлое быльем заросло, нынешним долгого здоровья».

Но иногда ты вспоминаешься мне, из какого-нибудь уголка памяти, когда вдруг подует холодный ветерок и душа моя пустеет от нехватки многого в жизни.

Вот я лечу в самолете под чистым осенним небом над красивыми островами, окутанными в мираж и снова вспоминаешься ты... Я лечу по небу Японии, о которой впервые ты сообщил мне.

Некий город, о котором говорили тогда в нашем ауле незнакомые врачи и на который упала страшная бомба, оказался тоже здесь. Выходит, ужасающий грохот первых американских атомных бомб унес из жизни не только невинных детей Хиросимы и Нагасаки, разбудил страх и в нас, находившихся от них за тридевять земель.

Сын одного из тех, кто не вернулся с кровавой бойни прошлой войны, — я лечу в город, принявший на себя самый жестокий и бесчеловечный удар прошлой войны...

...«В течение стольких дней на месте заживо спаленного города лежал лишь горячий пепел»...

Самолет совершил круг над городом, лежащим на островах, по середине окруженным со всех сторон горами с многочисленными дельтами рек, и направился на посадку.

В аэропорту нас встретили представители общества Япония — СССР. Автобус мчал по прямым, как стрела, улицам безупречной чистоты города, одетого в зеленый наряд. Вокруг броской красоты дома. Народ, спешащий во все стороны. Веселая молодежь. Над отелем «Нью-Хиросимо», где собирались устроить нас, в нашу честь вывесили государственные флаги СССР и Японии. Только мы устроились в гостинице, как над городом нависли сумерки. Кругом разноцветная реклама. Вокруг отеля площадь. Уличный шум не очень доносится до нас.

Благостный покой и беззаботный сон города, куда впервые на планете упала атомная бомба. Идиллия, в которую трудно поверить. Вспоминается далекий рассказ врачей, приехавших на конях...

...«В течение стольких дней на месте заживо спаленного города лежал горячий пепел»...

Утром нам нанесли визит президент Хиросимского отделения общества Япония — СССР Фукуй-сан и вице-президент этого отделения Ямака-сан. Фукуй-сан хорошо говорил по-русски. Он работал директором одной из городских школ. Высокий жилистый мужчина.

Ямака-сан историк, пишущий летопись демократического движения этой префектуры. Полный, плотный, широколобый, большеглазый мужчина, какие редко встречаются среди японцев. Немного болтлив, добродушен. В

большинстве заговаривает сам, опережая президента, и Фукуй-сану невольно приходится выполнять роль переводчика, объясняя содержание его слов.

Обширная площадь вокруг отеля «Нью-Хиросимо» является мемориалом под названием «парк Мира», посвященным жертвам атомной бомбардировки. Эпицентр взрыва находится всего в шестистах метрах от него. Прямо перед гостиницей находится двухэтажный мемориальный музей из стекла и бетона. На его восточной стороне стоят памятники жертвам бомбардировки Хиросимы.

Мы возложили цветы на братскую могилу погибших от атомной бомбы. Здесь погребен пепел семидесяти пяти тысяч погибших из общего числа жертв в 250 тысяч человек. Раньше на месте, где сооружен мемориал, находились жилые дома, общежития. Нам сказали, что из жильцов в живых остались человек десять. Трупы погибших в день взрыва находят до сих пор. Вот и недавно на одном из островов нашли трупы целой группы людей. Несколько лет назад дорожные строители наткнулись на тела шестисот рядом лежащих человек.

Из четырехсот тысяч жителей Хиросимы 250 тысяч погибли сразу после взрыва. Остальные скончались позже от ожогов и лучевых болезней. Сасаки Тейко, которой во время бомбового удара было четыре годика, десять лет мучительно боролась с лучевой болезнью, но не признающая никакого лечения болезнь взяла свое. По японскому поверью журавль является священной птицей - долгожительницей и японцы верят в то, что если человек, заболевший тяжелой болезнью, своими руками делает из бумаги тысячу журавликов, то он непременно излечится. Сасаки тоже верила в это чудо, но успела сделать из бумаги только шестьсот журавликов и ушла из жизни в 1956 году в свои четырнадцать лет. Люди до сих пор верят в то, что если бы она успела сделать своими руками тысячу бумажных журавликов, то она безусловно осталась бы в живых. В 1958 году ей поставлен памятник в мемориальном парке на средства, собранные детьми. На остроконечном постаменте, напоминающем корпус атомной бомбы, стоит маленькая хрупкая девочка. На памятнике изображены взметнувшиеся ввысь журавлики. Тысячи детей из многих стран мира ежегодно присылают в Хиросиму миллионы бумажных журавликов, чтобы их отнесли к памятнику Сасаки.

В парке расположены несколько братских могил, горит вечный огонь, воздвигнут памятник погибшим детям. Памятники известным поэтам, жившим в Хиросиме, Сузуки Мякити и Санкити Тогэ находятся здесь же.

На памятнике Санкити Тогэ выгравированы его стихи. В сторонке стоит каркас сгоревшего дома демонстрационного зала бывшей торговой палаты. Несколько лет назад мэр Хиросимы вознамерился снести его, мотивируя тем, что он вреден для жителей города, так как является источником радиации. Но выяснилось, что решение было предпринято под давлением американцев, пожелавших уничтожить свидетельство варварства.

Демократичные силы Японии не дали совершиться этому. Тогда мэр обратился к народу с просьбой о сборе средств для возведения железобетонного каркаса внутри этого здания. На просьбу откликнулись не только жители Хиросимы, но и весь японский народ. На собранные средства был сооружен не только каркас дома, но и весь мемориальный парк. Фукуй-сан показал нам мрачные лагуны, которые скучились на одном из берегов реки Муту-ясан, протекающей через весь город. В этом квартале живут семьдесят тысяч человек, оставшихся после бомбардировки и до сих пор страдающие от последствий бомбежки. Их не принимают на работу. В городе имеется всего один госпиталь на сто мест, где лечат больных лучевой болезнью.

Большинство свыше пятисоттысячного населения Хиросимы переселилось в этот город в последние годы из других мест.

Один из «счастливых», которого минули ужасы атомной бомбардировки, — сопровождавший нас Ямакасан. В тот день он уехал по служебным делам. Вернувшись увидел город в объятии огня. В одночасье он лишился семьи, родственников, многих друзей.

Перед показом в кинозале мемориального музея фильма, созданного на основе материалов кинохроники тех лет, он сказал, что сильно расстраивается, видя на экране хиросимское светопредставление, извинился перед нами и ушел в соседнюю комнату.

Словами невозможно передать это адское зрелище, запечатленное на киноплёнке. В начале на экране показана мирная жизнь довоенного курортного города, расположенного на прекрасных голубых островах. Мужчины,

спешащие на работу. Женщины, укладывающие волосы перед зеркалом. Просыпающиеся ото сна радостные дети...

Внезапно все это обрывается и операторы показывают панораму мертвого и разрушенного до основания города в том виде, каким они увидели его в день приезда.

Выжженный дотла город. Кое-где торчат каркасы разбомбленных домов. Расплавленные камни.

Тень человека, навеки впечатанная в камень. Это – один из ужасов, которые невозможно представить даже в воображении. Обугленные скелеты людей. Черный лес. Люди с ожогами по всему телу. Солдаты, подбирающие по улицам тех, в ком чуть теплится жизнь. Полевые госпитали, где рядами лежат калеки – один страшнее другого. Рыдающие малыши, которым не под силу приподнять свои обугленные попочки. Японские девушки и женщины, стеснительно отворачивающиеся от врачей, не желая показывать им обгоревшие груди.

Видя весь этот ужас, происходящий вокруг, чувствуешь как огонь человеческой жалости и страшного горя обжигает твое собственное сердце. Это – кипящая ярость и неумемная ненависть твоего сознания, которое осознает, что все человеческое в нас может быть растоптано только бесчеловечностью самих же людей.

В наш жестокий двадцатый век перед жертвами Хиросимы должны краснеть не застенчивые, нежные, невинные ангелы – девушки, а все человечество.

Стоило врачу лишь прикоснуться к телу пациента и кожа с его тела выпала сама по себе. В глазах врача за стеклами очков ужас, увидев это страшное явление. Мясо кисти руки другого калеки отваливается кусками и белеет кость.

«В течение стольких дней на месте заживо спаленного города лежал лишь горячий пепел»...

Мои горестные впечатления от экспозиций мемориального музея невозможно передать ни словами, ни на бумаге. Поэтому хочу привести лишь несколько выдержек из записной книжки, которые я набросал в музее.

«Неизвестно, где они хранились – или в аптеке или в магазине. Ящик пустых бутылок. После бомбежки все они расплавились и прилипли друг к другу.

...Расплавленные будильники, ручные часы, солдатские фляги...

...Расплавленные камни, подобно магме, собранные с места падения бомбы.

...Расплавленные и превратившиеся в месиво железнодорожные рельсы, ружья, автоматы.

...Оказывается, из горящих камней домов летят искры, как из расплавленного в домне металла.

...Трамвайные вагоны, вставшие поперек рельсов от ударной волны бомбы.

...Восковая фигура семнадцатилетней девочки Такея Натамура, обжегшая грудь и половину лица.

...Вторая восковая фигура изображает двадцатилетнюю женщину Гадахи Фунивага, получившую ожог половины тела...

А у настоящей лебединошей красавицы со смородиновыми глазами двадцатилетней дивы Асако Хиранано обуглены и обезображены груди, обе руки, оба колена...

...Снятые с раненых изодранная одежда, вата, которой вытирали раны, бинты, перевязывавшие раны...»

Невозможно перечислить смерть, муки и нечеловеческие страдания от трехсоттысяградусного огненного безумия того дня.

Три японских поэта своими глазами видели ад Хиросимы и переложили его в стихотворения. Томики Хара в 1951 году в знак протеста против американской агрессии в Корее сам на себя наложил руки. Санкити Тогэ умер в 1953 году от рака легких. А оставшийся в живых Сиогама Мунотоси встретился с нами в день нашего отъезда из Хиросимы на вечере, организованном активистами общества Япония – СССР и побеседовал с нами. Он показал нам изданную в Москве книгу «Три поэта Хиросимы».

Все они являются новаторами современной японской поэзии. Они впервые в национальной поэзии откровенно написали о пережитом и открыто рассказали, что у них творится в душе.

Им троим, собственными глазами видевшим этот ад, не оставалось ничего кроме как сказать правду.

Краткая летопись этой ужасной истории такова:

2 декабря 1942 года. В лаборатории Чикагского университета впервые была сделана цепная реакция.

6 июля 1945 года. В пустыне возле Нью-Мехико впервые была испытана атомная бомба.

26 июля того же года. Бомба была доставлена на авианосец «Индиана-Полус», который находился у острова Тиньяни на архипелаге Мариниани.

6 августа 1945 года. В два часа сорок пять минут утра два самолета «В-29» с атомной бомбой на борту вылетели с авианосца «Индиана-Полюс» к японским островам. Летчикам не было сказано, на какой город будет сброшена атомная бомба. Когда один из этих самолетов приблизился к Нагасаки, город закрыли тучи и плутониевая бомба упала не в центр города, а в стороне от него.

Второму самолету команда была отдана в восемь часов пятнадцать минут утра, когда он пролетал над городом Хиросима и урановая бомба взорвалась прямо в центре города. От взрыва, радиус которого достиг четырех километров, город на берегу внутреннего моря был полностью разрушен и стерт с лица земли. Летчик своими глазами видел, как зеленые острова, только что лежавшие под ним, оказались в пламени огня.

В три часа дня оба самолета американских вооруженных сил «выполнили боевое задание» и вернулись на базу, что на острове Тиньяни.

«...Врач взял каплю крови, помазал по стеклу и красная кровь приняла в начале чернильный цвет, затем фиолетовый...»

Эта деталь, запечатленная японскими кинодокументами, взволнует любого человека в любом уголке земного шара. Без слов ясно, что в первую очередь это волнует японцев. Трагедия, грянувшая над японскими городами, угрожает всему миру...

Киото является гордостью японской истории и культуры, а Хиросима является одним из важных центров нынешней политической и духовной жизни страны.

Страна, расположенная на островах великого океана между Азией и Америкой, не может оставаться в стороне от общей атмосферы и политической жизни мира.

Япония после образования единой нации и единого государства установила со всеми своими соседями тесные связи, благодаря чему плодотворно развивались национальное искусство и культура, сложились необходимые традиции национальной экономики. Но, когда в межгосударственную торговлю начала вмешиваться политика, стране пришлось на время отказаться от связей с внешним миром.

Европейцы впервые появились на этих островах в XVI веке. Английские, голландские купцы привнесли в страну не только новое оружие, стреляющее порохом, но и ре-

лигию. Англичане и голландцы хорошо понимали, что местный люд, который легко позарился на ранее невиданные ими товары, позарится на новое для них оружие, а затем не трудно будет обратить их в свою веру. Колонизаторы, завоевавшие многие народы Азии и Африки, знали на что они идут.

Эту глубоко скрытую подоплеку умело разгадали последние потомки сегунов Токугава. Пока иностранные купцы не проникли на японский рынок, они прервали отношения с этими странами на два века. Борьба с иностранным влиянием была борьбой и против политико-экономического давления других государств.

Такой стране, как Япония, у которой внутренние ресурсы почти отсутствовали, политика «закрытых дверей» на долгие годы была губительной. Это положение изменил император Мендзи. Страну, которая держалась в течение двух веков в стороне от всемирной доктрины развития, он присоединил к международному капиталу. И тем самым поправил экономическое положение государства.

Но и международный капитал преследовал свои корыстные цели. Он стремился открыть морской путь к границам молодых социалистических государств с тем, чтобы Японию использовать как путы на ногах других восточных государств. Таким образом заставил эту страну активно участвовать в милитаристских авантюрах международного империализма. В двух мировых войнах Япония участвовала на стороне реакции.

Свою горькую участь японцы поняли лишь тогда, когда 6 августа 1945 года первая в мире атомная бомба была сброшена на Хиросиму. Военный авантюризм, властвовавший в течение полувека над религией, идеологией, психологией, довел страну до разрухи, позорного поражения, экономического, политического, духовного краха. Все это создало необходимые условия для активизации демократических сил страны.

По новой Конституции, принятой в 1946 году, Япония отказалась признать войну как средство решения спорных вопросов между странами.

В течение семи лет защита внутренней и внешней безопасности страны была поручена армии союзных стран, состоявшей в основном из американских войск. Во время войны с Кореей США забрали основные свои войска в

Японии на корейский фронт, и Япония добилась права иметь собственные войска для обеспечения внутренней безопасности. В сентябре 1951 года в Сан-Франциско 48 стран поставили свои подписи под мирным договором о признании независимости Японии. В тот же год она заключила договор с США о взаимной безопасности. Это дало возможность США держать в Японии военные базы для защиты безопасности страны. По данным департамента общественных отношений министерства иностранных дел Японии к марту 1966 года силы самообороны Японии достигали 273 123 человек. Пехота состояла из 5 армий и 13 дивизий, военно-морские силы имели 260 кораблей и 240 самолетов, военно-воздушные силы — 1 100 современных самолетов.

Эти войска не обеспечивали потребности такой страны, как Япония, где сильно развита военная традиция. Но некоторые политики считают, что даже на этой основе можно претворить в жизнь перевооружение страны.

Сейчас по развитию промышленности Япония вышла на второе место в мире. Страна, не имеющая ни одного килограмма собственной железной руды, плавит в год 94 млн. тонн стали и занимает 3-е место после СССР и США. На передовом рубеже находятся японское машиностроение, электроэнергетика, химия, металлургия, предприятия производства точной аппаратуры.

Такое резкое развитие японской экономики каждый объясняет по-разному. В основном ссылаются на такие факторы: традиционное трудолюбие японского народа, избавление от бремени гигантских затрат на содержание вооруженных сил, американские военные заказы во время войны в Корее, отказ от неуместных затрат на приобретение вещей. (По сведениям последних лет, сейчас японские вооруженные силы по своей мощи занимают восьмое место в мире).

Япония умело использует соперничество между крупными синдикатами, зарабатывает огромные прибыли, закупаю быстро изживающие себя патенты и совершенствуя их. Плюс к этому японские рабочие считаются одними из самых дешевых рабочих сил в мире. Страна занимает ведущее место в мире по эксплуатации труда женщин и детей.

За считанные годы японская экономика стремительно вырвалась вперед и за последние восемнадцать лет развивается возрастающими темпами.

Для Японии особое значение имеют отношения с другими государствами, особенно с соседними. Развитие экономики, которое сейчас идет быстрыми темпами в стране, где очень бедны природные ресурсы, в первую очередь прямо связано с этой проблемой. США, которые были в этом отношении до сих пор главными партнерами, начали часто проявлять в последние годы «характер». Присущий международному капиталу закон взаимного соперничества начал вмешиваться в отношения этих двух стран. Уже многие годы говорят: «Японский товар завоевал рынок США». Сейчас от торговли с США Япония получает ежегодно два миллиарда долларов прибыли.

Желание превратить Японию в большой склад для хранения атомного и водородного оружия все больше беспокоит японский народ. Ядерное оружие разрушило два японских города, от него страдает морское богатство страны, оказывающее решающее влияние на экономику страны: портит природную среду страны, которая и без того не богата землей. Японский народ, успевший пережить последствия взрыва атомного оружия, не может оставаться в стороне от этой проблемы.

В последние годы у страны, пострадавшей от опасного оружия, появилось не менее опасное соседство. Участник тайных исследований, один из авторов создания атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, Цянь Сюэ-Шэнь; официальный наблюдатель по ядерным испытаниям американцев в Бикини Чжао Чжун-Яо; удостоенный в 1946 году премии Французской академии наук за исследования в области ядерного расщепления гамма и альфа лучей и урана Уан Сань-Цзянь; учившийся в сороковых годах в Берлине у известного специалиста по ядерной физике Лизы Митнер Ван Гано-Чжан; учившийся по специальности инженера во Франции, биологии в Бельгии, военному делу в одной из стран Европы, бывший маршал Не Жун-Чжэнь и подобные им 200 китайских физиков, работавших в знаменитых научных центрах Америки и Европы, в течение многих лет постоянно испытывают в Китае атомное оружие, отчего постоянно страдают японцы: прохладный ветер севера доносит ядовитое дыхание атомных взрывов на японские моря и острова и наносит непоправимый вред.

19 ноября, когда мы вылетели из Москвы, китайцы в очередной раз взорвали ядерное оружие. В день нашего

приезда японская печать выразила глубокое возмущение действиям Китая.

Нет никакого сомнения в том, что народ, оказавшийся в тисках термоядерного оружия, искренне желает мира. Но смогут ли претворить в жизнь истинное желание народа политические силы, управляющие страной, — это тема другого разговора.

Политическая обстановка страны оказывает прямое влияние на духовную и культурную жизнь народа. «В нашу эпоху взаимоотношения локального и интернационального характера в культуре занимают очень большое место», — сказал выступивший на симпозиуме один японский искусствовед. Как он подчеркнул, культура, ограничивая себя узкими границами нации, остается в стороне от духовных явлений, влияющих на мир. Любой национальной культуре современности нужна диалектическая гармония. Для этого не нужно грубого компромисса, до которого можно прийти путем арифметического уравнения, когда получаешь половину от одного и другую половину от другого, а нужна действительно глубокая гармония настоящего «высокого математического анализа», получающегося в результате тщательного просеивания прогресса и регресса человеческой цивилизации, опыта национальной культуры и духовных нужд народа.

В этом смысле можно найти много интересных сведений в истории японской культуры. Известно, что в национальном интерьере, в письменах, во всех видах искусств японцы учились у соседних народов. Но учась у других народов, японцы принимали их не в первоизданном виде. Все это они просеивали через свой национальный опыт. К примеру, японская кухня многое переняла от китайской кухни, но не приняла ни одно из таинственных приправ, потому что японской пище, состоящей в основном из морских трав и морских животных, с лихвой хватало естественной соли и естественных кислот.

Японский фарфор и фаянс — последователи китайского искусства керамики. Но японские мастера, поклоняющиеся естественной форме и естественному цвету, сумели дистанцироваться от лишних красот китайских изделий. Они создали свою иероглифику, намного проще передающую образный смысл, переосмыслили конфуцианство и буддизм.

Много новых явлений и в современной японской жиз-

ни. Особенно в эстетике и этике общественных мест, которые трудно приравнять к чисто японскому или европейскому стилю. Но многое из того, что есть у японцев, вообще не встречается в общественных местах других стран. Поэтому они вполне могут прочно вписаться в национальный стиль позднего общественного быта, хотя раньше и не встречались в древнем быту японцев.

Столь же интересное явление можно наблюдать не только в культуре быта, но и в искусстве, и литературе. В современном прогрессивном кино и художественной прозе японцев, которые досконально овладели техническими возможностями и мастерством современного мирового кино и прозы, можно в изрядном количестве находить сходство с древними литературными традициями. В народных повестях о самураях главный герой терпеливо переносит суровые превратности судьбы, попадает в чрезвычайные ситуации, редко встречающиеся в жизни, впитывает в себя глубокие тайны. Такова и современная японская проза. В новеллах Акутагавы и в романах Абэ, Оэ герои попадают в истории, редко встречающиеся в обычной, привычной жизни, даже и не встречающиеся вовсе, и через это досконально исследуются самые потайные глубины человеческой души. Вот в этом и скрывается всеми признанное психологическое предвидение современного японского кино и прозы. Юные японское кино и проза не остались в тени ранних многоопытных направлений. Невольно удивляешься такому явлению, которое сумело броситься в глаза своей особенностью и тем, что овладело природной первозданностью, будто развивалось с древних времен.

Но не нужно понимать так, будто современная японская культура сплошь и рядом состоит из ученичества, которое претворяется в жизнь «японизацией», воспринятой у других стран культур и взаимоотношений.

Похоже, что от постоянного и усиливающегося влияния других стран на японскую экономику и на средства массовой пропаганды национальная традиция выдвигается на первый план. Особенно усилилась национальная традиция в таких культурных областях, как музыка, интерьер, архитектура, дизайн, изобразительное искусство, которые не требуют перевода для представителя другой национальности, их можно подержать в руках, увидеть своими глазами, услышать своими ушами. В японских ма-

газинах национальная одежда в два раза дороже чем европейская. Европейская одежда играет роль рабочей или служебной формы, которую носят на улице и в рабочее время. Поввысилась финансовая и моральная цена национальной одежды, которая показывает почет и уважение, достаток и богатство. Ее обязательно надевают, когда идут на праздники или на какое-либо торжество. Это — не проявление национального эгоизма, а вполне законное явление, рожденное жизненной необходимостью спасения от духовной эрозии, которую несут с собой получающие широкое распространение чуждое влияние, чуждый дух, космополитическое безличие в общественной и экономической жизни народа.

Но в современном японском обществе иногда можно встретить тенденцию ставить себя выше других народов. Такое явление обычно встречается среди мещан.

Когда многие нации сегодня превращают в общую моду многовековой культурный опыт и эстетические принципы одной нации, завтра — другой, то это вредное явление не обогащает, а наоборот, обедняет и культуру самих этих народов, и всю человеческую цивилизацию.

Такая легкая влюбчивость может в любой момент предать свой вчерашний идеал. Именно такие только вчера говорили, что «самурайство» — признак всей национальной японской психологии, что оно не что иное, как жестокость и агрессивность, впитавшиеся в кровь. Во все времена идеологическим оружием мещанства была поверхность. Мещане всегда стараются мерить все на свою мерку, приписывать свои сомнения другим, и через это пытаются превратить свою идею в общую истину, признанную всеми. Мещанство не любит любую сложность, его глаза не увидят нежных нюансов, глубинную подоплеку, оно не станет морочить себе голову в старании понимать разные грани сложной истины, оно горит желанием быстрее поставить бросающуюся в глаза метку на любое явление жизни. По мнению мещан выходит, что какой-то народ исключительно жадный, другой — исключительно тупой, третий исключительно гениальный, четвертый — исключительно кровопийца. Они не станут сомневаться, что такая их оценка несправедлива, к чему им докапываться до истин бескрайнего разнообразия и сложности человечности и высокой цели.

Хотя от такой оценки внешнего мещанского мира дру-

гой народ и другая страна ни чуточки не пострадают, но мещанская среда данной страны сразу же перехватывает и присваивает такую легкую оценку, легкий вывод. Ставить французов выше других народов сначала получило распространение среди мещанства. Шовинье превратил эту тенденцию в теорию, получившую название «шовинизм». Первоначально мещане родили мнение об особой старательности и особой способности немцев и от этого поверхностного мнения Гитлер образовал идеологию фашизма.

Внимательно глядявываясь в любую эпоху человеческой истории, мы сразу увидим, что мещанство всегда было орудием в руках экстремизма, какая бы ни была реакция, она всегда опиралась на мещанскую психологию.

Всем нам известно, что однобокая оценка и восхваление своих возможностей приводила к большой духовной трагедии не только отдельные личности, но и целые народы.

Японский народ сравнительно недавно испытал на себе такую трагедию. Хотя некоторые и успели забыть ее уроки, но народ помнит о ней.

Японское искусство развивает и движет ему большая духовная ответственность, которая наряду со своим авторитетом крепко задумывается и над своим моральным долгом, думает о будущем народа и о своем месте в человеческом обществе. Японское искусство не развивается за счёт ветреных и опасных догм.

Воинственность, утвердившаяся на считанные годы, в определенный момент оказала вредное влияние на духовный облик нации, но не смогла насовсем увести в негативную сторону демократические, гуманные традиции, установившиеся в стране в течение многих веков.

В одной из школ, обмениваясь с нами мнением, учитель по литературе высказал точную мысль о таком явлении: «Некоторые хотят превратить в главный моральный кодекс наших потомков правило «ничего не желать в жизни, ничего не требовать», которое японские самураи вдальблывали в народное сознание во времена господства феодализма. Такой поступок был бы равносильен тому, если бы мы своими руками уничтожили будущее молодого поколения, которое мы сами растим и лелеем».

И на самом деле: человека, который ничего не требует от жизни, ничего не желает, не имеет своей мечты, своей цели, можно легко завлечь в любую политическую авантюру, послать под пули. Военный феодализм японского средневековья добивался этого. Легко управлять обще-

ством, состоящим исключительно из послушной массы: никто не будет переходить тебе дорогу, хватать тебя за руку, как бы ты не перегибал палку, как бы ты не эксплуатировал народ, какой бы вред ты не принес ему, нет и общественного мнения, вступающего с тобой в спор, доказывающего неправильность любого твоего несправедливого приказа, заведомо зловерного указа.

От такого социализму равнодушия массы, присущей японскому феодализму, нынешнее общество и нынешнее поколение давно избавилось. Нынешняя Япония — чуткое общественное мнение, страна общественной мысли, тонко чувствующей всякое проявление политической жизни страны и всего мира. Особенно усилилась политическая активность молодого поколения.

Молодежь много хочет от жизни, она не только мечтает об этом про себя, она требует от правящих партий и общественных сил претворения в жизнь своих целей. Издание несправедливых приказов и неверных указов порождает протест. Япония теперь принадлежит молодежи.

На симпозиуме в Токио мы поняли это. На встречах в Киото и Хиросиме мы поняли то же самое. За 15 дней поездки по стране мы каждый день видели яркое проявление добрых перемен.

* * *

Снова аэропорт... Снова дорога. Путник, находящийся в дальней поездке, с нетерпением ждет одного — это дня возвращения на родину. Этот день мы тоже ждали с нетерпением. Цену родной стране и родной земле ты глубоко осознаешь вдали от них. Каждый вопрос твоих новых друзей о твоей родной стране, малейшая схожесть некоторых проявлений другой жизни с жизнью, к которой ты привык с детства. Даже совершенно противоположное различие сразу же бьется в глаза, и теплые дни другой страны все еще жаркие, когда у нас уже зима, и все еще переливающиеся красками свежие цветы, и черноглазые малыши, вешающиеся тебе на шею, предлагая тебе любимые японцами маленькие шары — все это заставляет еще сильнее разгореться тоске в твоём сердце, маня на родную землю. Но считанные дни, проведенные на чужой земле, не исчезнут бесследно.

Гость узнает себе цену не потому, как встречают его чужой дом, чужая страна, а по тому, как провожают.

Проводить нас в аэропорт явилось много друзей. На этот раз не было прежней вежливой улыбки, почтительного уважения, мы прощались, крепко пожимая друг другу руки, не сдерживая свои искренне сердечные чувства.

Прощайте, друзья! Прощай, женщина с ребенком на спине! Прощай, Япония!

Будьте здоровы и вы, не нашедшие места в моих путевых записях, сады и журчащие воды Нико, красивые и симпатичные здания, дружелюбные к человеку животные... Ты тоже будь здоров, остров Миадзима – земной рай на зеленом кудрявом холме посередине внутреннего моря... Вы тоже будьте в целости, симпатичные красные кораблики, на которых, если посмотреть спереди, кажется, что будто плывет дракон с раскрытой пастью...

Вы тоже будьте счастливы, юные девы, поющие традиционную песню с просьбой не чувствовать себя принужденно у дружеского стола, чувствовать себя как дома, быть веселыми, не думать о них ничего плохого, не забывать друзей, с которыми мало посидели, но успели набраться большого взаимного уважения, девы, которые пели, чтобы гости всегда помнили о них...

Кстати, о девушках... Кстати, о песне... Две девушки, запевшие песню перед прощанием... Какие чудесные у вас песни...

*И курлычат журавли,
Вы улетели, мы остались...*

Если переводчик перевел точно и передал смысл буквально, вы пели такую песню... Вы тоже будьте здоровы... Не только в годы своей молодости, а всю жизнь будьте такими добродушными и веселыми.

И курлычат журавлята...

Впервые ступив на японскую землю, я увидел на самолетах изображение журавля и лишь после узнал, насколько в этой стране почитаема эта птица. Я тоже приехал в эту страну, когда улетали журавли.

Мои 15 дней, проведенные здесь, кажутся 15 журавлями, взмывшими в небо из густой зеленой травы моей жизни. Хотя они не сели снова, но и не бросили меня совсем, они долго будут летать, кружась в высоком небе моей души...

Не исчезайте, курлычащие журавли!

*Алматы – Москва – Токио – Москва – Алматы
1971 г.*

СТАТЬЯ

А. ИСМАКОВА

ВОЗРОЖДАЯ ПАМЯТЬ ЖАНРА

Не во всякую эпоху возможно прямое авторское слово, не всякая эпоха обладает стилем. Современная казахская проза отмечена активным возрождением культурных кодов и архетипов. «Архетип – одно из ключевых понятий аналитической психологии К. Г. Юнга; содержание коллективного бессознательного, предсуществующая форма, являющаяся частью наследованной структуры психического бытия»¹. Понятие культурного архетипа необходимо нам для аргументации исходной мысли о казахском романе, имеющем не только свою историю, но и предытоки, уходящие вглубь национальных жанров словесного искусства. Одновременно это позволяет современной казахской прозе рефлексировать свой собственный художественно-эстетический опыт. Архетипы лежат в основе общечеловеческой символики. Присутствие притчевых и мифологических сюжетов в современной прозе требует своего объяснения. Насколько оно продуктивно и оправдано?

К. Г. Юнг в этой связи: «Любая связь с архетипом действует.., она освобождает в нас голос более могучий, чем наш собственный. Тот, кто разговаривает первообразами, говорит тысячью голосами; он постигает, преодолевает и вместе с тем возводит обозначаемое им из

¹ Энциклопедический словарь по культурологии. М. 1997. С. 36.

единичного и преходящего до сферы вечно сущего, он возвышает личную судьбу до судьбы человечества»¹. Архетипы проявляются в сказках, мифах, притчах в форме устойчивых мотивов, выражая собой определенный морально-нравственный код или знаковость. В этой связи казахский фольклор, являясь основной частью свода, национального культурного архетипа, представляется активно действующим фактором в жанровой «памяти» современной казахской прозы...

Фольклор для современной казахской прозы – лишь один из истоков, но необходимый и одновременно преодолеваемый ею. Это действенная форма народного самосознания. Потому вполне естественно, что взаимоотношения литературы и фольклора в казахской литературе несколько иные, нежели в русской литературе, где фольклор давно ушел в подпочву письменной литературы.

Под современной казахской прозой подразумевается период, начало которого идет, примерно, со второй половины 60-х годов. Литература рубежа 70 – 80-х – это не просто сумма индивидуальностей, но литературный процесс, который имеет свои внутренние закономерности развития...

Жанровая форма прозы не только подытоживает предшествовавший стилевой опыт, но и, при необходимости возрождает память жанра, пробуждая в данном случае лиро-эпическую стихию казахского словесного творчества. Уникальные жанровые открытия толгау дали возможность реализации для мышления писателей поколения 60-х годов, несмотря на ограничивающие требования принципов соцреализма. Казахские прозаики, начинавшие в те годы, сумели подключиться к жанровой памяти романа, воскресив ее лиро-эпическое родовое своеобразие. Потребность поиска своих национальных форм художественности, возвращения своих примеров позитивного нравственно-духовного опыта, – вот что явилось девизом нового поколения казахских писателей...

Появление новой волны казахских прозаиков было подготовлено исторически. На их глазах было возвращено запрещенное ранее наследие С. Сейфуллина, Б. Май-

¹ Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. М. 1994. С. 59.

лина, И. Жансугурова. Они знали, что такое политический запрет и имели представление о сталинских репрессиях. Именно поэтому для выражения своих мыслей, казахские писатели 70-х искали новые формы условности, иносказаний, испытывая потребность в эзоповом языке. А. Кекильбаев углубляется в «исследования» психологии правителей и ханов, раскрывая суть вечных взаимоотношений человека и общества, повелителя и простого зодчего. О чем горюют, чем недовольны вечно размышляющие про себя герои О. Бокеева? Персонажи казахских произведений 60–70-х – это разочарованные, усталые «молчуны», все время рефлексирующие про себя и вслух о сути происходящих событий. Это поколение не только художественно обогатило современную казахскую прозу, но и сами были ее «объяснителями». Новые произведения требовали новых критиков. Так появилось творчество А. Сулейменова (1938–1992), соединившего в себе сразу качества писателя и критика. Наши «шестидесятники» действительно заслуживали такого судьбу, не терпящего профессиональной фальши. Не случайно и то, что родились наши «шестидесятники» в конце 30-х, когда физически уничтожалась лучшая часть казахской интеллигенции. Всем им характерно чувство восстановления «времен связующей нити». Этим выражением Мурат Ауэзов удачно обозначил внутреннюю тему своих современников¹. Об этом же писал позже А. Сулейменов, выразив чувство внутреннего дискомфорта: «...над нашим поколением давило генетическое понятие страха... Если иметь в виду действия в жанре, и внутри жанра, наше поколение (А. Кекильбаев, К. Искаков, З. Сериккалиев) пусть на короткое, летучее время, внесло в казахскую критику понятие легкости, раскованности, этической агрессии и чистоплотности»².

Важные перемены во всех областях общественной жизни республики в начале 60-х годов закономерно поставили человека, личность в центр как поэзии, так и

¹ Ауэзов М. М. Проблемы национального своеобразия современной казахской прозы. Автореф. дис. канд. филол. наук. М. 1969.

² Сулейменов А. Лицом к лицу с бытием // Новое поколение. 1994. 13 мая. С. 6, 14.

прозы. Рост национального самосознания, усилившийся в послевоенные годы, получил новый импульс. Именно в этот период, внешне отмеченный обращением к исторической теме с целью найти «времен связующую нить», начал совершаться переход казахской прозы на новые рельсы. И связано это было прежде всего с новым видением мира, требовавшего и нового способа повествования.

Пришло новое поколение писателей, с творчеством которых связаны качественные изменения в казахской прозе 60-х годов. Они начали с интенсивного поиска средств и способов иного, чем было, путей изображения жизни. Естественно, что фольклор при этом является одним из источников ее обогащения, хотя сами писатели это не осознавали тогда.

Психологическая интерпретация фольклорных жанров и фольклорной образности – доминирующий способ художественности в современной казахской прозе. Элементы народной сказки или фольклорного образа трансформируются, вливаясь в индивидуальный стиль писателя. Образ традиционного коня не только деканонизируется в повести А. Кекильбаева «Призовой бегунец», но и деформализуется. Писатель говорит о «предмете» «языком» самого предмета. В повести «Призовой бегунец» (1964 г.) более четко были запечатлены новые стилевые достижения.

События повести возникают как бы в воспоминаниях бывшего призового бегунца о своей жизни: начало жизни среди людей, успех в соревнованиях – победы одна за другой, и, наконец, переход в категорию второстепенных, доживающих. Новым в повести является не столько событийный уровень, сколько взаимодействие голосов: повествующего и гнедого. При этом читатель чувствует себя рядом с персонажами. Автор ни на минуту не сомневается в том, что нами будет понята эта еще одна «грустная история» о судьбе призового бегунца. Слияние голосов повествующего и героя необходимо Кекильбаеву для выражения основной идеи повести о том, что жизнь – это не только постоянная борьба за существование, но и вечные изменения, смена поколений: молодости и старости. Заявка на эту тему содержится уже в первых предложениях повести: «Гнедой, без труда узнал старого сеиса. А тому даже и в голову не пришло, что

эта захудалая, искусанная аульными собаками и верблюжатами кляча, с выдерганным хвостом и клочковатой гривой и есть бывший призовой бегунец»¹. Эти слова звучат как экспозиция к событиям повести. Они принадлежат повествователю, близкому другу «гнедого». Второе же предложение содержит в себе, наряду с голосом повествователя и отзвуки голоса сеиса: случайно приехавший в эти места старый сеис вряд ли остановил бы свой взор на этом замученном животном. Это уже другая точка зрения: «...захудалая, искусанная аульными собаками и верблюжатами кляча».

Но и гнедой дан в отношении к хозяину – это ясно с первых же строк. Это гнедой думает о нем: «...Хозяин, опутывая лошадь, по давнишней привычке, внимательно осмотрел, ощупал голень, волосяные щетки у запястья, копыта». Только ему, его бывшему любимчику, известна последовательность действий старого сеиса. Взаимодействие голосов часто выступает в форме несобственно прямой речи: «Теперь сеиса скоро не жди, догадался гнедой». Сеис привел с собой очередного подающего надежды серо-пегого жеребца. Он заходит в дом, а гнедой наблюдает холеного серо-пегого и вспоминает то время, когда и его также увозили в большую жизнь, в большие скачки. Перед нами проходят события «взросления» гнедого: вспоминая о матери, о том, как люди его приучали для верховой езды. «Он скакал с упрямством, ожесточением, ничего не видя от ярости. Летел вихрем, со злорадством, думая, что умчит этого двуногого упрянца, впившегося в его спину, умчит далеко-далеко от аула, от кургузого чалого, от овец, пасшихся врассыпную в горах. Удила раздирали губы, не знавшие ничего, кроме мягкой травы, липкая кровавая пена падала хлопьями... Скакал и скакал – и в гору и долиной, преодолевая лощины и ручьи» (216). Рефлексы сказочного повествования, повторы, образующие ритм и характеризующие стилистику повести, напоминают лиро-эпическую поэзию. Финальную сцену мы наблюдаем вместе с гнедым и повествователем. Случай еще раз свел бывшего призового бегунца с его тренером, но первый из них уже не тот, что был

¹ Кекильбаев А. Призовой бегунец // Степные легенды. М. 1983. С. 211. Перевод с казахского И. Шухова.

прежде. «Гнедой тихо заржал. Сеис круто обернулся. Глядел, глядел и, кажется, узнал. Подошел. Он тоже потянулся ноздрями. Знакомые до каждой мозоли ласковые ладони погладили его лоб, скулы, обгрызанную гриву»¹.

Голос повествователя сливается с голосом гнедого, переходя в несобственно-прямую речь последнего. Короткие предложения в начале приведенного абзаца относятся больше к повествователю, свидетелю этой последней встречи. Последнее слово за главным персонажем. Но в нем слышатся поддержка и сочувствие повествователя: «В ушах когда-то знаменитого бегунца глухо стучало, и он не мог сейчас различить, что это было». А. Кекильбаев в первой же написанной им повести сделал заявку на осмысление философско-этической проблемы вечного возрождения жизни, поставил вопрос о смене поколений, о вечном преодолении препятствий, которые напоминают бег с барьерами на длинные дистанции, как в скачках. «История» лошади необходима была писателю для подтверждения своих мыслей о вечно меняющемся мире. Это была новая проза.

Казахские писатели 70-х годов пытались преодолеть силу инертности, засилье декларативных штампов в языке, характерных для литературы предшествующих лет. Поэтому главный, «всеведающий» автор уступает свое место повествователю, свидетелю происходящих событий, человеку из народа, теперь его видение мира выдвинуто на первый план. «Книжность», «правильность» художественной речи стала ощущаться как преграда к освоению действительности. Приобрела новый смысл ориентация на слово героя, выражающая себя в интенсивном использовании разных речевых уровней изображаемой среды. Персонажи обретают свой «голос» не только в форме диалога, как это было в творчестве Б. Майлина и М. Ауэзова, но и с помощью несобственно-прямой речи. Кекильбаев в упомянутой выше повести, едва ли не первым среди своих коллег по перу, зафиксировал эти новые отношения между словом автора и сло-

¹ Переводчик пишет «обгрызанная гривка», а в оригинале же: «жалыным орны», т. е. буквально: «он провел рукой по шее, где когда-то была грива». «Когда-то» имеет большее смысловое значение, чем просто «обгрызанная гривка».

вом героя. Процесс преодоления «книжности» был не простым, потому что казахская проза еще с 20-х годов стремилась к литературности, к овладению стилевыми и жанровыми канонами «книжной» литературной речи. 60-е годы отмечены освобождением от хрестоматийных жанровых правил: соблюдения хронологической последовательности развертывания событий, внешнего соблюдения жанровых атрибутов, предполагающих эпилог, пролог и т. д. Не случайно А. Кекильбаев в «Призовом бегунце» выбрал центральным персонажем гнедого. Писателю важно было показать новое, нетрадиционное видение человеческой жизни глазами одного из древних спутников казаха-степняка. Именно это сознание и символизировал гнедой жеребец.

Проза 70-х годов, оттолкнувшись от традиционно-повествовательной манеры письма с главенством всезнающего автора, продолжила эту работу.

Всезнающий, вездесущий автор, который всюду присутствует в одно и то же время, который в один и тот же момент видит внешний вид и их обратную внутреннюю сторону, который наблюдает движение чужого сознания и заранее знает исход событий – такой автор исчезает в произведениях Т. Ахтанова, А. Кекильбаева, С. Санбаева, Д. Исабекова, С. Муратбекова, О. Бокеева, Т. Абдикова, К. Исакова.

В 1965 году появляются повести «Состязание» А. Кекильбаева и «Буран» Т. Ахтанова. Анализ этих произведений позволяет понять, как развивалась тенденция к свободному (не прикрепленному к традиционной прямой описательности) использованию жанрово-стилевых средств, как традиционных, так и современных.

В чем же это проявилось?

А. Кекильбаев обращается к жанровым фольклорным источникам как к отстоявшейся модели некоей истины и как бы заново «разыгрывает» эту схему. Поэтому его повести, и ранние, и те, о которых речь пойдет ниже, представляют собой разработку известных из легенд и преданий исторических сюжетов. Такова была потребность в эзоповом языке.

«Состязание» – так назвал свою повесть-сказку А. Кекильбаев (1965 г.) «Бэсеке» (букв. завистливый) – так звучит название повести, оно более соответствует форме и ее содержанию. Сюжет сказки, возможно, и не име-

ющий конкретного аналога в фольклоре, стал развернутым сюжетом реалистической повести. Интерес представляет именно трансформация фольклорной фабулы в сюжет, внутренне развивающийся в пространстве повести.

Из фабулы казахской бытовой сказки о том, как один бай выдавал замуж свою единственную дочь, писатель строит сюжет художественного произведения, который с фольклорным аналогом ничего общего не имеет. Сюжет повести внешне напоминает сказочную фабулу: единственная дочь бая Балпана Ажар достигла возраста невесты на выданье. Нарушается обычный порядок жизни бая: сначала многозначительные взгляды русского чиновника, затем многочисленные сваты, покушающиеся на его родное дитя – все это вызывает воспоминания старика Балпана своей молодости, о начале своей жизни. «Да, отец, у которого на выданье единственная красавица дочь чувствует себя как всадник на ворованном коне», – соглашается повествователь с Балпаном. Ассоциации со сказкой – чисто внешние: персонажи почти сказочные – бай Балпан, жена его Маржан, дочь Ажар, прочие бай и волостные, судьи и юродивый Есен. Но как только эти сказочные герои начинают говорить, думать про себя строить планы, – сходства с фольклорным сюжетом исчезают. Перед нами не сказочные, отдаленные от нас эпической дистанцией персонажи сказки, а реальные люди. Вместе с повествователем, свидетелем этих событий, мы оказываемся включенными в совершающиеся события.

Как уже говорилось, перевод заглавия повести «Состязание» не совсем соответствует казахскому варианту «Бэсеке» – буквально: конкуренция, «завистливый»; еще более точный смысл перевода – «возгордившийся». «Состязание» – слишком нейтральное слово в данном случае. Казахский читатель воспринимает заглавие «Бэсеке» как некий код, который будет раскрыт для него в повести. Повесть Кекильбаева является переходным звеном к той реализации жанрово-стилевого синтеза, который впоследствии будет воплощен в романе писателя «Конец легенды». Писатель пытается оторваться от созданной им в повести «Призовой бегунец» одной «зоны» – «зоны» главного персонажа, с которым повествователь временно сливает свой голос.

В «Состязании» А. Кекильбаев с самых первых фраз

обнаруживает другую установку. На первый взгляд действие и здесь прикреплено к главному герою к баю Балпану, о чем свидетельствуют первые строки повести «Да, верно говаривали в старину: коль подрастает дочь готовься к напастям. Будь это не так, жил бы себе бай Балпан в свое удовольствие и в ус не дул». Но «призвук» голоса повествователя обнаруживает себя иначе, чем в «Призовом бегунце» Там голоса сливались, теперь же повествователь с любопытством, с иронией, потом даже зло наблюдает за ходом событий.

В повести А. Кекильбаева мы встречаем то же явление, о котором писала Н. А. Кожевникова применительно к русской прозе 70-х: «В разных типах контекстов – в повествовании о персонаже и в повествовании организованном его точкой зрения – стилистически окрашенные средства, почерпнутые из обихода героя играют разную роль: в повествовании о персонаже они могут употребляться иронически по отношению к персонажу, в то время, как в повествовании с точки зрения персонажа они лишены иронии»¹.

Речь бая Балпана отличается от, голоса повествователя так, как отличается речь социально разных людей находящихся на разных ступенях лестницы феодальных отношений. Балпан занимает положение более высокое чем повествователь, свидетель событий. Речь бая, выступающая часто в формах несобственно прямой речи или речи косвенной, переходит в следующих предложениях в голос повествователя, выражающего свое отношение в данной ситуации. «И с начальством, благодарение аллаху, бай Балпан ладит. Когда-то щедро подмаслил его, без труда прибрал к рукам долину между двумя полноводными реками, зимой и летом текущими наперегонки, не задыхаться же, в самом деле в пустыне!» Речь человека, окрашенная пословицами, опирающаяся на устойчивые обороты народного обихода, который помнит и аллаха в своих деяниях, – пока ни о чем не говорит. Но вот бай Балпан вспоминает очередной приезд своего начальника, «чиновника белого царя»: «Прикатил в сером фэтоне,

¹ Кожевникова Н. А. О соотношении речи автора и персонажа // Языковые процессы современной художественной литературы. Проза. М. 1977. С. 90.

такой важный и спесивый: что от его спеси, казалось, даже оглобли фаэтона задрались». И тут же повествователь иронически замечает: «Но Балпеке человек с дальним прицелом».

Далее он перечисляет, как услужливый богач забросал чиновника своими дарами. И опять на первый план выступает отношение повествователя, а не богача: «Ясно, что после такого улук скорее позабудет родного батюшку, чем степного богача Балпана.¹ Старик Балпан не может называть отца чиновника «батюшкой» и о себе не может сказать как о «степном богаче» – это речь другого человека, наблюдающего за всеми его делами. Переводчику не удалось передать сам тон повествования, который меняется в зависимости от того, кто ведет повествование, персонаж или повествователь. На казахском языке в повествовании о персонаже «стилистически окрашенные средства» («қарыны шұрқыраса» и «ө, бөлемнін») более ироничны по отношению к персонажу, и в то же время, когда герой говорит сам себе, – это совсем не иронические слова.

Подключая читателя к повести, Кекильбаев пытается создать зону главного героя и зону повествователя, по-разному оценивающих события. Сам же автор, сконструировав таким образом повесть, убеждает себя и читателей в том, что зазнайство, гордость, что бы ни лежало в их основе, всегда губительны. Выделившись из толпы, будь последователен, не зли толпу, иначе тебя ждет расплата. Такова идея повести, вынесенная в название «Бәсеке» – зазнайство (возгордившийся).

Теперь интересно проследить, как жанровые каноны фольклора – бытовой сказки, преображаясь, превращаются в реалистическое действие повести.

Известно, что еще В. Я. Пропп установил в сказке твердые и однозначные отношения между персонажами и их функциями. Речь идет о жанровом законе, характерном для фольклора: герой и его действия отличаются стабильной определенностью, остаются таковыми раз и навсегда. Отсюда и конкретность, однозначность действий персонажей. Повесть во второй части смыкается с дру-

¹ Кекильбаев А. Шынырау (Колодец) А., 1982. С. 249. Перевод В. Панкиной.

гой разновидностью жанра сказки – мотивом свадебных испытаний женихов. Устроив состязание между женихами, Балпан поступает как в сказке. Может показаться, что вся повесть (если иметь в виду Ажар, основную виновницу всех событий) является подтверждением народной пословицы – «көп іздеген тазга жолығады», букв. «привередливой невесте достанется плешивый муж». Но на самом деле ее основная мысль гораздо шире, не в том дело, по Кекильбаеву, что Ажар в мужья достался душевно больной, плешивый Есен, волею случайности выигравший все три (как положено в сказке) этапа состязания. Состязание оказалось в повести случайно (в сказке оно обязательно). В повести мотивировка вырастает из реальных отношений людей и не отделена от жизни перегородкой эпической дистанции.

Балпан отказывает женихам не потому, что женихи неподходящие, а потому, что отказав одному, бай вынужден отказывать и другим, чтобы не занять лишних врагов. Конфликт обусловлен социально: отказав волостному правителю, Балпан автоматически действует и далее. Но писатель следует фабуле сказки, устраивая состязание женихов. Балпан, как в сказке, доверяет случаю судьбу дочери, надеясь при этом, что испытания женихов выдержит достойнейший из них. В сказке это завершилось свадьбой, где участвовал бы сам повествователь, подобно сказочнику. Но совсем иное происходит в финале повести, размыкающем сказочный благополучный конец. Состязание выигрывает слабоумный, плешивый, но предусмотрительный Есен.

Он напоминает героя, аналогичного Иванушке-дурачку из русского фольклора: в казахском варианте он также проявляет необыкновенные способности и ум, чем побеждает всех врагов и даже всемогущего хана. В повести ассоциации Есена с Тазшой только внешние. В финале оказывается, что это заурядный персонаж. Происходит видоизменение канонического дурачка – он превращается в обыкновенного земного человека, далекого от позитивного сказочного стереотипа. Люди могут в реальной жизни изменять и нарушать честность состязаний, чтобы проучить зазнавшегося Балпана. Повествователь, цитируя народное возмущение, воспроизводит «коллективную точку зрения» и тут же сам как бы присоединяет к ней свой голос: «Даже те, кто и видов-то никаких не

имел на дочь Балпана, разъярились и грозились проучить гордеца».

Как уже было упомянуто, речь Балпана социально ориентирована – это не архаизированная сказочная речь абстрактного «некоего бая», перед нами речь реального человека, со своими мыслями и помыслами.

Изображение чувств, мыслей человека – все это, разумеется, в разных формах выступает в фольклоре и в литературе. В сказке показ внутреннего состояния героя обычно передается через внешнее проявление человека – описание его действий, мимики, жеста, позы, речи. Поэтому в сказке – «дрожь берет, дух захватывает». В повести Кекильбаева эти сказочные атрибуты изображения человека, не более, чем реминисценции для убеждения читателя в достоверности ситуации. Сказочные аксессуары в повести психологически развиты и это очень важно. Традиционные детали обрастают реакциями персонажей и повествователя, реагирующих на ту или иную ситуацию. Если мысли Балпана обрываются неожиданными поворотами, типа: «Тут-то нежданно-негаданно и нагрянули два незнакомых гостя...», то далее как рефлексия на этот визит, идет поток мыслей Балпана. «В голове Балпана лихорадочно проносились мысли о том, что сейчас он богат и знатен, и без того завистников у него хоть отбавляй, так зачем же давать повод для сплетен да наговоров». Сказочный герой так не будет рассуждать по поводу сватов, тем более, когда речь идет о человеке, который стоит выше Балпана на социально-иерархической лестнице.

Отношения Кекильбаева с традициями жанра сказки более сложные, чем кажется на первый взгляд. Писатель не только нарушает и переосмысливает ее каноны, одновременно он верен и стилистике сказки. Так, изображая состояние персонажей, писатель соблюдает традиционные эпические приемы: «по спине Балпана пробежала дрожь, он не в силах был передвинуться на почетное место».

Финал готовится постепенно. Вначале он только произнесен (слышится в людском осуждении Балпана). Этапы состязания женихов – певцов, борцов и лучших наездников (все постепенно, как в сказке) собирают недоброжелателей, которые, объединившись, и проучили бая за его зазнайство. Эти недоброжелатели подстраивают

события так, что все три этапа выигрывает плешивый Есен. Когда в сказке жениху, прошедшему все этапы испытания, достается царевна и полцарства впридачу, — наступает улучшение положения героя, вначале, как правило, недостойно униженного. А в повести? Оказывается, наоборот: улучшение положения героя, который впрочем и не был обижен материально (сын богача), обрачивается для всех ухудшением ситуации, ибо он достигает этого при помощи «злых» сил: недоброжелателей Балпана. В повести герой достигает своей цели не прямо, сам направляя силы для этого, а опосредованно, благодаря не своим достоинствам, как в сказке, а реальным отношениям с другими людьми.

В современной казахской прозе продолжают существовать фольклорные традиционные роли, типологические модели. Но существование их теперь в корне преобразовалось, функции сознательно нарушены. Кекильбаев в поисках нового способа повествования преобразует существовавшие, открытые еще в фольклоре жанровые схемы, запечатлевшие определенное видение мира и человека. Но эти схемы обретают новую жизнь в атмосфере современной повести.

В казахской литературе активизируется процесс осмысленного обращения к поискам национального художественного своеобразия. Поэтому Кекильбаев и обращается к народной сказке. Важно понять, что это происходит не потому, что литература не располагает своим арсеналом жанрово-стилевых средств. А Кекильбаев обладает собственным стилем и отразил в повести «Состязание» то, что важно было для духовной ситуации эпохи 60-х годов. Сказочная фабула о том, как бай Балпан выдал свою дочь замуж, для писателя лишь изобразительный материал, который он подчиняет логике волнующих его социально-нравственных проблем современности.

Казахские писатели 70–80-х гг. все больше изображают личность «в своем кругу», но с выходом в проблемы общечеловеческие: человек и время, человек и обстоятельства. В такой прозе описательно-изобразительное воспроизведение жизни, характерное для романа-эпопеи, оказалось бы искусственным, неестественным. Такой стиль был бы слишком созерцательным, не мобильным, если говорить об изображении внутреннего мира современ-

менника. Возникает потребность в повороте от изобразительности к выразительности, к экспрессивным началам в стиле. Пластическое описание уступает место экспрессивному, эмоционально-направленному повествованию.

Авторитетное слово всеведающего автора уступает место слову героя, которое нередко приобретает решающее значение. Это слово простого человека, со своим голосом, отличным от речи повествователя, автор вместе с читателем не только прислушивается к его голосу, но и живет жизнью персонажа в пределах всего произведения.

Таким образом, стремление к активности стиля в современной казахской прозе совпало с общесоюзным литературным движением 60 – 70-х годов от «нейтрального стиля» к стилю, ориентированному на план персонажа. Об аналогичной ситуации в литовской литературе писал А. Бучис, который четко определил модель новой литературной ситуации: «слова просил сам герой»¹. Это было движение прозы к раскрепощенному стилю. Об этом пишет Г. Белая: «В процессе общественного и литературного развития, в процессе выработки новых внутренне убедительных слов, обособленная фраза стала полюсом по отношению к живой развивающейся народной речи и ее носителю. Именно это противостояние обозначает направление движения художественного сознания прозы последних двух десятилетий»².

Восстановление в правах «чужого» слова в современной казахской прозе явилось важным фактором ее развития. Народная речь до этой смены стиля выступала в казахской литературе часто как локальная сфера (как языковая краска в изображении казаха-батрака в речи Дайрабая и Мыркымбая в творчестве Б. Майлина). Но слово героя о самом себе и о мире в прозе 70-х в казахской литературе было качественно иным. Казахские прозаики осознанно пришли к словесному самораскрытию персонажей. Как говорил М. М. Бахтин: «Чужой идеологический мир нельзя адекватно изобразить, не дав ему самому зазвучать, не раскрыв его собственного слова. Ведь дей-

¹ Бучис А. Роман и современность. М. 1978. С. 175.

² Белая Г. Художественный мир современной прозы. М. 1983. С. 69.

ствительно адекватным словом для изображения своеобразного идеологического мира может быть его же собственное слово, хотя и не одно, а в соединении с авторским словом»¹. Теперь народная речь выступает как форма художественного воплощения жизни в ее целостности. Этому предшествовал длительный путь развития казахской прозы: А. Кекильбаев «осваивал» психологию то призового бегунца, то сказочного бая Балпана, то притчевого Чингизхана; С. Санбаев «оживлял» персонажей легенд и притч, при этом каждый из них говорил своим голосом. Неудивительно, что в творчестве О. Бокеева, более позднем по времени, чем произведения А. Кекильбаева, мы встречаем еще более сложное, но органичное воплощение народной речи. Это отчетливо выявляется на фоне одновременно появляющихся произведений традиционной прозы, с ее литературной речью всеведающего автора, подменяющего собой всех своих персонажей. Для таких писателей слово человека из народа было декоративным украшением, часто функционирующим в отрыве от чувств персонажа; автор выбирал слова, которые (как он считал) наиболее подходили его герою, поэтому они и проявились в форме прямой речи. Все это создавало в произведении схематического героя: положительного или отрицательного, и это было ясно уже с первых страниц произведения.

Часто это было следствием нетворчески усвоенных фольклорных традиций, что приводило к появлению неживого (неговорящего) персонажа и упрощенному изображению самой жизни только двумя красками: черной или белой. Писатель, как и читатель, наблюдает за чужой жизнью, следит за действиями героя извне. Поэтому такая проза малоубедительна: описанию веришь меньше, чем живому голосу персонажа. Герои вроде бы говорят убедительно, как правило, это положительные герои, но они не запоминаются ни своими переживаниями, ни своими мыслями. Они действуют по заранее отрепетированной программе, а читатель (впрочем, как и сам репетитор) – пассивный зритель, которого вскоре утомляют знакомые, но искусственные поступки действующих лиц.

¹ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975. С. 148.

Другая ситуация возникает при чтении прозы О. Бокеева¹. Завязка, начало повести: «Уже за полночь переваливало, а он и не мог сомкнуть глаз. Мысли, одна тяжелее, тревожнее другой, так и наплывали на него. Он ворочался с боку на бок и наконец, измученный бессонницей, усталый от изматывающего лежания, поднялся и вышел из дома.

Степь – она все та же: невозмутимая, молчаливая, строптивая, лежит куда ни кинешь взгляд. Вот только поезда, с грохотом пронесшиеся мимо, нарушают ее покой...». Перед читателем поэтическое изображение действительности. Подобный принцип обобщения (как и у Кекильбаева) восходит в своих истоках к народным, кодовым образам. Здесь и поэтические повторы, нагнетающие настроение («мысли, одна тяжелее, тревожнее другой»), и лирические инверсии, создающие особенное восприятие картины: «степь – она все та же...». Стремление подключить читателя к происходящему – основное отличие лиро-эпического стиля Бокеева. Отсюда и авторский лиризм, и субъективность выражения, которые доминируют над достоверной «объективной» пластикой. Как правило, могут отсутствовать мотивировки, что было бы не характерно для другой прозы. Этот тип художественного мышления обладает определенными закономерностями, которые обнаруживают себя и в образах, и в построении сюжета, и в композиции произведения, и в системе его художественных деталей.

В приведенном отрывке ясно видно иное соотношение компонентов в системе «автор – герой – читатель». Взаимодействие голоса автора и голосов персонажей становится важным источником энергии художественности в произведениях А. Кекильбаева и О. Бокеева.

Как уже говорилось, на рубеже 60 – 70-х годов в казахскую литературу пришло новое поколение писателей, с новым историческим самоощущением, с тяготением к новому синтезу современности и своих национальных традиций. Понятно, что новые стилевые изменения наиболее заметно выступили в поэзии (в стихах и поэмах О. Сулейменова, К. Мырзалиева, М. Макатаева). В прозе же от традиционного потока «большого эпоса», где дей-

¹ Бокеев О. Поезда проходят мимо // Бокеев О. Поющие барханы. М. 1982. С. 3–4.

ствовали герои разных социальных слоев, судьбы которых непосредственно связаны с движением истории (где доминировала позиция автора, всепонимающего, всеведущего, пытающегося представить изображаемое им в «объективной» форме), – от такого типа теперь четко отделяется иное стилевое направление. Для него характерным становится большее доверие автора к слову героя, ориентация автора на слово персонажей, которое при этом порой господствует, подчиняя себе даже авторскую речь (до сих пор за нею всегда оставалось решающее слово).

Эта проза не случайно была представлена писателями молодыми. Они явились проводниками нового стиля как содержательной формы художественного произведения, своеобразии которого создается свободным использованием своих жанровых и стилевых средств, так и опыта всесоюзной литературы.

В чем отличие нового стиля от традиционного способа повествования? Насколько продуктивной оказалась для казахской прозы его природная эпическая поэтичность?

О произведениях, перечисленных выше художников (А. Кекильбаева и О. Бокеева), критика писала: «В их творчестве казахская повесть, родившаяся недавно, обрела формулу и силу. Необычайный сплав повествовательности и лирики требует специального анализа». И еще: «Сплав этот отнюдь не случайное явление, а плод национально-специфического образа художественного мышления. Национальная манера повествования от первого лица в народных сказаниях, манера понимания вещей и событий, поэтическая интерпретация их глашатаями – сказителями, жырау, жырши, акынами нашла свое оригинальное преломление в казахской повести»¹. Далее критик отмечает особую роль повествователя, в новой прозе: «Как и древние сказители, авторы современных повестей выступают как бы очевидцами описываемых событий. Эффект присутствия даже в исторических повествованиях достигается интонацией повествования, прямой политической страстью, точностью психологических реалий: мысль, но не картина, символ, но не линия, – главный конструктор поэтического синтаксиса казахской повес-

¹ Никитин С. Энергия художественного мышления // Простор. А. 1977. № 5. С. 115.

ти: условные формы художественного выражения щедро черпаются из исторических эпосов, сказаний, легенд, айттысов». Не случайно столь подробное цитирование. Это было пророческое предсказание.

Мысль критика подтверждается реальным анализом казахской прозы 70-х годов.

Современная казахская проза в целях расширения числа возможных точек зрения на события (чтобы показать его в разных ракурсах) прибегает к изображению одного и того же героя в разных пространственно-временных плоскостях. Это заметно отличает новую прозу от традиционной, прежней. При этом в современной казахской прозе происходит творческая трансформация «бессюжетного» лиро-эпического жанра толгау. В прозаических жанрах, имеющих свою фольклорную предысторию, выражаясь словами М. М. Бахтина, «...на протяжении веков их жизни накапливаются формы видения и осмысления определенных сторон мира». Поэтому «для писателя-ремесленника» жанр служит шаблоном, большой же художник пытается пробудить заложенные в нем «смысловые возможности». Видимо не случайно в 70 – 80-е годы в казахской литературе появляются жанрово-стилевые переосмысления сюжетов древних легенд и притч. Современные казахские прозаики не только используют фабульные жанры фольклора, но пробуждают огромные сокровища «потенциальных смыслов», которые в фольклоре не могли быть раскрыты и осознаны в своей содержательности. Лиро-эпические стилиевые приемы толгау, открытые в фольклоре, только в современной прозе получают подлинное развитие. Писатели подключаются к «памяти» жанра, извлекая самое содержательное в ту или иную эпоху. «Кекильбаев, – писал Е. Сидоров, – в своей исторической прозе идет по другому пути. Но это не историческая романистика в ее традиционном эпическом варианте (А. Толстой, В. Ян, С. Бородин, И. Есенберлин, А. Алимжанов, П. Кадыров). Это поэтическая проза, основанная на локальном конфликте, чурающаяся панорамного развития темы, острых сюжетных повторов, многофигурных, детально проработанных композиций»¹. Е. Сидоров дал точную характеристику лиро-эпического

¹ Сидоров Е. В поисках истины. Статьи и диалоги о литературе. А. 1983. С. 259.

стиля А. Кекильбаева. Внутренней темой А. Кекильбаева, отличающей его от многих других прозаиков, является исследование психологии человеческой природы. Как соотносятся заложенные в человеке добро и зло, в чем сила, честь и достоинство человека? Этот круг вопросов присутствует во всех его произведениях, получив углубленное решение в романе «Конец легенды».

События, сюжеты многих произведений А. Кекильбаева известны в народном представлении из фольклора, но стилевые и содержательные акценты, интонации уже резко окрашены его индивидуальным видением мира.

В «Состязании» (1965 г.), а еще раньше в «Призовом бегунце» (1964 г.) писатель тоже искал примеры «доброты», «уроки» истории. Появившиеся через два года повести «Баллады забытых лет» и «Хатынгольская баллада» углубили интерес к этим проблемам. Не случайно в заглавиях повторение слов «баллада»: настроение лиро-эпического жанра соответствует тону обеих повестей. Лиро-эпичность проявляет себя в сюжете эпического повествования, в его эмоциональности идущей от поэтических форм. Внешне – это орнаментальная проза с поэтическими инверсиями, экспрессией, повторяющимися символическими рефренами, что создает почти стихотворный ритм в прозе.

Известно, что время и пространство изображаемого мира в произведениях художественной прозы, степень их реалистичности зависят от точки зрения повествователя. А. Бучис, говоря о литовской прозе, отмечает изменения, связанные с заменой «всезнающего» повествователя (повествователь от третьего лица) повествователем субъективным (от первого лица). При этом исследователь подчеркивает сдвиг в структурной доминанте произведения. Процесс этот характерен и для современной казахской прозы, когда, как и в других литературах, на место хронологической цепи многоплановых событий (характерной композиционной доминанты) должно было выдвинуться «духовное саморазвитие отдельного человека, психический процесс, который не сочетался ни с традиционным понятием художественного времени, ни с прежним панорамным пространством романа, ни с фабулой»¹. Психический процесс героев

¹ Бучис А. Роман и современность. М. 1977. С. 177.

повестей А. Кекильбаева не просто получает развитие во времени и пространстве, но он не подчинен хронологической последовательности событий. Читателю, как и повествователю, понятно внутреннее саморазвитие персонажей, их естественный ход мыслей. В повести, как в романе, происходит сближение разных временных пластов. Лиро-эпичность в современной повести способствует нарушению хронологической последовательности событий – прошлое всплывает в сознании персонажа (Жонеута, Чингизхана) по ассоциации с настоящим, как внутреннее связанное с ним.

В современной казахской повести происходит сгущение жизненного материала в пределах небольших повествовательных форм (рассказа, повести), что ведет к романизации этих форм. Это отличает действенность повестей Д. Исабекова, К. Исакова, А. Тарази.

Убедительность стиля, подключенность читателя и самого повествователя к происходящим событиям достигнута А. Кекильбаевым прежде всего сложной дифференциацией «голосов» персонажей и повествователя, а также особым характером «голоса» повествователя. Речь его – это голос свидетеля событий, что находит отражение в форме несобственно-прямой речи, господствующей в стилистике повести.

Уже первые строки в повести «Баллады забытых лет» предвещают приближение чего-то трагического: «Нет конца-края раскаленной от сухого жара равнине. И не за что зацепиться взору – ни холмика, ни бугорка...» – так повествователь, находящийся рядом со своими персонажами, видит окружающий пейзаж их глазами. Чтобы понять переплетение голосов в повести, обратимся к характерному фрагменту текста. Повествователь думает: «Пленникам все в диковинку. Забыв про горькую долю и зудящие раны, они с мальчишеской любознательностью глазют вокруг». Далее без перехода мы слышим «голоса» героев: «Вот оно как туркмены справляют поминки. Ни тебе раздолья, ни шумной суеты». Далее опять вступает сам повествователь: «Долго ли вариться мясу годовалого верблюжонка? Окутанные паром куски уже на плоских деревянных подносах. А вот уже пустые подносы. Опять молитва, опять Коран». Повествователь – человек литературный, поэтому его речь отличается от речи простых персонажей, для которых характерны просто-

речные обороты: «вот оно как», «ни тебе раздолья, ни шумной суеты», «куда ни глянь». Стиль меняется, когда «солируют» персонажи: он становится орнаментальным, кроме того, мы встречаем здесь и повторы, и инверсии: «чужой народ, нравы чужие», «не раздастся звонкий смех, не вспыхнет спор, не разразится музыка». Так в повести происходит взаимоотражение голосов персонажей (Жонеута, музыканта и повествователя).

Временами повествователь вторгается в ход событий, интонируя и оценивая тем самым появление нового персонажа: «Пришел час назвать его имя – Жонеут. И просить читателя запомнить это имя. Ибо Жонеут пройдет пешком, промчится вскачь сквозь всю мою балладу. А когда в терзаниях испустит дух, я закончу свой сказ». Из этих фраз читатель еще не может понять положительный или отрицательный персонаж появляется на сцене. Акцентируется только его появление, но не авторская этическая оценка. Далее повествование переходит к Жонеуту – вождю туркменов. И вновь в форме несобственно-прямой речи перед нами раскрывается история героя, все то, что предшествовало сегодняшним событиям. Один за другим погибают в набегах лучшие люди казахов и туркменов. Жонеут потерял брата, теперь последнего сына; «Жонеут не мог сказать, сколько времени он пробыл у Аннадурды. Может быть, долго, а может, быть недолго. В памяти остались разрозненные подробности». Далее изображается сознание убитого горем человека, воспринимающего только внешние передвижения в пространстве, но отключенного от самой сути совершающихся похоронных обрядов. «Вбегает возбужденный старик, что-то сбивчиво говорит, тычет пальцем в сторону бледно-оранжевого заката... Жонеута опять поднимают под руки, ведут... И он идет. Бессмысленно, слепо. Почему так трудно идти, точно он в дороге неделю, месяц? Почему так плохо подчиняются ноги? Ему надо быть впереди других, а он с немощными стариками плетется в хвосте...» Повторение отдельных слов, вопросительные интонации, – все это рисует состояние человека, подавленного, сломленного горем утраты. В повести чередуются картины, изображающие разное восприятие этого события: самим Жонеутом, казахом-музыкантом, повествователем и свидетелями – старейшими туркменами, передающими коллективную точку зрения.

Одной из особенностей развития казахской литературы на современном этапе является актуализация внесловесных форм авторской позиции. В повести А. Кекильбаева «Баллады забытых лет» происходит не только переосмысление фольклорного жанра притчи-кюй (фабульный музыкальный жанр казахского фольклора), но и соприкосновение, взаимоотражение жанров фольклора и литературы. Повесть деавтоматизирует фабулу, кюй, более того, наполняет жизнью мертвую схему фольклорного жанра. Сказитель или музыкант-кюйши, исполняя кюй, рассказывающий о трагической гибели музыканта из-за межнациональных войн, как знаток фольклора, воспроизвел бы сам притчевый жанр. Он был бы подключен к фольклорной памяти, как представитель народной среды и знаток фольклора. А. Кекильбаев создает свою интерпретацию этого жанра, создав образ жестокого воина и простого человека, но не обратившись при этом ни к одному из существующих в народном творчестве вариантов. В пределах фольклора жанр повторяется, сохраняя все свои «правила»: «кюйши-музыкант – талантливая жертва, Жонеут – жестокий тиран». Таково черно-белое (положительно-отрицательное с самого начала) изображение фольклорного жанра. В повести образ Жонеута качественно отличается от фольклорного прототипа. А. Кекильбаева волнуют не сами факты драматического сюжета притчи-кюй, а предыстория, генетический и психологический код личности, сама человеческая потенция, которая делает возможным тот или иной поступок. Герои А. Кекильбаева – это этико-психологические модели сложнейшей художественной конструкции. В повести персонажи (музыкант, Жонеут, повествователь) как бы диалогизируют с контекстными образами (фольклорными), с жанровой традицией, отталкиваясь от своих прототипов, но интерпретируя их. Если в «Состязании» писатель интериоризировал фабулу фольклора в сюжет повести, то теперь отношения писателя с фольклором стали еще более глубокими, опосредованными. Писатель подключает неживые схемы фольклора к токам живой жизни, переосмысливая при этом не только смысловые сокровища фольклора, но и жанровые потенции притчи. Переосмысление фабулы фольклора оказывается возможным только в большом времени, в пространстве прозаических жанров письменной литературы. При этом

притча не только не оттесняет возможности жанра, но только в пределах повести получает некоторую завершенность и осознанность.

Кроме того, писатель, обыгрывая притчу, создает иллюзию сиюминутности ее исполнения, одновременно с которым совершается процесс развития внутренних мыслей персонажей в форме внутреннего монолога. Фольклорный жанр при всем своем своеобразии входит в единый повествовательный процесс в современной повести, он подключен к новому поиску истин в пространстве повести. В этой связи вспоминаются слова А. Жубанова, теоретика музыки, о внутренней структуре кюй: «Пленник начал кюй постепенно, не спеша, излагая основную тему во втором голосе, что обещало слушателям повествование, имеющее развернутый сюжет, на основе которого и был сложен кюй... Проходили две темы на двух струнах, обе своеобразные и четкие в своих очертаниях»¹. «Две темы» мы видим и в повести – это темы самого музыканта и Жонеута: каждый думает о своем, это две разные рефлексии на музыку, которая рождается тут же на наших глазах.

Музыка подчеркивает их мысли, параллельно развивающиеся: «Свершилось чудо. Горечь обиды, боль, отчаяние – все разом обрушила домбра на Жонеута. Она низвергла водопад звуков, и каждый пронизывал сердце». Эти воспоминания-речи потом получили новую оркестровку, соответственно менялась и музыка: «Меж тем домбра запела на новый лад, глухо, печально. Ее вздохи перемежались тихим всхлипыванием». Музыка домбры становится как бы еще одним «голосом» повествования. Одновременно с внутренними монологами Жонеута развиваются думы пленного домбриста: «Пела не домбра, а степь. Оттуда, издалека, ветер приносил мелодию». Повествователь сближает свой голос с голосом домбриста, свое видение мира с его точкой зрения. Поэтому повторяются ключевые слова в речи домбриста («недолгая жизнь человеческая», «человек тот, кто думает»), в которых слиты эти голоса, ибо они выражают итоговую этическую оценку автора. Жонеут оплакивает под эти же звуки бывшие победы в межродовых схватках, гибель сво-

¹ Жубанов А. Струны столетий. А. 1958. С. 208.

их близких. Иначе думает невольник; играя, он мысленно обращается к сидящим: «Не спеши считать себя венцом творения. Откуда твоя спесь? Кто тебе дал право считать себя лучше соседа и вершить суд над ним?». Естественно, что голос домбриста отличен от хода мыслей Жонеута: Жонеут вспоминает, повествователь свидетельствует. Это уже иное соотношение голосов, чем в системе «повествователь и домбрист». В отрывке, начинающемся со слов: «Выходит, враг тоже человек», разные сознания (домбриста, Жонеута и присутствующих) вдруг соприкасаются, и над ними как высшая истина звучит мысль о том, что человеческая жизнь – короткая, недолгая, поэтому научись думать, прежде чем совершить зло над другими. «Домбра взывала, молила о чем-то. Отвечая ее струнам, звучали струны человеческого сердца – самые потаенные, самые тонкие. Такие, о существовании которых человек не всегда догадывается».

Сцена игры на домбре – самое большое художественное достижение писателя в повести. Прозаическая реализация кюй в структуре современной повести остается за А. Кекильбаевым.

Дифференцируя «голоса», Кекильбаев проникает во внутренний мир персонажей. В его повестях поведение легендарных героев уже ничего общего не имеет с фабулой легенды. Последняя глава организована по поэтическим традициям: казнь и душевные терзания Жонеута, от которого после казни музыканта отвернулись соплеменники, не простив ему его жестокости. В финале повествователь полностью отдает повествование Жонеуту. И это более убедительно, чем последнее, априорное слово всезнающего автора.

В повести А. Кекильбаева «Хатынгольская баллада» так же, как и в предыдущем произведении писателя, лирико-эпическое начало является внутренним принципом организации повествования. Его структура синтезирует в себе жанровые признаки и лирической баллады, и повести. В произведении взяты отдельные сцены из жизни персонажей, как в лирике; но внутренний масштаб постижения жизни персонажей характерен для развитого эпического повествования. Стилистика прозы сливается с языком поэзии, пропитывается фольклорными, песенными началами (как мы помним, так было и у О. Бокеева). Писатели сознательно вводят в прозу стиховые

принципы: ритм, лирические повторы, экспрессивность речи, инверсию.

В «Хатынгольской балладе» А. Кекильбаеву важно не только возвращение к персонажам давнего исторического предания о покушении на Чингизхана, ему важна идея притчи – мысль о несгибаемости человеческого достоинства перед лицом жестокости. Повествователь, ранее открыто присутствовавший (как в «Балладе забытых лет»), теперь исчезает, лишь интонационно отзываясь в речи персонажей. Отношение автора к персонажу, каково бы оно ни было, прямо не выражается. Повествователь – не информатор, он свидетель событий. «Психологический анализ у него заметно опирается на достижения русской и европейской классики. Писатель прививает к древу национальной традиции черенки мирового художественного опыта и делает это с чувством меры, бережно сохраняя корневые пласты казахского национального мироощущения»¹, – пишет Е. Сидоров о прозе А. Кекильбаева. Критик уточняет: «Особенно наглядно такая связь проступает во внутренних монологах персонажей – прием достаточно распространенный сегодня в исторической литературе, но у Кекильбаева еще и очень органичный, позволяющий раскрыть потаенные глубины характера. Таковы переходы от сна к яви, от сознания к подсознанию. При этом никакой архаики, никакой стилизации»². Е. Сидоров точно характеризует особенности стиля произведений писателя. Проникновение в глубины человеческой психики, требующее изображения «переходных» состояний, – это и есть отличительные черты «исторических» повестей Кекильбаева, отличающие его прозу от произведений Д. Досжанова, и А. Кекильбаеву эти исторические сюжеты нужны постольку только, поскольку они в зашифрованном виде содержат этические идеи, схемы персонажей. Но в современной повести они исследуются по законам реалистической прозы. Кекильбаеву важно было оживить не столько притчу, сколько оживить голоса и мысли социально разных персонажей, с их разными точками зрения, с разными представлениями о человеческой жизни.

¹ Сидоров Е. В поисках истины. Статьи и диалоги о литературе. А. 1983. С. 259, 261.

² Там же. С. 261.

В «Хатынгольской балладе» писатель акцентирует внимание преимущественно на детально изображенных потоках сознания человеческой психики. Повествователь пытается обнажить тайное тайных психологии героя – грозного Чингизхана: «В одиночестве, когда можно не бояться постороннего глаза, он долго разглядывает свои жилистые, в набухших сосудах руки, словно видит их впервые, по очереди ощупывает все десять пальцев, униженных дорогими перстнями, будто радуясь, что никто не отрубил их во время сна». Слова: «словно видит», «будто» и др. подчеркивают незавершенность психологических представлений персонажа. Читатель наблюдает за ходом воспоминаний героя, видит «историю» каждого из перстней. Кекильбаеву важно использовать эту деталь притчи для того, чтобы композиционно организовать воспоминание персонажа о каждом из событий. Писатель совершает как бы произвольную встречу в одном высказывании двух социальных сознаний: «Он не мог победить не только бесстрашную гордость, но и ненасытную жадность. Однажды – это было на базаре Термеза – какой-то купчишка на его глазах лихорадочно стянул с пальца и мгновенно проглотил перстень. Он приказал своему нойону проткнуть поганое скупердяйское брюхо и вытащить перстень. Вот он, тот золотистого цвета яхонт». Отдельные слова в тексте («проткнуть поганое скупердяйское брюхо» и др.) принадлежат скорее самому персонажу, чем свидетелю-повествователю, который вводит слова героя, обрамляя их своими словами, отличными от языкового сознания персонажа. Автор стремится индивидуализировать речь персонажа, слова действительно соответствуют его социальному языку и в то же время контрастируют со спокойными, почти бесстрастными интонациями повествователя. Такова тенденция повести.

Речь персонажей – не повествователя – оснащена устойчивыми оборотами, взятыми из народного обихода сравнениями. Так Чингизхан говорит о людях – «черни», «чьи головы будут трястись, как хвост чесоточной годовалой козы»; или о своем стрелке Кахаре «способном за версту поразить в глаз дикую козу и услышать в ночи шорох бегущего муравья»; или об отчаянных храбрецах, «сердца которых обросли шерстью». Три «голоса» слышны в финале, когда речь идет о смерти центрального персонажа, три разных сознания одновременно, по-разному,

реагируют на происходящее: сам главный герой, Кахар – его верный слуга, и повествователь, наблюдавший со стороны, но находящийся тут же. «Чингизхан налил в ярко расписанную китайскую чашу какой-то напиток, протянул его Кахару, сказав, *чтобы он выпил половину, а остальное вернул ему* (подчеркнуто мной – А. И.).

Кахар удивился, однако не мог не исполнить приказание своего господина. Он выпил ровно половину загадочного напитка и тут же передал чашку маленькому сгорбленному старику, сидящему на пышной постели. И едва передал он из рук в руки чашку, как повалился к ногам хана. Но он еще успел увидеть, как великий Повелитель, чьей грозной воле подчинялась половина мира, залпом выпил из китайской чашки то, что осталось после него, недостойного стрелка, всю жизнь по горам и ущельям, гонявшего диких архаров. Кахар успел еще звучно цокнуть языком, чтобы выразить удивление, и это было последнее удивление охотника Кахара поступкам своего великого Повелителя». «Маленький сгорбленный старик, сидящий на пышной постели», – таким видит повествователь Чингизхана, он же видит, как падает удивленный Кахар. Придаточное предложение в первой фразе принадлежит языковому сознанию Чингизхана – это его поведение. Только Кахар о себе может сказать, как о «недостойном стрелке», но не Чингизхан, и не повествователь.

Запоминаются словесные самораскрытия и других персонажей повести (Гурбельжин и Шидурги). Герои Кекильбаева думают, переживают, открывают для себя постоянно ценностей человеческой жизни, неистребимых в людях никакими насилиями и унижениями.

Стиль становится в повести формой сложной, опосредственно выраженной оценки мира. В отличие от притчи, писатель говорит не о герое, а с героем. Он изображает то, что входит в кругозор героя, он вводит нас в мир его идей, воссоздавая его точку зрения.

Присутствие повествователя, активно вторгающегося в сознание и психологические состояния своих персонажей, рождало у критиков сомнение в качестве художественности. И. Юшкова писала о том, что повести А. Кекильбаева – «это попытки найти особую синтетическую форму, соединяющую в себе художественность и

публистичность»¹. Более подходящей, на наш взгляд, представляется другая точка зрения. Так, Е. Сидоров отмечает: «Он доверяет истории, не заискивая перед ней, и он судит ее, освобождая от глянца внесоциальных легенд и характеристик. Его не устраивает часть правды, часть песни. Ему надо учесть и слезы женщин, и победные клики воинов, и нищету неимущих масс, и безмерное богатство ханов. Ему важно расслышать в жестокой и величественной музыке восточного средневековья порывы человеческой души к небу, стремление народа к социальному и духовному освобождению»².

Балладность повестей А. Кекильбаева, сказовость произведений О. Бокеева – все это свидетельствует о том, что смена стиля в современной казахской прозе стала продолжительным процессом, втягивающим в себя все новое число писателей. В процессе творческого переосмысления писателями традиций фольклора и накопившихся собственно литературных традиций самым продуктивным началом оказалась для прозы 70-х годов традиция, казахских лиро-эпических жанров. Новое переосмысление их с точки зрения современных прозаических жанров, новый синтез этих двух традиций и сделали возможным переход казахской прозы на качественно новый уровень художественности.

Для казахской прозы восточная классика является не прямой «своей» традицией. Поэтому вряд ли правомерно говорить об исконной орнаментальности национального стиля, зарождение которой относится к концу XIX и началу нынешнего века. Классический стиль Абая не только утвердил реализм, но значительно определил собой все последующее развитие казахской литературы. Разумеется, ориентальное мироощущение имело какие-то особенности восприятия мира. Но представляется, что это связано не с какими-то константами в художественном мышлении народов Востока. Правомерно будет говорить о специфике фольклорных традиций с их восточным, витиевато-кружевным слогом. Для литератур среднего Востока в целом реализм стал реальностью только в начале

¹ Юшкова И. Послесловие // Кекильбаев А. Баллады забытых лет. А. 1980.

² Сидоров Е. В поисках истины... С. 261.

нынешнего века, до этого господствовала фольклорная ориентальная и изустно-авторская стилистика, которая больше всего напоминала романтический стиль в литературе Запада. Отличием является классическая ирано-таджикская и тюркоязычная лирика средневековья.

Лирико-эпичность и соответствующий ему стиль казахской прозы представляет собой явление другого характера, чем традиционный ориентальный орнаментализм. В данном случае можно говорить о доминировании стилистических особенностей национального фольклора, в структуре современной казахской прозы, актуализированных писателями, неосознанно воскрешающих «память» жанра логическое повествование, в котором выражается собственный голос героя. В таком повествовании осуществляется принцип широкого использования социально-речевых стилей изображаемой общественной среды в качестве ее собственного речевого самоопределения, связанного с ее бытом, культурой, ее историей. В. Виноградов подчеркивал, при этом и принцип воспроизведения, «социальных характеров с помощью их собственных «голосов», как в формах диалога, так и в формах «чужой» или не прямой речи в структуре повествования».¹ Именно в этом смысле отличаются произведения А. Кекильбаева и О. Бокеева от произведений, с установкой на нормативность, литературность повествования. В одних произведениях (часто только в повести) литературное и характерологическое повествование сочетаются в пределах одного персонажа (например, в повестях О. Бокеева «Поющие барханы», «Камчигер», в «Призовом бегунце» А. Кекильбаева). В других случаях, например, в романе А. Кекильбаева «Конец легенды», — подобное характерологическое повествование, на фоне литературного, закрепляется за отдельными персонажами и за изображением определенной социальной среды (так организованы главы о Повелителе, зодчем и юной ханше).

Как осуществляется характерологическое повествование в современной повести?

В повестях А. Кекильбаева ассоциации движут ход со-

¹ Виноградов. В. В. О языке художественной литературы. М. 1959. С. 475—476.

бытий, причем это те ассоциации, которые возникают только у определенного социального типа (жестокий воин-тиран Жонеут, Чингизхан, или бедный музыкант, колодецкопатель Енсеп).

Тенденция современной казахской прозы 70-х к поискам новых форм художественного обобщения действительности привела к интенсификации жанровых процессов. Приход таких писателей, как А. Кекильбаев, О. Бокеев, М. Магауин, Т. Абдиков, Д. Исабеков, К. Жумадилов, О. Сарсенбаев, К. Искаков, др., к жанру романа совпал с процессом трансформации жанров и стилей в масштабах литературы бывшего Советского Союза с появлением новых повествовательных форм – от лирической исповеди до документального романа-диалога принципиально новой формы для казахской литературы. Явно усложнение ее жанровой и стилиевой структуры.

Роман – сложноорганизованное жанрово-стилевое единство. В 70 – 80-е годы казахские прозаики достигли изображения целостности мира в его живом и противоречивом развитии.

Движение к жанру психологического романа в современной казахской прозе – это одновременно подытоживание своих фольклорных, изустных, и приобретенных литературных традиций. Другими словами, происходит процесс репродукции романа, то, что называется «памятью жанра», без чего невозможна связь с национальными традициями.

Но роман – не просто жанр, напоминающий развернутую, многоплановую повесть. Это становящийся жанр новой эпохи и новой литературы. Природа собственного развития романа требует и усвоения достигнутого до него опыта повествовательности и «снятия», преодоления изживших себя достижений отдельных жанров. Это относится и к отношениям современного казахского романа к повести. Происходит диалог этих жанров, что способствует становлению и росту жанрового костяка казахской литературы. К этой борьбе жанров казахская литература пришла только теперь, когда новые жанры прозы были освоены и стали для нее органичны. Дистанция между «Несчастной Жамал» М. Дулатова (1910) и романом А. Нурпеисова «Половодье» (1983) – оказалась достаточной для выявления сложных диалогических отношений жанров повести и романа в казахской прозе.

Какие же процессы происходили в казахском романе 70 – 80-х?

В повестях «Баллады забытых лет» и «Хатынгольская баллада» А. Кекильбаева проявилась лиро-эпическая «собранность» художественного образа, характеры предстали как единство обособленных друг от друга героев. Психологические состояния героев высвечиваются автором как различные возможности человеческого характера вообще. Писателя интересовала не только идея притчи, но и осмысление заключенной в ней идеи самими (и разными) персонажами. Но в повестях А. Кекильбаева эти разные характеры психологически не раскрывались, скорее можно говорить об осуществлении почти лирической исповеди, о проникновении писателя в одну человеческую душу, в характер центрального героя (например, Жонеута или Чингизхана). Достижения в раскрытии главного героя осуществлялись за счет сужения изображаемого кругозора остальных персонажей: все повествование было стянуто в один узел, и многие персонажи со своими точками зрения как бы обслуживали характер главного героя. А. Кекильбаеву важно было в обеих повестях раскрыть возможности одного типа характера – властолюбивого «недочеловека» (З. Кедрина).

В основе сюжета романа «Конец легенды» (1974 г.) лежит фабула, взятая из притчи: история последних месяцев жизни жестокого Тимур-хана, прозванного в народе «железным».

Приехав из очередного похода, Повелитель обнаруживает минарет, построенный в его отсутствие (в его честь) по воле младшей ханши. Но до него доносятся вести о дерзости молодого зодчего, осмелившегося влюбиться в юную ханшу. Слеплен зодчий, в опале молодая неповинная ханша. Но беспокойно Повелителю. Только в последние минуты жизни он убеждается в своей бессилии перед законами жизни: силой любви и вечным возрождением жизни. Казалось бы, ничего нового в событийной основе романа нет. Те же притчевые антиподы: Жонеут и юный музыкант, Чингизхан и «слабая» женщина Гурбельжин, сумевшая противостоять деспоту (в романе – это Повелитель и младшая ханша, Повелитель и зодчий). Но писатель осложняет систему взаимоотношений персонажей, героя притчи, например, он делает Повелителем, обозначая собирательность образа,

его общечеловеческую обобщенность. В этом смысле образ Повелителя не только вобрал в себя черты предшествовавших героев писателя – Жонеута и Чингизхана, – но и вырос до более широких масштабов. Образ Повелителя в романе соткан из «сцепления» множества психологических состояний, но теперь они соединены еще и опосредованными связями, которых не могло быть в повести.

Изменились и стилевые краски в романе: «Как ни старался Повелитель, вступив в Великую пустыню, отвести взгляд от всепожирающего сыпучего песка вокруг, однако никак не мог избавиться от гнетущего ощущения его беспредельной ненасытности...»¹. Густая, подробная речь персонажа – это не только реакция на окружающее, но и на самого себя. Повторяющиеся обороты: «как бы ни», «и каждый раз» и др. подчеркивают состояние утомленного героя – героя с беспокойной совестью. Голос повествователя, незримо присутствующего, дополняющего речь персонажей, отличен от лирической позиции автора в прежних повестях А. Кекильбаева (например, «Балладах забытых лет»).

В романе повествователь как бы уходит за кулисы, предоставляя слово самим участникам событий. Он присутствует только для «дополнительных» функций. Так, в начале романа повествователь дополняет размышления героя, изображая природу, окружающую героя: «Ранняя, чахлая весна. Скучная, убогая равнина, и нынешней зимой обделенная снегом, утомляла глаз». Безрадостные эпитеты подготавливают появление последнего предложения о стыке зимы и весны – букв. «өліара». Слово это появляется ключом к образу Повелителя. Переходность времени года, когда уже не зима, но еще и не весна, это рождающееся заново, но и умирающее состояние земли, возводится в символ совершающихся в романе событий, с их главной идеей – только в такие «өліара» совершаются перемены и в природе, и в человеке. Автор как бы подготовил читателя этим словом к тому, что близки перемены, но не совсем добрые, поэтому и важны писателю эпитеты «чахлая, ранняя весна».

Стиль романа – представляет собой смещение двух

¹ Кекильбаев А. Конец легенды: Роман // Кекильбаев А. Степные легенды. М. 1983. С. 246.

социальных языков в пределах одного высказывания, «встреча двух разных, разделенных эпохой и социальной дифференциацией языковых сознаний»¹. В языковом образе романа явно присутствуют два сознания изображаемое и изображающее. Они уступают друг другу, слово повествователя часто переходит в несобственно-прямую речь персонажей. Языковая зона Повелителя охарактеризована так: «Вокруг, куда ни посмотри, горбатились бурные барханы...» Это живая речь героя с оборотами: «куда ни посмотри», «не вычитаешь», обращена как к себе, так и читателю, для того, чтобы вызывать его сопонимание. Речь персонажа переходит в лирико-философские рассуждения, к которым тоже оказываются подключенными и повествователь, и читатель. Перед нами поток сознания Повелителя, размышляющего о бессмысленности суеты самой жизни, о своем прошлом, которое тоже позабылось. А. Кекильбаев дает возможность выговориться персонажам, даже Повелителю, который считал, что «он не позволял себе передумывать то, что было однажды решено».

Нам важен в данном случае общий стилевой принцип А. Кекильбаева, утверждаемый им стилевой статус жанра романа. Глава «Минарет» начинается с речи другого персонажа – зодчего. Слово героя выражает его мысли, его восприятие событий. Разговоры Жаппара о себе отличаются от рассуждений и речей Повелителя. В воспоминаниях юноши разворачивается жизнь бедного народа, семьи мастера, обучившего сына своему нелегкому ремеслу.

Так, А. Кекильбаев, сопрягая разные речевые голоса (принцип, найденный им еще в повести) пытается изобразить взаимосвязь разных судеб, «разветвить» повествование. В третьей главе («Любовь») события воспроизведены с третьей точки зрения – Младшей ханши. Теперь это размышления о семье Повелителя, о сложных взаимоотношениях между женами. «Она старалась ни о чем не думать. Но беспорядочный рой мыслей помимо ее воли, словно назойливые мухи, мельтешил перед ее глазами...» Этот «беспорядочный рой мыслей» приводится постепенно в порядок на протяжении всей третьей главы романа.

¹ Такое смешение языков Бахтин назвал гибридизацией // Вопросы литературы и эстетики. М. 1975. С. 170.

Стилевой рисунок А. Кекильбаева включает в себя спектр детализаций, полноту описания, чем и отличается от повести. Писатель сознательно развивает и обогащает, наполняет самой жизнью ситуации, занимающие в фольклорной притче второстепенное место. В притче важна была главная идея; в романе важно все, что составляет внутреннюю жизнь персонажей; их внешнее поведение, в отличие от поведения героев притчи, не всегда соответствует их внутреннему состоянию.

В романе «Конец легенды» расширяется сфера применения и несобственно-прямой речи: она выступает в ином, нетрадиционном качестве. Обычно возникающая как реакция персонажа на какое-либо событие или явление, несобственно-прямая речь становится скрытым ответом на реплику в диалоге.

Усложнение функций несобственно-прямой речи в современной русской прозе отмечает лингвист Н. А. Кожевникова. В стиле романа А. Кекильбаева мы видим отражение тех же процессов, что и в русской прозе 70-х годов: «Несобственно-прямая речь, передающая воспоминания персонажа, включает в себя и повествование, и описание, и диалог, который утрачивает свою природу, превращаясь в факт сознания персонажа»¹. В структуре романа 70-х годов, как уже было отмечено, автор «вмещивается» в сюжет. В отличие от сказителя притчи, автор теперь выступает не бесстрастным повествователем, не «пленником» канона жанра; он – активный инициатор, расставляет акценты, оценивая то или иное явление всем ходом сюжета, интонацией и т. д. При этом форма романа оказывается самой убедительной оценкой содержания. В романе А. Кекильбаева этическая оценка изображаемых событий создается всем «организмом» произведения.

Писатель «с помощью художественной формы занимает некоторую активную позицию по отношению к содержанию». Говоря словами М. Бахтина, «все элементы стиля (романа) выражают основную социальную позицию автора»².

¹ Кожевникова Н. А. О соотношении речи автора и персонажа. С. 36.

² Бахтин М. М. Слово в жизни и слово в поэзии. С. 259.

От поучительного дидактизма, от которого активного избавляется современная казахская проза, в романе нет ни одной интонации. Дидактизм ушел вглубь целостного единства художественного произведения. Писатель самым выбором сюжета совершает очередное, теперь романное, «поучение».

В романе А. Кекильбаева цельность мыслей «говорящих» персонажей достигается таким же единством авторского отношения к ним, как в толгау. Но заметим: в романе нет ни одного негативного слова по отношению к Повелителю. Автор достигает характеристик персонажей анализом взаимных оценок друг друга и их саморефлексией. Даже по отношению к положительным героям в романе нет прямой авторской характеристики. Они даны в восприятии других персонажей (Повелителя, ханши).

Персонажи А. Кекильбаева, как правило, не имеют готовых ответов на вопросы жизни, они ищут и находят их в самом процессе жизни. Роман запоминается не внешним сюжетом, не искусной живописностью, но именно внутренним движением психологических состояний персонажей. А. Кекильбаева интересует сама структура психологического процесса, ее звенья. В романе человек несравненно более широкий и сложный характер, чем были, например, Повелитель, зодчий и жена Повелителя в притче. Объектом исследования стали причинно-следственные связи явлений жизни. Перед нами вырастает проблема: как жанровые законы романа влияют на стиль писателя? Жанр погружает писателя в море определенной литературной традиции. Возможности романа размыкают каноны жанра и стиля. Все решает личное мастерство писателя.

В романе А. Кекильбаева, по сравнению с его повестями, связь психологического и сюжетного планов принимает характер опосредованной, не прямой связи. В таких произведениях проглядывается особое соотношение персонажей, что образует еще один «внутренний» сюжет, который имеет свою логику.

Если сравнить повести и роман А. Кекильбаева, то нельзя будет не согласиться с С. Г. Бочаровым в том, что «в романе сетка сюжетных взаимоотношений героев не только есть прямая проекция вовне линий их внутреннего развития, но последние могут быть спроецированы, ибо они представляют особые миры со своими специ-

фическими закономерностями, миры, бесконечно более широкие, чем внешние проявления действующих лиц, их видимая жизнь, миры, далеко не исчерпывающиеся и не покрывающиеся поступками». Далее исследователь пишет о специфике романного стиля. «Связь психологического и сюжетного планов принимают характер опосредственной, сложной, не прямой связи. Вернее, внутренние соотношения персонажей образуют особый, «внутренний» сюжет, обладающий своей собственной логикой, сюжет, сплетения, пересечения, узловые точки линий которого далеко не прямо соответствуют сплетениям и пересечениям внешних судеб тех же персонажей в ходе действия»¹.

Вывод С. Г. Бочарова вырос из наблюдений над романами Л. Н. Толстого. Сравнение Л. Н. Толстого и А. Кекильбаева, безусловно, не входит в нашу задачу. В настоящей работе речь идет о принципе романских связей, их типе. Стиль романа «Конец легенды» доказывает, что у современного казахского романа есть большие жанровые возможности для постановки и решения проблем человеческого существования.

Смена стиля, таким образом, охватывает в 70-е годы все жанры казахской прозы. В этом смысле роман А. Нурпеисова «Долг» (1985), писателя-традиционалиста, представляет собой веку, достигнутую казахской прозой в ее движении одновременно от инерции эпического наследия и от нейтральности стиля к двуголосому слову с героем-протогонистом. А. Нурпеисов продолжает писать об Арале, как это было в трилогии «Кровь и пот». Писатель теперь осмысливает жизнь своих земляков – современников. Одним из первых А. Нурпеисов еще тогда обнажил проблему исчезающего моря, продемонстрировав два разных отношения – как к Аралу, так и к своей человеческой истории. Азим – типичный образ преуспевающего функционера, которого беспокоят личные корыстные цели. Иначе относится к жизни Жадигер, честно, изо дня в день молча делающий свое дело, внутренне нуждающийся в этом. Слово Жадигера о жизни – это слово, тесно сращенное с работой его внутренних мыс-

¹ Бочаров С. Г. Психологическое раскрытие характера в русской классической литературе // Социалистический реализм и классическое наследие. М. 1960. С. 106.

лей. Роман начинается с раздумий Жадигера, директора рыболовного совхоза, вдруг остановившегося и пытающегося осмыслить то, что его привело сюда. «Как же все это случилось? Почему он теперь здесь? Один?», – так начинается размышление герой-протогонист А. Нурпеисова. И только перевернув последнюю страницу романа, читатель поймет нынешнее состояние героя. Внутренние монологи героев дают возможность писателю создать впечатление, что история героев не описывается, а совершается перед нами, события предстают не так застывшее прошлое героя, уже получившее свой смысл, значение и место в целостной истории судьбы героя, а как настоящее разворачивающееся действие.

Роман «Долг» изменил классическую ситуацию традиционного повествования, когда повествователь рассказывает публике историю своего героя, которая произошла и закончилась раньше момента рассказывания. Стиль романа А. Нурпеисова – это стиль двуголосого повествования, где сочетаются два голоса: голос повествователя и голос героя-протогониста, местами они переплетаются, чему служит стилистическая структура несобственно-прямой речи.

Особенностью современного казахского романа является стремление избавиться от эпической динамичности быстрого развивающегося событийного сюжета и замена его усложненной, психологизированной композицией. В своих литературных истоках эта тенденция восходит к лиро-эпическому мироощущению. Однако, хотелось бы заметить, что в современной лиро-философской прозе мы встречаемся со вторичным функционированием лиро-эпического слова. Сложная композиция романа А. Кекильбаева и повестей О. Бокеева при, казалось бы, простом сюжете, напоминает ассоциативность устной индивидуальной поэзии. Но в современном романе невозможно ограничение только старой традиционной поэтикой. Нереально лишь средствами толгау достоверно передать мысли и действия современного человека. Поэтому «мифологичность» современного романа, равно как и использование отдельных стилистических приемов и кодов фольклорного жанра, – это не просто воскрешение стародавних народных представлений, связанных с обрядами, древними символами: это форма выражения современной авторской концепции мира.

Мифологема в современном казахском романе выступает как метафора, как обозначение некоего художественного способа включения современной действительности в контекст общего человеческого морального опыта. Поэтому и происходит переосмысление образов народно-поэтического творчества с заложенным в них нравственным опытом. Поэтика мифа обогащает изображение современного мира глубинной временной перспективой, расширяет фонд действующих культурных метафор и ассоциаций. Происходит «оживление» поэтических формул (архетипов), когда-то уже зафиксировавших свой смысл. Как отмечал А. Н. Веселовский: «Поэтические формулы — это нервные узлы, прикосновение к которым будит в нас ряды определенных образов, по мере нашего развития опыта и способности умножать и сочетать вызванные образом ассоциации»¹. В формуле «Не погаси огня» О. Бокеева спрессован моральный опыт не одного поколения человечества. Этот «нервный узел» имеет поэтому огромную смысловую энергию, которая заново, каждый раз по-новому, может открываться разным эпохам.

Подобное повествование и позволило писателю подчеркнуть в Повелителе «простого» мужа и «просто» отца. Это и было писательской целью, что и отличает героя притчи от героя романа (вряд ли эпический Повелитель вспоминал бы о себе как о несчастном отце или нелюбимом муже). В романе А. Кекильбаева произошло распадение эпической целостности притчевого человека, акцент переходит на изображение принципиальных отличий между внешним и внутренним человеком. Предметом исследования становится субъективность персонажей.

Герои Кекильбаева в романе, каждый по-своему, открывают для себя «суету земной жизни, где происходит вечная борьба между добром и злом, отчаянием и надеждой». Но все они чувствуют, когда «настает пора твердых решений». И тогда каждый из персонажей, следуя своему ходу мыслей, совершает тот или иной нравственный выбор. Повелитель велит ослепить Жаппара, завидую и не прощая ему его молодости, его дерзкой мечты о Младшей Ханше; она, в свою очередь, пытается спасти

¹ Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л. 1940. С. 376.

ни в чем не повинного зодчего, обрекая себя на вечную немилость. Соблюдена верность концовке притчи, но в романе за финальной схемой встают судьбы реальных конкретных персонажей. Писатель акцентирует внимание читателя на пограничных состояниях в психологии персонажей, когда идет процесс переоценки ценностей, но еще не найдено верное решение. Поэтому часто это состояние между сном и явью, предсмертная агония, цепляющаяся за еще живую мысль. Финал романа – смерть Повелителя и его внутренние муки перед совестью – напоминает финал повести «Баллада забытых лет», когда Жонеут, услышав звуки дутара, в предсмертном бреду пытается противостоять этим звукам. В романе найдено иное решение. Повелитель наблюдает предсмертную агонию птахи в пустыне, которая «отчаянно цеплялась за свою крохотную жизнь». Фольклорный герой не обратил бы внимания на подобные картины природы. «Любой другой порыв, любая другая цель в сравнении с этим – бессмысленны и ничтожны», – так перед смертью Повелитель обнаруживает иллюзорность своих прежних представлений о жизни, о своем вечном всемогуществе. Писатель в отличие от своих же решений (в повести) – в романе подчеркивает, что речь идет о реальной жизни, о реальном человеке, который еще в силах видеть, что происходит вокруг.

Роман «Конец легенды» А. Кекильбаева, как и «Долг» А. Нурпеисова – и это было характерно для казахской прозы 70-х годов – держатся не столько внешним сюжетом, внешним движением событий, сколько внутренним развитием «говорящего» человека в романе. В казахских романах 70-х годов изображение неповторимого духовно-нравственного мира героя осуществляется через его собственное слово, но взятое не само по себе, а в соединении с авторским словом. Все это необходимо писателям для вскрытия структуры психологического процесса в сознании современного человека. От человека условного или узко-профессионального к нравственному духовному миру человека – так углубляется анализ личности в современном казахском романе.

Современная Казахская проза подытоживает предшествующий жанрово-стилевой опыт, возрождая память жанра, пробуждая исконную лиро-эпическую стихию казахской словесности. В этом обнаруживается историчес-

кая продуктивность художественного открытия толгау в структуре современного художественного текста. Явление это более ярко реализовалось в произведениях А. Кекильбаева, О. Бокеева, С. Санбаева.

Наши «шестидесятники» родились в конце 30-х годов, когда уничтожалось поколение А. Байтурсынова, М. Дулатова, М. Жумабаева, Ж. Аймауытова. Неслучайно это поколение для выражения своих мыслей искало новые формы условности и иносказаний. Потребность в эзоповом языке привела современников А. Кекильбаева к осмыслению «вечных» экзистенциальных тем, зафиксированных в национальных культурных архетипах. Эта проза еще не исследована в своем контексте, но, безусловно, это должно осуществиться. Главные книги этих писателей еще не написаны. А за ними идет еще одна волна молодой казахской прозы. Поэтому мы вправе ждать появления новых книг, синтезирующих художественные и интеллектуальные открытия предшественников.

ПРИМЕЧАНИЯ

«Всполохи». Роман опубликован в нескольких номерах журнала «Жулдыз» в 1983 году. На казахском языке издан издательством «Жазушы» в 1984 году. На русском языке издательством «Жалын» в 1991 году.

«Абылай хан». Осуществлена постановка спектакля в 1988 году в Казахском академическом театре драмы им. М. О. Ауэзова.

«Журавли, журавли...». Отдельной книгой очерк на казахском языке издан в 1984 году издательством «Казахстан». На русском языке публикуется впервые.

А. Исмакова. «Возрождая память жанра». Статья опубликована в книге «Казахская художественная проза», Алматы, «Гылым», 1998 год.

СОДЕРЖАНИЕ

Роман

Всполохи (*перевод Г. Бельгера*) 5

Драма

Аблай хан (*перевод С. Санбаева*)..... 253

Путевой очерк

Журавли, журавли... 355

Статья

А. Исмакова. «Возрождая память жанра» 421

Примечания 461

АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ

4 том

Редактор О. Бреусова

Корректор Г. Сыздыкова

Дизайнер Б. Серикбай

Технические редакторы: А. Тлеукеева, А. Линькова

Набор и верстка Г. Кудинова

ИБ № 6053

Сдано в набор 14.05.2001 г. Подписано в печать 16.07.2001 г. Формат 84x108 1/32. Печать офсетная. Гарнитура «Мысль». Бумага офсетная. Усл. п.л. 24,36+0,5 вкл. Усл. кр. отт. 25,20+0,5 вкл. Уч. изд. л. 25,53+0,3 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ № 318.

Республика Казахстан. Издательство «Жазушы»
480009, г. Алматы, пр. Абая, 143



Издательский дом «Кітап», 480009, г. Алматы, пр. Гагарина, 93. Тел.: 42-36-31, 42-07-90. ТОО_Кітап @ mail.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика.

